ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения

№ 6 | 2024

Надежда Макушкина

| Сад. Акрил,
цветные карандаши, бумага.
15x21 см, 2023 г.

Надежда Макушкина

| Рыжий конь. Монотипия,
смешанная техника, бумага.
20x30 см, 2023 г.

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №6 | 2024

В номере

ДиН ДИАЛОГ

Ирина Брежнева
3 Поставить технологии на службу красноярской литературе

ДиН ЮБИЛЕЙ

Ольга Карлова
6 В поисках русской Шамбалы

Анатолий Чмыхало
13 Омск. Белые

ДиН ВСТРЕЧА

Юрий Беликов
22 Сгущение России, или Диалоги на Земле Постникова

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Геннадий Малашин
32 (Не)забытые голоса Сибири

ДиН СТИХИ

Эльдар Ахадов
95 Доброе слово

Андрей Лушников
98 Франческо Франча

Юрий Ромашков
100 Рисунок

Татьяна Панова
102 А мы могли бы…

Елена Орлова
152 Обречённая чайная роза…

Виктория Соловьёва
154 Ночные тени

Александр Кормухов
156 Весенний снегопад

Андрей Крюков
158 Отражение

ДиН ПРОЗА

Лев Авилкин
103 Военные истории

Николай Толстиков
121 Другая страна

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Андрей Белозёров
133 Гори… живи!..

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Елена Басалаева
159 Дикари

Наталья Веселова
166 Норковый тулупчик

Марат Валеев
179 Новогоднее

Татьяна Жукова
186 Волчонок

Д*и*Н ШТУДИИ

Станислав Минаков
190 Советы непостороннего. Посильные упреждения

196 Д*и*Н АВТОРЫ

Д*и*Н ГАЛЕРЕЯ

Растения и кони Надежды Макушкиной

В нашей галерее — произведения выпускницы Красноярской государственной архитектурно-строительной академии Надежды Макушкиной.

Она родилась в 1983 году в Иркутской области. Окончила Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию в 2006 году. Работает в смешанных графических техниках. Произведения находятся в частных коллекциях в России, Казахстане, Канаде. Работает графическим дизайнером, оставаясь художником-графиком как по образованию, так и по профессии.

Графические работы художницы пронизаны романтическим настроением, но в них и особая философия. Душа и образ человека бесчисленными нитями, тончайшими флюидами связаны с душами и образами природного мира. Деревья и кони — излюбленные собеседники героев Макушкиной. Для них, её героев, всё в мире вовлечено в непрерывную перекличку, всё течёт и переливается оттенками и полутонами, сплетается ветвями, корнями, стеблями, крыльями и пальцами. Вся эта музыка дышит покоем, умиротворённостью и добротой.

И если стихи могут иллюстрировать создания художника — вспомню давнее своё:

Отзовись во мне, душа живая,
Мыслями деревьев и коней…
Для чего я сердце отрываю
От ему завещанных корней?
…………………………….
Тяжба или жадное сближенье —
Дышащее мира озерцо,
Где мерцает в каждом отраженье
Человека вечное лицо?

Пожелаем же художнице радостей земных и небесных и новых творческих достижений.

Марина Саввиных

Ирина Брежнева

Поставить технологии на службу красноярской литературе

Интервью руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирины Владимировны Брежневой журналу «День и ночь»

— Ирина Владимировна, вы в Красноярском крае человек известный, и всё же расскажите нашим читателям о своём профессиональном пути.

— Я — юрист, поэтому свой профессиональный путь я начинала в региональном управлении Министерства юстиции России. Там я проработала десять лет. После этого я работала в Законодательном собрании Красноярского края, составляла проекты законов, многие из которых были впоследствии приняты. Впоследствии я стала заместителем руководителя Управления информационной политики губернатора Красноярского края, заместителем руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края. И вот сейчас я возглавляю это агентство.

— Ирина Владимировна, вы в Красноярском крае человек известный, и всё же расскажите нашим читателям о своём профессиональном пути.

— Главная сфера, с которой мне приходится взаимодействовать, — это средства массовой информации. Казалось бы, такая яркая, творческая сфера. Но на мою долю в основном выпадает не творческая составляющая, а административно-хозяйственная. Наша задача — дать возможность творить другим. Сегодня в систему государственных СМИ, учреждённых Агентством печати и массовых коммуникаций, входят сорок семь районных и городских газет, краевая газета «Наш Красноярский край» и краевой телеканал «Енисей». Управление государственными средствами массовой информации — это не только формирование общей информационной политики, контроль за исполнением государственных заданий, но и правовое, а также финансовое сопровождение их деятельности.

— Но наверняка в красноярской медиасфере есть и свои уникальные проекты, которые вы курируете. Расскажите о них.

— Да, это так. Агентство печати и массовых коммуникаций проводит в Красноярске медиафорум «Енисей», признанный одной из лучших образовательных площадок в России для журналистов и авторов новых медиа. В этом году его участниками стали представители сорока пяти регионов нашей страны. По участию в форуме федеральных экспертов он тоже стал одним из самых представительных. Сорок четыре спикера федерального уровня провели на медиафоруме почти пятьдесят мастер-классов, семинаров, лекций, дискуссий. Кроме мероприятий по повышению квалификации уже состоявшихся в профессии представителей медиа, мы уделяем внимание и тем, кто только осваивает этот путь. Несколько раз в год мы проводим отбор и обучаем участников краевого проекта «Школа молодого блогера». Интересный опыт состоялся по обучению юнкоров — помощников наших районных и редакций.

Также хотелось бы отметить проект по созданию муралов известных красноярцев, которые вы можете видеть на стенах наших зданий, — это тоже проект нашего агентства. Но это далёко не всё. Много внимания мы уделяем всему, что связано с проведением специальной военной операции. Мы распространяем информацию о наших героических земляках, которые отправились в зону СВО, в печати, на телевидении, радио, в интернете, позиционируем их с помощью наружной рекламы, отправляем тиражи газет на фронт. Не оставляем без внимания членов семей наших бойцов, а также добровольных помощников — волонтёров, которые безвозмездно собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, шьют, вяжут, готовят сухие супы, чаи.

— Ирина Владимировна, конечно, трудно сравнивать, но всё же есть ли у Красноярского края какая-то специфика с точки зрения медиапространства? В чём именно наша характерная особенность?

— Красноярский край по-настоящему уникален. Позвольте мне объяснить. Прежде всего, ни в одном регионе России нет такого количества успешных телеканалов, как в Красноярске. В большинстве областных и региональных центров вы увидите только ГТРК (канал государственной телерадиокомпании) и один местный канал. А у нас, посмотрите, помимо ГТРК, имеется краевой телеканал «Енисей», «7 канал», «8 канал», «Прима», «ТВК», телекомпания «Афонтово». Кроме того, у нас, конечно, развиты телеканалы в муниципалитетах. Около двенадцати муниципальных каналов ведут вещание, и около двадцати ушли в Интернет, но продолжают работу и позиционируют себя как телеканалы. Так что Красноярск — очень телевизионный регион.

— А что вы можете сказать о красноярской печати? Она тоже особенная?

— Что касается печатных СМИ, то здесь мы тоже уникальны. Недавно состоялся всероссийский журналистский форум «Вся Россия – 2024», на котором мы выступали докладчиками — представляли свой успешный опыт. Дело в том, что все государственные газеты Красноярского края являются не только средствами массовой информации, но и автономными учреждениями, то есть могут зарабатывать на приёме объявлений, полиграфических услугах и так далее. При этом все сайты наших региональных изданий тоже зарегистрированы как государственные СМИ. Мы активно делимся нашим опытом с коллегами из других регионов — например, с Краснодарским краем. Многим интересно узнать, как выстроена наша система поддержки негосударственного сектора. И здесь тоже сказывается уникальность нашего края, потому что даже негосударственные СМИ мы поддерживаем в форме субсидии в соответствии с шестьсот восемьдесят четвёртым постановлением Правительства Красноярского края, то есть возмещаем затраты, связанные с осуществлением социально значимых мероприятий и выпуском социально значимой продукции. Через этот юридическо-финансовый механизм мы поддерживаем и многие коммерческие средства массовой информации: предоставляем им субсидию за то, что они рассказывают о том, как осуществляются в нашем крае государственные программы, национальные проекты, освещают основные этапы развития Красноярского края.

— Скажите, а какое место во всей этой системе работы со СМИ занимает писательская среда, раз уж так исторически сложилось, что художественная литература у нас находится не под патронажем Министерства культуры, а относится к Агентству печати?

— А вот тут мы как раз подходим к конкурсу «Книжное Красноярье». Я являюсь председателем совета грантовой программы «Книжное Красноярье» (как и программы «Документальное кино Красноярья»). И вот конкурс кинодокументалистики мы проводим совместно с Минкультом, а «Книжное Красноярье» — это проект исключительно Агентства печати. Поэтому мы взаимодействуем не только с журналистским, но и с писательским сообществом.

— По поводу поддержки писателей, пожалуйста, расскажите подробнее. Думаю, им это будет интересно знать.

— Порядок получения писательских грантов у нас следующий: писатели обращаются в красноярские издательства, а издательства уже непосредственно направляют конкурсную заявку к нам в Агентство печати. На конкурс могут быть представлены произведения, связанные с этнографией края, с жанровой детской литературой, очерки, стихи, рассказы — у нас большое разнообразие номинаций. Часть опубликованного по гранту тиража мы отдаём в библиотечный коллектор для распространения по библиотекам края, часть остаётся у издательств и у самих авторов, чтобы они могли презентовать свои произведения. Этот проект реализуется в Красноярске уже давно, мы считаем его успешным и перспективным, так что планируем его развивать. Более того, он позволяет нам устанавливать связи с писательским сообществом. Ещё мы ежегодно совместно с издательствами реализуем проекты для школьников.

Это проекты, связанные с девяностолетием края, Универсиадой, юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, столетием Виктора Петровича Астафьева. Мы проводим для них своеобразные образовательные игры, каждый год новую. Играя, школьники узнают новые для себя факты о стране и о развитии нашего края.

— Ирина Владимировна, мы понимаем вашу крайнюю загруженность, но всё же, помимо нормативно-правовых актов и деловых бумаг, успеваете ли вы что-то читать для собственного удовольствия?

— Конечно, я читаю. При всей моей занятости, руки всё-таки тянутся к книге. Хотя предпочтение приходится отдавать официальной профессиональной литературе. Но и нашу художественную литературу люблю и уважаю, как классиков, так и современников. Почему нет? Но удобнее всего мне сейчас формат аудиокниги. Моей дочке сейчас три года, так что спокойно посидеть с книжкой в руках не получается. Зато послушать аудиокнигу в машине или во время вечерней готовки — истинное наслаждение.

— А не доводилось ли вам случайно или по ходу профессиональной деятельности встречаться с писателями? Были ли интересные случаи?

— Доводилось. И вышло это довольно неожиданно. Дело в том, что Светлана Ковригина, которая являлась генеральным директором «АиФ на Енисее», оставив эту должность, занялась литературным творчеством, а потом стала выпускать и книги. Я узнала об этом, когда получила её заявку на конкурс «Книжное Красноярье». И так получилось, что человек, которого я давно знала как журналиста, стал писателем. По роду своей службы я часто сталкиваюсь на форумах и конференциях с авторами специальной литературы по пиару, коммуникациям. Поэтому имею немало подобных книг с авторскими дарственными надписями, знаю их авторов, поддерживаю с ними профессиональное и дружеское общение.

— Не откроете ли нам что-то из своих организационных планов? Чего ожидать писательскому сообществу? Готовятся ли какие-то изменения в этой сфере?

— Мы планируем несколько изменить подход к рассмотрению грантовой заявки для писателей. В последнее время к нам приходит много интересных проектов, но члены экспертной комиссии всё более склонны отдавать предпочтение тем проектам, которые имеют какое-то мультимедийное сопровождение. Приведу простой пример. У меня маленький ребёнок. И мне подарили книгу с колыбельными. Я могу просто читать их дочке. Но это колыбельные народов России и наших стран-соседей, у каждой колыбельной — своя мелодия. И вот в конце книги имеется QR-код, который позволяет прослушать колыбельные как в сопровождении музыки, так и без неё — как они обычно и исполняются матерями своим детям. Аналогичный приём я увидела в Санкт-Петербурге в одном из крупных книжных магазинов. Там при помощи QR-кода можно перейти на интернет-страничку понравившегося автора и узнать о нём и его произведениях, скачать электронный вариант книги, если тебе так удобнее. За электронный формат тоже приходится платить, и это нормально, ведь писатель должен быть вознаграждён за своё труд.

— Правильно ли я понимаю, что вы призываете писателей идти в ногу со временем?

— Безусловно. Если умело применять современные технологии, то они сослужат литературе отличную службу.

С И. В. Брежневой беседовал Дмитрий Косяков

Ольга Карлова

В поисках русской Шамбалы

К 100-летию российского писателя-историка Анатолия Ивановича Чмыхало

Книга «Огонь на себя» Людмилы Винской об Анатолии Чмыхало, написанная в 2009 году, ещё при жизни писателя, начинается так: «Говорят, один в поле не воин, а он всю жизнь, точнее даже, всей жизнью опровергает эту аксиому. Не то чтобы специально опровергает — просто судьба такая досталась русскому писателю, сибиряку Анатолию Чмыхало, такая выпала на его долю миссия. Наверняка её определил кто-то свыше, почуяв в этом человеке воина, способного даже в одиночку отстаивать на поле брани духовные рубежи. Это не громкие слова. Это самая обычная реальность. Вы сами можете легко убедиться в этом, когда узнаете, как он сражался за каждую свою книгу. И прорывался ведь — несмотря на мощные артобстрелы со всех сторон. А бывало — и сам вызывал огонь на себя. Однажды Анатолий Чмыхало написал: „О неусыпные стражи больших крепостей и малых острогов! Не вам ли обязана Русь своим бережением от великого разорения? Это благодаря вам не дался в поганые руки Бату-хана чуден град Китеж. Вы первыми увидели звероподобные полчища татар, первыми приняли и сокрушающий удар. А кто уцелел в побоище, кинулись в поля широкие и леса дремучие, чтобы подать весть русичам о надвигающемся несчастье“. Он и сам уже немало десятилетий неусыпно охраняет вверенную ему крепость и подаёт русичам знак об опасности — в романах, в статьях, в стихах. Давно подаёт — в надежде, что услышат. Рано или поздно…»

Не в моде

Идёт естественный отбор
В природе —
Ведь всё, что было до сих пор,
Не в моде.
Не в моде Родина и честь,
Не в моде
И то хорошее, что есть
В народе.

2000

Предвидеть и предупредить

Автор книги точно ухватила нерв этой писательской судьбы. Постичь историю, предвидеть будущее, предупредить современников. Эта особая миссия есть у многих писателей-историков, может быть, оттого, что важнейшие исторические события носят циклический характер. Но чтобы заметить эти закономерности, увидев их отражение в человеческих судьбах, надо хорошо знать и чтить историю своего народа. Писатель справедливо считал, что с этим в России веками была проблема: слишком уж сильными были «приливы» увлечения чем-то иноземным — то немецким, то французским, то английским. Начиная даже с государственных атрибутов: так, первым официальным гимном России стал в 1816 году английский гимн «Боже, храни короля», в феврале 1917 года

Временное правительство утвердило в качестве гимна французскую «Марсельезу», а позже большевики объявили официальным гимном страны французский же «Интернационал» Эжена Потье…

Великий грех

Россия один непростительный грех
Во все времена совершала:
Она горячо прославляла не тех
И так же не тех унижала.

2011

Вспоминал Анатолий Иванович, конечно, и о том, что в славной российской истории были времена, когда духоподъёмно звучали патриотические песни: «Преображенский марш» времён Петра Первого, торжественный полонез «Гром победы, раздавайся» девятнадцатого века, в огненном 1941-м — «Вставай, страна огромная», а в переломном 1943-м — гимн Советского Союза. Но стоило тяжёлой для страны године миновать, как надвигалась новая волна увлечения Западом: дискуссия о том, кто мы и куда идём, сопровождала Россию во все времена.

Анатолий Иванович много времени посвятил изучению русского масонства, поскольку борьба со всем русским началась в России с увлечения образованных российских умов масонскими идеями европейской эпохи Просвещения. Великий спор о судьбе России и её месте в культуре человечества был публично открыт в 1836 году «Философическим письмом» Петра Яковлевича Чаадаева, дошедшего до Парижа участника Отечественной войны. Чаадаев в своих восьми письмах дал последовательное изложение роли христианства в европейском развитии. Он утверждал, что главное в «общей физиономии» народов Европы — это идеи долга, справедливости, правды и порядка. Россию же он видел наследницей дикого варварства и грубого невежества. На основании отсутствия в тогдашнем российском обществе «бурной деятельности», «кипучей игры духовных сил народных» Чаадаев осудил и историю России, и её будущее. Он писал: «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдалённых поколений, которые сумеют его понять. Ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке». Именно с «Философического письма» началось оформление идеологии либеральной интеллигенции России, в основе которой лежит презрение ко всему русскому, отрицание опыта России и значимости российской истории. Влияние этих настроений было очень сильным в девятнадцатом веке: на Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Лескова, Толстого и Достоевского среда оказывала сильнейшее давление, которому они, каждый по-своему, противостояли, когда пытались взглянуть на историю России и Европы через заповеди Христовы и уважение к русской культуре.

В записях Анатолия Ивановича есть немало пометок о впечатлениях русских писателей по поводу западной жизни и человеке Запада. Таких воспоминаний было немало, поскольку почти каждый русский писатель начинал с того, что рвался за границу, которая ему рисовалась «чудесным садом» культуры и цивилизации. Но настроение многих довольно быстро менялось. Так, Денис Иванович Фонвизин, побывавший в 1778 году во Франции, а в 1784 году — в Германии и Италии, вернулся с резким осуждением западных нравов. То, что представлялось «нравственным миропорядком», на деле обернулось западным самодовольством, отсутствием совести и всесилием денег. Попавший в Европу в 1848-м революционном году Александр Герцен также разочаровался её пошлостью: «Запад сгнил, его обветшалые формы не годятся для новой жизни, буржуазия выхолостила человека». Увиденное в Европе даже более, чем деяния декабристов, «разбудило» издателя заграничного «Колокола», который признавался: «В русской жизни есть нечто более возвышенное, чем община, и более сильное, чем власть… Я говорю о той внутренней, не вполне осознающей себя силе, которая так удивительно поддерживала русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии… о той внутренней силе, благодаря которой… русский крестьянин сохранил открытое красивое лицо и живой ум и которая на императорский указ ввести цивилизацию ответила спустя столетие колоссальным явлением Пушкина» (Герцен, «Россия», 1849). Недолюбливавший Герцена Анатолий Чмыхало был тем не менее согласен и с его оценкой Запада, и с тем, что именно Пушкин соединил разорванные Петром основания русской жизни, утвердил в нашей культуре народное понимание личности как самостоянья человека, связанного с родом, историей и почвой. Пушкина Анатолий Чмыхало считал самым великим русским космистом, открывшим загадочный «русский мир» и давшим, словно Адам, всему окружающему «русские культурные имена». Неудивительно, что и в 1930-е годы, когда советские идеологи решили вернуть наследие поэта в культуру СССР, Пушкин снова сыграл свою уникальную роль хранителя русского культурного кода.

Портрет Пушкина

В избе, где разместился сельсовет,
Едва мы с боем овладели ею,
Друзья мои нашли его портрет
И принесли к себе на батарею.
В разбитой рамке с выцветшим холстом
Он так же был торжественно спокоен,

Хоть в сердце Пушкина, великом и простом,
Солдаты насчитали пять пробоин.
Фашистский варвар мог бы разрядить
Патроны все, что были в пистолете,
Но разве можно чем-нибудь убить
В народе русском память о поэте?!
И поклялись врагам мы отомстить
В огне разрывов, в орудийном гуле.
Поэт учил нас Родину любить —
И мы ему на верность присягнули!

1951

…Расцветшие сегодня пышным цветом внутренние пороки западного человека, которые Достоевский называл бесовщиной, — закономерный итог западной свободы, отказавшейся от христианского идеала. В не очень патриотичные 2000-е годы Анатолий Чмыхало признавался: «Несмотря на все притеснения, диссидентом я не мог стать, я вообще не был западником. У нашей Родины тоже путь особый, как бы и кто над этим ни хихикал. И мне ехать в другую державу, пусть более благополучную, обустроенную, размеренно живущую, когда я знал, что Россия — единственная страна, сохранившая христианство после Рима и Византии? Я просто не представляю себе, чтобы такое произошло со мной. Да и никогда не представлял. И даже не думал об этом. Когда я, как говорят, служил в театре и был актёром, то играл однажды роль Малюты Скуратова. И в присутствии моего героя царь Иван Грозный выкрикивал: „Первый Рим был Римом! Второй Рим был Константинополь. Третий Рим — наш! Четвёртому Риму не бывать!“ Я понимал к тому же: Запад ничего так просто не отдаст, за всё придётся платить большую цену. Россию же до нитки раздели. Не будь нефти, Ирака, на который США кинулись, нам бы уже показали кузькину мать, которую обещал показать всему капиталистическому миру Никита Хрущёв… Быть диссидентом — лёгкий путь. Аресты, протесты, шумиха… Всё это поп-шоу. России от этого никакого толку. Надо внутри держать оборону и тут, на этой земле, ходить в атаку, жить в самой России и бороться за неё, а не против неё».

Душа

Лишь у пропасти на краю
Познаём мы душу свою:
И зачем она нам дана,
И на что способна она.

2011

Предвидение писателем нынешнего столкновения цивилизаций хорошо видно в его интервью «Аргументам и фактам» в марте 2009 года: «Каждый шаг в сторону Запада — это шаг к потере суверенитета. Стремясь быть похожей на Запад, Россия потеряла своё лицо, почти к нулю сведены её национальные ценности… Как бы ни старались наши пылкие западники, Россия никогда не станет эффективным членом европейского сообщества. А если станет, то уже не будет той Россией, которую мы знаем и любим… Сегодня мы не только потеряли национальную цельность, но и произошло смещение идеалов. И это страшно… Это лжекультура, так называемая свобода висельника… Через это окошко к нам снова может заглянуть война. На Западе добрых дядей нет. Там ощерившиеся волки, которые ходят в пристойных костюмах и прячут свои улыбки в голливудских формах, спят и видят, как поделить богатства России… Кто мы, откуда и куда идём? Этот вопрос должен задать себе каждый… Я живу с мыслью о каких-то высших силах. Не может человечество развиваться без этого. И церковь играет роль объединяющую. Нам нужно вернуться туда, в каноническую Россию, чтобы сделать свой прыжок вперёд».

Страшный суд

Признáюсь, я кары небесной боюсь
И тяжесть грехов понимаю.
Но слишком люблю православную Русь
И пусть за неё пострадаю.
Хочу в суете того судного дня,
Который нам всем уготован,
Чтоб судьи решились послушать меня
И дали последнее слово.
Уж лучше вариться в кипящей смоле,
Не жалуясь Богу при этом,
Чем вновь оказаться на грешной земле
Философом или поэтом.

2009

Наедине с Историей

…Мой отец Анатолий Чмыхало был ходячей исторической энциклопедией. Он писал о Джунгарском царстве, когда о нём мало знали даже востоковеды. Историки вспоминали, что в восьмидесятых годах древность Красноярья они преподавали студентам по романам Чмыхало. Ну а первый макет Красноярского острога семнадцатого века был изготовлен на кухне писателя. Я, тогда ещё ученица начальной школы, и мой старший брат Борис, будущий доктор филологических наук и разработчик теории литературного регионализма, выступали подмастерьями, аккуратно складывая и склеивая спички ровными квадратиками — для будущих «бревенчатых срубов» острога. Когда у Стрелки Енисея и Качи в преддверии будущей стройки сносили одноэтажные дома, многие из которых простояли несколько веков, мы с отцом часами бродили между остовами деревянных изб. Отыскивали в котлованах наличники и утварь, кованые предметы быта

прошлых веков. Особенно отец радовался найденным кусочкам старинного слюдяного оконца, погнутому староверческому кресту-тельнику с растительным орнаментом, православным чёткам-лестовкам, которыми пользовались в молитвах староверы, да кованым неравноплечим весам-безмену. Можно себе представить, как на нас смотрели в троллейбусе, когда мы свою «историческую добычу» в мешках везли домой. Думаю, что в конце шестидесятых таких находок не было даже в наших музеях, ведь это было время «собирания», по большей части, советской истории. В те годы, когда отец писал романы о Красноярске семнадцатого века, мама ворчала, что уборка балкона, заложенного нашими находками, по силам разве что Поддубному. Но так было нужно отцу: он часто разглядывал и перекладывал артефакты, словно бы прикосновение к ним уносило его в туманную даль времени.

Вечно живое

Мне запах обычного конского пота
Милей ароматов французских духов:
В нём вечно живёт позабытое что-то
От диких степей и казачьих костров.

2009

Задачей историков отец считал воспроизведение событий с опорой на факты. Но цель писателя-историка он видел другой, более сложной. Опираясь на факты, на всё увиденное и прочитанное, а также на воображение и фантазию, писатель рассказывает о людях разных исторических эпох, свидетелях и участниках драматических событий, об их мыслях и переживаниях. В заметках отца приведены такие слова Аристотеля: «Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Разница в том, что один рассказывает о происшедшем, а другой — о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьёзного элемента, чем история: она представляет более общее, а история — частное». Вот и получается, как говорил отец, что у историка одна — чисто событийная — правда, а у писателя правда более сложная и человечная. По сути, это даже несколько разных «правд» — и именно потому художественная правда оказывается более честной, она ближе к истине. Автор размещает своих героев по разные стороны исторической оси, в которой смешалось всё — добро и зло, общественная польза и пороки. И вот удивительный парадокс: когда современность уходит в историю, придуманные литературные образы оказываются главным свидетельством исторической реальности.

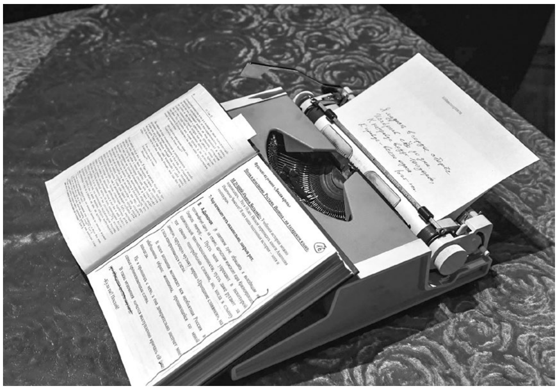
В поисках правильной стороны Истории русские писатели часто обращались не столько к героям Времени, сколько к героям Безвременья, которым выпало жить в эпоху перемен, когда всё в жизни круто меняется. В такую годину понятия о добре и зле смешиваются — и трудно сделать выбор. Русский литературовед и философ Михаил Бахтин писал о двух видах ответственности у литературных героев. Есть облегчённая ответственность человека в нормированных условиях, как в фильме «Кубанские казаки», когда понятно, что хорошо, что плохо, и легко жить по известным правилам. Другая ответственность требует ежеминутного соотнесения поступков с принципами нравственной реальности. Бахтинский поступок — это ход человека в «шахматной» игре с бытием, он только там, где что-то поставлено на кон, где человек в каждый момент своего существования может проиграть. Именно такой поступок русского человека разных эпох был целью исторического поиска Анатолия Чмыхало.

Откровение

В жизни всё и призрачно, и хрупко,
Потому напоминаю вам:
Если нет достойного поступка,
Грош цена изысканным словам.

2009

Эпоха Гражданской войны, когда, по словам Шекспира, «время вывихнуло сустав», как магнитом влекла к себе молодого фронтовика, заставив взяться за свой первый роман о революции и Гражданской войне — «Половодье». О чём размышлял один из его героев Александр Колчак? Видел ли он трагическую развилку, у которой стояла страна, понимал ли коварные устремления белочехов и Антанты? И видел, и понимал. Но что ещё он мог сделать, кроме как бороться так, как его учили долг воина и честь дворянина? О полярном океанографе, о командующем Черноморским флотом адмирале и просто русском человеке Александре Колчаке рассказала молодому журналисту гражданская жена адмирала Анна Васильевна Тимирёва в послевоенном Рыбинске… И ради её великой любви и верности отец не мог покривить душой — он сам говорил, что эта встреча для него самого была «развилкой совести». Вскоре после того, как роман вышел и автор отослал Анне Васильевне один из первых экземпляров, он получил от неё письмо: «В советской и западной литературе были попытки написать образ Колчака, но все они не удались. Авторы или глумились над истинным рыцарем революции, или делали из него святого. А он был обыкновенный человек, крупный учёный с сильными и слабыми чертами недюжинного характера. Часто сомневался в правильности своих поступков, искал неординарные решения важных проблем. Не прощал себе ошибок. И слишком доверялся окружению, которое и предало его.



Анатолий Чмыхало первым написал Колчака, каким он был. В „Половодье“ верно показаны сложнейшие ситуации Гражданской войны, развязанной большевиками, в которой не было, да и не могло быть победителей. „Половодью“ уготована долгая и добрая жизнь — я уверена в этом. Большое спасибо писателю за прекрасную книгу! И ещё хочется сказать спасибо цензуре, проморгавшей выход в свет правдивого романа».

В «Половодье» Колчак — истинный представитель уходящей элиты тогдашней России, герой Безвременья. Судьба Колчака и Тимирёвой выплеснута на страницы романа вместе со всей сложностью и болью братоубийственной войны. И это случилось не в годы перестройки, когда только ленивый не переписывал историю, а в далёком 1956 году, в период расцвета советской идеологии.

Адмирал

В эти годы смутные бывает
И такое, адмирал Колчак:
Чёткий след твой вьюга заметает,
И тоска дремучая в очах.
А вокруг Россия бездыханна,
И уже не верь тому, что есть,
Что с тобой осталась только Анна
Да твоя поруганная честь.
Цельтесь лучше. Сердце адмирала
Не устало родину любить.
Это с ним уже не раз бывало —
Пулей адмирала не убить.
Будут годы тоже не простые,
Будет жизнь сурова, нелегка.
И тогда великая Россия
Добрым словом вспомнит Колчака.

1985

…Через два десятилетия писатель вернётся к теме Гражданской войны, описывая в «Отложенном выстреле» другого героя Безвременья — сибирского казака Ивана Соловьёва. Иван был официально объявлен атаманом бандитов, но, в сущности, являлся ещё одним искателем Беловодья, или русской Шамбалы — православного народного рая; искателем, стоявшим за православную веру и справедливость. Именно таковы они — герои Безвременья, герои Поступка. Приблизительно в те же годы, когда отец писал «Половодье», швейцарский учёный Андре Боннар в книге «Греческая цивилизация» так определил одного из первых героев Безвременья: «Царь Эдип показал, что при всех обстоятельствах и даже перед лицом сурового наступления на него Рока человек всегда может сохранить своё величие и уважение к себе. Трагическая угроза всесильна по отношению к его жизни, но она ничего не может сделать против его души, против силы его духа». Мне кажется, именно таковы герои писателя из «Половодья», «Отложенного выстрела», «Дикой крови» и «Опальной земли». Таким предстаёт и сам писатель в своей автобиографической дилогии «В царстве Свободы» — фронтовик, патриот России и паломник Истории.

Мой путь

Каждый выбрал себе дорогу,
Каждый видит свою межу.
Вот и я такой, слава Богу:
Всё, что думаю, то пишу.

2009

В царстве Свободы

Есть в интервью Анатолия Чмыхало и такие строки: «Литературу нельзя рассматривать как нечто общее. Её тоже надо анализировать, учитывая время, в которое создавались те или иные произведения. Тот же мой любимец Пушкин представляет время, в котором жил, довольно своеобразно. Он ведь, не будем забывать, дитя Французской революции, сочувствовавший декабристам. Тогда все они пороли рабов и плакали об отсутствии свободы. У Александра Сергеевича было и специфическое понимание пугачёвского бунта. Пугачёва он всё-таки написал с ореолом романтизма. И так на любом этапе. Вся литература, которая была, она, скорее, отвечала интересам того исторического отрезка, в котором жили люди. Каждая эпоха заставляла опираться литературу на существующую уже историческую концепцию. Может, сейчас кто-то назовёт мою концепцию не соответствующей его восприятию прошлого. И даже усомнится в ней. Но тем не менее он уже будет писать после меня. Он будет иметь в своём творческом активе мою историю. И так это накапливается, начиная с Карамзина».

Останусь

Как завистникам злобным ни горько,
Такова уж судьба моя:
Не писателем, так историком
Для кого-то останусь я.

2009

Совершенно уникальным писатель считал тот факт, что Россия предпочитала вовлекать народы в свою орбиту чаще всего мирными путями: доказательства этого он год за годом черпал из архивов и летописей. В этом — главный нерв его романов об истории Красноярска «Дикая кровь» и «Опальная земля». В них тоже есть и подавления бунтов, и кровавые разборки с воинственными племенами. Но по сравнению с бесконечной враждой западных княжеств и кланов, истреблявших соперников до последнего человека, Россия в освоении новых земель была человечна: она не воевала с коренными народами, а предлагала им торговые связи, мир и защиту. Более того, в тяжёлую годину именно титульная нация — русский народ — несла на себе основную долю испытаний. Иногда из-за действий правителей, но чаще — благодаря собственной ментальности: ощущению своей уникальной миссии в достижении всеми народами грядущего «рая земного».

Возможно, такая духовная мечтательность и принесла стране много горя, но отец был уверен: именно она сохранила Русь в нравственной чистоте. Он считал совсем не преувеличением мысль Р. М. Рильке о том, что все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. И был уверен: именно это, да ещё почва русской культуры (а вовсе не проработки на партсобраниях и месткомах) сохранили нравственный облик советского человека. Ведь Советская Россия тоже выросла из народной мечты. Философия эмпириомонизма Александра Богданова — традиционное русское всеединство, только проникнутое динамикой и устремлением к сверхчеловеческому идеалу. Вопреки марксизму, Богданов отталкивался от мистического идеализма: социализм, по его мысли, должен помочь человеку стереть грани между физическим, умственным и творческим трудом. «Человечество постигнет все тайны жизненной организации, где разорвутся все границы между живым и неживым и где ничто в природе уже не будет чуждым человечеству», а «нити коллективной воли и мысли свяжут воедино весь мир». Известный деятель советской культуры Анатолий Луначарский, споря с другим русским богостроителем Николаем Бердяевым, писал: «Бога не надо искать, поскольку никаких богов нет. Бога нужно построить. Это и есть настоящая и будущая задача человечества. А научный социализм есть пятая и последняя великая религия на земле» («Религия и социализм» в 2-х т., 1905 и 1911). Русский философ Николай Рерих, стремясь стать художникам мира, обратился к древним восточным традициям. Он считал, что если языки мира восходят к праязыку, похожему на древний литературный язык молитв и поэзии санскрит, то и культура мира может объединиться вокруг первоначального смысла и великих древних идеалов. На этот путь его привела православная традиция, идущая от Сергия Радонежского и во многом воплощённая для него в коммунистическом идеале. Он был в священном восторге, когда нашёл в Кашмире следы пребывания Иисуса Христа, который там почитается как Великий пророк и учитель, и даже назвал те места «перекрёстком путей Христа и Будды». Вот так из народных чаяний, молитв и апокрифов, оформленных в советском космизме Богданова и в теориях нового богостроительства Луначарского, в картинах Рериха и в книгах Пушкина, выросли этические и культурные основы социализма, который мыслился как гармоничный путь к Царству Свободы. Эта — мечтательная — сторона социализма также была составной частью реальности советского поколения, рождённого в двадцатые годы, в которому принадлежал Анатолий Чмыхало. И на рубеже столетий писатель был уверен, что недалеко то время, когда России отвернётся от западных ложных ценностей и снова поднимет на свой щит близкие ей идеалы нравственной чистоты, веры, патриотизма.

Редеет

Пасхальный звон мою Россию будит,
И над страной уже редеет мгла.
О чём вчера помалкивали люди,
Сейчас гудят во все колокола.

2009

…«В Царстве Свободы» — двухтомник автобиографических воспоминаний Анатолия Чмыхало, одна из последних его книг. Первая её часть — «Ночь без сна» — начинается и заканчивается рассказом писателя о его бабушке Марии по материнской линии, принадлежащей к роду алтайских кержаков, и о рассказанной ею легенде о Невидимом Граде на озере (который одни называют Светлояром, другие — Беловодьем). С этой легендой связаны идеи нравственной чистоты, справедливости и веры: они из века в век живут в устных фольклорных преданиях и апокрифах, которые бережно хранит народная память.

Таких легенд сохранилось немало в поселениях южной Сибири. Это — самопроизвольное и яркое выражение православного народного духа, которое в двадцатых годах двадцатого века на Горном Алтае увлекло и покорило Николая Константиновича Рериха. Его путь к индийской Шамбале — легендарному прообразу «земного рая», месту духовной власти и гармонии души — лежал через сибирское Беловодье. В своём путевом дневнике от 1923 года Рерих написал: «В далёких странах за горами высокими — там находится священное место, где процветает справедливость. Там живёт высшее знание и высшая мудрость. Зовётся это место Беловодье. Легенда о Беловодье указывала не только на его

христианское, но именно на общечеловеческое содержание. В этом смысле она смыкалась для меня с легендой о Шамбале. Я считаю Алтай северным входом в Шамбалу».

Поскольку Беловодье, по народным поверьям, — райская страна, где нет и не может быть Антихриста, где живут православные христиане и нет никаких гонений на веру, а также просто вольное место, где можно было жить в достатке, то влияние этой легенды усилилось к концу семнадцатого века, во времена преследования старообрядцев. Долгое время сам Алтай считался местом Беловодья. Поэтому естественно, что именно на Алтай устремились христиане, называвшие себя истинными. Так, в 1840 году в экспедиции по поиску Беловодья участвовали триста человек; в 1861 году бухтарминские кержаки из деревни Белой прошли через Китай и Монголию; в 1898 году в Беловодье ушли экспедиции из уральских казаков и староверов из Одессы. Шли по «путникам» — специальным путеводителям на кержацком наречии. В одном таком написано: «Пойдёшь между Иртышом и Аргунью к солёным озёрам. Коль правильно пойдёшь, пройдёшь болота, до гор Богогорше — дальше труднее, в Кокуши. А затем через самый Ергор к самой снежной стране. За высокими горами будет священная долина. Самое Беловодье… Попасть туда могут только чистые духом. Подходили, слышали колокольный звон, мычание коров, но напускался туман… Непозванный не дойдёт… Не даётся оно всем, Беловодье-то, оно между Бухтармой и Китаем». В народных апокрифах идеал жизни в Беловодье представлялся таким: нет воровства и преступлений, а управляет всем народ под духовной властью. Вот об этом Рерих и услышал в 1923 году в Верхнем Уймоне, где он с женой Еленой и сыном Юрием жил две недели у местного жителя-старовера Атаманова. И местные жители были уверены, что в это время семья Рерихов сумела найти таинственное Беловодье — сибирскую Шамбалу.

…Год спустя недалеко от тех мест родился Анатолий Чмыхало. Ранние годы своей жизни он провёл в селе Вострово Волчихинского района Алтайского края. Тут, у кромки Касмалинского бора, он видел далёкую вершину Белухи, возвышавшуюся на юго-востоке; здесь слушал тихие бабушкины молитвы и рассказы о пути к царству Свободы.

Ветры

Пусть ещё далеко до весны,
Мчатся тёплые ветры с Алтая,
Мчатся, думы мои догоняя,
Ветры с милой моей стороны.

2011

Алтай — с тюркского — не только горы «золотые, золотоносные, пёстрые», но ещё и «высокие, значительные, священные». Алтайские горы — одни из самых древних на Земле, они возвышаются на границе России, Казахстана, Китая и Монголии, и их омывают двести тысяч горных рек и ручьёв. Первый человек селился тут ещё в каменном веке, здесь найден самый древний артефакт в мире — Каменный браслет из Денисовой пещеры, возраст которого превышает сорок тысяч лет. Алтай вошёл в состав Российской империи на целое столетие позже других частей Сибири. Долгое время он был частью Монгольской империи, а с семнадцатого века тут возникает новое мощное государство — Джунгарское ханство. Так что, когда Анатолий Чмыхало искал в старых архивах записи о нём, он словно бы заглядывал в историю собственных пращуров. И не случайно позднее автобиографическое произведение Анатолия Чмыхало начинается и заканчивается легендами бабушки Марии о Светлояре-Беловодье. Эта тема — ключевая в книге, потому что народная мечта и есть тайный двигатель истории. Именно в народной мечте о царстве Свободы, истинной веры и справедливости, как считал Анатолий Чмыхало, живёт и передаётся код соборности России — ключ к пониманию её исторической судьбы. Постичь его и означает для русского писателя «оказаться на правильной стороне Истории».

Труд

Писатели понимают,
Как трудно письмо даётся.
Но сказанное умирает.
Написанное остаётся.

2009

Анатолий Чмыхало

Омск. Белые

Отрывок из романа «Половодье»

6.

Восьмой месяц доживал в Омске прапорщик Владимир Поминов. В отличие от многих офицеров, жил безбедно. Лавочник посылал ему крупные суммы денег. Хватало на обеды в лучших ресторанах, на попойки и подарки дамам. С деньгами прапорщик легко заводил нужные ему связи. Благодаря деньгам Владимир не кормил вшей в окопах, не играл в прятки со смертью, а спокойно и весело служил в штабе командующего Омским военным округом.

Прапорщик снимал отдельный номер в гостинице «Россия», в самом центре города, на берегу Омки, где начинался шумный и богатый Любинский проспект. В перенаселённом Омске это было счастьем, не доступным офицерам с более высоким чином. В лучших помещениях разместились чехи, гемпширский полк англичан и многочисленные иностранные представительства. В той же «России» находились продовольственный отдел чешских войск и японская военная миссия.

Номер был просторный и светлый, с лепным потолком и с мягкой мебелью, в обивке которой водились клопы. У окна стоял большой письменный стол, в углу под бордовым бархатным балдахином — кровать. Стены и пол пестрели коврами.

За всю эту роскошь приходилось платить втридорога. Хозяин гостиницы, узнав, с кем имеет дело, уже не раз повышал плату. Когда Владимир упорствовал, хозяин равнодушно бросал:

— Что ж, ищите лучше! Многие господа офицеры спят в конюшнях. Такие уж пошли времена. Очень тяжёлые!

Владимир невольно соглашался. Хозяин гостиницы имел руку в ставке Колчака и мог вышвырнуть на улицу кого угодно — разумеется, кроме иностранцев.

За окном уже голубел день, когда Владимир соскочил с постели и открыл форточку. С улицы донёсся цокот копыт по мостовой, загудел автомобиль. Прапорщик взглянул вниз. К подъезду гостиницы подкатил новый «Кадиллак». Шофёр посигналил, и через минуту из ювелирного магазина вышла статная дама в каракулевом манто и шляпе с чёрными перьями. На лицо до самого подбородка опущена негустая вуаль, под которой ярко обозначались влажные пухлые губы и безукоризненно прямой нос. Дама игриво помахала кому-то рукой в замшевой перчатке и направилась к автомобилю.

— Генеральша Гришина-Алмазова, — узнал Владимир, который не раз встречал её на приёмах и парадах.

И, может быть, именно ей он обязан переводом из запасного полка в штаб округа. В городе поговаривали о её большом влиянии.

Автомобиль укатил, а прапорщик всё ещё смотрел в окно. Отсюда ему хорошо было видно устье Омки. Река огибала сад «Аквариум» и сливалась

с быстрым Иртышом. На левом её берегу, у пристани, дымил, лениво пошлёпывая плицами колёс, буксир. Шлейф дыма скрывал мачту чешской радиостанции и тянулся до самого генерал-губернаторского дома, где помещался теперь совет министров.

На Атамановскую улицу по мосту лился людской поток. В нём мелькали военные фуражки всех армий мира. В серых шинелях с загнутыми полами шли французы. Опершись на перила моста, курили и плевали в воду американцы. Их нетрудно узнать по зелёным шляпам с дырочками и коротким автоматическим винтовкам. А вот канадцы — в юбочках, похожие больше на кафешантанных певиц, чем на солдат.

Важно вышагивали дамы в мехах и модных шляпах. Спешили мастеровые. Сегодня, как и вчера, шумной, привычной жизнью жила столица Верховного правителя.

В номер постучали. Коридорный принёс газеты. Владимир порылся в ящике стола, достал смятую ассигнацию и сунул её в приоткрытую дверь. Потом посмотрел на часы. Было без четверти одиннадцать. Сегодня на службу не идти. Значит, можно поваляться ещё часок, почитать оперативные сводки. Дела на фронте, кажется, идут неплохо. Генерал Ханжин обещает скорое взятие Бугульмы, а Гайда прорвался к Сарапулу. Большевикам не остановить наступления сибирских армий. Сам Верховный заявил, что не позднее июля он под колокольный звон войдёт в Белокаменную.

Владимиру вспомнилась речь французского генерала Мориса Жанена. Русским генералам не хотелось, чтобы Жанен взял себе славу освободителя России. И особенно они настаивали, чтобы французский генерал не участвовал при въезде в Москву. Жанен сказал: «Когда Александр Первый послал в Сибирь Сперанского, когда Николай Первый послал туда же Муравьёва, который получил прозвище Амурского, ни тот, ни другой не имели доставить удовольствие своим посланцам. Я тоже без всякого удовольствия выполняю приказ. Когда я был в Николаевской военной академии, то имел возможность познакомиться с тем, как в своё время относились к Барклаю-де-Толли, несмотря на то, что он спас Россию от Наполеона. Я тем не менее, как и прежде, буду работать не покладая рук, хотя и не питаю никаких иллюзий…»

Конечно, честь первому въехать во главе войска в древнюю русскую столицу должна быть оказана Ханжину или Дутову. Но её может завоевать и Деникин, который вместе с Красновым вышел на линию Луганск — Бахмут и разворачивает решительное наступление.

В «Сибирской речи» сообщалось как о важном государственном событии о назначении Виктора Пепеляева управляющим министерством внутренних дел. Ещё бы! Пепеляев — один из главарей кадетской партии, которая издаёт эту газету. В Омске его знают как ярого сторонника единоличной диктатуры. Пепеляеву прочат большое будущее.

В неофициальной части газеты Владимир наткнулся на заметку вспольского корреспондента о налёте отряда «некоего Ефима Мефодьева» на Воскресенскую ярмарку. Подробно описав ужасы налёта, корреспондент отмечал, что теперь мятежники лишились поддержки в сёлах, что даже их товарищи отшатнулись от красного отряда.

«Банда Мефодьева в скором времени будет полностью уничтожена, — прочитал Владимир. — Она сама изолировала себя от населения и обречена на гибель».

Значит, кустари довоевались. В Покровском снова всё спокойно, как в добрые времена Николая-самодержца. Впрочем, царь — дурак. Он был слишком добрым, слишком вежливым. Боялся пролить кровь, и всё равно она пролилась. И ещё прольётся.

— Быть по сему! — торжественно проговорил Владимир, отбросил газету и стал собираться.

Из «России» он направился в «Европу», как назывался самый роскошный ресторан в городе. Даже в названиях увеселительных заведений чувствовалась подобающая столице масштабность.

Несмотря на ранний час, в ресторане не было свободных столиков. Владимир прошёлся по длинному залу и увидел одно место у закрытого розовой шторой окна. На другом месте сидел, уткнувшись в газету, уже немолодой штабс-капитан, лохматый, в засаленной гимнастёрке.

— Позволите присесть?

— Садитесь, — косо взглянув на Владимира, сказал штабс-капитан.

С кухни тянуло чадом. За соседними столиками тонко звенели стаканы, стучали ножи и вилки. В углу на эстраде устраивался оркестр. Старый музыкант в потёртом смокинге пробовал кларнет. Звук, похожий на крик утки, пролетел по залу и заглох в тяжёлых бархатных портьерах.

Владимир стал рассматривать штабс-капитана. Усталое, обветренное лицо. Горькая складка у рта.

Тот отложил газету. Бросил, подавшись вперёд:

— Чего смотрите? Ну, грязный, вшивый, грубый. Приехал из окопов и завтра возвращаюсь обратно. И плюю на весь ваш лоск и на ваши учтивые манеры!

— Я, собственно…

— Да не только вы один. Сотни вас таких, тысячи ждут скорой победы над большевиками, понужают солдата, посылают его под пули. А вы сами, сами… Да вы ещё молоды, прапорщик, мне вас жалко. Сидите здесь и читайте оперативные сводки с фронтов. Кстати, газетчики заботятся о том, чтобы не портить вам пищеварения. Вот читайте, — штабс-капитан раздражённо ткнул пальцем в газету. — «Юго-западный фронт. Северный участок. В связи с продолжающимся продвижением

вперёд и переездом штабов групп на новые места, сведений не поступило». Я оттуда. Так смею вас заверить: мы продвинулись не вперёд, а назад. Именно в эти дни я положил весь свой батальон и сейчас приехал в вашу сточную клоаку за пополнением… Когда в списках убитых прочитаете фамилию Михаила Демидовича Каргаполова, так это я. Можете не молиться за мою душу. Даже если она попадёт в ад, я буду доволен. Это всё-таки лучше Северного участка, где, как уверяют газеты, мы продолжаем продвигаться вперёд.

Штабс-капитан выговорился и смолк. И, словно дождавшись этого, заиграл оркестр. На эстраду, поводя бёдрами, вышла певица, полуобнажённая, с одутловатым, размалёванным лицом.

Ты сидишь у камина и смотришь с тоской,
Как печально камин догорает
И как яркое пламя то вспыхнет порой,
То бессильно опять угасает.
Ты грустишь всё о чём? Не о прошлых ли днях,
Полных неги, любви и привета?
Так чего же ты ищешь в погасших углях?
Всё равно не найти в них ответа…

Песню покрыл истерический крик. За одним из столиков поднялся молодой офицер с растрёпанными волосами. Он выбросил вперёд руку — и в зале наступила тишина. Все повернулись к нему. Кто-то хлопнул в ладоши.

— Господа! Только четверостишие. Не больше.

А завтра тот, кто был так молод,
Был всеми славим и любим,
Штыком отточенным проколот,
Свой мозг оставит мостовым.

— Всё, господа,— и упал на стул, рванув ворот гимнастёрки.

Зал зашумел. Раздались голоса, хриплые, пьяные:

— Пр-ревосходно!

— Значит, пей, гуляй! Хоть день, да наш!

— Забвение прекрасно! Не так ли, господа?..

— Кто это? — спросил штабс-капитан.

— Поэт Маслов. А рядом с ним московский беллетрист Сергей Ауслендер. Бежал от большевиков и здесь написал книжку «Верховный правитель адмирал Колчак».

Штабс-капитан рассмеялся. И смех его не понравился Владимиру, желчный, сухой. Неприятный до боли в зубах, будто по стеклу шаркнули песком.

Подскочил официант в чёрной паре, галстук бабочкой. Смахнул салфеткой со стола.

— Что изволите заказать?

— Шницель и стакан водки,— сказал штабс-капитан.

— А мне бутылочку шампанского и закусить — салатик.

— Если есть деньги, возьмите пару бутылок коньяка,— посоветовал штабс-капитан.— Хочется напиться,— и метнул взгляд на певицу.— И ещё позабыл я, как бабы пахнут.

Разглядывая ресторанную публику, Владимир невольно обратил внимание на человека в толстовке с кустистыми бровями. Что-то знакомое было в нём. Но Владимир никак не мог вспомнить, где он виделся с этим господином. А может быть, просто он похож на кого-нибудь…

Затем Владимир встретился глазами с молодой женщиной в голубой блузке и чёрном галстуке. Облокотившись на спинку стула, она курила. Сидевшие за одним столиком с ней два лысых господина, очевидно, чиновники, говорили между собой, изредка бросая на соседку откровенные взгляды.

Владимир пристально посмотрел на женщину, и она поднялась и нетвёрдым шагом подошла к нему.

— Добрый день, господин прапорщик! — сказала она, откинув назад коротко подстриженную голову.— Я часто вижу вас здесь, и до сих пор мы почему-то не знакомы.

— Здравствуйте! — Владимир привстал и учтиво поклонился.

— Сядь! — прикрикнул на него штабс-капитан.— А вы, мадам, убирайтесь к чёрту! Прапорщик ещё успеет получить сифилис. У него всё впереди!

— Вы — подлец и нахал! — зло процедила сквозь зубы женщина и зашептала Владимиру на ухо: — Господин прапорщик, хотите, я научу вас безумной любви? За одну ночь вы познаете столько блаженства, мой мальчик!..

— Уходи! — прохрипел штабс-капитан.

Голубая блузка, недовольно передёрнув плечами, удалилась.

Штабс-капитан пил водку и коньяк фужерами и не пьянел. Только становился мечтательнее и добрее. Вскоре, вытерев рот салфеткой, он пошёл целоваться с поэтом.

— Правильно схвачено: р-раз — и мозг на мостовую.

В зал ворвались четверо в хаки. Старший среди них — чёрный, как цыган,— громко приказал музыкантам:

— Играй «Коль славен»!

Оркестр поспешно заиграл старинный русский гимн. Вошедшие поснимали фуражки, вытянулись в шеренгу, загородив проход.

— Встать! — крикнул старший, свирепо сверкнув глазами.

Публика стала подниматься. Загремели отодвигаемые стулья. В это время четверо военных бросились к ближней кабине и очистили её от сидевшей там компании.

В ресторан пришёл развлекаться начальник охраны ставки Верховного правителя Киселёв.

В бытность командиром Сербской дружины Киселёв спас в Севастополе жизнь Колчаку и за эту заслугу был возведён теперь в высокий чин. Со своим отрядом он среди бела дня совершал налёты и грабежи. Ограбленных обычно увозили за город и расстреливали. И никто не решался жаловаться на Киселёва. Его боялись даже офицеры контрразведки.

Приход Киселёва в ресторан не сулил ничего хорошего.

Чтобы не попасть в неприятную историю, Владимир взял под руку штабс-капитана, и, одевшись, они вышли из «Европы».

— Куда теперь, мой юный друг? — спросил обмякший фронтовик. — Хочу забыться. Хочу чего-нибудь эдакого…

— Идёмте в сад Губаря. Там показывают голых девочек. Прелесть!.. Или в кинематограф, — предложил Владимир.

В иллюзионе «Прогресс» в этот день шла драма «И песнь осталась недопетой» с участием кумира публики Ивана Мозжухина.

7.

С утра к площади судебных установлений стягивались войска. Толпы по-праздничному одетых людей приветствовали их с тротуаров и балконов. Дамы махали надушенными платками. В уличной разноголосице слышались крики:

— Слава героям!

— На Москву! К возрождению России!

— Слава союзным армиям!

Но на тротуарах были и другие люди — в замасленных пиджаках, грязных рубахах, в простеньких фартуках и платках. Они не кричали приветствий, а смотрели на проходящие войска или равнодушно, или враждебно. Восторженные дамочки и сияющие улыбками мужчины в котелках сторонились этих людей. Сторонились как чумы. У всех свежо было в памяти Куломзинское восстание, когда большевики намеревались свергнуть власть Верховного правителя. Тогда их перебили, бунтовщиков и подстрекателей. Однако ещё остались они, и рядом с ними так неспокойно, так ужасно на душе!

А войска вытягивались за Омку. Первым на Люблинский проспект с оркестром вступил шестой чехословацкий полк, который весной 1918 года разгромил советскую власть в Омске. Солдаты маршировали в новом обмундировании, с ленточками цветов национального флага на фуражках. У многих поблёскивали на груди Георгиевские кресты и французские медали «За храбрость». Впереди полка, раскланиваясь по сторонам, ехали в чёрном автомобиле командир чешских соединений генерал Ян Сыровы и чешский консул доктор Богдан Павлу. Несмотря на торжественность обстановки, у Сыровы был недовольный вид. Казалось, он считал лишней всю эту затею с парадом, посвящённым шестидесятилетию президента Чехословацкой республики Массарика. Не парады нужны сейчас русским, а решающий бросок к Москве. А может быть, генерал вспомнил пригретого Колчаком выкидыша революции, самоуверенного и наглого Гайду, с которым Сыровы давно уже не ладил?

Вслед за чехословаками в клубах пыли двинулась конница. Гулко цокали по мосту копыта. По шестеро в ряд ехали под знаменем Ермака Тимофеевича бравые казаки Сибирского войска с красными погонами и такого же цвета лампасами. Потом показались оренбуржцы в синих погонах. Среди них красовалась на гнедом коне казачка Нижне-Озёрной станицы Мария Пастухова, награждённая президентом Франции серебряной медалью за участие в защите Зимнего в октябрьские дни 1917 года. Подбоченясь, она показывала публике наполовину выкрошенные жёлтые зубы.

Начало парада было назначено на десять утра. К этому времени на площади у кафедрального собора скучились русские и союзные генералы и офицеры, члены правительства с Вологодским во главе, начальники иностранных миссий. Ожидали прибытия Верховного правителя и принимающего парад Жанена.

Владимир Поминов был в свите генерала Матковского. Пока войска выстраивались в шеренги, он перебрасывался замечаниями с офицерами контрразведки, прислушиваясь к разговорам. Неподалёку от Владимира, высокий и худой, похожий на Ивана Грозного, министр Грацианов, ковыряя тросточкой землю, что-то доказывал престарелому премьеру. Вологодский любезно поддакивал, потряхивая клинышком бороды.

— Наше правительство уже официально признано Югославией, — наконец заговорил премьер. — Скоро будут получены аналогичные телеграммы от правительств других стран Европы и Америки. Этот момент должен приблизить наше весеннелетнее наступление. Иван Иванович Сукин получил по своему министерству некоторые сведения из Парижа. Ставка сделана на нас.

— А генерал Деникин? — тросточка вздрогнула и рванулась вверх.

Грацианов заулыбался.

— В самом ближайшем времени он уведомит Верховного о своём полном подчинении ему, — продолжал Вологодский. — Кстати, вы слышали о судьбе генерала Болховитинова?

— Нет. А что?

— Деникин разжаловал его в солдаты за службу у большевиков.

— Совершенно правильно!

Несколько в стороне прохаживался министр финансов Иван Михайлов, сын известного народовольца Андриана Михайлова. Мальчик с виду,

он был умным и хитрым интриганом, одним из руководителей заговора, приведшего к власти Колчака. На совести Ивана Михайлова лежали многие аресты и убийства не только большевиков, но и эсеров. Недаром даже близкие к нему люди называли его Ванькой-Каином. Один тяжёлый, пронизывающий взгляд Ивана Михайлова заставлял трепетать омских деятелей. Сейчас Михайлов был явно не в духе. Его подвижное зелёное лицо подёргивалось.

Когда подтянулись к площади оренбургские казаки, в сопровождении киргизской охраны прискакал атаман Дутов, короткошеий и тучный. На конвойцах — меховые шапки и малиновые мундиры. Ловко спрыгнув с коня, Дутов кивком поздоровался со всеми и подошёл к генерал-лейтенанту Дитериxсу. Владимир видел, как они крепко пожали друг другу руки. Голубоглазый чопорный Дитерихс был старым воякой. Ещё при царе он служил у генерала Алексеева, затем командовал дивизией на Салоникском фронте. Осенью 1917 года участвовал в походе генерала Крымова на Петроград. В своё время Керенский предлагал Дитерихсу пост военного министра, но тот отказался и предпочёл работать в ставке у Корнилова и Духонина. После Октябрьской революции Дитерихс перешёл на службу в чехословацкий корпус, в котором занимал должность начальника штаба. Сейчас чехословаки намеревались покинуть Сибирь, и Дитерихс вернулся в русскую армию. Колчак назначил его генералом для поручений при своей ставке.

«Вот они, люди, которые возродят Россию!» — окинув взглядом столпившихся генералов и министров, с восторгом подумал Владимир. Будет о чём ему рассказать в Покровском. Впрочем, он едва ли вернётся в село. Он будет жить в Москве, где-нибудь возле Кремля. Или в Петрограде. Повысится в чине. А отец станет столичным купцом, заведёт в крупных городах магазины, женит Владимира на графине или княгине, которые сейчас обезденежели и не так разборчивы в женихах, как в прежние времена.

Ровно в десять из-за угла серого купеческого дома на площадь вышли автомобили Верховного правителя и Жанена. Над строем войск пронёсся гул. Особенно усердствовали казаки, которым в этот день начальство выдало по чарке водки.

Командующий парадом Матковский и Жанен начали объезд войск, а Колчак направился к Дутову и Дитерихсу. Сюда же подошли Вологодский и начальник тыла экспедиционных войск в Сибири, франтоватый английский генерал Альфред Нокс, только что вернувшийся из Владивостока. В подготовке решительного наступления на большевиков Нокс был неутомим. Он много ездил, организуя быструю доставку обмундирования и снаряжения на фронт. Но, как Нокс ни старался, у колчаковских армий пока ещё не было значительных успехов. Часть военных материалов, поставляемых Англией и Америкой, зимой и весной попала в руки большевиков, за что омские острословы прозвали Нокса интендантом Красной Армии.

Колчак был среднего роста, широкоплеч. На парад он явился в неизменной солдатской шинели, при сабле. На шее Георгий, принятый им от Гайды за победоносный зимний поход и взятие Перми. У Верховного правителя острые, строгие глаза, орлиный нос. Тонкие губы придавали жёсткость усталому лицу. Очевидно, Колчак всё ещё не мог оправиться от болезни. В декабре прошлого года на георгиевском параде он простыл и почти полтора месяца лежал с воспалением лёгких.

Некоторое время Колчак внимательно разглядывал строй шестого полка, как бы оценивая боевые качества каждого солдата. Затем, круто повернувшись к Дитерихсу, спросил озабоченно:

— Михаил Константинович, вы считаете, что чехов не удастся задержать в Сибири?

— Да, ваше превосходительство. Транспорт их на восток усиленно форсируется. Очевидно, Сыровы получены от чешского Национального совета соответствующие инструкции, — печально ответил Дитерихс.

— А доктор Павлу?

— Делает всё возможное, чтобы помочь нам.

— Когда мы восстановим империю, чехам дорого обойдётся это предательство! — глаза адмирала заблестели, худые руки сжались в кулаки.

— Чего ждать, ваше превосходительство, от людей, которые в своё время предпочли плен неприятностям войны? — сухо заметил Дутов.

Колчак, вытянув шею, задумчиво наблюдал за посеревшим от пыли «Роллс-ройсом» Жанена. Но вот резко взмахнул рукой и с укоризной сказал Дутову:

— Александр Ильич, я вас понимаю, но нельзя быть таким чехоедом.

— Пока что реальная сила у союзников — это чехи, — вкрадчиво произнёс Вологодский, склонившись в поклоне.

И снова адмирал взорвался:

— Я нуждаюсь только в сапогах, тёплой одежде, военных припасах и амуниции! Если в этом нам откажут, то пусть оставят нас в покое!

— У большевиков преимущества в артиллерии и пулемётах. Техническая оснащённость их армий выше нашей почти в полтора раза, — сказал как бы самому себе Дитерихс.

— Знаю, — спокойно ответил Колчак. — И на Средне-Волжском направлении у них перевес в людской силе почти на десять тысяч штыков и сабель. Об этом следует подумать. Третий и шестой Уральские корпуса пополнить за счёт резерва. Центр тяжести лежит там, под Бугурусланом и Уфой.

— Плохо с резервом, ваше превосходительство. Матковский в буквальном смысле выдыхается. Нужна мобилизация ещё десяти-двенадцати возрастов, — проговорил Дитерихс.

— Мы разрешим этот вопрос, — через плечо бросил адмирал Вологодскому. — Проведите через совмин соответствующее постановление. Пятнадцать возрастов.

Объезд войск закончился. Заиграл сводный оркестр гемпширцев и чехов. Сначала в церемониальном марше прошли шестой полк, затем казаки и, наконец, пехотные части Сибирской армии. Пехотинцы были одеты в новую английскую форму, пошитую по специальному заказу для колчаковских солдат. Шинели защитного цвета со множеством крючков, джутовые ремни, ботинки с обмотками и чёрные перчатки.

— Англия верна союзу с Россией, ваше превосходительство! — не преминул напомнить Нокс.

Вечером в военном собрании состоялся банкет в честь чехословацкой армии. Генералы явились с жёнами, разодетыми в дорогие платья. Прапорщик Поминов помог Гришиной-Алмазовой выйти из автомобиля и провёл её в вестибюль, где предупредительные офицеры встречали гостей. Он ждал генеральшу у подъезда и теперь был счастлив рядом с ней.

— Благодарю вас! — сняв шляпку и поправив пепельные локоны, вдруг сказала она.

Раздеться ей помог выскочивший из буфета офицер в белой черкеске. Гришина-Алмазова подала ему тонкую холёную руку, и они поднялись по лестнице на второй этаж, где в просторном зале, разделённом колоннами и арками, гремела музыка.

— Как она хороша! — прошептал Владимир, глядя вслед генеральше.

Ему нравились её холодное красивое лицо, её большие глаза, всегда властные и надменные. Нравились завитки волос на лбу и крутые бёдра. О, если бы Владимир мог сравниться с ней своим положением! Он бросил бы к её ногам всё: и честь, и богатство, и славу. Он и сейчас пошёл бы на смерть, чтобы вот так пройтись по залу с генеральшей, как этот офицер в белой черкеске.

Бросившись наверх, Владимир столкнулся на лестнице с адъютантом Колчака Комеловым. Высокий с умным взглядом тёмных глаз, Комелов считался безупречным офицером. Он знал адмирала ещё по флоту и сейчас, как говорили в Омске, был к нему очень привязан. Владимир остро завидовал репутации и хорошим манерам Комелова. Они были лично знакомы. Не раз им приходилось встречаться в ставке Верховного, когда Владимир сопровождал Матковского. Комелов приветливо кивнул головой и улыбнулся, посторонившись.

В зале пахло духами и табачным дымом. На паркете дробно постукивали каблуки.

Слышалась чужая речь.

Владимир искал глазами Верховного правителя и увидел его с генералом Ноксом. Колчак, как обычно, был в хаки, в сапогах. Он курил папиросу частыми затяжками и в раздумье глядел на хоры, где играли музыканты. При электрическом свете его лицо казалось землистым. Верховный много работает, а потом эти последние неудачи на фронте. Разгром группы Бакича на Салмыше. Провал наступления Сибирской армии на Казань. И всё это в каких-нибудь пять-шесть дней.

Пряча улыбку в усы, Нокс что-то сказал Колчаку, и тот грустно качнул головой. Затем они вместе посмотрели в сторону появившегося в конце зала подтянутого, молодого генерала Сыровы. И Владимир понял вдруг, что и парад по случаю чешского национального праздника, и банкет — последняя попытка задержать чехов в Сибири. Если она удастся, Москва падёт раньше, чем предполагают союзники.

За столом Владимир сидел рядом с известным омским купцом Алпатовым. По нескольку раз чокаясь с соседями каждой рюмкой, Алпатов повторял при этом:

— Россия, милостивые государи, поднимется из праха! Высок её жребий.

Алпатов по секрету рассказал о планах объединения отечественного капитала с иностранным. Предпочтение, конечно, будет оказано Англии и Америке. О, англичане удивительно проницательные люди! Они не случайно заявляют: «Владея богатствами Сибири, мы через несколько лет сделаемся кредиторами всего мира». И сделаются! И русские промышленники не останутся в накладе.

Ждали выступления Колчака. Наконец бесцветный Вологодский проговорил что-то о демократии и предоставил слово Верховному правителю. Тот встал, подался грудью к столу. Колючим взглядом упёрся в сидевшего наискосок Сыровы.

— Наша задача — работать вместе с союзными представителями, в полном согласии с ними. Я смотрю на настоящую войну как на продолжение той войны, которая шла в Европе, — говорил адмирал, нервно комкая в руках салфетку. — Никаких сложных больших реформ я производить не намерен. Я смотрю на свою власть как на временную. Буду делать только то, что вызывается необходимостью, имея в виду одну главную цель — продолжение борьбы на нашем Уральском фронте. Вся моя политика определяется этим. Стране нужна во что бы то ни стало победа, и должны быть приложены все усилия, чтобы достичь её!

Колчаку зааплодировали. В его искренность никто не верил. Адмирал хотел выглядеть возможно демократичнее, словно не им закручена до предела гайка военной диктатуры. Его слова были обращены к чехам. Владимир понимал это и в душе одобрял Колчака. Сейчас можно и, пожалуй, нужно поиграть левыми фразами. А когда

чехи повернутся на запад, всё решится само собой. На их штыках Колчак вернёт России монархию.

— Наш! — доверительно сказал на ухо Владимиру захмелевший Алпатов. — Верховный ещё покажет себя! Вот увидите, господин прапорщик!

8.

Поминов дежурил в приёмной генерала Матковского. День подходил к концу. К генералу, который куда-то уехал, звонили всё реже. Других служебных дел у прапорщика не было, и он, откинувшись на спинку стула, читал взятую у машинисток штаба обтрёпанную книжку.

Напротив, на изъеденном крысами мягком диване, недовольно посапывал командир воздушного флота полковник Борейко. Вот уже час как он ждал Матковского. Время от времени полковник со скрипом поднимался с дивана и, цокая подковами сапог, подходил к окну, из которого были видны летающие над городом «Сопвичи».

— Какая-то дьявольщина! — вслух думал он. — Это же чёрт знает что!

Владимир догадывался, на что сердился Борейко. В феврале рабочие железнодорожной станции Куломзино, что сразу же за Иртышом, подняли восстание против Колчака. Им удалось захватить станционные службы и обезоружить милицию. Восставшие намеревались взять Омск и создать Советы. Для этого, однако, у большевиков не хватило сил. Восстание было жестоко подавлено.

Но куломзинское выступление напугало омские власти. И среди прочих мер, принятых к поддержанию порядка, правительство решило ввести постоянное патрулирование аэропланов. Лётчики должны были вовремя замечать скопления людей в той или иной части города и немедленно сообщать в ставку или штаб округа.

Получив приказ, Борейко запротестовал.

— Мы не полицейские ярыжки, — раздражённо бросил он Матковскому.

Генерал заставил его подчиниться. Но Борейко был упрямым и добивался отмены приказа.

— Генерал может и не приехать сегодня в штаб? — спросил он, взглянув на часы.

— Да, — не отрываясь от книжки, ответил Владимир.

Борейко всегда разговаривал с ним, младшим по чину, запросто. Этим полковник отличался от многих знакомых Владимиру офицеров.

— Тем не менее я обожду, — сказал Борейко, внимательно разглядывая попавшийся ему под руку колпачок чернильницы. И вдруг решительно шагнул к Владимиру. — Бросьте, прапорщик, читать всякую дрянь! Скажите лучше: вы были на фронте? Вижу, что не были. И это не беда. Ещё успеете побывать. Знаете, что Наполеон говорил о военном успехе?

Владимир неохотно отложил книгу.

— Кажется, знаю. «Успех войны на три четверти зависит от духа войск и только на одну четверть от реальных сил».

— Верно.

— Кто отыщет секрет, как поднять дух, тот и спасёт родину. Тому слава вовеки.

— Дух поднимает идея. На татарском сабантуе я видел одно забавное зрелище, как люди взбирались на высокий и совершенно гладкий столб. Они обрывались, падали и снова лезли, потому что на столбе, на самой его вершине был приз — сапоги. А повесьте вместо сапог мочало, и вы увидите, как падает интерес к этому спорту.

— Пожалуй, вы правы, — согласился Владимир.

— Я не случайно спросил вас о фронте. Чтобы до конца понять силу противника, надо видеть его в бою. О том, что в сердце у вражеского солдата, не расскажут никакие разведывательные данные.

В коридоре послышались чёткие грузные шаги. Владимир узнал их. Вскочил, оправил гимнастёрку.

Не задерживаясь в приёмной, Матковский прошёл в кабинет. Генеральский адъютант сказал Владимиру:

— Можешь идти. Генерала вызывают с докладом к Верховному.

Густой голос Борейко уже гремел в кабинете. Полковник снова требовал отмены приказа о патрулировании. Называл десятки причин, настаивал и опять просил.

— Не могу. Сие от меня не зависит! — с раздражением отвечал Матковский. — И меня не касается, есть у вас горючее или нет.

Из штаба Владимир и Борейко вышли вместе. Над городом опускались лиловые сумерки. Вечер был тёплый. Пыльные тротуары кишели народом.

— Я провожу вас, прапорщик, — сказал Борейко. — Хочется закончить наш разговор. Так вот… об идее и солдатском сердце. На фронте мне часто приходилось летать. И однажды на меня напал аэроплан красных. Он дал по моему «Сопвичу» несколько очередей, пройдя совсем рядом. Я рассмотрел даже лицо лётчика. Молодой парень, примерно ваш ровесник, боевого опыта мало. Я мог легко сшибить его, но почему-то пожалел. А он снова и снова шёл в атаку. Кончились патроны — хотел стукнуть меня в лоб. Это значит: оба аэроплана в щепки, и нам — крест!.. В последнюю секунду я увильнул вправо. Мы разминулись. Затем я показал ему пальцем на землю. Мол, полетишь туда. Он понял меня, но и это не подействовало.

— Что же дальше? Разумеется, вы пристрелили его.

— Нет, прапорщик. У меня было преимущество в скорости, я помахал ему рукой и ушёл в облака… А ночью не мог уснуть. Размышлял об идее, которая живёт в этом мальчишке. Очевидно, она кой-чего стоит. В ней весь секрет.

— Вы так думаете?

— Чего ж тут думать. Так оно и есть на самом деле. В противном случае мы бы давно уже гуляли с вами по Арбату или Тверской,— Борейко остановился и подал Владимиру горячую сильную руку.— Мне обратно, на Инженерную.

Всю дорогу до гостиницы Владимир думал над словами полковника.

Пожалеть врага? Нет, этого бы прапорщик никогда не сделал. Если ты не убьёшь, он убьёт тебя. Таков закон войны. Владимир ещё мог допустить снисхождение к чужеземцу. Но пощадить красного, который несёт гибель всей России,— преступление. Скорее прапорщик бы сам погиб вместе с врагом, чем упустил его.

И ещё Борейко говорил об идее. Какая идея у большевиков? Всё разрушать, жечь, сметать с лица земли. Дай им волю — и наступит конец мира. Россия захлебнётся кровью и погибнет. Самого Борейко в благодарность за милосердие большевики повесят на первом же столбе.

В гостинице Владимиру бросилось в глаза необычное для этого часа оживление. Люди что-то горячо обсуждали в коридорах. Японцы из военной миссии скалили белые крупные зубы.

— Русские есть немножко забавный человек,— сказал один из них, кланяясь на лестнице Владимиру.

— Что произошло? — спросил Поминов у горничной.

— Вы, конечно, хорошо знаете коридорного Василия,— тоном заговорщицы ответила она.— Так вот… Василий — большевик! Его только что увели в контрразведку. И кто бы мог подумать? Всегда тихий такой, ласковый со всеми, а у него в чемоданчике нашли крамольные листки, где против власти понаписано. Скажите, господин прапорщик… Вы хорошо знаете порядок. А нас в свидетели не позовут? Мне страшно. Я ещё никогда не была в свидетелях. И ничего не могу сказать. Коридорный мне не показывал никаких листков.

Владимир вошёл к себе в номер, защёлкнул дверь на задвижку и, не снимая шинели и сапог, бросился в постель. Вот он полежит немного и пойдёт. Ему необходимо идти. И не в военное собрание, не в «Европу» — он должен идти в контрразведку и всё рассказать там о разговоре с Борейко. Может быть, лётчик совсем не тот человек, за которого себя выдаёт. Владимир его разоблачит. И сделает карьеру.

Через минуту прапорщик снова был на ногах. Длинное прыщеватое лицо его побелело. Наконец-то он отличится! И какой случай! Его нельзя было упустить. Или сейчас, или, может быть, никогда.

Владимир знал серое трёхэтажное здание с огромными колоннами на Атамановской, которое выходило фасадом на площадь Казачьего собора. При царе здесь размещался кадетский корпус, а после выступления чехов весной 1918 года это здание заняла контрразведка. С тех пор во дворе, обнесённом высокой оградой, по ночам слышались выстрелы. В городе шептались: это контрразведчики стреляют по живым мишеням.

В просторном вестибюле дежурный унтер-офицер проверил документы Владимира. Доложил кому-то по телефону и, окинув прапорщика придирчивым строгим взглядом, спросил:

— Оружие? Если при себе, сдайте.

— Нет оружия. Мне известен порядок.

— Вас ждут, четвёртая комната налево. Ротмистр Шарунов.

Когда Владимир повернул в длинный коридор, он почувствовал, как страх сжал сердце. Вдруг его обвинят в чём-нибудь и не выпустят отсюда?

У дверей кабинета его встретил офицер в черкеске, тот самый, что ухаживал на банкете за Гришиной-Алмазовой. Владимир вздрогнул от неожиданности. А офицер улыбнулся и любезно провёл его к накрытому зелёным сукном столу. Пригласил сесть.

— Скажу вам откровенно, прапорщик: у вас есть чутьё,— весело проговорил ротмистр, облокотясь на стол.— Это — природный талант и даже среди контрразведчиков редкость. Мы ведь только хотели посылать за вами.

Владимир снова вздрогнул. Что бы это значило? Зачем посылать? Ах да, наверное, по делу коридорного. Но Владимир ничего не знает о большевистском агенте. Коридорный приносил ему чай, газеты — и только.

— С вашими данными, прапорщик, вам надлежит быть в нашем учреждении,— продолжал ротмистр.— У нас ещё многие ходят на свободе, кого давно бы следовало записать в поминальник.

— Я… я вас не понимаю,— бледными губами трудно сказал Владимир.

— А вы думаете, что мы намерены нянчиться с вашим приятелем?

— С кем?

— Да с этим же самым штабс-капитаном. Скажу вам по секрету, мы следили за ним, как только он сошёл с поезда. Затем вы имели честь встретиться с ним в ресторане, вместе были в кинематографе и так далее. Не скрою, если бы вы не явились сейчас сами, у нас, естественно, могли возникнуть некоторые сомнения. Но вы почувствовали в нём врага и пришли к нам…

— Да,— нашёлся Владимир.— Именно так.

— А вы знаете, что это за птица? Я полагаюсь на вашу благонадёжность, которая, кстати, весьма тщательно проверялась. Мы знакомились с вашим личным делом,— улыбнулся ротмистр.— Так должен вам сказать, что штабс-капитан, с коим вы имели честь ужинать, состоит в тайной

офицерской организации, о которой у нас есть кое-какие сведения. В Омск он приехал для встречи со своими единомышленниками. Нам бы не было нужды беспокоить вас, если бы не одно непредвиденное обстоятельство. Штабс-капитана знает в лицо наш агент. Но он тяжело болен. И в нашей работе бывают промашки. Когда вы расстались со штабс-капитаном, он подался в сторону яхт-клуба. Агент следил за ним и, будучи убеждён, что тот пьян, ослабил внимание. Этим воспользовался штабс-капитан и напал на агента. Теперь вся надежда на вас.

— Я к вашим услугам, — сказал несколько успокоенный Владимир, поднимаясь с кресла.

— Сидите, прапорщик, — ротмистр не спеша прошёлся по кабинету. — Вы хорошо помните его?

— Разумеется.

— Это и нужно. А не назвал ли штабс-капитан своей фамилии?

— Назвал! — вскричал Владимир. — Каргополов. Зовут Михаилом.

Ротмистр схватил со стола карандаш и стал писать.

— А откуда он? Не говорил?

— С Северного участка Юго-Западного фронта.

— Хорошо. У вас отличная память, что очень ценно. Если вы понадобитесь, мы пригласим. Может быть, у вас ещё есть что сказать?

— Нет. Пожалуй, всё…

9.

Широка Сибирь. Так широка, что, кажется, нет ей конца и края. Не меряны её степи и леса. Не считаны её дороги. Да и как сосчитаешь их? Где прошёл человек хоть однажды, там и дорога.

Широка Сибирь, но и в ней порой бывает тесно — не разминуться. И на её просторах снова и снова сталкиваются судьбы, скрещиваются пути людские. И никого это не удивляет, как не удивился бы и Владимир Поминов, узнав в человеке с кустистыми бровями мясоедовского квартиранта.

В тот день Геннадий Евгеньевич не случайно оказался в ресторане «Европа». Не от скуки пришёл он сюда. Последнее время Рязанов был слишком занят, чтобы вот так часами просиживать рядом с бездельниками и кутилами.

Как только он прибыл в Омск, события захлестнули его, втянули в свой водоворот. Вместо широкого выхода на российскую политическую арену, его партия несла одно поражение за другим. Эсеровские мятежи в Советской республике были повсеместно разгромлены. Большевики объявили красный террор, обезглавивший организации партии в двух столицах и центральных губерниях.

А в Омске против настроенных республикански левых эсеров выступили сторонники единоличной военной диктатуры и монархии. Кадеты и энэсы, члены «Союза возрождения России» и другие правые партии и группировки, в том числе и омская группа «Воли народа», сделали всё, чтобы привести Колчака к власти. Атаманы Волков, Красильников и Катанаев, арестовавшие членов Директории — эсеровских лидеров, действовали по указке правых.

Рязанов понимал, что эсеры сами откармливали и выхаживали кровожадного зверя, который пожирал сейчас их самих. Было время, когда они лобызались с черносотенцами, когда любой, кто боролся против большевиков, почитался ими как истинный патриот России. Теперь наступил час расплаты за политику учредиловки. От эсеров открещиваются как от нечистых, их сторонятся как прокажённых. Даже старая шляпа — Вологодский, расшаркиваясь перед Ванькой-Каином, заявил: «Я был социалистом-революционером, но никогда не был слишком партиен. Я и теперь держусь мнения, что если бы левые течения были более терпимыми и умеренными, то у нас не было бы тех потрясений, которые произошли».

Какое беспримерное ханжество! Вологодскому ли не знать, как были податливы и уступчивы эсеры в грязной политической игре. Даже сейчас они пошли бы на все уступки. Но с ними не считались, на них наступали, и нужно было обороняться. В недрах эсеровского подполья вынашивались планы заговоров против омской власти.

Юрий Беликов

Сгущение России, или Диалоги на Земле Постникова

Повествование о Действе, задуманном и воплощённом поэтом и публицистом, членом нашей редколлегии Юрием Беликовым, поводом к проведению которого послужила его новая книга «Трещина на Голгофе» (диалоги и предсказания)

Братание зеркала со стаканом

Перед тем как затеять это Действо — «Диалоги на Земле Постникова», я подключил *предметную* память. Точнее, она подключилась сама: кто или что могут стать особенными участниками «Диалогов»?..

Зеркало!.. Личное зеркало народного комдива времён Гражданской — Василия Ивановича Чапаева. Переданное в дар Парку истории реки Чусовой его правнучкой Евгенией. Зеркало, у коего он брился, подправляя лезвием свои легендарные усы, приводящие в дрожь многих жёнок, включая театрализованную и эмансипированную половину комиссара Дмитрия Фурманова. Этакое далеко не тонкое, а какое-то даже слоистое, на солидной деревянной основе. По формату напоминающее Евангелие. Вот оно-то, зеркало, и должно мне помочь! Пусть наблюдает за нами — за всеми, кто соберётся в этот час под крышей «Аринушки» — то ли таверны, то ли казачьей заставы, то ли охотничьего домика, чьи стены устрашены мордами звериных чучел (волк, кабан, лось) и исписаны отчаянными стихотворными экспромтами. Вот один из них:

Под нашим красным знаменем
Гореть нам синим пламенем…

Авторство принадлежит Юрию Влодову. Не треснет ли чапаевское зеркало? Или с экспромтом согласится? Забавно: когда в середине девяностых оказавшийся в Парке Евгений Евтушенко стал переносить в походно-черновой блокнот для будущей антологии «Десять веков русской поэзии» обнаруженные им здесь и привлёкшие его настенные надписи, а хозяин Парка Леонард Постников поинтересовался, знает ли он такого

Юрий Беликов, открывающий Диалоги на Земле Постникова

поэта — Юрия Влодова, Евгений Александрович начал устанавливать между словами мхатовские паузы: «В истории… русской поэзии… такого поэта… я не знаю!»

Как порой отрицание свидетельствует об обратном!

Так, зеркало. Какое «отрицание» может ещё потребоваться мне? Накануне я побывал в обновлённой деревенской торговой лавке Парка, являющей весь распах прежних товаров — от самоваров до патефона. И вот там-то, на одной из полок, разглядел не без помощи продвинутой экскурсоводши стеклянный стаканчик, выпущенный в честь… коронации Николая Второго. Целёхонький. Даже ни царапинки на нём. А что, ежели учинить историческое братание — чапаевского зеркала с коронационным стаканчиком? В конце концов, Василий Иванович верой и правдой служил в Первую мировую царю и Отечеству, за что был отмечен полным бантом — четырьмя крестами Святого Георгия. Да и смертушку принял, как поведала мне его правнучка, хоть и от белоказаков, да только сдали комдива красные

лётчики, получив за предательство, судя по всему, денежную мзду от собственных же высокопоставленных подельничков, а затем и — места в том же красном правительстве…

Какого оптико-физического эффекта хочу я добиться, сближая зеркало и стакан? (О, как много об этом в русской поэзии! «Полон стакан, пуст стакан, гомон гитарный, луна и грязь…» Это — Цветаева. «Я один… И разбитое зеркало…» Это — Есенин.). Два вопиющих предмета, обозначающих… «Трещину на Голгофе».

Так называется книга, огромная, более чем тысячестраничная — девушка возьмёт в руки и уронит! — и уж читать её точно не возжелает. Сей труд, отважно выпущенный в питерском издательстве «Алетейя» (по-гречески — «истина»!), охватывает последнее тридцатилетие России. От 1993-го — когда я поговорил в Овсянке с Виктором Петровичем Астафьевым, и тогда-то именно он втесал предсказательные и неподъёмные слова усталого солдата, пережившего Великую Отечественную, что, дескать, случись война сейчас, он бы… (а дальше уж читайте в тысячестраничной «Трещине…») — до 2021-го (потом, года два, я доделывал книгу, внося поправки и уточнения), когда завершил диалог со своим давним сослуживцем — и. о. командира агитпоезда ЦК ВЛКСМ Алексеем Антоновым, ещё в 1982 году предсказавшим, что «комсомол — это мафия будущего».

Диалог наречён «Призрак агитпоезда», где, в самом конце разговора, агитэшелон выползает из исторического тупика, народ, хлынувший на перрон, заполняет вагоны, тамбуры, лихорадочно, потому что не хватает места, перебирается на крыши вагонов, и поезд отправляется не то в прошлое, не то в будущее… В общем, всё — в зеркале Василия Ивановича и в линзе приподнятого в тосте коронационного стаканчика. Ведь отчего-то, подперев щёки ладошами, в них, в зеркало да стаканчик, зачарованно смотрится в «Аринушке» Галя Матвеева, жена и муза, и ангельский голос пермского барда грушинского разлива Евгения Матвеева, который, по сценарию Действа (а он, сценарий, уже в моей голове лепился), должен был исполнять «Прощай, Империя!» на стихи Геннадия Русакова.

А какого эффекта, призвав чапаевское зеркало и николаевский стакан, я хотел добиться?.. А шут его знает. Может, публику чаял заворожить, тех же девушек. Вон их сколько, художниц-то всяких-разных. Может, возмечтал извлечь из воздушно-временно́й смеси некую эпоксидную смолу, чтобы запаять *трещину*?.. Молвила же Марина Саввиных в присланном приветствии: «…не здесь ли, не в чудесном ли этом зачарованном лесу содержится чудодейственное снадобье, способное трещину затянуть, расколотое восстановить, боль неизбывную — излечить?»

Почему — книга, «отважно» выпущенная? Потому что в ней соединено несоединимое — Новодворская и Нарочницкая, Михаил Тарковский и Дмитрий Быков, Станислав Куняев и Вадим Рабинович, Дугин и Ройзман… Всего — восемьдесят пять исторических, я подчёркиваю это, персонажей современности. Не только — русские: Курбатов, Крупин, Чудинова, Князев, Холмогоров, Севастьянов, Душенов, Тюленев, Иван Миронов, Татьяна Петрова. Но и — грузин Мурман Джгубурия, армянка Нвард Авагян, азербайджанец Наби Балаев, серб Зоран Костич, еврей Исраэль Шамир. Во времена, когда континенты дрейфуют друг от друга (возможно, и в прямом, геологическом смысле), необходимо обладать личным мужеством и ответственностью главного редактора издательства «Алетейя», что явил для меня Игорь Савкин, дабы, когда «не можно», «впрячь», вопреки классическому предписанию, «в одну телегу… коня и трепетную лань». «Можно!» — осадил Пушкина Савкин.

А Саввиных (здесь и фамилии почти срифмовались!), как я уже воспроизвёл выше, одарившая, аккурат к началу Действа, нас приветствием, указала на вулканическое наименование книги: мол, название «страшное… и точное». Да, завеса в храме расползлась ещё тогда, когда Иисус погиб на Кресте, и *трещина на Голгофе* не могла не явиться именно в тот миг. Но и дальше-то, несмотря на то, что она была от досужего взгляда по-музейному застеклена, продолжала и продолжает оказывать своё влияние на ход времён. И, если мне удалось преподать ту *трещину* в толще книги, как же я прорисую её во время задуманного мной Действа «Диалоги на Земле Постникова»? Впрочем, «трещина» вызмеилась сама.

Эпоксидная смола за ненадобностью

Половины уж из тех восьмидесяти пяти нет, если не более. Природа словно наказывает человеческую биомассу за её глухоту и забирает вопиющих в пустыне. Хотя биомасса и этого не замечает, являя не токмо глухоту, но и слепоту. Помню, как, казалось бы, ещё совсем недавно сидели мы на берегу уральской Усьвы с Валентином Курбатовым и диктофон мой как раз записывал наш последний с ним диалог. И вот, в разгар какого-то доказательства, Валентин Яковлевич устремил благодатный свой лик в защемлённую кучевыми облаками высь и, говоря о Викторе Петровиче и Валентине Григорьевиче, вознёс в межоблачный прогал, точно бумеранг молнии запустил:

— Скоро и я к вам приду!..

И подтвердил:

— Скоро!..

И пришёл — с букетом цветов наперевес, будто собранным им для Богородицы. Посему я

Юрий Беликов и зеркальные Диалоги

и сам не ведаю, что будет со мной через полгода, да хотя бы — на момент явления этого номера «Дня и ночи» читающему человечеству. У каждого — свой запас Вечности. У меня он с недавнего времени исчерпан. С тех пор, как ушла моя драгоценная матушка — великомученица и предсказательница. Оттого я и хочу собрать всех, кого можно и нельзя. После длительного перерыва. Повенчать Нарочницкую с Ройзманом. Вызвать, как вызволить, с Белгородчины художницу Катю Севергину, написавшую в середине девяностых при сорокаградусном морозе, что трещал за хлипкими стенами нашего жилища, здесь же, в постниковском Парке, портрет Евгения Евтушенко, представленный в моей книге. И — обняться. И — признаться в любви. Даже если к этим объятиям и признаниям не все готовы. Об этом я сказал другой пермской художнице, Анне Вдовиной, на крыльце дома крестьянина-промысловика — как бы в продолжение того самого Действа — набрасывавшей этюд к возможному моему портрету. Я почти не видел его, тот этюд, потому что боялся быть ослеплённым лицом Анны. Но я помню своё лицо. С опухшими подглазьями и взглядом, буксующим в собственном фанатичном вопросе, который я — на протяжении тридцати последних лет — задавал многим моим собеседникам: «Отчего красота не спасает?» Хватит прихорашиваться. Хочу быть таким, как Мусоргский под кистью Репина! Тогда же, в середине девяностых, я так завершил одно из стихотворений:

Я Родину свою не пропиваю —
её давно пропили за угором.
Пью на краю. И нет России с краю.
И под угор я царственно шагаю,
сгущается Россия под которым.

А всё-таки она сгущается! Россия-то. Пусть ещё не до самоочистительной гущины. Пусть ещё вокруг воруют. Облапошивают. Пусть ещё воюют преимущественно за деньги. И поголовно поют всякую попсовую чушь, выстраиваясь в извилистые очереди на телевизионных каналах. Это когда ещё — более века назад — сокрушил нас беззащитною исповедью Вертинский: «Я не знаю, зачем и кому это нужно, / Кто послал их на смерть недрожавшей рукой…» Но рано или поздно Россия сгустится. И вот тогда… Тогда, даст Бог, «Диалоги на Земле Постникова» будут иными. А пока…

Я начал звонить героям собственной книги и связываться с ними по электронной почте. С Александром Прохановым, Станиславом Куняевым, Егором Холмогоровым, Александром Дугиным, Владимиром Бондаренко, Исраэлем Шамиром, Николаем Бурляевым, Александром Севастьяновым, Владимиром Крупиным, Иваном Кононовым, Татьяной Петровой, Мариной Кудимовой, Павлом Вощановым, Максимом Калашниковым, Геннадием Красниковым, Иваном Мироновым. Тем паче что приглашённым на Землю Постникова выпадал редкостный шанс быть воплощёнными на быстроходных, напоминающих Гуляй-город образца 1572 года, во время исторической битвы при Молодях, самокатящихся холстах Анны Вдовиной, ибо этого всеохватного подступа она и не скрывала. Подобраться за дощатой защитой к прошеным и непрошеным гостям поближе и выстрелить разом прицельной палитрой из всех прорезей-бойниц! Эх, если бы упомянутые персонажи подпали под кромешное обволакивание её цыганско-польских очей, они бы отодвинули все свои средоточия, графики и комплексы и ринулись бы ошарашенной гурьбой на Землю Постникова!.. Но… Как всегда, мне чуточку не хватало Анны.

Философ Наби Балаев. Диалоги вступают в горячую фазу

— Земля Постникова?.. — прикинул Иван Кононов, чьи познания в отечественной географии, очевидно, утыкались в созданный им хит «Левый, левый, левый берег Дона».

И, хотя в относительно недавнем прошлом он был обладателем «Третьего глаза» на центральном телевидении, Иван Арсеньевич решил, как отрезал, что Земля Постникова — это Бог знает где, во всяком случае, очень далеко.

А Земля Постникова — это моя малая родина, где родились эти «чуткие сучья» — «чуть зачумлённые» строчки, которые любил повторять сам Леонард Дмитриевич, главный хранитель созданного им Парка, и читал вслух Виктору Астафьеву, обнаружив присланное в Красноярск из Чусового письмо, Валентин Курбатов:

Чусовой — это совы на сучьях сосновых
над часовенкой совести в частых засовах…

Под «часовенками совести» я подразумевал постниковские часовни, ещё в советские годы спасённые Леонардом в соседних деревнях от разорения и перевезённые на левый берег речки Архиповки (как это перекликается с твоим, Ваня Кононов, «левым берегом Дона»!). По замыслу моему, именно сюда, на Землю Постникова, куда в разное время и при разных обстоятельствах стекались герои моей книги — во всяком случае, их большинство: от Виктора Астафьева до Леонида Бородина, от Татьяны Петровой до Ларисы Васильевой, от Сергея Есина до Георгия Гачева, от Станислава Куняева до Евгения Евтушенко, — и должны были четырнадцатого-пятнадцатого сентября 2024 года (новолетие!) съехаться те из них, кто ещё здравствует и способен удивляться красоте Божьего мира и всепримиряющему Детству человечества…

Почему я заговорил о Детстве человечества применительно к Земле Постникова? В «Трещине на Голгофе» есть цветная вклейка, и на одном из этапов её сталкивающихся кадров — два объединённых снимка, где олицетворяющие известное предупреждение Николая Рубцова: «Что лучше разным существам / в местах тревожных не встречаться», — заглянувшие в постниковский балаган, разумеется, по отдельности поэты Станислав Куняев и Евгений Евтушенко с равновеликими блаженными улыбками увлечены вместе с Леонардом движущимися деревянными игрушками. И есть у меня предположение, что, несмотря на разделяющие их свиты и идеологемы, Куняев и Евтушенко всю жизнь ждали человеческого сближения. В свой первый приезд на Землю Постникова, пройдясь по Парку и оглядев его утопающие в снегу крестьянские дома и часовни, Евгений Евтушенко признался мне, протянув:

— Да-а-а, здесь я бы тоже стал русским националистом!

Когда, общаясь со Станиславом Куняевым, я рассказал ему об этом нескрываемом восторге его вечного антипода, Станислав Юрьевич по-детски воскликнул:

— Ну наконец-то!

Но прибыть на Землю Постникова во второй раз не решился. Девяностооднолетний старейшина русской поэзии где-то даже по-рыцарски слукавил:

— Не могу оставить жену. Ей восемьдесят шесть лет…

А вот восьмидесятишестилетний Александр Проханов незадолго до намеченных «Диалогов…» предпринял воистину небывалый для его возраста и грузоподъёмности марш-бросок — десантировался под Туруханском, чтобы стать свидетелем, как на берегу Енисея откроют памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Создатель нынешних экопоселений в России Вадим Меркурьев-Масалкин — один из главных помощников Юрия Беликова на Диалогах

— Я, словно обвязанный гранатами, совершил самоподрыв, — множилась метафорами телефонная трубка. — Теперь отмокаю в молоке…

Живущий в Швеции и точно так же, как и Александр Андреевич, не смогший навестить Землю Постникова, правда, адресовавший бодрое приветствие её паломникам, Исраэль Шамир указал в оном, что ваш покорный слуга «ещё и непревзойдённый мастер стихотворного экспромта — только попросите и убедитесь!». Посему я ответствовал главному редактору газеты «Завтра» в телефонную трубку, меня подзарядившую:

И вижу я в уральском далеке:
Проханов отмокает в молоке.
Мне говорят ответственные лица,
что в молоке готов он раствориться.
Но бесы воют: «Нестыковка планов!
Никак не растворяется Проханов…»

Трубка разразилась гомерическим хохотом. И надиктовала мне то, что огласил бы Александр Андреевич, очутившись в Парке истории реки Чусовой.

«Я не попал на Землю Постникова, что составляет частицу дорогой моему сердцу Перми Великой в её расширительном толковании. Но я живу на Земле Постникова, потому что Земля Постникова — это Родина. Она вся наполнена трещинами, заросшими и зияющими расколами. Эти расколы имеют тысячелетнюю давность и давность вчерашнего дня. Это расколы между Киевской и Новгородской Русью, московским государством и петровской империей, николаевским самодержавием и сталинской красной державой. И, конечно, великий раскол между недавней красной империей и сегодняшним временем. И все эти расколы проецируются в сознании русского человека! Сегодня среди нас есть белые и красные, западники и славянофилы, есть монархисты и ленинцы, есть сталинисты и обожатели Егора Гайдара. А есть такие, похожие на расколотые вазы, в которых все эти противоречия существуют одновременно. А посему постарайтесь, братья и сёстры, насладиться этими расколами, а не склеивать их».

Вот так — «насладиться, а не склеивать». Потому что действующие лица «Трещины на Голгофе» начали присылать мне либо вежливые, дипломатичные отказы, ссылаясь на личные или объективные обстоятельства, либо — конспирологические экивоки, либо — как Николай Бурляев, коему я — по простодушию своему — выслал цветную вклейку с вмонтированной в неё кинолентой из жизни противоречивых персонажей, а он тут же взъерошился: «Среди героев есть имена спорные!»

— А он сам-то что, не спорный? — скрестил с Николаем Петровичем шпагу обитающий в Подольске кинорежиссёр и поэт Сергей Князев, диалог с которым «Инок русского кино, или Свои должны драться за своих» вошёл в начальную главу «Гуси-лебеди Руси».

Скрестил и приехал на Землю Постникова! Потому что где нет Бурляевых и Дугиных, там всегда возникает Князев.

Однако «трещин» добавил и бывший узник «Матросской тишины», также входящий в число восьмидесяти пяти героев моей книги, фигурант приснопамятного покушения на Чубайса Иван Миронов. Когда я начал перечислять те самые «спорные имена» возможных участников «Диалогов…», полагая, что если сие касается условной «русской партии», не говоря уж о западниках и, уж не приведи Господи, иноагентах, то это и есть сегодняшние козыри. Да только Иван прервал мой лихой заход звенящим шлепком могущественной шестёрки виней:

— Я не хотел бы, при всём к вам уважении, чтобы меня ассоциировали с псевдопатриотами!

В общем, начни в одном беспроигрышном месте заливать эпоксидной смолой «Трещину на Голгофе», а она даст новый раскол в самом, казалось бы, надёжном, монолитном и крепком направлении…

Вот и Ройзман в «Аринушку» тоже не сунулся. Обещал перезвонить, но при этом стукнул себя в грудь:

— Имей в виду, что я — иноагент!

Ну-ну. Как же я выкрутился?

Засадный полк, или Цветок от незнакомки

Каждый предпочёл не отбрасывать тени. И оставаться в тени. То ли собственных жён, то ли нечаянных событий, то ли чаемых обстоятельств. И потом, каждый мнил себя действующей фигурой

на шахматной доске. Во всяком случае, не пешкой, прорывающейся в ферзи! В особенности — когда гроссмейстеры, с проекцией на мировые экраны, одновременно играют на нескольких досках…

Но мы-то с Князевым ещё отбрасываем тени. И они могут быть гигантскими. Например, при низком солнце, на закате или на восходе. И, само собой, тени эти больше, нежели мы сами. И если уж писать художницам наши исчезающие натуры, то лучшими портретами будут тени оных. «Мы — прах, не воинство. / Какой с нас прок? / Но тени строятся / за нами — в полк». Наш полк — засадный. Он ждёт до последнего и всегда приходит на выручку. В «Трещине на Голгофе» есть четвёртая глава «Опята на пнях?». Однажды я спросил у Анатолия Королёва, ныне модного московского прозаика:

— Толя, можешь ли ты смоделировать свой образ, если предположить, что ты в тысяча девятьсот восьмидесятом году не уехал в Москву, а продолжал бы жить в Перми?

И Королёв ответил:

— Во-первых, меня, конечно же, никогда не пригласили в жюри «Флаэртианы». Дескать: «А, местные опята, растут на своих пнях!.. Никого они не интересуют».

А я утверждаю, что это — самые изысканные грибы. Причём в любом виде. В частности, в маринаде. Анатолий Васильевич, под водочку-то, а? Перечисляю, кого я «насобирал» в русской провинции: Борис Гашев (поэт-невидимка, «открытый» журналом «Юность» в девяностые; вышел во двор своего дома за пивом и был убит ударом женской туфельки в висок), Виктор Наймушин (кинорежиссёр и актёр, сыгравший первым в СССР роль Иисуса Христа на квартирнике; сдавали в милицию, потому как похоже на секту), Владимир Зубков (филолог, обладатель «авантюрного» гена; его дядя Александр Зубков, будучи моложе своей избранницы на тридцать пять лет, охмурил сестру германского кайзера Вильгельма Викторию, а женившись на ней, промотал за месяц всё её состояние, зато вошёл в книгу «100 великих авантюристов»), Виктор Соснин (выпускник ВГИКа, отшельник, свидетель, как исчезло с афиш имя его друга Владимира Дьячина, автора инсценировки в театре на Таганке «Мастера и Маргариты», а остался на них сплошной Юрий Любимов), Евгений Матвеев (бард, автор дисков, в том числе «Не грусти на холодном причале», ниспровергатель авторитетов от Высоцкого до Митяева), Анатолий Жохов (альтист-импровизатор, потомок Алексея Жохова, лейтенанта императорского флота, сделавшего последнее географическое открытие двадцатого века, да и вообще — последнее; ныне это остров Жохова).

Кажется, достаточно?.. Как только что написала мне художница Катя Севергина (электронная почта), сперва воротившаяся после Земли Постникова в Белгород сама, а затем, получив посылку с книгой «Трещина на Голгофе» вдогонку, поелику она не умещалась в сумку (а я ведь говорил!), уже успевшая погрузиться в содержимое этого тома: «Невероятный труд, настоящий памятник эпохе! Конечно, твои собеседники разные, не все мне близки и симпатичны, но все интересны…»

«Я интересен — этим и поэт», — перевернул я когда-то Маяковского. Если это так, значит, наш засадный полк решит исход битвы?

Зеркало и коронационный стаканчик уже на столе. Их братание начинается. «Трещина на Голгофе» — толщиной с Библию — у меня в руках. Ею я благословляю забрезжившее Действо. Обращаюсь к собственной книге из будущего:

Там, где меня уж нет,
я различаю лица,
в коих твой след не длится.
Впрочем, а был ли след?

Хотя философ Анатолий Жохов уподобляет огромную книгу мою магическому кристаллу, у которого множество граней (эта грань глянется тому, а та — этому), однако в целом они и создают сей кристалл, не только отражающий прошлое и настоящее, но и перемещающийся в будущее. Я благосклонно отношусь к героям собственной книги, да и вообще к людям, желающим меня поддержать. Но не обольщаюсь: потому что давно не видел — ни в метро, ни в трамваях-автобусах — гомо сапиенсов, читающих книги (гаджеты — не в счёт). Последним был уборщик мусора Володя, мантулящий на киргизскую семью в пределах трёх домов нашего двора. Когда в работе его случались простои, а может, просветы, он садился на скамейку и раскрывал потёртые корешки, шелестел пожелтевшими страницами. Возможно, книги эти были добыты им на тех же мусорных свалках. Но и Володю я тоже давно не видел (его жена, этническая немка, уехала вместе с дочерью в Faterland, книгочей запил, потерял жильё и стал скитаться), и я боюсь спрашивать у вальяжно-ленивого Эдика (на такое русское имя он предпочитает откликаться), купившего здесь квартиру и обзаведшегося иномаркой, где же Володя и что с ним стало… Вот отчего, продолжая предварять «Диалоги за Земле Постникова», позволяю себе слегка поюродствовать:

Скряга я пусть, сквалыга,
столпник, чернец в дому, —
только нет слаще мига —
знать: у тебя есть Книга,
отданная — Никому!

Впрочем, никто не застрахован от Чуда, которое всегда необъяснимо. Вот готовлюсь я предстать

перед Всевышним, но сворачиваю при этом в универсам. Приближаюсь к желанному отделу, озираю полководческим взором замершие по стойке «смирно» стройные его шеренги и тихо так, под нос, сквернословлю (водится за мной такой грешок, во всяком случае, водился) — и вдруг слышу:

— Вы — Беликов?..

Я чуть не поперхнулся. Во-первых, мне стало неловко из-за моих загибулин. Во-вторых, чего вам, сударыня, надобно?

Женщина, высокая, довольно миловидная, в тёмных очках. Пришлось признаться, что он — это я. И вдруг она, почти восторженно:

— Спасибо вам за творчество, за стихи!

Я пожал недоумённо плечами. «Ну, — думаю, — как Господь-то всё повернул!.. Я ведь даже не в библиотеке. А женщина... Может, мы где-то и когда-то пересекались?» Догнал её, спросил. Она сняла тёмные очки. Боже, какой внутренний свет, какая красота! Сказала:

— Нет, просто я вас читала...

Дурак, надо было попросить номер её телефона. Так первый раз мы с ней повстречались.

Во второй раз я увидел её тоже неподалёку. Она шла мне навстречу, светясь загадочной улыбкой и держа горшочек с комнатным цветком в руках. Поздоровалась первая. Я ответствовал сухим, милостивым кивком, спеша куда-то. Так второй раз мы с ней повстречались. И опять — она-то меня знает, а я-то с ней не познакомился. Но, может, будет и третий раз?

Умножение Голгоф у стены смыслов

Сергей Князев привёз для показа на «Диалогах...» два документальных фильма — «Россия, опыт молчания» и «...А гений — сущий дьявол». Оба сняты им ровно тридцать лет назад. Первый — об игумене Белогорского монастыря отце Варлааме, начавшем поднимать главную обитель Пермского края из мерзости запустения и воздвигшем над её куполом крест. Второй — о подпольном поэте Юрии Влодове, поражавшем не только экспромтами, но и серией поэтических витражей на библейско-евангельскую тему «Люди и боги». Получалось, везде проступала Голгофа. И даже так — «Трещина на Голгофе». Аринина гора на Земле Постникова, на которой на протяжении многих десятилетий взрастали чемпионы горнолыжного и саночного спорта (сколько же, кроме радости и гордости, она родила трещин, прошедших сквозь сердце Леонарда?!). Белая гора под Кунгуром, в чьём алтаре, сразу же после Октябрьского переворота (вот он, апофеоз глумления!), большевики учинили сортир, а затем, в бывшем монастыре — лагерь для репрессированных и спецпереселенцев, а также — психушку. Как сказал — жёстко и чеканно — участвовавший в «Диалогах...» поэт Игорь Тюленев: «Где Свердловск и Алапаевск, / Да и Пермь — по грудь в крови... / Не стеная и не каясь, / Жили выродки твои... // За убийцею убийца / В церкви бродят меж свечей, / И до гроба мне молиться / За уральских палачей». Такова белогорская Голгофа...

И — личная, перерастающая во всемирную, Голгофа Юрия Влодова. В фильме он то и дело повторяет: «Мы на Голгофе — / Мы живём под пыткой — / Всеядных сил естественной подпиткой».

Итак, «Диалоги на Земле Постникова» подступили к своему печному жару и треску. А фильмы Сергея Князева подбросили в них пихтового лапника. Прислушаемся же к тому, что в тот вечер говорили мои сотоварищи — заединщики этих споров. А среди них (что я посчитал особенно важным, тем паче — в духе напутствия Александра Проханова «наслаждаться расколами, а не склеивать их») — кого только нет: и — русские националисты, и — православные традиционалисты, и — сталинисты, и — западники, есть мусульманин и даже кришнаит...

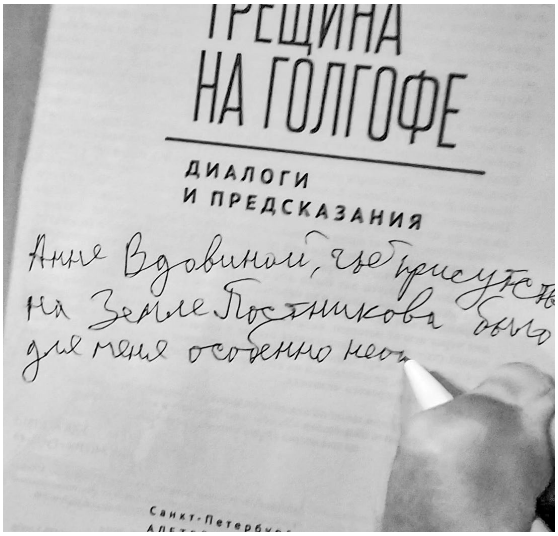
Роман Юшков, устроитель «Русских встреч» в Перми, автор изданного романа о грозящем вымирании русских «Делеция-12», музыкант:

— Несколько последних дней читал эту книгу, прочёл малую часть, но она меня уже подавила и объёмом своим, и содержанием. Это пусть с трещиной, как сказано в названии, но всё равно грандиозная глыба, осколок уходящей русской жизни, — я удивляюсь, как Юра его дотащил до конца и не надорвался. Я на этот осколок смотрю и с восторгом, и со своей личной печалью. Когда мы в две тысячи одиннадцатом году затеяли проект «Русские встречи» и стали привозить сюда в ежемесячном режиме весь цвет русского национал-патриотического лагеря, я по наивности своей ждал такого результата: мы сейчас тут в Перми создадим настоящее русское движение! Ведь вот народ ходит хорошо, слушает этих наших пламенных ораторов — Дугина, Крылова, Душенова, Проханова, Севастьянова, Калашникова, Мироновых — отца и сына — и прочих, от которых невозможно не зажечься русским огнём в том варианте, который тебе мил. Конечно же, думал я, люди сейчас вдохновятся ими, воспламенятся, и мы здесь развернём широкую работу, такие русские сети завяжем, такую русскую правозащиту затеем, такие русские марши будем проводить!.. И — ничего подобного... Три года пермская интеллигенция патриотического толка и заинтересованные люди из народа ходили, слушали, вопросы задавали, дискутировали — и все разошлись с нулевым результатом... Никто никуда не пошёл, с печи не слез, никто ни с кем не объединился... Почти никто палец о палец не ударил, когда меня за излишнее рвение начали таскать в Центр по противодействию экстремизму, ФСБ,

прокуратуру и дела шить. Этот провал стал для меня большим ударом… И вот сегодня я смотрю на эту книгу Юрия Беликова и вижу, что человек все эти мои «Русские встречи» и многое-многое другое запечатлел, сохранил, впечатал в вечность… От тающего и тонущего айсберга русской цивилизации он сумел отколоть богатейший и интереснейший скол со всеми его уникальными раковинами, водорослями, рачками и скелетами вымирающих на наших глазах кистепёрых рыб. Это у меня вызывает уважение и зависть — и одновременно какое-то облегчение и ощущение того, что всё в этой жизни не напрасно, если не всё, то многое…

Вадим Меркурьев-Масалкин, бывший газетный репортёр, основатель торговой марки «Мономах», нынешний создатель возведения экопоселений в России:

— Ну да — всему виной Юрий Беликов, его внезапно проснувшаяся активность и здоровый интерес думающего человека-творца, корнями из Отечества-СССР, к происходящему вокруг нас и нашего общества в государстве Россия, что дико озирается, как и все земляне, пытаясь выяснить причины и смыслы творящегося. Сводя в своей книге часто непримиримые мнения разных, но значимых в своих средах людей, Юрий пытается выяснять, а выяснять нам теперь есть что. В простоте своей это называется «смысл жизни», и это основной вопрос человеческого бытия: не жрать, потреблять, гадить и обороняться, а отвечать на вопросы «зачем» и «почему», если мы ещё не совсем животные, а подобие Высшего. Я и сам, как практик репортёрства ещё из СССР, потом — собиратель опытов в управлении, бизнесе с его чинушами, бандитами, ментами, хорошими и плохими, разными, могу лишь подтвердить, что жизнь не познать и смыслы не уловить лишь с насеста чистой теории или чистой прикладной практики. И только их сложные сочетания с обратной связью и взаимоопыление дают эту ясность про добро и зло, верх и низ. Мы — общество русов и русских коренных племён России — сегодня встали перед стеной смыслов, не найдя которые, мы продолжим вымирать, как вымираем последние десятилетия, разлагаясь в духе и бессмыслии, погибая в угасающем разуме под видом технического псевдопрогресса и невежества. «Трещина на Голгофе» — это хорошее название для такой книги диалогов, это даже не метафора, а просто в точку, констатация нашего массового положения на планете и в стране нашей. По одну сторону трещины — одни (кто они — мы не знаем), по другую — другие (кто они — мы тоже не знаем в море лицемерия, лжи, тайных технологий манипулирования планировщиков на Земле), только не надо тут голосить про конспирологию, не дети же. Богатырь поэтический Беликов сам



Крупный план главной дарственной подписи

просыпается и других будит, где — осторожно, а где — с грохотом, в своей книге. А нам, как сообществу граждан и душ, это сейчас позарез нужно, чтоб не передóхнуть в геноциде от чертей и бессмыслия, от ядерных грибов и раздоров. И тем для обсуждения под запретом в обществе сейчас быть не должно, вывалить на стол нужно всё — все атеизмы, религии, идеологии, недообразование, недоисторию, духовное и материальное, социальное и экономическое — всё. Только так мы найдём себя и не сгинем. И здесь Юрий хорошо продолжает поиски Истины в среде писателей и творцов вслед за аналитиками, горе-философами и однобокими хозяйственниками с политиками. Садимся же и обсуждаем, не плюясь друг в друга, размышляем и делаем, братья и сёстры!

Наби Балаев, философ, основоположник премиальной обуви, куратор движения «Узнай поэта!», мусульманин:

— В двадцать первом веке мы продолжаем жить в неклассическом обществе, в котором исходники его размыты и помечены ярлыками типа «глобализм», «мультикультурализм» и тому подобное. Такой муравейник — музей самодеятельных организмов, без метафизики истории, скопище и дискотека вооружённых ковбоев. На фоне этого история выглядит богиней презрения для таких убожеств и самодовольных рож и ждёт Принца… На танке или ослице — покажет время… Россия — как историческое образование — могла бы водрузить знамя единства и преемственности между народами и нациями, между разными культурами, предложив уникальный личный опыт общности, заявив, что «единство России достигается единственными россиянами», то есть личностями, способными быть олицетворением общности («христианской» ли, «магометанской», иными словами — единобожной,

Астафьевская царь-рыба, вынырнувшая из пруда в Парке истории реки Чусовой

или «гражданской», вопреки иждивенческому, языческому и самозванческому безобразию и идолопоклонничеству). Но есть ли у неё для этого собственные силы, характер и масштаб её зрелости, или выбор лишь между иконами — «Запад» или «Восток», а не История как таковая? Вообще, печально, что эволюция образа жизни Русского Мира происходит под натиском внешней силы, а не как фундаментальная внутренняя необходимость, способная породить подлинные исторические формы, незыблемые законодательные основы и, что самое главное, самих незыблемых граждан — перед лицом кого бы и чего бы то ни было… Жить без чувства собственной жизни и смерти, без этой трансцендентальной необходимости — значит, жить вообще, находясь по ту сторону жизни и смерти, по сути, мотая круги бесконечного одичания… Попытки возродить современную Россию и свободных граждан путём синтеза технократии и духовности похвальны сами по себе, но разве они достаточны, если не сами российские граждане являются отцами-основателями сей перспективы, а лишь исполнителями предложенной сверхзадачи? И вот здесь-то задача любого ревнителя, вслед за Чаадаевым, Ключевским, Владимиром Соловьёвым, Мамардашвили, — распознать «родильные рубашки народа», их исторические силы и символы, посредством которых разворачиваются исторические действия (или, наоборот, реакционное контрнаступление), и включиться в дело возрождения, развития и сотрудничества.

● ● ●

Что же останется, когда стихнут все разговоры? «Филя, что молчаливый? — А о чём говорить?» Это — из стихотворения Николая Рубцова, переложенного на музыку. Вот и останется разлитая в пространстве музыка, которую завещал нам Леонард Постников, утвердивший на одном из домиков Парка державообразующий указ о том, что здесь «приветствуются русские народные и классические мелодии, а не псевдомузыка в ритме работающей пилорамы». Останется струнная печаль продрогшей гитары Евгения Матвеева, подчинённая напору двухсотлетней французской скрипки Марии Савкиной, арт-директора издательства «Алетейя», добиравшейся на Землю Постникова из Сочи. Останется плывущая вибрация медной тибетской чаши пусть оглохшего после ковида, но всё равно верного Его Величеству Звуку толкователя религиозных текстов Анатолия Жохова. Останется благовест, исходящий с колокольни храма Святого Георгия Победоносца, в одночасье постигнутой и потому подвластной Татьяне Котеговой — пермской художнице, коей приручены не только краски, но и звуки. Останутся живописные портреты, замысленные и начатые на Земле Постникова другой художницей — Анной Вдовиной, которая когда-нибудь, дабы они не особенно ей докучали, перенаправит оные в дар постниковскому Парку. И, возможно, на одном из них останется ваш покорный слуга, попытавшийся соединить несоединимое.

Земля Постникова — так с 2022-го года именуется бывший 136-й километр

Останутся фильмы Сергея Князева — в том числе маленький шедевр «Два сувенира» Елены Коломойцевой, смонтированный им сразу же после возвращения с Земли Постникова, неигровой художественный фильм, где Князев-сценарист предстаёт в образе некоего старца, читающего, а точнее, проживающего стихотворение русского офицера-эмигранта Василия Сумбатова о хранимом нянею пасхальном яйце, коим когда-то похристосовался с ней её возлюбленный:

В сухом яйце постукивает что-то.
— Кто в нём живёт? — спрошу я, чуть дыша,
И няня скажет: — Гришина душа! —
И вновь яйцо положит у киота.

Останется исповедальная, закрытая притиснутым платяным шкафом стена, преображённая собственноручным признанием классика русской поэзии Евгения Евтушенко о трёх пермских художницах, писавших в дырявых варежках его портрет, и о той искушающей ночи, когда одна из них пожалела его, замерзавшего в искусственной заморской шубе, и произнесла: «Ой, да мы согреем вас — / рядом лягте!» (это стало строчкой его стихотворения!) — и настоящий, не пасующий ни перед какими трудностями поэт шагнул на светящийся звук в темноту…

Останутся два налившихся у крестьянского дома спелой влагою куста — калины и рябины, чьи кисти уже тронуты первыми заморозками. А также — кажется, одуревшая от нескончаемых экскурсантов и настырных, с нетвёрдой походкой, заезжих творцов, вынужденная считать каждую копейку чета «старосветских помещиков» — нынешняя главная хранительница Парка Ольга Леонардовна Постникова и её беспокойный архитектор Андрей Сергеевич Калинин, по причине влюблённости в Землю Постникова и в нынешнюю её главную хранительницу перекочевавший сюда из столицы. Останется их верная собака Юта, догоняющая невероятными прыжками машину своих хозяев, когда те возносятся в ней до ближайшего леса с грибными корзинами по Арининой горе, утаивающей и раскрывающей не одну «Трещину на Голгофе».

Осталось дослушать
перестрелку поленьев в печи
и, как крутят барабан с единственным патроном,
приблизить лицо
к раскалённому морозу глинобитной исповедальни
и спокойно дождаться,
когда красный прицелившийся уголёк
выстрелит тебе прямо в лоб...

Земля Постникова — Пермь

Геннадий Малашин

(Не)забытые голоса Сибири[1]

Эссе пятнадцатое

«На переломе времён…»

(Красноярская поэзия конца 1970-х – начала 1990-х годов, часть первая)

Семидесятые и первая половина восьмидесятых — наступившее в ходе промышленного роста края время его интенсивного культурного развития. Собственно, период этот можно обозначить как 1972–1987 годы, те пятнадцать легендарных лет, когда Красноярским краем руководил Павел Стефанович Федирко. В самых высоких инстанциях он доказывал, что «высокому уровню развития производительных сил края должен соответствовать такой же уровень его культурного потенциала».

Своеобразным апофеозом уникального процесса «окультуривания» Сибири (без всякой иронии об этом говорю) стало анонсированное в марте 1981 года в газете «Советская культура», а потом и в «Красноярском рабочем» общественное движение «Превратим Сибирь в край высокой культуры». Под коллективным обращением к сибирякам с призывом принять участие в «патриотическом почине» значились среди имён всероссийски известных представителей культурного сообщества региона и имена поэтов: Огдо Аксёновой и Владлена Белкина.

Почин вызвал у общественности Сибири множество самых различных оценок — от одобрительных до саркастических. (Спустя годы и десятилетия это время вспоминается уже без всякой иронии. Бюрократические и идеологические «мелочи» и партийные ляпы того навсегда миновавшего времени уже забыты, а молодые красноярцы воспринимают тот исторический «почин» с недоверчивым удивлением: неужели такое было возможно?) Но равнодушных не было и тогда, почти полвека назад.

Для молодых читателей напомним, что ещё до официального начала трансформации Сибири в «край высокой культуры», в конце семидесятых, в столице края открылись Красноярский симфонический оркестр, театр оперы и балета, институт искусств, Красноярское хореографическое училище… В 1980 году в Красноярск вернулся В. П. Астафьев. Пришло время создания отделений Союза композиторов и Академии художеств СССР по Сибири и Дальнему Востоку, Красноярского филиала музея В. И. Ленина, Художественного музея имени В. И. Сурикова, филиала Свердловской студии документальных фильмов, Большого и Малого концертных залов, зала органной и камерной музыки Красноярской филармонии, Дворцов и Домов культуры. И уже «под занавес», в 1989 году, состоялось учреждение третьей в столице края газеты, «Вечерний Красноярск». В этот период были обеспечены также открытие новых и развитие существующих культурных учреждений в районах края и на селе. Культура становится существенным и непременным дополнением знаменитых «красноярских десятилеток».

Литература, поэзия, книгоиздательство и газетно-радийно-телевизионные журналистские цеха органично вписываются во все эти процессы и немедленно включаются в дело пропаганды новых культурных починов Сибири.

Особую востребованность приобретают публикации сибирских литераторов и стихи сибирских поэтов разных лет, доказывающие, что «край будущего» ничем не уступает столицам, а в чём-то — и превосходит их. Вот как в этих строчках Казимира Лисовского:

…— Да, Сибирь далеко от столицы,
Да, здесь вьюга неделями злится,
Да, садами наш край ещё беден,
Да, в тайге есть, конечно, медведи.
Но медвежьим одни лишь невежды
Край сибирский считают, как прежде!
Им, видать, невдомёк, что с годами
Эти земли обжитыми стали,
Что давно новостроек огнями
Замерцали таёжные дали,
Что увидишь в суровом просторе
Свет Норильска и Мирного зори.
Солнце? Солнце у нас не скупится!
Соловьи? И такие есть птицы,
Да и реки-то (скажем уж прямо)
Величавее Волги и Камы…

1 Публикуется в сокращении.

Пишущему сейчас эти строки вспоминается двухчасовое совещание по проблемам пропаганды новых достижений края высокой культуры. Оно было устроено для газетчиков-радийщиков-телевизионщиков региона в 1981 году в крайкоме КПСС. Одним из «именинников» (или «бенефициаров»?) на совещании был собкор газеты ЦК КПСС «Советская культура», которая и курировала движение «Превратим Сибирь…», Моисей Бриман. Активно подавали в поддержку проекта свои басистые, баритональные и теноровые голоса его собратья-собкоры. А с инструктивным докладом выступала, естественно, секретарь крайкома по идеологии Нина Силкова. Запомнилась одна бесхитростная фраза из её выступления. Представляя группу десантированных в край членов Союза композиторов во главе с поглядывающим на собравшихся скучающим взглядом О. Меремкуловым, Нина Прокопьевна сказала примерно так: «Раньше мы наивно считали, что у нас в крае есть свои композиторы, но это, как оказалось, всё были просто песенники, а сейчас в крае начнут свою работу настоящие композиторы, члены Союза, профессионалы…»

Своеобразным конечным рубежом времени «красноярской культурной революции» станет середина восьмидесятых, 1985–1987 годы, то есть разгар перестройки — неостановимого процесса общественно-политического и экономического «переустройства» СССР, а в реальности — процесса безжалостного разрушения всей советской системы…

Как осторожно-раздумчиво, но откровенно и со скрытой иронией напишет уже в годы перестройки один из самых знаменитых поэтов-шестидесятников, Роберт Рождественский:

…Надо время осознать,
с очевидностью не спорить.
То, что знал, —
переузнать.
То, что помнил, —
перевспомнить.
Что любил — перелюбить,
как велела дисциплина.
И себя
перелепить…
Будто я из пластилина.

Вряд ли писатели, поэты, книгоиздатели, жившие и творившие уже в «крае высокой культуры», тогда предугадывали, что ожидает и сей край, и всю великую Советскую страну за этим конечным временны́м рубежом.

С надеждой и верой в будущее, например, готовили безымянные составители книгу «Связь времён», вышедшую в 1987 году к пятидесятилетию Красноярского книжного издательства (снабжённую, кстати, на обложке девизом «Сибири — высокую культуру»). Вместившая в себя воспоминания писателей и редакторов издательства прошлых лет о гораздо более непростых временах развития красноярской литературы, книга завершалась оптимистическими словами главного редактора издательства В. П. Зыкова: «Впереди новые книги. И мы знаем, каждая из них будет помогать нашему народу в неустанном движении вперёд, в трудном пути перестройки, к новым победам в строительстве коммунизма».

…А впереди были не только новые книги (их-то ещё успеют навыпускать стойкие сотрудники издательства, каким-то чудом продержавшегося «на плаву» и избегавшего банкротства вплоть до 2007–2008 годов). Впереди был самый конец восьмидесятых, а затем и в страшном сне не виданные до того советским человеком девяностые. Впереди было время неотвратимых исторических последствий перестройки. Время, о котором почти каждый из живших тогда красноярских литераторов скажет своё, порой растерянное, а порой и весомое, поэтическое слово…

Вот несколько разных стихотворений наиболее в ту пору публичного красноярского поэта и популярного того времени общественного деятеля, Романа Солнцева, несколько стихов, относящихся к разным годам перестройки.

Сначала был год, в котором перестроечные надежды ещё живы, не иссякли, когда ещё гласность вкупе с ускорением властвуют над умами и сердцами, когда, к радости интеллигенции и студенчества, достаются «с полок» запрещённые ранее фильмы и издаются с мясом изъятые ранее из советской культуры поэты и прозаики. Идёт год 1988-й (а в следующем году народным депутатом уже будет избран поэт Роман Солнцев).

Ещё доносится из открытых, но уже частично и опасливо зарешеченных квартирных окон цоевское: «Перемен! — требуют наши сердца…»

(Но уже вспомянули и произнесли на всю Россию учёные мужи восточную мудрость: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен…»)

Душа не любит перемен,
ты смотришь в лес насторожённо —
там скоро листья станут — тлен,
склонясь под белые знамёна…

Но и весной, когда ветра
грохочут в пору ледохода,
вдруг на душе — тоска-гора
в преддверии тепла и мёда…

Душа страшится перемен.
Пусть тяжело — она привыкнет!
Угревшись, кошкою с колен
сама, мурлыкая, не спрыгнет…

Снова Роман Солнцев, снова ещё один год, следующий — 1989-й…

…Не будем про политику при встрече!
Начнём стихи читать за крепким чаем.
Мы зажигаем, как бывало, свечи.
Гостей печальных весело встречаем.
И страстно шепчем пушкинское слово…
Но столько силы в гениальном слове:
«Товарищ, верь, взойдёт она!..» — что снова
мы говорим о бедном Горбачёве.

Не будем же при следующей встрече!
Давайте о любви за чёрным кофе.
Мы зажигаем, как в театре, свечи.
Ты, как Христос с Марией, на Голгофе.
И слышен ропот: «Как любить мне труса?
Ведь хочется — борца, что мир разбудит?
И скажет правду?..» Как же это грустно.
Наверно, мы больны. Но что-то ж будет?!

А будет — 1991-й. Путч и Беловежская пуща. Конец Советского Союза. Конец перестройки, начало иной эпохи. Но (казалось) всё ещё не конец России, не конец Толстого, не конец Рахманинова…

Рахманинова слушаю и плачу.
Мой композитор… Так вечерний свет,
пройдя сквозь лес и рухнувшую дачу,
зелёный лист окрасит в красный цвет.

Когда любое сказанное слово
пугает, будто вещее оно,
и потому молчим… Душа готова
увидеть и в сырой земле окно!

И небо ходит мраком и звезда́ми,
и катится в оврагах тяжкий гром,
и каждый человек сейчас как пламя
и тоже станет музыкой потом…

Но 1991-й — это ещё не конец, хотя небо действительно уже «заходило мраком». Впереди ещё будет год 1993-й. Затем и 1994-й. И последующие годы.

И вот уже, мнилось, — нет более и не будет рядом ни Рахманинова, ни Левитана, ни Радищева, ни Пушкина, ни Толстого.

Догорают не спалённые вовремя партбилеты.

Есть только ваучеры, обменённые на мифические акции мифических компаний, инфляции и денежные реформы да набитые «баксами» красные пиджаки новых русских…

Да и столетия-то двадцатого уже нет, оно — всё, на исходе.

Исход?..

Кончается безумное столетье.
Горят смола позора и елей.
Что остаётся? Тучи на рассвете
и то ли броневик, то ль мавзолей.

Но что кричать о Родине своей
измученной? Сгорели наши клети.
Пора садить деревья на планете,
где Русь была — любой свечи белей.

Горят знамён переходящих тонны.
Валяются графины, мегафоны.
И кажется, за мглистою верстой
стоят, взмахнувши бледными руками,
и смотрят, смотрят мокрыми глазами
на нас Радищев, Пушкин и Толстой…

• • •

Но всё это — ещё только будет.

В шестидесятых, которым мы посвятили предыдущие эссе, ещё достраиваются великие комсомольские стройки, ещё пишутся стихи о любви, комсомоле и весне, ещё составляются (отдельными семьями, крайкомами и горкомами, госпланами и книгоиздательствами) планы на будущее.

Вернёмся же ненадолго и мы с вами, вернёмся ещё раз в те благословенные, в те доперестроечные времена. Ведь именно тогда писались первые робкие строфы будущих властителей дум, перехвативших со временем эстафету у Солнцева, Яхнина, Назарова, Фёдоровой.

Это времена внезапного возникновения новых поэтических имён на литературной карте края, одни из которых обозначались, порой — ярко при этом вспыхивали и, как правило, вскоре исчезали с читательского горизонта. Другие же оставались с сибирским читателем на время, но чаще всего всё же — не навсегда.

У вошедших в число востребованных читателем и критикой красноярских поэтов доперестроечного периода выходили время от времени авторские сборники. Подборки их стихов регулярно публиковали местные газеты и альманах «Енисей», а порой — и «Сибирские огни», и даже столичные журналы и издания.

Поводом к новым поэтическим публикациям становились зачастую памятные даты, а также и литературные праздники, конференции и смотры, которые в те времена управленцами от культуры и искусства регулярно инициировались в Красноярском крае, — это и знаменитые когда-то, в шестидесятых-семидесятых, «Енисейские встречи», и пришедшие им на смену по инициативе В. П. Астафьева во второй половине девяностых годов «Литературные встречи в русской провинции»…

Среди своеобразного «ноу-хау» красноярских издателей в доперестроечные десятилетия был любопытный опыт «кассетных» изданий: под общей

бумажной суперобложкой (говоря издательскими терминами — «в общей обёртке») к читателям приходили сразу несколько, общим счётом до десяти, небольших по объёму (до одного авторского листа), в мягком переплёте, книжечек разных авторов, в том числе и начинающих поэтов. В выходившей одно время такой «кассетной серии» «Встреча» увидели свет первые сборнички стихов А. Третьякова, Л. Абдулиной, Н. Ерёмина, А. Щербакова (1972), А. Покровской, С. Кузнечихина, И. Захарова, А. Вершинского (1979), А. Яльмарова, В. Зикунова, А. Козловского, П. Ермолаева (1981) и других, не столь уже известных, авторов тех лет…

Ещё одна форма публикации избранных стихов (или избранных поэтов) шестидесятых-восьмидесятых — выходившие в Красноярске тематические сборники, в которых печатались и публицистика, и стихи, и проза. Одно из их главных достоинств — немалый объём, бывали они и среднего листажа, и очень «толстенькими», до пятисот с лишним страниц, что позволяло включить в них не только идеологически беспроигрышные, обязательные вещи, но и что-то написанное поэтами для себя, что называется — для души.

Чаще всего они были разовыми, к знаменательным датам, как, к примеру, памятный том «Красноярск и красноярцы», составленный редактором издательства (вдовой Вячеслава Назарова) Тамарой Назаровой и краеведом Кириллом Богдановичем, выпущенный к 350-летию столицы края в 1978 году. Помимо обязательной (ленинской, революционной и прочей) тематики, том этот содержал и относительно новую для широкого читателя информацию об истории ещё царских, забытых дореволюционных времён (трёх-с-половиной вековая дата к этому немного обязывала). Были в этой книге и поэтические врезки.

Среди «серийно-альманашных» проектов-долгожителей Красноярского книжного издательства, получивших одобрение и поддержку московского книжного начальства и местного крайкома КПСС, был, например, проект «Енисейский меридиан». За двадцать лет, с 1967 по 1987 год, вышло пять таких сборников, отразивших «свершения и победы» региона в годы красноярских пятилеток/десятилеток. Основное содержание сборников могут помочь представить взятые подряд названия включённых в его разделы очерков и стихотворных публикаций — например, в «Меридиане» 1982 года: «Красноярье 80-х: новый разбег», «Программа „Сибирь“ — красноярские широты», «Здравствуй, Дудинский порт!», «Голубой факел Севера» и, наконец, «Сибири — высокую культуру»… И пр., и др.

Среди публиковавшихся стихов непременно должны были быть оптимистические, идеологически состоятельные строфы. К примеру, во втором выпуске «Енисейского меридиана» за 1971 год читаем строки А. Щербакова, размещённые на одном развороте с фотографией красноярской площади Революции с недавно установленным на ней к столетнему юбилею памятником Владимиру Ильичу работы скульптора Ишханова:

Я красноярец,
Такой как ты.
Мы сердцем яры,
Душой просты.
Нам всё под силу,
Всё по плечу —
Хлеба́ косить ли,
Ткать ли парчу…

…«Ты ещё молод», —
Мне говорят,
Но серп и молот
В руках горят.
Я там, где трудно,
Иду на риск,
Я газ из тундры
Привёл в Норильск.
Стальные нервы
Прошил сквозь Крол.
Я всюду первый,
Я — комсомол.
Рабочий парень,
Перед отцом
Нельзя ударить
Мне в грязь лицом…

Может быть, поэтому каким-то исключением из правил кажется уже несколько раз упоминавшийся нами удивительный сборник 1967 года, «красноярский» вариант «Дня поэзии». И история его появления, и наполнение сборника заставляют вспомнить первые годы Красноярского книжного издательства времён Ивана Кокарева и Петра Казачкина. И тогда, в конце 1930-х, и в 1960–1970-х, говоря словами Т. К. Назаровой, «в издательстве не было недостатка в стихах. Наоборот, редакция задыхалась от обилия поэтических рукописей».

Начинающийся с упоминания о «Дне поэзии – 1967» очерк в книге «Связь времён» автором так и был назван: «Край поэтов»… Рождённые «на стройках и таёжных тропах» стихи, отобранные составителями для сборника, действительно представляли всю географию, да, пожалуй что, и всю историю Красноярского края, во всяком случае — его настоящий и будущий дни. Редактор сборника в своём очерке подчёркивала и главное, несомненное достоинство отобранных в 1967 году для сборника стихов — их искренность, наполненность жизнью, отсутствие «ложной многозначительности в лирических строках» и соединение на страницах сборника «мельчайшего с огромным»…

Почти все включённые в сборник 1967 года авторы родились в тридцатых-сороковых годах двадцатого столетия. Самому молодому — Михаилу Успенскому (да-да, тому самому, знаменитому в будущем красноярскому прозаику, фантасту, члену ПЕН-клуба) — едва минуло семнадцать (родился в 1950-м), в год выпуска сборника учился в десятом классе (о его стихах мы рассказывали в первом эссе из нашего цикла). Старейший по возрасту из участников — речник, прозаик и поэт Николай Мамин (1906 года рождения).

Среди вошедших в сборник — поэты и маститые (И. Рождественский), и просто уже к тому времени вполне состоявшиеся, принятые собратьями в Союз писателей (В. Назаров, Р. Солнцев, З. Яхнин). Большинство же авторов — только ещё делающие первые шаги в литературу, имеющие за плечами в лучшем случае — участие в коллективных сборниках или несколько газетных публикаций. Но именно им и предстояло стать красноярскими поэтическими голосами 1970–1990-х годов.

Некоторые из имён — практически ничего уже не говорят красноярским читателям, мало известны литературоведам-сибиреведам, но напечатанные в 1967 году стихи этих забытых авторов всё ещё живы, всё ещё вызывают ответные сопереживания, эмоции, мысли.

Среди таких имён, к примеру, — Людмила Симонова, о которой сказано в аннотации к публикации в сборнике кратко: двадцать лет, с родителями приехала в Дивногорск, работала на строительстве Красноярской ГЭС, стихи публиковались в «Огнях Енисея», «Красноярском комсомольце», звучали на краевом радио, а сейчас их автор учится в Красноярском педагогическом институте.

Монастырь

Я миновала город сонный
И добралась до тёмных плит,
Где, ни к чему не отнесённый,
Тревожно дремлет старый скит.

К заре устало прислонился
Старинный строгий монастырь,
Он сам от мира отделился
И удалился на пустырь.

Его глаза, узки и слепы,
Глядят невнятно на меня.
Туманным замком, ветхим склепом
Ютится он на грани дня.

Здесь будто что-то задержалось
Из дней минувших, горьких дней,
И зреет медленная жалость
В душе разбуженной моей.

Стихи Людмилы Симоновой, когда-то напечатанные в красноярском «Дне поэзии», очень просты, изящны и удивляют тем, как удалось юному автору совместить в стихотворении о дивногорском ските положенное по законам советского времени неодобрительное, в принципе, отношение к культовому зданию («ютится ветхим склепом», остался от «минувших, горьких дней») со способностью не только восхититься им, но и прикоснуться «разбуженной» вдруг душой к той тайне, которую хранит, судя по всему, старый скит… «Медленная жалость», которая возникает у лирического героя при виде «тревожно дремлющего» старого скита — только и возможный, видимо, в те времена эквивалент тех уже вполне допустимых чувств, которые испытывает при виде Знаменского скита современный человек…

Судьбу юного на 1967 год автора удалось проследить и к логике её жизни прикоснуться. Оказывается, родилась Людмила Павловна Симонова (Кочеткова) в 1946 году в посёлке Раздольном Мотыгинского района, пединститут окончила в 1968 году и всю жизнь работала то учителем литературы, то корреспондентом, сначала — в Дивногорске, а с 1973 года — в Чувашии. Несколько раз приезжала в Красноярск, подготовила для газеты «Советская Чувашия» интервью с В. П. Астафьевым, статью о художнике В. И. Мешкове, дружила с поэтом Владленом Белкиным. Стихи писать никогда не переставала, а живя в Чебоксарах — занялась ещё и переводами местных поэтов на русский язык, вышло несколько книг собственных стихов и переводов, стала победителем республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» (2020–2021).

«Разбуженная» когда-то дивногорским скитом душа поэта не переставала искать свои «первоистоки», к которым вёл автора незримый «клубок её судьбы».

Это вот уже поздние стихи Людмилы Симоновой, написанные спустя годы и десятилетия:

Среди полей и вдоль дорог,
Самой судьбой храним,
Неспешно катится клубок,
И я иду за ним.
Разматываю по годам
То радость, то беду.
Иду я по своим следам,
Сама к себе иду.
Ищу я свой первоисток,
Чтоб всюду быть собой.
Неспешно катится клубок,
Подаренный судьбой.
От злых разлук, обид и встреч,
Ликуя и скорбя,
Иду, не чтоб себя сберечь,
А выстрадать себя.

Но знаю я: наступит срок,
Но верю: будет миг —
Найду я свой первоисток,
Прозрачный, как родник.
И, непокорная беде,
Поглубже спрятав грусть,
К его живительной воде
Губами прикоснусь.
И, словно девочка, смешна,
Я прошепчу ему:
«Прости, что слишком долго шла
К истоку своему».

Нет, не зря, небезосновательно в предисловии к своему сборнику «День поэзии – 1967» его составители спрашивали и себя, и будущего читателя: «К чему писать стихи, если не желать усиленного жжения слова?.. Кто знает, может быть, именно эта нервность и даже неровность создают то удивительное напряжение, которое вызывает молнию…»

Среди не ставших профессиональными поэтами, нашедших себя в другой сфере деятельности, в иной стихии, но не переставших писать стихи авторов «Дня поэзии – 1967» был и поэт, о котором составители сообщают так: родился и вырос на Дону, геолог, работающий на юге края, за годы работы «исходил и изъездил Туву и Хакасию, Восточный и Западный Саяны, победитель Всесоюзного телевизионного фестиваля молодой поэзии (1967), посвящённого XV съезду ВЛКСМ». И дальше небольшая подборка стихов этого автора — строки эти, безусловно, начертаны комсомольцем-геологом, преданным своей профессии:

Опять тебя зовёт дорога.
Стоишь ты, память теребя.
Хоть пожил ты
совсем немного,
есть очень много у тебя:
удача есть,
есть неудача,
непокорённая река,
есть нерешённая задача
и непонятная строка,
есть недоделанное дело,
есть обещание друзьям,
и есть тоскующее тело
по ветру,
снегу,
по дождям.
Есть невозможность жить иначе,
есть зов непройденных дорог,
есть та,
которая заплачет,
когда ты выйдешь за порог.
Опять зовёт тебя дорога…

За десять лет до этих стихов 1967 года, оканчивая в 1958 году университет в Ростове-на-Дону, автор этот написал такие строчки:

Сейчас я — корабль, уходящий в плаванье,
Но только не знаю ни сроков, ни норм,
Где будут причалы, пристани, гавани,
Где встречу последний шторм.

Пристанью и гаванью для него и местом «последнего шторма» стал Минусинск.

И вот мы знаем Владимира Алексеевича Ковалёва как «легенду сибирского музееведения»: бессменного с 1971 по 1999 год директора Минусинского краеведческого музея имени Н. М. Мартьянова, вернувшего в музей «мартьяновские традиции», реконструировавшего музей и разработавшего планы, которые реализуются в музее вплоть до сегодня; знаем как музейщика со всероссийским именем, видного деятеля культуры Сибири, названного «вторым Мартьяновым».

И как поэта, конечно, из юности своей запомнившего, «как шли всё дальше, / всё дальше, дальше, / за поворотом был поворот, / и наша дружба не знала фальши — / наоборот!».

А вот — пример того, как поэзия, литература становятся главным в жизни начинающего литератора, его основной профессией.

Мой край родной! Мне не забыть о том,
Что только ты моей судьбы начало,
Я вскормлен был оленьим молоком,
И вьюга колыбель мою качала.

Я песни взял у шелеста берёз,
А музыке учили меня птицы.
Любить и ждать, не пряча горьких слёз,
У лебедя мне довелось учиться.

Как тосковать от родины вдали
По синим рекам и глазам печальным,
Меня учили строго журавли,
А рыбы преподали мне молчанье.

Тропинки показало мне зверьё —
Спасибо за науку и участие.
Но где тропинка, как найти её,
Которая людей приводит к счастью?..

Алитет Немтушкин, первый эвенкийский поэт, общественный деятель. Родился в 1939 году в эвенкийском стойбище, в семье потомственных охотников и оленеводов. Рано осиротел, воспитывался своей многодетной бабушкой, жил в интернате. Учился в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена, затем в Красноярском пединституте, на Высших литературных курсах в Москве. Работал собственным корреспондентом

газеты «Красноярский рабочий» по национальному округу, а к моменту публикации в «Дне поэзии» трудился редактором Эвенкийского радиокомитета.

Активная общественная деятельность, которой занимался Алитет Николаевич всю жизнь, вплоть до смерти в 2006 году, была связана с возрождением традиций эвенкийского народа, сохранением национальной культуры и экологии Эвенкии. В последние годы жизни возглавлял Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Красноярского края.

Особенно актуальной эта деятельность Алитета Николаевича стала после крушения Советского Союза и разрушения прежней системы работы государства с национальными окраинами и северными народностями. «Прости меня, мой малый, но великий сердцем и широкой, наивной душой, кочевой народ — „эвэнкил“, не в обиду другим, переводится как „настоящие люди“! Я горжусь тобой, ибо все наши обычаи, характеры, совестливое отношение ко всему живому и растительному миру — [считаю] самым справедливым и честным… У нас был свой первобытный коммунизм, без хитростей, без всяких уловок и обмана, без подковёрных игр, не чета всем современным измам», — так написал «Алитет Немтушкин из рода Хэйкогир» в предисловии к своей последней прозаической книге «Олень любит соль» (2005).

Первая книга стихов Немтушкина (на эвенкийском языке) вышла в 1960 году, ещё в студенческие его годы. На талантливые самобытные стихи эвенкийского юноши обратили внимание профессор и государственный деятель В. Н. Увачан и сотрудники Красноярского книжного издательства. В итоге Алитет Немтушкин стал профессиональным литератором, автором более двадцати книг поэзии и прозы, изданных в столичных и местных издательствах, в советские времена постоянно переводившихся на языки республик СССР и стран социализма.

Я не знаю, на радость ли, на беду
Из эвенков первый задумал я
Разводить костры на бумажном льду,
Чтобы песни, как искры, пронзали тьму…

А стихи самого Немтушкина переводили по подстрочникам с эвенкийского не только профессиональные переводчики, но и его красноярские коллеги (мы уже упоминали о переводах З. Яхнина, А. Фёдоровой, А. Щербакова). В «Дне поэзии – 1967» тоже было размещено несколько переводов стихов А. Немтушкина конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, в том числе — и этот:

Костёр погас — тепло осталось,
Олень убит — осталась шкура.
Уехал ты, простившись хмуро.
Что же от тебя осталось?
Тебе мы верили, как другу,
А ты друзей себе не нажил.
Ты просто испугался вьюги
И тундры испугался нашей.
От самолёта в небе синем
Полоска белая осталась,
А мы твоё забудем имя:
Как звук пустой оно осталось.

Это перевод Майи Борисовой — ещё одно весьма небезынтересное, связанное с Приенисейской Сибирью поэтическое имя.

Не удержаться, чтоб не привести хотя бы ещё один её бережный перевод, пример талантливого переложения стихов собрата с эвенкийского на русский, но такого переложения, что сохраняет незримый «аромат» подлинника, передаёт своеобразие культуры малой родины Алитета Немтушкина:

А тропа свилась у ног,
Как змея.
Много на земле дорог,
Где моя?
Знает соболь верный след,
Знает лось.
Я брожу немало лет
Вкривь и вкось.
Снегом путь запорошён,
Пылью книг,
Только бы он к людям шёл,
Не от них!..

В сборнике 1967 года собственных стихов М. Борисовой нет, поскольку к тому времени она уже вернулась из Красноярска на родину, в Ленинград. А приехала в Красноярский край М. Борисова в 1955 году, после окончания отделения журналистики Ленинградского госуниверситета.

Начало пути

Из сумок вынуты платочки,
Вокзальный опустел буфет.
Дождь на перроне ставит точки,
Как в неоконченной строфе.

Он полоснёт по стёклам косо,
И вот закрутятся колёса.
Увижу я, раздвинув шторы,
Как солнце, скомкав облака,
Вонзит пылающие шпоры
Земле в горячие бока.

Тайга и степь рванут навстречу —
Со мной знакомства завести.
Рюкзак оттягивает плечи,
Начало долгого пути…

Была Майя Ивановна Борисова петебурженкой в пятом поколении, происходила по материнской линии из дворянской семьи, по отцовской — из купеческой. В журнале «Нева» в 1988 году выйдут её «Заметки о российском купечестве»: «Мой прадед имел в Апраксином дворе ювелирную мастерскую и лавку… А другой прадед… стал заниматься, если можно так выразиться, конным бурлачеством, таская по Неве гружёные баржи». В одном из своих рассказов она с гордостью напишет и о своих тётках-блокадницах: «Вот уж кто поистине не отдал врагу ничего!.. Не отдали на растерзание голоду и холоду своего гнезда, сохранили и мебель, и книги… Не продали, не обменяли, что могли бы продать и обменять, не сожгли того, что само просилось в топливо. Главное, тётки не отдали врагу самих себя: своей доброты, своего безграничного гостеприимства и хлебосольства…»

Главное событие студенческих лет её жизни (а о журналистской профессии много мечтала ещё её мать, из-за своего происхождения не допущенная к поступлению в ЛГУ, несмотря на блестящие оценки на вступительных экзаменах) — это, по её словам, встречи с Анной Ахматовой, серьёзно и со вниманием отнёсшейся к стихам Майи.

И, конечно же, важнейшее «событие» её детства, молодости и всей жизни — её любимый Петербург и всё, что с этим словом у питерцев связано…

Есть ценности, которым нет цены:
Пластанье ткани, вымокшей до нитки,
У лёгких ног Самофракийской Ники
И крылья, что, отсутствуя, — видны.

Есть ценности, которым нет цены:
Клочок бумаги с пушкинским рисунком,
Учебник первый в первой школьной сумке
И письма не вернувшихся с войны.

Есть ценности самих себя ценней:
Обычный камень с маленького пляжа,
Но по ночам его целуют, плача…
Что по сравненью с ним казна царей?..

Распределить её после университета именно в Сибирь, в Красноярский край — настойчиво сама попросила комиссию, отказавшись ради этого от распределения в комфортную европейскую Вологду.

На стене в деканате приколот лист:
Расписанье последней сессии.
И не верится:
месяц — и я журналист…
Не мечта уже, а профессия!..
…От весёлого шума и ярких огней
По каналу свернём туда,
Где сейчас
типографской краски черней
Заколдованная вода,
Где пунктиром загадочных многоточий
Убегают вдоль фонари,
Где в канал, замечтавшись,
просыпала ночь
Перепутанный звёздный шрифт.
…Там не в ногу с твоими идут часы,
Забегая вперёд на полдня.
Там газета
в две маленьких полосы
С нетерпением ждёт меня…

Будущий газетчик даже любимый ленинградский пейзаж видит как «маленькую полосу» своей будущей газеты…

И вот она, «дождавшаяся» её Сибирь… Лучше всего о встрече с Сибирью рассказала Майя Ивановна сама в написанной в семидесятых для подростков удивительной книге стихов и прозы с поэтическим названием «Пока вчера ещё сегодня»:

«Перед отъездом я купила на барахолке кирзовые сапоги. У меня была отцовская полевая сумка через плечо и толстые короткие косички — концы штопором. Я была счастлива.

Сейчас, возвращаясь к тому времени, я спрашиваю себя: почему? Откуда это ощущение повседневного счастья? Почему я не боялась? Ведь уехала же и вправду далеко от родителей, от родного города, впервые в жизни так далеко и так надолго (кстати, это потом выяснилось, что лишь надолго, тогда не исключался вариант насовсем). Уехала, оказалась среди чужих, посторонних людей. Сразу, по-глупому, посвятила их в секреты, в сложности своей личной жизни — почему не ознобило ни разу ощущение беззащитности, уязвимости? Почему всё нравилось?

Попала в маленький, совсем ещё провинциальный и скромный Абакан — была рада как не знаю кто. Жила полтора месяца в гостинице — номер на восемь, что ли, коек — нравилось. Получила свою комнату, холодную, пустую, печка, уголь трескает, тепла не даёт — всё равно в восторге!..»

«Откуда это ощущение повседневного счастья?»

Работала «повседневно счастливая» Майя Борисова литсотрудником, завотделом в газете «Советская Хакасия» в Абакане. Затем, недолгое время, уехав вслед за любимым человеком, жила в Канске (в Канске успела несколько месяцев поработать на лесозаводе, в цеху) и в Дивногорске, а апофеозом её сибирской эпопеи стала работа разъездным корреспондентом в «Красноярском комсомольце».

Было много командировок по краю: «Моё счастье и удача в том, что личная молодость совпала с молодостью целинных совхозов, Дивногорска, с резким „омоложением“ поэзии, наконец…»

Тайга ревела.
Огрызались пилы.
И где-то горы рвали аммоналом.
А я кричала:
— Надо ж, облепиха,
Она и вправду пахнет ананасом! —
Бунтарский край, поспоривший с веками,
Не просто мы друг к другу привыкали.
Я — к холодам и городам плечистым
С купеческой повадкой главных улиц.
А ты — к моим восторгам беспричинным,
К стихам моим и к брюкам моим узким…

Первое стихотворение (как раз «Начало пути», которое мы уже приводили) опубликует в 1955 году «Советская Хакасия», потом в Красноярске выйдут три её стихотворных сборника: в 1957 году — «Лирические стихи», в 1958 году — «На первом перевале» и в 1961 году — «Вечерние окна».

Ты уже приобрёл сноровку
Собираться за пять минут.
Снова дальняя командировка,
Незнакомый ещё маршрут.
От наскучивших заседаний,
От мочальных диванных дыр
Сердце — настежь,
блокнот в кармане,
С ходу — в шумный и жадный мир.
Здесь ветрище шальной, целинный
Рвётся в грудь, задушить грозя,
Здесь в ночи при встречах машины
Щурят пристальные глаза.
Здесь герои в стёганках ватных,
Пропылённые до черноты,
Угловаты и грубоваты
И в сужденьях весьма круты.
Те, что громким словам не склонны,
Что с землёй навеки дружны,
В чьих рабочих жёстких ладонях
Жизнь и слава
твоей страны…

Об общении и совместной работе с ней с благодарностью вспоминали спустя годы её бывшие коллеги. Из сделанного ею для края, кроме её всегда глубоких, искренних газетных публикаций, стихов и переводов, конечно же, нужно вспомнить и подготовленный ею сборник стихов «сибирского Островского» — поэта Григория Каратаева, о котором мы рассказывали в одном из эссе. Ниса Григорьевна Каратаева вспоминала о встречах с Майей Борисовой (цитируется по каратузской газете «Знамя труда» за 2023 год): «Какая же она [была] талантливая и весёлая, и в то же время могла быть совершенно серьёзной, с глубочайшими мыслями о людях и тонким наблюдением о них. И имя её необыкновенное и красивое — Майя».

В общей сложности более полугода проведёт «ленинградка с красивым именем» в далёком маленьком Каратузе. Будет отбиваться от ухаживаний молодых каратузцев (нравилась всем — неимоверно!), тщательно собирать и редактировать стихи Г. Каратаева, воспоминания о нём. В январе 1963 года в Красноярском книжном издательстве выйдет посмертный сборник Г. Каратаева «Облака», редактором которого будет скромно значиться М. Борисова.

И всё же — Сибирь для неё родной не стала. После 1962 года Борисова осядет в Ленинграде, будет там в разные годы депутатом горсовета, руководителем секции поэзии местного отделения Союза писателей, редактором детского журнала, автором статей и рецензий, стихов, поэм, прозы для детей и взрослых, переводчиком с латышского, азербайджанского, киргизского, ненецкого, узбекского…

Личная жизнь её так никогда до конца и не сложится: единственный на свете любимый человек, семья, дети — всё это останется только в стихах, рядом с невыносимой горечью расставаний и вечных разлук.

…Нести разлуку тяжело,
особенно когда
не знаешь, что и развело:
остуда, долг, беда?
Хоть знак какой-то был бы дан…
А то уж столько дней
тащу её, как чемодан
без ручки и ремней…

И ещё:

…Замыкается жизнь. Что жалеть, чем гордиться,
что себе засчитать в искупленье вины?
Для родных мы — чужбина, почти заграница,
а чужим — до последней кровинки видны…

«Я благодарна Сибири и за то, что мою привычную родственную любовь к Ленинграду она превратила в чувство острое, неутолимое и в результате гораздо более плодотворное. Наверное, до сих пор стихи о Ленинграде нашёптывает мне Сибирь, напоминая о том, как скучала я вдалеке…»

Всю жизнь будет помнить Майя Борисова и «ананасный» запах таёжной облепихи, и «купеческую стать» сибирских городов, и поезда дальнего следования, и ночные бессонные вокзалы, на которых прошла значительная часть её корреспондентской «сибирской эпопеи»…

Ночной вокзал

И город замер утомлённо.
Ночные улицы пусты.
Одни весёлые плафоны
Слепящим светом налиты.

Жизнь утихала, отползала,
Текла к окраинам.
И вот
В глазастом здании вокзала
Кипит её круговорот.
Здесь контролёры — точно судьи.
Здесь сон случаен, неглубок.
Здесь нити рельс и нити судеб
Сплелись в стремительный клубок.
Состав, не сдерживая дрожи,
Задышит тяжко за окном —
И вмиг
по чемоданной коже
Пройдёт пугающий озноб,
Изменят лица выраженье,
Шарахнется ночная мгла…
Так начинается движенье.
Так продолжается движенье.
Так завершается движенье,
Чтоб завтра перейти в дела.
Пространство до предела сжав,
Летят,
летят,
летят составы.
Не спят вокзалы, как заставы
У времени на рубежах.

Автор одной из первых рецензий на стихи красноярской поэтессы, А. Никульков, размышлял на страницах «Сибирских огней» 1960 года: «Каждому литератору на своём пути приходится одолевать много перевалов. Несколько вершин на разных этапах своего творчества оставляет он. Далёк и труден его путь, на котором даже с перевалов надо не спускаться, а всё продолжать восхождение. Восходящие тропы заметны в книжке Майи Борисовой».

Одной из таких вершин для Майи Борисовой было одно её ставшее популярным стихотворение, отмеченное тем же критиком (по его словам, в этом стихотворении «каждое изменение в пейзаже словно отсчитывает время»). Это стихотворение, осенённое неиссякающим интересом и даже любовью читателей.

Написано оно было в 1958 году в Канске, тогда же было впервые напечатано в «Комсомольской правде», а дополнительную известность ему принесло то, что оно вошло в популярную когда-то у молодёжи «повесть-быль» Валерия Аграновского «Нам — восемнадцать» (1963).

Как и некоторые другие стихи Майи Борисовой, эти — однажды были положены на музыку и стали песней… Стихотворение «Дорожное» оказалось связано со сквозными темами её лирики: вокзалов, поездов и — любви.

Дорожное

Поезд последние вёрсты мчит,
Тревожен рокот колёс.
Выйдем в тамбур и помолчим —
Не надо ни слов, ни слёз.
Леса полосою летят на нас,
Бегут рябины, рябя,
А мне остаётся только час,
Чтобы смотреть на тебя.

Станции чаще, и небо плотней,
Фабричные трубы вразнос,
И город в сиянье ночных огней
Бросается под откос.
Многоэтажные корпуса
Вдоль шпал начинают плыть,
А мне остаётся полчаса,
Чтоб рядом с тобою быть.

Пойдём в вагон — собираться пора.
Минуты в былое мчат.
Грозно грохнули буфера
На привокзальных путях.
Толчок, остановка — окончен маршрут,
Рожок играет отбой,
А мне остаётся пять минут,
Чтобы проститься с тобой.

Ну что же, дай руку — не надо грустить,
Не надо сутулить плеч.
В жизни будет немало разлук
И много хороших встреч.
Наш паровоз, остывая, дрожит,
Под сводами пар клубя,
А мне остаётся целая жизнь,
Чтобы любить тебя.

Удивительное стихотворение. Автор отказывается от ассонансных, от консонансных, от неточных и парадоксально-приблизительных рифм, которыми порой были полны её ранние сборники. Рифмы этого стихотворения просты и ясны, они не отвлекают читателя от главного: от не произнесённого вслух монолога улыбающейся и загадочно молчащей в тамбуре лирической героини, от катастрофически завершающегося на наших глазах часа прощания с любимым человеком (нет, уже не часа, уже остаётся полчаса… уже осталось пять минут… нет, вот уже она, последняя остановка железнодорожного состава)…

Ритм этого стихотворения — ритм движущегося состава. И одновременно — ритм тревожно бьющегося и замершего вдруг сердца.

Ритм этот… Выбор автором как бы отстранённой от реальности (во сне ли? на сцене ли?) интонации для своей героини... Отказ от любых лишних мелочей и подробностей, даже от обозначения каких-то портретных и личностных черт оставшегося нам неизвестным спутника героини (хотя его присутствие мы всё время незримо ощущаем через обращение к нему — вслух — его спутницы)... И нарастающий трагизм повествования…

Жанр? Наверное — жанр граничащей с городским романсом своеобразной баллады, элементы которой присутствуют в целом ряде сибирских стихов Майи Борисовой.

И беспроигрышно работающий, простой и безупречно найденный приём: чувства автора «зашифрованы» в изменениях пейзажа за окном, изменениях, заставляющих читателя с волнением ждать неминуемого прибытия поезда, неминуемого окончания этих последних шестидесяти минут счастья, ещё оставшихся у героини, и, видимо, — конца любви?

Но ведь героине ещё «остаётся целая жизнь, чтобы любить» его?!

В жизни, конечно, всё произойдёт горше, безнадёжнее, трагичнее. Но поэзия и жизнь — они ведь всё же функционируют по разным, по несовпадающим (к счастью ли, к несчастью ли для авторов стихов и их читателей) законам…

Стихи — они ведь зачастую как взрослые сказки для переставших быть детьми, для выросших взрослых…

Наступление перестройки и её последствий было тяжело пережито поэтом. Последние двадцать лет жизни — двадцать лет одиночества, когда и стихи однажды перестали писаться…

При перепаде погод,
на переломе времён
трещины трогают свод,
дрожью фундамент пронзён.

Плоть укрепится трудом.
Дух не поддастся ветрам.
Только не рухнул бы дом,
только бы выстоял храм.

О, как нам нужен оплот
веры
и веский резон
при перепаде погод,
при переломе времён.

…И ещё имена, совпавшие было с Приенисейской Сибирью, но вытолкнутые ею, однако в истории красноярской поэзии оставшиеся.

Меня по жизни напрямик
Влекла неведомая сила,
И камень на пути возник,
И надпись вещая гласила:
«Ступай налево, на рассвет,
Послушай умного совета,
Грядущих дней, грядущих лет
Увидишь свет».
                    На что мне это?
Без страха я пройду свой путь,
Он мне заранее отмерен.
Кто в вечной жизни
                    не уверен —
Страшится в бездну
                    заглянуть.
И снова шла я напрямик,
И много вёрст исколесила,
И камень на пути возник,
И надпись мудрая гласила:
«Ступай направо, на закат,
Послушай доброго совета,
Бессонной памяти набат
Умолкнет вмиг».
                    На что мне это?
Когда б могла я позабыть
Моих родных глаза и лица,
Мне лучше было б
                    не родиться,
Когда б посмела я забыть.
Явил мне камень
                    женский лик,
И надпись грозная гласила:
«Меня когда-то та же сила
Вела по жизни напрямик…»

Лира Султановна Абдуллина (1936—1987). Очень короткой была её жизнь, та, в которой шла она всегда — «напрямик». И очень долгой оказалась жизнь её стихов. Как она себе однажды и предсказывала: «А жизнь — это только отрезок пути от первой строки до последней…» (Виктор Астафьев по поводу этих строк скажет: «Все истинные поэты — есть пророки! Маленькие, большие ли, но пророки. И всем им дано страшное предвиденье — почувствовать и предсказать свою смерть».)

…Не зря мой путь звездою озарён:
С усталых глаз упала пелена.
На помощь донкихоты всех времён
Спешат ко мне, привстав на стременах.

Их можно всех по пальцам перечесть
И перечислить всех по именам:
Безумство, бескорыстие и честь —
Смешная блажь в любые времена.

Вам, донкихоты будущих времён,
Я завещаю шпагу и коня,
И путь мой, что звездою озарён, —
Всё то, что есть и было у меня.

О Лире Абдуллиной, о судьбе и творчестве её довольно много, особенно в последние десятилетия, уже после смерти, написано.

В. П. Астафьев высоко ценил её творчество. В предисловии к посмертному сборнику её стихов в курировавшейся Р. Солнцевым красноярской книжной серии «Поэты свинцового века»

он скажет: «Стихи Лиры Абдуллиной отличает мелодичность, довольно редкая при творческой торопливости, суете и разрушении складного русского стиха нынешними „лидерами“, пишущими много, длинно и раздрызганно. И сразу находятся теоретики, которые под поэтическое растление подводят „научную базу“, отыскивая в барахольных, крикливо-неряшливых виршах своеобразие и новаторство… И в литературе удалось многое расшатать, кое-что и с ног на голову поставить, но истинный талант, он, увы, ничего сделать с собой не может. Он поёт так, как ему природа велела…»

Немногочисленные события её биографии теперь хорошо известны, но известность эта не делает их менее заурядными — это действительно была драматическая жизнь, жизнь действительно поэта, невольно заставляющая вспомнить другие судьбы — Цветаевой, Ахматовой, Гумилёва, Блока (и ряда её поэтов-сверстников, конечно)…

Родилась в Башкирии, в татарской семье, отец погиб на фронте в 1941-м, потом было трудное военное детство, а в 1949 году умерла мать. И, как писала Лира в своей автобиографии, ей «с тринадцатилетнего возраста пришлось воспитывать и доводить до ума двух братишек…» Воспитала, довела до ума…

О начале своей жизни, о счастливом было начале рано кончившегося детства напишет однажды:

…Ты вглядись в меня попристальней,
Речка Белая моя,
Это мы на старой пристани —
Многолюдная семья.
Молодые и беспечные
Мать с отцом — в руке рука.
Это мы, недолговечные,
Но бессмертные пока.
Покажи хоть на мгновение
Нас, не тронутых бедой…
Только ветра дуновение,
Только эхо над водой…

После школы несколько лет проработала библиотекарем и журналистом в Уфе, в 1964 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Родился сын Рустем.

Как и многие её ровесники — решила ехать в строящуюся новую Сибирь. После этого начинаются пять лет, проведённых ею на Енисее.

В Норильске с 1964 по 1967 год работала редактором на местной телестудии (здесь её стихи будут востребованы для публикации в сборнике норильских литераторов «69-я параллель» в 1966 году). Видимо, это были неплохие и отрадные для неё три года.

Норильское телевидение, сам этот «призрачный» город, себя в нём она не раз ещё вспомнит:

…Позанавешенный дымкою лет,
Дымкой тумана,
Город полночный, ты был или нет —
Фата-моргана?
Позанавешенный снегом до крыш,
Белой пургою,
Сквозь расстоянья и годы летишь
Вестью благою.
В плясках метели, в шальной ворожбе,
В космах бурана,
Может, я только приснилась тебе —
Фата-моргана?
Где-то в разгаре полярного дня
Или же в полночь,
Может быть, вспомнишь и ты про меня,
Может быть, вспомнишь?
Ты не дарил мне своих соболей
В снежную замять,
Только надменный рисунок бровей —
Севера память…

А в 1967 году она едет к мужу в закрытый город Красноярск-26 (ныне — Железногорск).

Её гражданское замужество — тоже история не совсем обычная и тоже составляющая целый литературный сюжет.

Муж — талантливый конструктор и оригинальный поэт Владимир Нешумов (инженером-конструктором был и его отец). В «режимный» город (как такие называли — в «почтовый ящик») Красноярск-26 он приехал по распределению в 1962 году из Казани, где учился в авиационном институте (и где познакомился в местном литкружке с молодым Романом Солнцевым). Под общим руководством Сергея Королёва Нешумов занимался проектированием космических аппаратов. И продолжал писать стихи. Печатался и в Казани, и в Красноярске.

Стихи были своеобразны и на другие стихи не похожи. Не зря друзья называли его потом «конструктором языка, конструктором смыслов». А писатель Евгений Попов напишет о друге: «Владимир Нешумов выпал из времени. Его не знает никто, кроме тех, кто его знал. А я между тем гадаю: великий он был поэт или просто замечательный мастер складывать странные слова, ловить ускользающие, потаённые смыслы жизни?..»

Свеча

Пламя свечи — яйцо;
из него: и бабочка,
и листок, и лицо,
и цветок, и яблочко
августа налитое…
если на то пошло —
и роса, и облачко…
просто, как на ладони,
всё и произошло.

…В 1967 году два начинающих поэта, Лира и Владимир, встретились не только в жизни (в реальности они познакомились на краевом литературном семинаре в 1966 году), но и в книге, по итогам этого семинара изданной: «под обложкой» красноярского «Дня поэзии».

Поэтический дар их был, конечно, различен, но все, кто был знаком с этой семьёй, отмечали, прежде всего, духовную общность, царившую в их отношениях и в их достаточно непростой семейной жизни.

Я и ты — что же это такое?
Два крыла у летящей птицы
Или вечного непокоя
Одинаковые частицы?..

Совпадали, видимо, во многом и вкусы, и пристрастия, и любовь к российской поэзии, в том числе и к закрытым тогда ещё её страницам. Поэту и любимому человеку Лира посвятит строчки-размышление о том, что же есть призвание и судьба поэта:

Не понукай себя, друг мой,
Не торопись. Настанут сроки,
Придут несуетные строки
Неспешно, словно дождь грибной.
Или нагрянут, как гроза,
Настигнут, словно непогода,
Цветёт в любое время года
Стихотворящая лоза.

Неуловимый лунный свет
Во мгле колышет океаны —
Такой же силой окаянной
Отмечен истинный поэт.
Кто этой силы знает хмель,
Кто слышит звук и отзвук слова,
За вечной дудкой крысолова
Идёт за тридевять земель.

Помедли, друг мой. Так и быть,
Спроси, осмелься в кои веки:
Какие огненные реки
Тебе придётся переплыть?
Своих избранников, заметь,
Она сама облюбовала.
Её любовь страшней обвала,
Но не опаснее, чем смерть.

Дом Нешумовых становится своеобразным литературным салоном, местом ежевечерних встреч железногорской интеллигенции. В том числе в нём звучат и читаются (не столько хозяевами, сколько не всегда осторожными друзьями и знакомыми) строки запрещённых в СССР публицистов, поэтов и бардов, а это уже — статья за «хранение и распространение антисоветской литературы». В поле зрения соответствующих органов попадает сослуживец Нешумова, привозивший в закрытый город магнитофонные записи и самиздат. Как говорили позднее друзья поэта, за Владимира Нешумова заступился сам С. П. Королёв, поэтому дело закрыли. Но конструктора Нешумова лишают допуска к секретным документам, увольняют с работы, по существу — навсегда лишают профессии (работать по специальности он больше так и не сможет)…

В 1969 году Владимир с Лирой, вскоре после совместного их участия в V Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, покидают Красноярск-26. Точнее — их высылают из города с двумя дорожными сумками, с запрещением пребывания в крупных городах. Живут и работают в Ачинске, в городах Рязанской области, затем оседают на Белгородчине, в городе Старый Оскол.

Роман Солнцев напишет в середине семидесятых повесть «Конструктор», в которую включит и (выражение Евгения Попова, перефразировавшего доносы на эту повесть) «малопонятные тексты современного кликуши и юродивого, демонстративно не замечающего, где он живёт».

А ещё посвятит своему другу стихи:

…В синий снег
выбегает, как эвенк из чумов,
человек
с тихою фамилией Нешумов.
Мыслям вслед —
образов мерцающая нитка.
Рядом с ней
рифма допотопная, как нимфа?

Ремесло,
ставшее привычкой, тешит нервы…
Ты светло
мучаешься в сотый раз, как в первый!
Ты — красив.
Чтоб не подменяли космос стены,
ты в курсив
выделил пружиночку антенны.

Выпал снег.
Из лабораторий вышел умных
человек
с тихою фамилией Нешумов.
Боль в глазах…
И спина твоя гудит чугунно…
В небесах
торжественно и чудно.

В 1972 году в Красноярске выходит в книжном издательстве первая книга лирики Лиры Абдуллиной, «Высоки снега»; в 1986 году в московском «Современнике» — второй сборник, «Пока горит

пресветлая звезда». А в 1987 году Лира Султановна умрёт от бронхиальной астмы. Москва так и не успела утвердить её членство в Союзе писателей СССР...

Мой друг рисует мой портрет,
В моё лицо глядит, как в воду.
Вода бежит. В ней нету броду.
В ней нет следа прожитых лет.

Там только тень, там только свет.
Лицо типичной азиатки
Хранит извечную загадку
Восточных лиц. Ответа нет.

Ни взглядом горестным, ни всхлипом
Не выдал верный друг меня,
От кривотолков заслоня
Бесспорностью стереотипа.

В. Астафьев дал в 1986 году Лире Абдуллиной своё «благословение» на вступление в Союз писателей (его слова часто цитируют пишущие о Лире Абдуллиной). Виктор Петрович сказал: «Целомудренны и точны эти стихи в каждой строке, при всей страстности их и свободе дыхания. Это действительно, прежде всего, стихи женщины — что так редко в наше время. Многие поэтессы пишут как мужчины, и манерой своей, и даже образом мыслей. А у Лиры Абдуллиной в стихах и милосердие, и свет истинной женской души...»

Горит звезда пресветлая в веках,
Прозрачный свет над крышами струится,
В такую ночь, наверно, людям снится
Осенний сад. И яблоко в руках.

На свет звезды безумней мотылька
Летит душа — полуночная птица.
Кто и за что обрёк меня томиться,
Припав лицом к листу черновика?

Обуглив мне и губы, и глазницы,
Бессонница, быть может, разразится
Всего лишь малой песенкой дрозда.

И всё равно: пусть мука эта длится,
Пока летит полуночная птица,
Пока горит пресветлая звезда!

Эссе шестнадцатое

«И вдруг придёт такая строчка...»

(Красноярская поэзия конца 1970-х – начала 1990-х годов, часть вторая)

Анатолий Третьяков (1939—2019) вошёл в красноярскую литературу на стыке шестидесятых-семидесятых годов прошлого века. В «День поэзии – 1967» составители включили целую подборку его стихов. Сегодня, спустя более чем полвека, по-прежнему открытием становятся для читателя такие впервые прочитанные в том сборнике строки:

Блины не выходили комом
(В те годы не было муки).
И, как закрытые райкомы,
Молчали в сёлах старики.
Сибирь была бела, бела,
Стоял в ней госпитальный запах.
Сквозь снег мы видели, как запад
Закатным пламенем пылал.
Ходили с ворожбой цыганки,
Лечили души, как врачи.
Безрукий капитан в цигарки
Табак сворачивать учил.
Война в душе, война в характере.
И как непросто стать другим,
Когда победа — слёзы матери,
Враз похоронный марш и гимн.
Но чувство радости — я знаю —
Мне вдруг покажется простым.
Я только в сорок пятом, в мае,
Увидел в первый раз цветы.

«Берёт за душу», «цепляет» поразительно простое, но «точным попаданием» смешение в первых строках стихотворения визуальных образов, запахов, звуков (или их отсутствия), из которых и формируется для читателя остающаяся навсегда в памяти картина жизни Сибири военных лет: от бытовых вроде бы деталей (блины «не выходят комом», потому что муки в те годы не было) — к гнетущему молчанию («как закрытые райкомы») стариков в сёлах; «белая, белая» от снега Сибирь становится как бы ещё белее от «госпитального запаха» (читатель это по ассоциации домысливает: от белого госпитального «облачения» раненых); а потом ослепительный белый цвет становится густо-алым — то ли от крови, то ли от «закатного пламени», которым пылает запад, где ещё продолжаются (вспоминает читатель) «тяжёлые и продолжительные бои».

Потом отдельные детали жизни «глубокого тыла» множатся, расширяют и дополняют живое воспоминание ребёнка о военной поре (и действительно, «слёзы матери» накануне Дня Победы — что это больше, победный гимн или погребальный марш, жив или нет (не)вернувшийся с поля боя кормилец?).

И, наконец, простое, как сама жизнь, как первая любовь, «чувство радости» юного лирического героя в конце стихотворения: «Я только в сорок пятом, в мае, / Увидел в первый раз цветы».

Знавшие лично Третьякова его современники отмечали несколько его характерных личностных

черт, и прежде всего — несомненный, никем не отрицавшийся поэтический дар, а ещё — то свойство натуры (и примета судьбы), о котором Анна Ахматова напишет в применении к любимому поэту Третьякова, к Борису Пастернаку (а ещё один всю жизнь любимый и почитаемый поэт Третьякова был — Пушкин): «Он награждён каким-то вечным детством…»

Александр Астраханцев пишет: «…расхожее мнение, что поэты вечные дети… к Третьякову оно подходит без оговорок. В нём благоухал весь букет детских особенностей — от наивного любознательного обаяния до капризного нежелания понимать заботы взрослых людей. О нём легко рассказывать и, главное, есть что рассказать. Но рассказывать надо весело, без „хрестоматийного глянца", иначе это будет не Третьяков».

Алексей Козловский скажет об этом чуть иначе, отмечая: «Более незлобивого и покладистого человека, чем Третьяков, я не встречал… несмотря на свою общительность и литературную известность, Третьяков жил как бы в обособленном поэтическом мире, не очень-то запуская в него людей со стороны». Видимо, к Третьякову вполне приложимо было основанное на перефразированной формуле Марины Цветаевой определение: «Жил как поэт…» Жил в мире поэзии, не очень обращая внимание на жизнь реальную — как это было с Рембо и Есениным, с самой Цветаевой, да и с большинством настоящих поэтов… Не случайно его связывала дружба с таким же погружённым в свой художественный мир, таким же «вечным ребёнком» — художником Андреем Поздеевым.

Он родился в марте 1939 года в сибирской деревушке Солдатово под Минусинском, в семье, где мать была авторитетным и удостоенным правительственных наград председателем колхоза (по другим источникам — звеньевым), а отец — сосланным из Москвы и рано умершим художником; отчим Анатолия был в селе главным агрономом.

Россия

В деревенской большой избе,
Где всем вместе и чёрт не страшен,
Выбрать есть из кого судьбе
И для космоса, и для пашен.
В той избе, где живая речь,
Где сдружились песня и сказка,
Как корова, русская печь
Так и дышит теплом и лаской.
В деревенской большой избе
В фотографиях вся эпоха,
Где хоть помнят, как звался дед,
Где хоть тайно, но чтили Бога.
В деревенской большой избе,
Где твоих сыновей растили
Без высоких слов о тебе, —
Твой запас золотой, Россия!

…Сохнут крынки на городьбе,
И пелёнки победно реют.
В деревенской большой избе
Высыхают и слёзы быстрее.

Детство в такой неординарной семье, жизнь, вплоть до юности, среди сибирской природы сформировали характер и отразились на будущей судьбе, которые были во многом сродни есенинским (хотя Есенин к числу его самых любимых поэтов, по его словам, не относился). В автобиографии он напишет: «Рос ласковым и работящим, любил цветы, зверьё и птиц, туманы над озером… Читать научился рано, любил складывать частушки». Вскоре после войны в деревню заедет столичный корреспондент, которому стихи восьмилетнего мальчишки очень понравятся — и вскоре состоится первая публикация юного поэта во всесоюзной газете, в «Пионерской правде»…

Тема родных деревенских просторов, любимой и оставленной навсегда малой родины будет, конечно, всю жизнь присутствовать в его лирике, при этом она будет эволюционировать и изменяться в зависимости от того, как будут меняться и сам поэт, и мир вокруг него.

Его малая родина — это не только «свист скворешен», «зелёная юла» ели, выросшей под окном, и ледоход на деревенской реке; нет, это прежде всего — родной отчий дом, надёжно срубленный, с тесным рядом икон в красном углу, дом, в котором никогда не кончается навсегда ушедшее детство поэта…

Потерянный в реальности дом, который в душе, в мечтах, во снах потерять невозможно…

…Свист скворешен.
И шумно лёд идёт рекой.
В чём добром, в чём плохом замешан?
На что давно махнул рукой?
Мне в этом доме лучше видится.
Пусть от побед исходит грусть,
И на меня здесь не обидятся,
Когда я снова промахнусь…
…Моё здесь детство не кончается.
Взирают боги из угла.
И под окошком ель качается —
Моя зелёная юла.
Она не может позабыться…
Здесь всё мне будет дорогим.
Здесь по скрипучим половицам
Я сделал первые шаги.
И я хочу не так уж много:
Чтоб здесь всегда жила родня.
Чтоб приводили все дороги
К порогу отчему меня.
И этот дом, надёжно срубленный,
Не раскачать любой беде…
И ничего мной не погублено
И не потеряно нигде.

Взрослая жизнь шла довольно путанно и не очень логично, изобиловала развилками и поворотами. Начиналась она учёбой в Красноярском речном училище, службой в армии, работой то судовым механиком, то помощником машиниста тепловоза. Образ дороги, движения, плавания, неповторимые енисейские пейзажи — всё это тоже войдёт со временем в его поэзию, обогатит и разнообразит её.

…Куда нам плыть?
Стоять на месте нам ли?
Пусть волны нас
качают — не беда.
«Быть иль не быть?» —
принц вопрошает Гамлет…
Плыть иль не плыть? —
Плыть! Всё равно куда!

(И вновь вспоминается, из переводов Цветаевой: «Плывущие — чтоб плыть. Глотатели широт…»)

Потом был легендарный ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии, сценарный его факультет, где проучился он несколько курсов. Затем Третьяков оказался в Литературном институте имени А. М. Горького, на семинаре у своего недавно появившегося тестя, поэта Сергея Наровчатова.

Да, потом была Москва, с её соблазнами и открытиями, с новыми знакомствами и дружбами — с Рубцовым и Вампиловым, с Коржавиным и Распутиным, с праздниками и буднями, с кинопросмотрами, с нечаянными радостями, с «бесконечными Садовыми» (Маяковский), с экзаменами (вузовскими) и испытаниями (жизненными, порой каждодневными), с новыми стихами и со становящейся привычной прозой жизни…

После выступления

Народу видимо-невидимо!
Собранье, выступленье и…
Я спать ложусь на стол президиума.
Под скатертью стихи мои.
Уборщице не нужен ордер
(Мне в клубе ночевать — не жить).
И голова моя, как орден,
На красном бархате лежит.
Бильярд в углу… Шары железные
Сверкают звёздами… Я сплю.
И снятся мне сады окрестные;
И снится: я тебя люблю.

Москва, которая слезам не верит, которая уже на страницах наших эссе возникала, чаще — лукаво и драматически, в судьбах сибирских поэтов…

Однажды она, наряду с другими, оставшимися в прошлом попытками лирического героя (а главное — самого автора) найти себя и свою судьбу, — однажды превратится она в преследующий героя «всего лишь сон»… Это, пожалуй, стихи не о том, что случилось с их автором, а больше всё-таки о том, что — не случилось…

Сны

Мне снятся капитанские каюты,
Покинутые стены институтов,
Нарушенная заповедь: «Не лги!» —
И мной не позабытые враги…

Зато не снятся мне чины и звания,
Секретные не снятся спецзадания.
Я в снах своих иду убитый горем,
Я всюду себя чувствую изгоем.

То вдруг сижу чужой, в чужом застолье…
И траченная совестью, как молью,
Душа моя, что не лежит к вахтёрам,
Ко всяким торгашам и контролёрам,

Всё мучается… Как бы ни хотела
Она с моим расстаться бренным телом!
Не мучайся, душа моя, напрасно…
Ведь это сны… А в жизни всё прекрасно!

…Спустя десятилетия поэт однажды отправится в путь, чтобы вновь обрести ту, заветную и памятную, его Москву. Но: «Приехал, чтобы повторить / Моё прекрасное былое. / Но что об этом говорить — / Не помирю добро и зло я… / Прощай навек, моя Москва! / Тебя давно уж нет в помине… / Но всё же верю: как анклав, / Моя Москва в Москве доныне»…

Пожалуй, откровеннее (и — безнадёжнее) всего подведёт он итоги своего московского периода в стихотворении, лукаво и горько названном «Ночная Москва», предваряемом эпиграфом из Маяковского и посвящённом первой его жене, Ольге Наровчатовой.

Ночная Москва

Ольге Наровчатовой

Меня Москва душила в объятьях
своих бесконечных Садовых…
В. Маяковский

Садовое ночью пустеет кольцо —
С ушедшим днём окончены счёты…
Оно, как огромное колесо,
Делает последние обороты.
Я столько метался внутри кольца!
Шагами мерил бульвары,
Как будто я беспризорный пацан,
Кому перспектива — нары!
Но участи этой я избежал.
И вот иду независимо.

Московские звёзды в небе дрожат
В недосягаемой выси.
Я их хватать совсем не хочу —
Мне звёзды сибирские ближе.
Умолкла Москва. И я молчу —
И слёз из меня не выжать!
Москва им не верит… Ну и что ж?
Мне-то какое дело?
Любовь прошедшая — острый нож,
Но рана давно отболела.
И ночью светел он — стольный град.
Мне многое здесь знакомо.
И я с Москвою встретиться рад,
Но я здесь теперь — не до́ма…

Третьяков возвращается в Красноярск. Он продолжает писать стихи. К тому времени он уже не раз публиковался в сибирских и столичных печатных изданиях, сборниках и журналах, среди них — и «Юность», и «Молодая гвардия», и «Сельская молодёжь», и «Енисей», и другие. Первые его поэтические книжки могли выйти не на родине, а в серьёзных столичных издательствах, в тот самый московский период, судя по рассказам его однокашников — с предисловием «самого» С. Наровчатова.

Памяти С. С. Наровчатова

Как много горестных замет —
Всерьёз, надолго!
Не купишь в прошлое билет…
Да и что толку?
Пропало много в суете
Без звуков лиры…
Дворы московские не те.
Не те квартиры…
Талант, наверно, тот же фарт —
Не канет в Лету,
Как мокрый снег, как синий март,
Но суть не в этом…
Вдруг не повдоль, а поперёк
Встаёт фарватер!
Патрон, что для себя берёг, —
В бою истратил…
Нет, не за то, что путь тернист, —
Из рамки — в раму…
И падает осенний лист
На чёрный мрамор…

«Но не исполнилось, конечно…»

И поэтому первая книга его стихов, «Цветы брусники», вышла в Красноярском книжном издательстве только в 1972 году, в упоминавшейся нами уже «кассетной серии». В 1977 году в Красноярске напечатают его второй сборник — «Марьины коренья», в предисловии к которому его друг Вячеслав Назаров скажет: «Не ищите в его стихах прямых аналогий с причудливой биографией: зелёный побег не похож на зерно, а цветы — на зелёный стебель. Но и в зерне, и в стебле, и в цветке пульсирует кровь земли — русской земли…»

В 1979 году Анатолия Третьякова примут в Союз писателей СССР. Потом будут ещё публикации — и в коллективных, и в авторских сборниках в Красноярске, в восьмидесятых, в девяностых, в двухтысячных… Будут многочисленные корреспонденции и интервью, которые он готовил, в красноярских газетах и журналах

И всё же: «Жил он незаметно», — фраза, которая почему-то встречается в воспоминаниях о нём его земляков.

Алитет Немтушкин в юбилейной статье о нём в «Календаре знаменательных дат „Край наш Красноярский“» на 2004 год напишет, заставляя вспомнить о том, что уже в этом рассказе о Третьякове отмечалось («жил в своём поэтическом мире»): «…вне поэзии я его не помню. На всех наших встречах всегда говорим о литературе, о стихах. У него прекрасная память — может цитировать тысячи своих и чужих строк, с юмором и иронией относится ко всему происходящему, не ловит звёзд с неба, всегда остаётся простым, понятным рубахой-парнем».

Алитет Немтушкин ещё вспоминает, как однажды, во времена перестройки, в не закрывшемся ещё тогда красноярском Доме писателей, «за ничего не значащей болтовнёй», Третьяков вдруг прочитал ему:

Только душу памятью я трону —
И опять увижу, как во сне:
Избы, словно серые вороны,
Дружно сели на февральский снег.
Крыши их, как сложенные крылья,
Опустились к срубам — не поднять!
Избы к снегу белому пристыли.
Помните ли, избы, вы меня?

И дальше автор статьи совершенно справедливо, наверное, восклицает: «…И такие пронзительные строки… ставят его лирическое дарование вровень с именами известнейших и любимых поэтов, как С. Есенин, Н. Рубцов и многих других „соловушек“ Руси…»

Бо́льшая половина творческой жизни А. Третьякова пришлась на перестроечные и постперестроечные времена. Процитируем ещё раз юбилейную статью А. Немтушкина, абзац о жизни красноярских писателей конца восьмидесятых – начала двухтысячных годов: «С началом перестройки, с тех времён, когда культура, в том числе и литература, стала невостребованной, все писатели разбежались по своим углам и занялись в буквальном смысле добыванием хлеба насущного. В Доме писателя стало нечего делать, да и некогда».

Среди написанного Третьяковым в эти годы мы встретим стихи к датам и юбилеям, тексты романсов и песен, даже «Гимн города Красноярска», положенный на музыку Олегом Проститовым. Но сам поэт знал цену настоящим строкам, настоящим стихам:

И вдруг придёт такая строчка,
С которой словно век знаком.
Она, как женщина в сорочке,
Спросонья ходит босиком.
Она — как будто надоела,
И от неё не жди тепла,
Но в том-то, может быть, всё дело —
Что век она с тобой жила…

Всё прожитое, увиденное, прочувствованное пробуждалось в таких вот «век живущих» с автором строчках, становясь однажды стихами, адресованными не суетному миру, но — той самой вечности, адресованными «Мировому океану», если воспользоваться образом одного из его стихотворений («Но не разлуки, не обмана / И не покорности судьбе, / А Мирового океана / Дыханье чувствую в себе…»).

И тогда — вновь плескались в его душе волны Енисея, стремящегося к Северному Ледовитому океану, вновь в его строчках пробуждалась «страшная награда» — память писателя «на года, не на часы»:

Видел много. Помнится — немного…
Только это помню наизусть:
Уплывает зимняя дорога —
И опять охватывает грусть.
Льдина разом — на две половины!
И охотник вдруг поплыл вперёд…
Две собаки, две простые псины
Лапами соединяли лёд!
Память, память… Страшная награда…
Память — на года, не на часы…
Вслед за льдиной, с человеком рядом,
Всё плывут и замерзают псы!

И тогда вновь загорался кровавым пламенем небосвод на западной половине земли:

Отгорят на западе закаты,
И тогда по краю тишины
По ночам домой идут солдаты,
Столько лет домой идут с войны!
По туманам, по хлебам несжатым,
В лунной серебрящейся пыли,
По ночам домой идут солдаты,
К миру, за который полегли,
И по ним не выплаканы слёзы,
И любовь, и молодость светла…
Как седая женщина, берёза
Ждёт кого-то на краю села.

А вот — вновь смыкаются темы военного детства, родного села, большой родины — России и неуёмной, вечной и горькой памяти народа. И ещё вспоминается Виктор Петрович Астафьев, вспоминается его «лирическая проза», его лучшие и чистейшие военные пасторали…

И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
Но в этом доме ждут кого-то
И не дождутся до сих пор.

Кто он? Солдат, давно погибший?
Иль сын, не помнящий родства?
Но всё ж под крышею прогнившей
Надежда светлая жива.

Всё так же сердце верить хочет,
И не проходит боль души.
И как по нём тоскуют очи!
А он явиться не спешит.

И зацветают мхом ворота,
Сугробов белых полон двор.
В России вечно ждут кого-то
И не дождутся до сих пор.

И ещё:

Зима сорок первого года

Война мировая — шутка ли?
Но на виду у всех,
Как гномы на парашютиках,
Десантом спускался снег.
Деревья насквозь продрогли.
Полнеба было в крови.
Медведицы в душных берлогах
Лизали лапы свои.
В огне, в незнакомой погоде
Сýдьбы теряли след…
О сорок первом годе
Помню и в сорок лет!
Почта обыкновенная:
Не голуби — вороньё…
Детство моё военное,
Как ты боялось её…

Он прожил непростую и долгую жизнь: успел встретить своё восьмидесятилетие. Наверное, больнее и тяжелее всего было поэту видеть, как после перестройки и развала страны гибнет многое из того, что успел полюбить он в далёком детстве (в этом тоже близки они были с Астафьевым, который не зря «на особицу» выделял Третьякова из красноярских поэтов).

Уже не пахли «теплом парного молока» берёзы (удивительный образ в одном из его стихотворений: «И от берёз вечерних веет / Теплом парного

молока»), уже не трудились от зари до зори его земляки в полях, не плескалась уже царь-рыба меж енисейскими берегами, и «веслом, как чайной ложкой» не «помешивал облака над Енисеем» знакомый рыбак. И даже скворцы не селились больше в скворешнях его детства…

Больше нет в деревеньке народа,
Словно здесь погуляла чума…
Зарастают травой огороды,
Покосились пустые дома.

Бедность выгнала жителей здешних.
Где они? Не сыскать и концов!
Удивительно: даже в скворешнях
По весне не бывает скворцов.

Догнивают кресты на погосте,
Слава Богу, что новых там нет.
И грибы, будто ржавые гвозди,
Из земли вырастают на свет.

Что поделаешь — время такое:
На полях земледельцу нет дел.
Может, новый период застоя
Наверху кто-то не разглядел?

Поселить бы в дома эти Думу,
Чтоб на землю спустились с небес.
Деревенька погибла. А шуму…
Это щепка. А рубят весь лес!

Его сборники девяностых и двухтысячных годов — «Галерея», «Ковчег», «Встречные поезда», «На ладонях моей земли» и другие — не приукрашивают изменившийся мир. Лишены они и дежурного пафоса, ложного оптимизма. И всё же («к месту Пушкина строка…»): «Печаль моя светла…» В сборниках этих и вера, и надежда, и любовь…

Всё — как и заведено было всегда в великой русской поэзии. Не зря называемой — классической…

…Куда убегают минуты?
(Нас всех и последняя ждёт.)
Уж прошлое видится смутно.
Куда нас судьба заведёт?

Об этом мы знаем немного —
Да много и знать не дано.
Вновь вечер. И снова с тревогой
Смотрю я на звёзды в окно.

Они друг на друга похожи.
И что им вечерняя мгла?
Минута счастливая всё же
У каждого в жизни была.

Эссе семнадцатое

«Куда ж нам плыть?..»

(Красноярская поэзия рубежа двадцатого – двадцать первого веков, часть первая)

…Перестройка и последующие за ней события изменили «литературную карту» Красноярского края.

Единственное до поры до времени Красноярское книжное издательство изо всех сил выживало и тоже «перестраивалось». В 1988–1990 годах читатели по всей стране расхватывали выпущенные в Красноярске поэтические сборники Николая Гумилёва («Избранное»), Владимира Высоцкого («Клич»), Даниила Хармса («Летят по небу шарики»); покойные столичные поэты едва ли не впервые несколько потеснили здравствующих красноярских авторов.

Как писал в своих воспоминаниях главный редактор издательства тех лет Владимир Зыков, «пришли всё же времена, когда можно стало… выпускать интересные книжки. Не „нужные“, как всегда, а просто интересные… Да, было несколько „золотых лет“ в истории издательства — примерно с 1988 по 1992 год, когда издатели уже вышли из-под контроля московского руководства, а имели прежние государственные возможности и практически полную свободу действий»…

Но на стыке веков государственное книжное издательство, прожившее интереснейшую, противоречивую и достойную жизнь, сначала акционировали, а в Касьянов день, 29 февраля 2008 года, оно было окончательно «продано с молотка» частному лицу и больше уже никогда и ничего не выпускало.

Ещё до начала перестройки регулярно начали меняться секретари местной писательской организации. Потом сама организация вслед за всероссийской распалась на борющиеся, противостоящие союзы. Роман Солнцев в 2006 году с отрадой вспоминал, «оглядываясь через пятнадцать лет…»: «Зимой 1991 года… большая часть русских писателей решила отколоться от старой структуры, носившей название Союз писателей РСФСР. От того самого Союза писателей, руководство которого изгоняло из своих рядов талантливых, но непослушных, поносило Солженицына, да и меньшим братьям по перу доставалось…» (Дальше автор делится нанесённой Союзом писателей ему когда-то обидой.)

Работавший в начале восьмидесятых директором Красноярского книжного издательства, а в конце 2000-х возглавлявший одну из красноярских писательских организаций Владимир Замышляев свидетельствует по поводу постперестроечных времён: «В катастрофическое положение попали и писательская жизнь, и главное дело её — художественная литература… В литературе, отделённой

от государства и разделённой между писателями, стали возникать автономные объединения „по интересам“ и созданные ими журналы и альманахи, даже в районных центрах, чего никогда не было в России самодержавной и советской. Можно говорить о суверенизации в литературном процессе, даже о его местечковой обособленности».

Литератор и издатель Михаил Стрельцов в предисловии к сборнику стихов одного из интереснейших красноярских поэтов, о котором пойдёт у нас чуть дальше речь, так характеризует тот переходный период: «…централизованный издательский рынок рухнул вместе с книгораспространением, на его место громоздились новоявленные корпорации, настроенные на заработок денег наспех слепленными детективами и женскими романами. Да и то — дело до отечественных авторов дойдёт только во второй половине 90-х, а пока массово издавалась „популярная зарубежка“…»

Угасал на время альманах «Енисей», вновь возрождался и на время исчезал из читательского поля зрения (например, в 2010-х годах выпускался как альманах Красноярского писательского содружества, альманах Красноярского краевого отделения Союза писателей России, а ныне — регулярно выходит как Красноярский литературно-художественный и краеведческий альманах под эгидой краевого Дома искусств). Зато, как мы уже говорили, возник в 1993 году по инициативе Р. Солнцева и В. Астафьева «всерьёз и надолго» литературный журнал для семейного чтения «День и ночь» — и живёт этот действительно солидный журнал уже три десятилетия: бывали в его судьбе «голодные» годы — и одним выпуском в год издатели вынуждены были ограничиваться, но главное — «насовсем» журнал не умирал ни разу…

А ещё в 2006 году член Союза писателей России Сергей Кузичкин основал в Красноярске альманах «Новый Енисейский литератор», выходящий до сей поры. Попытки начать издание литературно-художественных альманахов предпринимаются и в ряде других городов и районов необъятного Красноярского края. Этому способствует деятельность довольно многочисленных в регионе литературных объединений и поэтических клубов.

Постепенное возникновение частных издательств и типографий, компьютерного набора и относительно дешёвой малотиражной печати создало новые возможности для подготовки книг и брошюр, сборников и альманахов любых авторов, включая и совсем самодеятельных, скажем так — начинающих. Вопрос выпуска (а после — и приобретения) книг требовал теперь не рецензий маститых критиков, не связей в определённых кругах и, собственно, даже не определённого качества предполагавшихся к печати и к распространению книгопродуктов и их допечатной подготовки — вопрос с их изданием зачастую заключался только в финансах, которых, впрочем, большой части населения региона катастрофически не хватало.

Но постепенно что-то налаживалось в окружающем мире. У местной поэзии появился шанс на продолжение её долгой и разнообразной жизни. Парадокс это или нет — а число поэтов и прозаиков в регионе стало постепенно расти. Как в 2012 году отмечал в своих «Зарисовках о красноярской литературе» В. Замышляев, «…после 1991 года цензура и редакторство вкупе с ним как вид работы исчезают… Коммерческое предпринимательство… разбудило интерес к печатанию своих сочинений у тех, кто не является членом Союза писателей… В настоящее время трудно сосчитать все вышедшие в Красноярске коллективные и авторские сборники поэзии тех, кто не зарегистрирован в творческом Союзе писателей».

И вот — начали, наряду со старой гвардией поэтов, появляться и утверждаться многочисленные новые имена, которым предстояло продолжать своё существование уже в литературе незаметно подступивших нового века и нового тысячелетия…

Своеобразным рубежом доперестроечной и послеперестроечной жизни поэзии Красноярского края можно считать уже упоминавшийся в наших эссе, выпущенный в 1988 году в издательстве «Современник» сборник «Час России: Антология одного стихотворения поэтов России», составленный В. Астафьевым и Р. Солнцевым.

Представляющий многих — и российских, и сибирских, и дальневосточных — поэтов «российской периферии», в основном последних десятилетий двадцатого века, сборник этот как бы подводил итоги судеб поэтов «провинции», обозначал конечные точки путей, которыми прошла к моменту его выпуска поэзия в российской глубинке.

Составители подчёркивали в подписанном Виктором Астафьевым предисловии, что при безусловном отсутствии в книге «по-настоящему великих стихов» есть в ней всё же такие созданные в русской провинции стихи, которые «не только прочитать вслух, но и заучить наизусть» будет не грешно. А «великая поэзия», продолжали составители, «рождается и поныне не на голом месте», ей всегда «предшествовала, рыхлила для неё почву работа многих и многих скромных, беззаветных, талантливых служителей слову»…

И в наступившие после крушения Советского Союза и всей прежней советской системы, после пересмотра прежней литературной «табели о рангах» времена эта работа «талантливых служителей слову» на красноярской земле не прекращалась.

На рубеже двадцатого – двадцать первого столетий выпуск коллективных поэтических сборников стихов, объединённых то по тематическому, то по географическому, то по ведомственному, то по ещё какому-то принципу, не прекращался.

Новые, известные и забытые поэтические имена раз в два месяца исправно открывают читателям выпуски журнала «День и ночь». Новые стихи появляются на страницах других журналов и альманахов региона.

Интересно, что продолжились и попытки составления антологий и даже хрестоматий, сборников «одного» или нескольких «избранных» стихотворений, которые должны были бы представить читателю хотя бы наиболее интересных и значительных (на взгляд составителей) авторов того или периода красноярской поэзии («Теперь издаются самые неизвестные», — с некоторой обречённостью замечал один из составителей подобных антологий, издатель А. Статейнов).

С началом двадцать первого века Интернет дал не требующую особых финансовых затрат возможность время от времени пытаться составить и разместить подобные электронные подборки красноярской поэзии на сайтах, в чатах, на страницах в соцсетях. Такие электронные сборники легко обновляются, объёмом для размещения текста разработчики особо не лимитированы. Но, к сожалению, чаще всего подобные интернет-проекты составителями рано или поздно забрасываются, и со временем они становятся недоступны для посещения.

Подобные бумажные, печатные (значит — и более долговечные) антологии подготовлены были в 1998–2020 годах, например, Красноярским книжным издательством («На поэтическом меридиане», 1998); издательством «Буква» («Избранное красноярской поэзии XX в.», 2001, и «Хрестоматия по литературе Приенисейского края», 2009); Литературным музеем имени В. П. Астафьева («Сибирь: коллекция представлений. Книга для чтения по сибирской литературе, XVII–XIX вв.», 2018, и «Сибирь: коллекция представлений, XX век. Книга для чтения по сибирской литературе», 2020); альманахом «Новый Енисейский литератор» («Поэты на берегах Енисея XVIII–XXI вв.», 2008); несколько сборников вышло в рамках грантовой программы «Книжное Красноярье» («Свеча над Енисеем», 2009, и др.).

Объём таких сборников-антологий различен, как различно и число представленных в них поэтов. Отбор имён и стихов — конечно же, отчасти субъективен и не вполне полон, о чём, как правило, заранее предупреждают сами составители. И действительно, вряд ли сегодня возможно представить себе такое достаточно убедительное, «репрезентативное» печатное ли, электронное ли издание-антологию, которое включало бы хотя бы подавляющее большинство авторов и их стихотворных текстов, созданных на рубеже двадцатого – двадцать первого веков в Приенисейской Сибири.

Повторимся, что объём «новосозданных» за последние десятилетия стихотворных текстов огромен, а возможности печатной и электронной публикации любых текстов любого автора сегодня неисчерпаемы. Попытки же условно считать «настоящими поэтами» исключительно тех авторов, кто является на сегодня членом того или иного писательского союза или литературного объединения, конечно же, по нескольким понятным причинам, не слишком состоятельны. Неизвестно, какие именно члены таких писательских объединений будут в «обозримом» и «необозримом» будущем востребованы в качестве не только почитаемых, но и, главное, читаемых писателей и поэтов. И, как мы уже убедились, далеко не все подлинные, «настоящие» сибирские поэты и писатели при жизни удостаивались соответствующих заветных членских билетов… Со времён достопамятного визита булгаковских лже-Панаева и лже-Скабического в писательский ресторан «Грибоедов» мало что в писательском мире в этом смысле изменилось…

Поэтому попытаемся упомянуть хотя бы лишь о некоторых, ещё отчасти остающихся у издателей и критиков «на слуху», но не вполне ныне знакомых «широкому читателю» именах красноярских поэтов последних десятилетий.

• • •

Лев Николаевич Таран (1938—1994). Его имя однажды уже встречалось нам на страницах этих эссе — в посвящении одного из ранних стихов Романа Солнцева «Поэту и психиатру Л. Тарану»: «…Повторяет имя с горьким вызовом, / словно хочет кто его отнять… / Ты угрюмо затянулся ‹Visant›ом. / Ничего не можешь ты понять!»

Практически забытое, неизвестное нашему современнику имя. И интереснейшие, непростые, не выцветшие от времени стихи.

Личная биография укладывается в несколько строк. Как и большинство поэтов в последних наших эссе — родом из памятных тридцатых годов. Отец погиб на войне, мать — пенсионерка, пережившая в итоге сына. Уроженец Красноярска, учился в Красноярском медицинском институте, после окончания которого в 1962 году стал работать врачом во 2-й краевой психиатрической больнице, той, что близ посёлка Овсянка.

Красноярск, родной город, — любил. Писать стихи начал рано. Друзья — коллеги по вузу и профессии и, конечно же, красноярские литераторы, сверстники, которые его потом помнили всю жизнь. «Добродушный, внешне спокойный и одновременно полный невероятного внутреннего напряжения». Среди друзей-красноярцев — художник Андрей Поздеев, литераторы Евг. Попов, Э. Русаков, Р. Солнцев…

…А горы за Енисеем
подёрнуты лёгкой мглой.
Стареем, мой друг, стареем.
Стареем и мы с тобой.

Когда-то на эти горы
почти не глядели мы.
Блистательные разговоры.
Блистающие умы.
И слава, конечно, слава —
не сразу, так под конец.
Спасибо, что эта отрава
не тронула наших сердец…

В 1970-х Таран уезжает в ординатуру в Подмосковье, там и остаётся, дежурит раз в четыре дня в психиатрической скорой помощи института Склифосовского, остальное время живёт в подмосковном городе Дмитрове. Умирает от инфаркта, не дожив четыре года до пенсии. (Евгений Попов сказал: «А когда закончился роман, закончились стихи, закончилась и жизнь. Больше ему здесь нечего было делать…») Жена уходит из жизни вскоре после его смерти. А их единственный сын когда-то погиб через несколько дней после рождения…

…Спасибо, что мы ещё живы,
что мы не сошли с ума.
Исчезли наши обрывы,
исчезли наши дома.
Прекрасно, что мы не жалеем.
Прекрасно, что радуют глаз
увалы за Енисеем,
оставшиеся для нас.

Довольно простая — но какая, если внимательно вслушаться в факты биографии и в рассказы о нём его друзей, нелёгкая судьба. И врачебная специализация (психиатрия, да ещё при этом и многолетняя, пожизненная работа в психиатрической скорой помощи…) сразу вызывает чувство тревоги, мурашки бегут по руке…

Слава Богу, что я не печатался,
не прославился, не преуспел…
Я бы нынче иначе печалился,
по-иному бы думал и пел.
Я полжизни убил над задачником…
А ответ оказался простой:
нужно неслухом быть, неудачником,
чтоб самим оставаться собой.
И, приблизившись к самому краю —
сентябрю, октябрю, ноябрю,
я судьбу свою благословляю
и Всевышнего — благодарю.

Ещё сложнее с биографией поэтической, с судьбой поэта.

Спустя десять лет после его смерти эссеист и литературный критик Сергей Мнацаканян напишет в «Литературной газете»: «…Лев Таран пропал в российской литературной круговерти. Поэт жёсткого стиля, драматического постижения жизни, зачастую антиэстетичный в своих страшных поэмах-романах, он и не смог бы зацепиться за глянцевые обложки гламурных журналов и телеэкраны с примитивными песенками».

Поэт Вадим Ковда, всю жизнь напоминавший читателям и критикам о стихотворном даре Л. Тарана, считал: «Россия упорно продолжает сорить талантами. На мой взгляд, один из лучших поэтов второй половины двадцатого века… остался практически неизвестным, непрочитанным, непонятым. Страна прозевала очень значительного поэта — не побоюсь сказать, в лучших стихотворениях поднимающегося до тютчевского уровня…»

В. Ковда приводит в пример стихи Тарана, говоря о том, «какая сила, какая мощь брезжит в этих строках»:

Комсомольцы-добровольцы…
Лагеря в колымской мгле…
Прозевали богомольцы —
Страшный суд был на земле.

И действительно, удивительно глубокое поэтическое прозрение, прочтение поэзией вроде бы всем известного факта истории и одновременно — почти богословское осмысление всего двадцатого века в России…

В изданной в 2013 году посмертно усилиями друзей книге стихов Л. Тарана «Никто ни в чём не виноват» составитель, Э. Русаков, пишет: «Лев Таран был одним из самых целомудренных и чистых поэтов России, несмотря на брутальность, натурализм и ненормативность некоторых слов, строчек и эпизодов. Впрочем, он не боялся быть и банальным, и простодушным, и пафосным… он вообще в стихах ничего не боялся…»

Евгений Попов говорит: «Он, несмотря на жуткий быт и кошмарную работу, был абсолютно свободен, отчего не вписался ни в „официоз“, ни в „сам-там-издат“…»

Читатель ищет между строк
Какой-то смысл, конечно, тайный.
Но я не Бог и не пророк.
Мои прозрения случайны.
Мои прозрения слепы.
Мои пророчества опасны.
Я сам пытаюсь ежечасно
Уйти от собственной судьбы.

Печататься Таран начал довольно рано, в двадцать лет (в 1958 году в газете «Красноярский комсомолец»). Впрочем, «начал печататься» — громко сказано. Было всего несколько одиноких публикаций — в коллективных сборниках, в альманахе «Енисей», в нескольких столичных журналах («Смена», «Юность», «Сельская молодёжь»).

Встань. И как мел с доски сотри —
Пусть снова что-то пишется.
…В холодной дышащей степи
Колосья чуть колышутся.
Под оловянною луной,
Огромною, округлою,
Река исходит белизной,
А чёрный мост
Обугленный.
И всё, что было, —
За чертой,
За той, воображаемой.
Тальник прозрачный над водой
Нисколько не разжалобил.
Я шёл, подковками звеня,
Был, как пружина, собранный.
А то, что предал друг меня,
Так, слава Богу,
Вовремя…

Это — одно из стихотворений Льва Тарана, вошедших в уже не раз нами упоминавшийся красноярский «День поэзии» 1967 года.

Мы сами не заметим, как погружаемся в глубоко внутренний мир лирического героя (или — автора? они у Тарана практически нераздельны). Очередной удар, полученный от мира, от жизни. Стереть его, как в детстве стирали надпись мелом с ошибками на классной доске?.. И — как в книгах про любимого детского героя совсем уже других времён — после этого мы внезапно «аппарируем» в природу (она ведь всегда нас спасает).

В равнодушную, чуждую природу. Холодная степь, чуть колышущиеся колосья, огромная и округлая оловянная луна, река, которая «исходит белизной», и чёрный, обугленный мост… (Накал эмоций, потерянности, тоски героя и читателя вместе с ним — нарастает. Обугленный мост — здесь не случаен, как и понимание того (в начале стихотворения), что однажды на доске «что-то вновь напишется»: но мосты разрушены, а значит — и все связи разрываются.)

И значит — «всё, что было» с героем, теперь осталось «за чертой», «за той, воображаемой»…

Окончательный вердикт природы: прозрачный тальник — «не разжалобил»…

И — финал; удивительный по психологизму поворот «лирического сюжета». Герой снова идёт по жизни (а куда ему деваться-то от этой жизни, от этого мира?), «подковками звеня, как пружина, собранный». И вдруг — окончательный финал стихов, ещё один вердикт, попытка жить дальше и, собственно говоря, наконец-то — фактическая завязка всей фабулы стихотворения, прямо-таки — внезапным ударом в читателя, прямо — «под дых»: «Я шёл, подковками звеня, / Был, как пружина, собранный. / А то, что предал друг меня, / Так, слава Богу, / Вовремя…»

…Интересно, что через два года для своего первого авторского сборника Таран эти стихи перепишет (редактор посоветует?). И это будут уже несколько иные (более умиротворённые? менее жестокие? или нет?) строки… Природа живёт своей, отдельной от человека, жизнью. Тоже полной страданий, полученных от людей («лес порубленный»). Идёт своим чередом размеренная трудовая жизнь человека, собирается в зароды сено. Лирический герой уже не идёт, звеня подковками, он вне этого мира реальности, он только сейчас появится «в кадре». И, как и в предыдущем варианте стихотворения, — развязка; но здесь она — констатация факта, уже не более того:

Под оловянною луной
Река исходит белизной.
А мост повис обугленный.
Вхожу в прозрачный лес ночной,
Прозрачный лес, порубленный.
Ну что мне, право, эти пни?
К чему виденья страшные?
Мерцают нежные огни
Вдали над тёмной пашнею.
Хрустит упругая стерня.
В зароды сено собрано.
А то,
Что предал
Друг меня —
Так, слава Богу,
Вовремя…

Да, в 1969 году в Красноярске выйдет его первый сборник, «Дежурство».

Спустя двадцать один год, уже в Москве («Советский писатель»!), в 1990 году, — второй и последний сборник члена Союза писателей Москвы Л. Тарана, «Повторение пройденного».

И, при жизни поэта, — всё…

Не забывшие, тщательно собравшие все к тому времени ещё не потерявшиеся («не сгоревшие») архивные черновики и машинописи стихов Льва Тарана его друзья-поэты считают, что при его жизни были напечатаны не самые яркие, а только допустимые тогда, только «пропущенные» редакторами его стихи (эпоха-то — всё ещё была советская!).

В 2013 году в Смоленске выйдет наконец-то необыкновенный его роман, ритмической прозой написанный, «Алик плюс Алёна: роман в 7 ч.».

Собранное друзьями, то, что невозможно было при жизни напечатать, — вошло в Красноярске в уже упоминавшийся сборник 2013 года «Никто ни в чём не виноват: стихи разных лет», вышедший тиражом сто экземпляров («Частное издание Николая Негодина»), и таким же тиражом выпущенный (составитель — М. Стрельцов) сборник 2018 года «Послушайте, Лещёв!».

Если читателю попадут в руки бродящая в интернете электронная версия первого из этих сборников или (каким-то чудом) печатный экземпляр второго сборника, то стихи Льва Тарана («Александр Лещёв» — запоздалая попытка псевдонима, в честь прадеда) — их можно бесконечно и медленно пить глотками, как воду в жаркий день (но осторожно — горьковатая это водица)…

Единственная

В доме отдыха смена кончается.
Отдыхающие прощаются.
До автобуса провожают.
И друг другу писать обещают.
Вот идёт с мужчиною женщина.
Шепчет преданно: «Женечка! Женечка!»
Он в ответ глядит — не мигает.
Он нести чемодан помогает.
Наконец-то села в автобус.
Он поодаль стоит, обособясь.
Он автобусу машет рукою,
Вспоминая о даме с тоскою.
Ничего от неё не скрывал он,
Потому и стал идеалом.
Он смущённо улыбку прячет,
Понимая, что там она — плачет.
…Его скоро уже не будет.
И жена о нём позабудет.
И о нём позабудут дети.
Лишь одно существо на свете
В одиночестве — истомится…
Ей единственной будет сниться.

Безнадёжность и обречённость, предугаданность и предсказанность судеб, поступков, эмоций, рождений и, конечно же, смертей…

Обрыв

Ничего я собой не значу.
Я во власти грехов и страстей…
Но над бедною родиной плачу,
Над любимой и кровной своей.

Березняк, запорошенный снегом.
Серый мрак вперемешку с тоской.
Я и сам, перемешанный с небом,
Высоко над замёрзшей рекой.

За рекою холмы и равнины.
Деревеньки темнеют вдали.
Это родины нашей руины.
Их надолго снега замели

Что там — криков и лозунгов ветошь?
Каждый вздох, каждый шаг — на крови.
Знаю, родина, что не заметишь,
Слава Богу, что ты не заметишь
Эти жалкие слёзы мои.

Писал ли кто-то ещё из его земляков и современников о родине так, как сделал это Л. Таран? Впору вслед за Астафьевым вспомнить здесь строки действительно великие: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…» И, конечно, вправе мы вспомнить и другие, тоже знаменитые строки, уже Вознесенского: «Мне больно когда — тебе больно, Россия…» Это могло бы быть темой интереснейшего исследования: образ родины и трансформация его у лирических героев поэзии второй половины двадцатого века…

Ещё одна цитата, снова из Вадима Ковды, из его текста, размещённого среди собранных в посмертных сборниках коротких, но жгучих воспоминаний друзей: «Мне кажется, что его стихи действительно нужны России и будут востребованы читателями. Он писал методом прямого высказывания, как писали поэты „золотого века“. Если бы его щедрее публиковали, если бы он был замечен и прочтён, то, возможно, современная поэзия была бы иная. А всевозможные концептуалисты, метаметафористы, мелкие юмористы, герметисты и прочие исты не имели бы шансов на успех. И, может быть, интерес к поэзии сохранился бы. И народ не отвернулся бы от поэзии, скомпрометированной всевозможными „Лонжюмо“ и „Казанскими университетами“. Лучшие стихи Льва Тарана выстраданы, жизненны и обладают огромной силой воздействия…»

Интересно здесь прямое противопоставление поэтических путей шестидесятников: забытого было современниками, путаного, не богатого на публикации, но уникального и приведшего к стихотворным открытиям пути Льва Тарана — и путей тех столичных провозвестников шестидесятничества, которые вовремя «отметились» в глазах партийной критики «ленинскими темами» своих поэм, потом благополучно жили и печатались, но «широкого читателя» уже, видимо, особо не потрясали (и, стало быть, утратили в какой-то момент право первородства?)…

Начинающие

Мы пишем стихи. Мы в редакции ходим.
И споры заводим. И в спорах выводим,
Чтоб жить, как хотелось, писать, что хотелось…
Но в этом ли смелость? И это ли зрелость?
И в том ли мы ищем ценность и цельность,
Чтоб жизнь отражать, как погоду Цельсий?
Мол, там разберут: хорошо или плохо.
А рядом — ревёт беспощадно эпоха.
И старые догмы рвутся на части.
Как хочется нежности всё чаще и чаще!
В компаниях шумных и в тихой квартире
Мы забываем о яростном мире.
О зле забываем, о грязи, о подлости.
А кто-то нашей беспечностью пользуется!
Но к нам вдруг приходят — ритмы и рифмы.

И строки — как гуси Древнего Рима:
На крыльях несут они тревогу весеннюю,
В их криках хриплых — наше спасение.
Кровоточат наши строки всё чаще.
И хочется нежности… хочется счастья…

С лёгким привкусом горчинки, с понятной ностальгией, с насыщенностью нравственной проблематикой и с глубокой тоской, с вырыванием из яростного мира к недостижимому: к нежности, к счастью. Такой вот портрет того поколения…

И ещё одно удивительное стихотворение.

«С лёту» покажется — всего лишь бытовой зарисовкой, завершающим эпизодом из жизни некоего бывшего красного комиссара. Но когда внимательным взглядом посмотрит, когда вчитается читатель — открывается целая эпоха в истории через финал жизни одного её «типичного представителя». Эпоха представлена мастерски — через точно впаянные в текст детали сражений, через аллюзии к песням, к поэтическим штампам эпохи. Эпоха сталкивается с не использованным комиссаром шансом на человечье счастье: вновь «бабье жалкое лицо» примерещилось (и рядом — крыльцо, и сразу целая драма в пару строк вмещается: крыльцо — проводы, расставания…). И, наконец, не подлежащая обжалованию оценка этой погубленной, бессмысленной комиссарской жизни (и эпохи): расплываются лица, утихают голоса, лишь затёртая от употребления в текстах мифологическая тачанка «все четыре колеса» мчится в неведомую даль.

«Русь, куда несёшься ты?..»

Комиссар

Две подушки в изголовье. На губах запёкся жар.
Умирал от белокровья бывший красный комиссар.
Снова он оглох от лязга. Снова топот, пыль, огни.
Где вы, где вы, ночи Спасска, волочаевские дни?

Где долины те и взгорья? Вновь мерещится крыльцо
И, опухшее от горя, бабье жалкое лицо.
Не жестокость — просто было в те года не до любви.
Революция трубила в горны звонкие свои.

Вот и всё… расплылись лица, и утихли голоса.
Лишь тачанка мчится-мчится. Все четыре колеса…

И ещё один текст Льва Тарана. Взгляд на профессию через зеркало, через приём отстранения (и остранения).

Жестокое, как приговор, горькое, как лекарство из хины, острое, как скальпель хирурга, драматичное, как пьеса Шекспира, стихотворение — коллективный портрет целого врачебного сословия, портрет их обречённой на трагизм судьбы. И не поспорить с ним — написано большим поэтом, который бóльшую часть своей жизни тоже провёл, будучи облачённым во врачебный халат — одеяние надежды, смерти и горького клятвенного гиппократовского призвания…

Хирурги

В. Лалетину

Хирурги — немного циники,
Презирающие жесты и фразы.
И балансирующие, как в цирке,
Под куполом диафрагмы.

О, эта их власть, пред которой
Все чины не стоят гроша!
Их смертные приговоры
Кассации не подлежат.

Как будто всех чувств превыше,
С чужою бедой на горбу,
Ставят они привычно
Последний диагноз в графу.

Друг с другом отчаянно спорят.
В ошибках своих упираются.
И вдруг всю до мелочи вспомнят
Неудавшуюся операцию.

И тени погибших витают.
И нету тоски лютей.
И до старости доживают
Немногие из этих людей.

…Стихи Льва Тарана — их можно уподобить талантливейшим короткометражкам Дзиги Вертова. Ничего лишнего, выхваченные из жизни героев отдельные минуты их жизни создают безукоризненный и убедительнейший сюжет, немногочисленные позволяемые себе автором детали несут колоссальную эмоциональную нагрузку. И, как всегда, наотмашь, — жгучие финальные строки, делающие картину завершённой, законченной, как завершена лишённая рук и головы Самофракийская Ника…

И, наверное, нет в горестных и восторженных строках В. Ковды о несостоявшемся значении Льва Тарана для русской поэзии большого преувеличения?..

У поэта после запоя — молодая, горячая кровь…
Верно правят его судьбою — вдохновение и любовь.
У поэта после запоя — свет не гаснет в окне всю ночь.
И строка бежит за строкою — сразу набело,
во всю мощь…
А как падал, как полз вдоль забора — вам об этом
знать не резон.
Как трусливей последнего вора озирался угрюмо он,
Злой, небритый, в грязной сорочке… А лицо всё
в слезах… Ну и пусть…
Вы теперь его светлые строчки повторяете наизусть.

• • •

Ещё одно, заново открывающееся нам только сейчас, имя, ещё одна сильная личность — и ещё одна изломанная, неприкаянная судьба.

Николай Рябеченков родился в конце ноября 1941 года на оккупированной немцами Смоленщине. Этот факт биографии как будто отбросил длинную тень на всю недолгую жизнь будущего поэта. Жизнь проходила поначалу в разъездах и скитаниях. Первое образование получил в Ростовском кинотехникуме (где и появились первые стихи); кем только потом не работал — киномехаником, слесарем, электриком, корреспондентом… Ещё была армия. Совсем молодым, в двадцать лет, в 1961 году приехал в Сибирь, на строительство Красноярской ГЭС. Казалось бы — юность, романтика, комсомол, рабочие профессии, тот самый стартовый набор: всё как у уже известных нам шестидесятников, воспевших Сибирь с её комсомольскими стройками…

Вроде бы — да. И стихи продолжал писать, и понемногу печатался в разных газетах, журналах, коллективных сборниках, и в Литинститут потом поступил (окончил его в 1971-м). И ударно работал на стройках Дивногорска, в итоге получив почётный знак «Строитель Красноярской ГЭС» из рук самого начальника «Красноярскгэсстроя», знаменитого А. Е. Бочкина. И в 1966 году, когда строительство завершилось, остался жить в Дивногорске, сотрудничал с местными газетами… Ветераны даже вспоминают, что поэт был первым киномехаником, крутившим фильмы в 1961 году в первом дивногорском кинотеатре «Юность».

Но…

Дивногорск-67

Как не каждое лыко в строку,
так не каждая в лад строка.
Поналезла сволочь на стройку,
собираясь пролезть в века!
Пьедесталы себе готовят.
Ищут места, посуше чтоб.
А бетон-то замешен на крови.
А под каждым под блоком — гроб.
Знаю многих ораторов штатных,
не понявших простую мысль,
что не слишком ли мыслим масштабно?
Тащим в даль,
забываем близь.
Ах, какая страна большая!
Сколько ж много в стране людей!
Сколько ж бед
и судеб
вмещает
воплощение в жизнь идей!
Сколько ж надо нам дел переделать,
чтоб понять самого себя,
то, что каждый из нас — идея,
то, что каждый из нас — судьба.
Мы в стране своей — словно дома.
Но страна забывать не велит,
что — смотрите! —
у «Гастронома»
в доску пьяный лежит инвалид.
Что ж он? Меньше идеи стоит?
Человек. Он прошёл войну.
А сейчас вот — лежит и стонет…
Как не взять на себя вину
за такую жестокую старость?
Разве я,
лично я, виноват
в том, что водка ему осталась
лишь путёвкой в житейский ад?
Строим, строим,
а после стройки
как-нибудь на троих строи́м…
В кулаках — измятые «тройки»,
и не ведаем,
что творим…
Ритм эпохи двадцатого века —
пулемётная дробь у виска.
Надо строить сейчас человека.
Навсегда.
На века.
До конца.

Стихи, помеченные тем же годом, когда в красноярском «Дне поэзии» была опубликована и небольшая подборка стихов Николая Рябеченкова. Объективно говоря — не очень внятная, не слишком ясная, мало что говорящая об авторе и его поэтическом даре.

А стихи «Дивногорск-67», конечно же, ни в тот, ни в другие коллективные сборники советских времён войти не могли.

Всё то, на что, как мы по предыдущим эссе помним, земляки и сверстники Рябеченкова в своих стихах (вспомните Яхнина, Белкина…) могли только слегка, завуалированно, одним словом, или не очень привычным поэтическим образом, или неожиданным интонационным поворотом стиха, как бы намекнуть — всё это, вся изнанка великой стройки и цена высоким лозунгам в этом вот стихотворении Рябеченкова была предельно ясно и убедительно обозначена.

Пусть без подробностей и деталей — но и без всяких прикрас. «Поналезла сволочь на стройку, / собираясь пролезть в века…» — какие комментарии тут еще нужны?.. Те, кто помнит партийные крайкомы и комсомольские райкомы советских лет, помнят и эту категорию комсомольцев-добровольцев, угодных и любимых своим противоречивым временем…

И, наконец, после неожиданного, отчасти вставного эпизода у гастронома с пьяным ветераном-инвалидом, брошенным страной, — идут

эти, буквально убийственные, строки: «Строим, строим, / а после стройки / как-нибудь на троих строи́м… / В кулаках — измятые «тройки», / и не ведаем, / что творим…»

И вспомнишь вдруг кадры из говорухинской «России, которую мы потеряли» и кадры из десятков других документальных и художественных фильмов, которые отснимутся и выпустятся в несколько лет перестроечной эйфорической свободы…

Рябеченков написал об этом до перестройки, как и о многом другом, пусть и были это листки, обречённые на пребывание в столе.

Из цикла «Художникам Старого Скита» (как ещё раз убеждаемся, Старый Скит в Дивногорске входил в души, в творческое пространство живших там мастеров — и художников, и поэтов, и их читателей и зрителей):

Бродяги, смертники, изгои…
Весь мир нам кажется чужим.
Живём, не дорожим собою
и перед смертью не дрожим.
Нам в этой жизни невозможной
всего страшнее — суета.
И вот — звучат тоской острожной
все песни Старого Скита.
Теряем кисть из рук умелых.
Теряем смысл. Теряем цель.
Летит вдоль стен заиндевелых
горизонтальная метель…

При его жизни вышла всего одна книжка, «Скит». Точнее — книжица, величиной в тридцать страниц, да ещё и в «кассетном» наборе, вместе с шестью другими начинающими поэтами. Шёл 1990 год, до смерти ему оставалось несколько лет.

Утро. Мороз и метель во дворе.
Солнце не светит.
Сколько ещё впереди январей,
кто мне ответит?
Сколько на землю снегов упадёт?
Сколько растает?
Утро. Позёмка вдоль улиц метёт,
след заметает.
Выйду на улицу — прямо в лицо
с ходу, с разбега
ветер бросается, словно свинцом,
комьями снега.
Слышен короткий отрывистый стон
голых деревьев.
Ветер бросается с разных сторон
одновременно.
И не укрыться, не спрятаться, не отворотиться…
Сколько ещё посчастливится мне
жить, торопиться?
Сколько я выдержу прямо в упор
снега и ветра?
Утро. Сквозь окон морозный узор
голая ветка…

Виктор Астафьев так считал: «…стихи Николая были широко известны красноярцам и дивногорцам, полюбились многим… Николай Рябеченков сделал очень много для развития сибирской культуры… не одну навигацию провёл в плавании вместе со своими друзьями-речниками, оставив нам в наследство множество стихов, проникнутых романтикой странствий…»

Я мало в этой жизни сделал,
но всё ж судьбой не обделён
зелёным ветром, снегом белым,
простором четырёх сторон.
И, знать, в одном моё спасенье,
за то судьбою я храним,
что воду пил из Енисея,
встав на колени перед ним.

Поэт Сергей Кузнечихин долго убеждал Романа Солнцева посмертно издать в серии «Поэты свинцового века» авторский сборник Николая Рябеченкова: «Я был составителем его книжки. Еле уломал главного редактора. Коля успел нажить массу недоброжелателей. Серия предназначалась для репрессированных авторов, а Рябеченкова, возражали мне, никто не репрессировал, во всех его бедах виноват дурной характер…»

Ещё мгновенье — и угаснет день.
Закончится бесшумно. Без оваций.
В тяжёлой промороженной воде
серебряные звёзды отразятся.
От берега до берега — рукой
подать. Но это только мнится.
От берега до берега — покой.
Меж Временем и Вечностью граница…

Бесприютность, житейская неустроенность, отсутствие будущего — и бесценный поэтический дар… С этим и жил на птичьих правах в комнате чужого общежития поэт, мечтавший умереть в июне.

Нет! лучше умереть в июне…
(Когда весенний первый град…)
Проводит вас, роняя слюни,
от профсоюза делегат.
Зимой у нас — такая стужа!
Вам — всё равно. А им дрожать,
которым вас, отца иль мужа,
придётся в землю провожать.
Не умирайте в феврале!
Живите из последней силы!
В морозом скованной земле
так тяжело копать могилы.

Эта мечта его исполнилась. Срок смерти он в своих стихах точно предугадал (как и его друг Николай Рубцов — отмечают знавшие его). Случилось это 14 июня 1995 года.

Спустя всего лишь семь лет случится и его первая, более-менее полновесная книга…

Мы все чего-то ищем,
мы все чего-то ждём.
Грустим над пепелищем
и — строим новый дом.
Находки и потери,
паденье и успех —
по самой крайней мере:
иль — слёзы,
или — смех.
А после разберёмся,
и горло сдавит стон:
не от того смеёмся.
И плачем не о том.

• • •

«Прощай, „мужичок-лесовичок“»; «Писатель, мудрец и… грибник»; «Поистине народный писатель», — только некоторые из заголовков посвящённых ему статей, и посмертных, и прижизненных. При анализе его поэтического творчества часто вспоминают Николая Рубцова, Сергея Есенина, а говоря о его удивительной прозе, о его новеллах, посвящённых русской природе и русскому человеку среди неё — называют имена Михаила Пришвина, Василия Шукшина. Можно вспомнить, наверное, из земляков: и рассказы Николая Устиновича, и «затеси» Виктора Астафьева. Да много кого можно вспомнить в связи с его прозаическими книгами для детей и для взрослых, пусть и с оговорками, — и Ивана Шмелёва, и Ивана Бунина, и Константина Паустовского… Но речь всё же не о прозе.

Висят замки… Забиты ставни глухо —
На всё село в живых одна старуха.
Умерших сёл так много на Руси —
Печальных кладбищ языка и духа.

Как удивительно точно легла российская действительность в прихотливый восточный жанр рубаи…

Вениамин Зикунов (1937—2008) родился в 1937 году в деревне на Алтае. Село своё, Антоньевку, будет вспоминать всю жизнь, хотя на месте его родного деревенского дома давно уже стоит в Антоньевке несуразная пятиэтажка, как он признавался в одном из своих стихотворений. Не важно — в памяти-то и в сердце писателя, в его художественном мире он, этот дом (как и вся красота русской земли, которую он всю почти исколесил), останется навсегда.

Русские сёла

Звенягино, Стозвоны, Звень…
Набат и нежность, песенная смелость,
Классическая пушкинская зрелость
В названиях российских деревень.
Вся в петухах деревня Петухи,
Порошей запорошено Порошино.
И столько сокровенного, хорошего
В названиях, звучащих как стихи.
В болотной хляби дремлют Упыри,
В степях алтайских затесалось Родино.
Они на карте — маленькие родинки,
А вместе все — шестая часть Земли.

Эти стихи вместе с ещё двумя были опубликованы давно, в 1986 году, в журнале «Юность». К этому времени он уже был автором изданного в Красноярске поэтического сборника («Шелест травы», 1982). Но и сборникам, и публикациям поэта Зикунова предшествовала достаточно непростая, разбросанная по разным уголкам «шестой части Земли» жизнь. Было в ней, в этой жизни, рано кончившееся детство — когда рано пришла пора «идти в люди». И он с четырнадцати лет начал работать. Работы предстояло ему пройти в жизни разные — и токарем побывает, и мастером производственного обучения в ПТУ, и корреспондентом, и даже экскурсоводом… Но это будет уже после армии. Служить его отправили на Тихий океан, в морскую авиацию, здесь он и напишет свои первые строфы… После окончания в 1972 году филфака Томского госуниверситета вернулся на Алтай, а потом оказался в Красноярском крае, в Шушенском — здесь и проводил свои экскурсии в Ленинском мемориале. Потом продолжилась снова его журналистская работа. В разные годы был корреспондентом в газетах «Красноярский рабочий», «Красноярские профсоюзы», «Красноярский железнодорожник». Поселился в Дивногорске, где рядом с ним всегда были не только друзья (поэты его поколения — Рябеченков, Белкин, Туров, а также и поэты совсем молодые, начинающие при его поддержке), но и благословенная природа, жить без которой он не мог.

В аннотации к последней его прижизненной книге прозы «Никишкины крылья» (2007) были сказаны очень точные слова: «Живое общение с природой даёт ему пищу для души, и он старается через свои поэтические этюды прививать у читателей любовь к Родине, Дивногорску, к ранимой и скромной красоте сибирских пейзажей. В своих новеллах он видит, как распускается первая весенняя почка, как поселяются на полянах нежные первоцветы, как падает в лесу последний лист осени. Всё в природе — чудо: гроздь рябины, утонувший в речке Лиственке лист берёзы, что трепещет в воде, как золотая рыбка. Писатель старается, чтобы и читатели удивлялись вместе с ним этой мудрой красоте земли».

Таёжный край глухой.
Избушка, печь, букет цветов в стакане.
Я отдыхаю сердцем и душой
В забытой Богом доброй глухомани.
Трещат дрова, и пахнет хвоей дым,
Блины лежат в тарелке аппетитно…
Мне наплевать, какой в стране режим,
Когда в душе легко и первобытно.
А солнце бьёт сквозь паутину штор,
Играет бликом тёплым и лучистым.
И у хозяйки шаловливый взор
Наполнен мудрым и понятным смыслом.
Здесь жизнь проста, неведом здесь обман.
Здесь не было прогресса и застоя.
Здесь время притаилось, как туман,
В глухой тайге ещё с эпохи Ноя.
Останусь здесь…
Какого я рожна
Живу в стране, где не в чести свобода?
Добротный дом.
Хозяйка недурна.
Простор широк для песни и полёта…

В восторженных строчках — вдруг почувствуется и ироническая улыбка автора. «Без иронии сегодня нельзя» — название одного из последних его интервью. Может быть, как закрывают на ветру огонёк свечи, так же закрывал в своих стихах (в отличие от прозы) писатель «от ветра», от чужого недоброго взгляда глубину своих искренних чувств к родной земле?.. То, о чём в одной из его зарисовок будет сказано: «И мне вдруг захотелось встать на колени, и отбить низкий поклон маленькой церквушке на берегу, и поблагодарить предков наших за мудрость, за чувство красоты, за радость, которую через века сумели передать они мне…»

И вот ещё немного авторской самоиронии — в его удивительно доброй и проникновенной версии «Exegi monumentum», в авторском взгляде, обращённом в своё далёкое прошлое…

Памятник в глубинке

Сижу, тружусь я до утра,
И, незаметны и тихи,
Уходят с кончика пера
Мои незрелые стихи…
Пишу про хлеб и про рассвет
И отмечаю важность дат…
И на обочинах газет
Стихи, насупившись, стоят…
Меня обходят стороной
Шальная слава и почёт,
Но есть читатель только мой —
Он обязательно прочтёт…
Он свой, знакомый человек,
Он вечно занят, он спешит.
Меня увидев, сбавит бег,
С улыбкой скажет:
«Жив пиит…
Читал вчера про шелест вьюг —
Всё складно, да и смотришь в суть.
Вот было б время — веришь, друг? —
Их заучил бы наизусть…
Трудись, дерзай, иди вперёд,
Как говорится, неуклонно…
Ты просто Пушкин, но не тот,
А так — в значении района».
…Довольный отзывом вполне,
Иду я, гордый, по тропинке.
И чудится, что скоро мне
Поставят памятник в глубинке.
И все поймут издалека,
Что это памятник поэту.
Его гранитная рука
Писала в местную газету…

И ещё одно свойство поэзии и прозы Вениамина Карповича Зикунова. Нежная и умная любовь к сибирской провинции, к людям, наивным, добрым и чистым, живущим в ней. В одной из публикаций дивногорской писательницы и библиотекаря Любови Карзниковой, дружившей с писателем, об этом сказано так: «Журналистская судьба поносила его по России и позволила увидеть среди нагромождения судеб и жизней такие, которые, как в зеркале, отражают чистоту и наивность русского провинциала. Рассуждения его настолько глубоки и философичны, что просто диву даёшься…»

Пожалуй, это наблюдение применимо и к целому ряду стихотворений Зикунова, среди которых особо можно выделить стихи военной тематики (к вопросу о детстве, которое навсегда осталось с ним).

Точно помню: в годы злые
Взяли братку фрицев бить…
Вся в слезах тогда Россия
Вышла братку проводить.
А потом пришли медали
И бумажка без конверта…
Почему ему не дали
Там обратного билета?
С горя выпив крепкой браги,
Мать сказала тяжело:
— Поселился Федька в Праге —
Не вернётся на село!
Так зачем давать медали
И бумажки без конверта?
Лучше б денег братке дали
Для обратного билета…

Горькое и трогательное стихотворение, в которой деликатнейшим образом и в народном духе, как на палехской миниатюре, выписана одна из миллионов историй, случившихся в России в годы той страшной, смертоносной, той Отечественной

войны: «Вся в слезах тогда Россия / Вышла братку проводить…» Слово «братка» — какое точное и проникновенное народное словцо!.. И герой стихотворения, мальчишка, всё ждущий своего любимого старшего брата. Похоронка («бумажка без конверта») и медали, которые «потом пришли». А брата — всё нет. И (какой лаконичный и драматичный эпизод!) мать, роняющая (вот она, народная мудрость и умение обо всём сказать с подлинной народной деликатностью и какой-то горькой поэзией): «Поселился Федька в Праге — / Не вернётся на село!» И снова маленький лирический герой стихотворения со своей уже, с детской мудростью, с верой в то, что чудо в этой жизни возможно, с продолжающим материнские чувства нежеланием поверить в смерть близкого человека, с упорным нежеланием произнести слово «смерть»: «Так зачем давать медали / И бумажки без конверта? / Лучше б денег братке дали / Для обратного билета…»

И вот ещё одно стихотворение, предыдущее продолжающее, подхватывающее некоторые его мотивы, но уже дающее иной взгляд, взгляд взрослого и смирившегося с прожитой им и его поколением жизнью человека. Название — абсолютно лаконичное и абсолютно точное, комментариев не требующее: «Вокзалы».

Вокзалы

Сейчас весёлые вокзалы…
А ведь было, было, было,
Вся в слезах моя Россия
На вокзалы приходила.
Приходила, провожала
От станка и от земли,
А встречала — и стучали
По перронам костыли.
Пролетали звёзды, звёзды —
На ушанках сотни звёзд.
Полустанки… Слёзы, слёзы —
Солона земля от слёз.
И стонала, и стонала
Горемычная планета…
Половина уезжала
Без обратного билета.
И, простясь, не возвратились.
Кончен путь. Кресты, кресты…
И лоснились, и круглились
У молодок животы.
А рождались, подрастали
Да читали о войне.
А теперь и их вокзалы
Разбросали по стране.
И, желая им удачи,
Горько матери рыдали.
Слёзы, слёзы…
Как иначе?
Как иначе на вокзале?

Ровесник по возрасту, по факту — отчасти и ученик Зикунова, поздно начавший свой путь в поэзию дивногорский художник Борис Туров (1938—2010) посвятил своему другу стихи, в которых и заключён портрет Зикунова, и раскрыто своеобразие его поэзии, пребывавшей в единстве с миром природы, и выражена благодарность читателя за «лекарство от недугов», которое находил этот читатель в стихах и прозе удивительного мастера…

Жизнь — как полёт неведомой кометы,
Как частный путь сквозь радость и печаль,
Как тихий отзвук песни недопетой,
Как на ветру угасшая свеча.
…Хоть жизнь была и горькой, и солёной,
Но боль души не выдала слеза.
Из-под бровей обветренной соломы
Светились тёплой мудростью глаза.
А сквозь усов прокуренные пряди
И бороды увянувший бурьян
Являлся лик, на мир с восторгом глядя,
Как будто был от удивленья пьян.
К тебе склонялись ивы и берёзы,
Перо тянулось к пашне и жнивью.
Бальзам стихов с хмельным декоктом прозы
Я, как лекарство, от недугов пью…

А красноярский редактор и поэт Андрей Леонтьев (родился в 1961-м) так отзывался о творчестве В. К. Зикунова:

…Прочитал недавно книжицу нехитрую —
О деревне, о таёжных похождениях;
Нет в ней выстрелов и кровь не льётся литрами —
И какое ж это, братцы, наслаждение!

Там природы русской магия и мистика,
Снегири сидят на ветках красногрудые,
Там шумит на перекатах речка Лиственка
И волшебным посошком грибник орудует.

Там гостей лесник Максимыч чаем потчует,
Старичок-лесовичок гуляет подлинный,
Веет там теплом и хлебом дома отчего,
Пахнет там вином рябиновым и родиной…

В комментарии к публикации этого стихотворения на сайте «Стихи.ру» Леонтьев пишет: «…Я имел счастье быть с ним знакомым, он мне к моей первой книжке предисловие написал и вообще очень по-доброму ко мне относился… писал он прозаические миниатюры о природе, о нашей сибирской тайге — лучшего я никогда не читал. Язык и стиль — изумительно волшебны».

Сам Андрей Леонтьев родился и начал жизненный путь в Центральной России, в Красноярск

переехал в 1986 году. В предисловии к одной из вышедших в 2000-х годах в Красноярске его поэтических книг («Последние менестрели», 2016) поэт Марина Саввиных отмечала: «…речь Леонтьева до такой степени лишена всякой нарочитости, пафоса, настолько полна самоиронии и тонкой (кажется, чисто русской) стыдливости, что трудно представить её в формате „громкой читки“ — здесь интонация дружеской беседы, исповеди, выстраданного признания, которое возможно только шёпотом, с глазу на глаз».

Последние менестрели

Мы, возможно, всю жизнь о своей бы судьбе сожалели,
Если б не дал Господь бесконечную вольность дорог.
Мы идём в никуда — безымянной страны менестрели —
И свой пройденный путь отмечаем зарубками строк.
Мы идём в никуда — только Богу, наверно, известен
Изначальный маршрут, предназначенный именно нам.
И не слышит никто наших грустных и радостных песен,
И никто не пройдёт по оставленным нами следам.
Вымирает, увы, наше племя артистов бродячих,
Ведь иные слова и мелодии нынче в цене…
Но пока мы в пути — мы поём и не можем иначе,
Память в сердце храня о своей безымянной стране…

«Мы идём в никуда…», «…иные слова и мелодии нынче в цене» — заявляет один из сибирских представителей «племени артистов бродячих». И мы вспоминаем: да ведь это было уже, был этот мотив в поэзии наших земляков. И он вернулся, как возвращается на круги своя ветер и всё, всё на этой земле.

И даже неминуемое для взыскующего истины человека возвращение к «святая святых» — к вере — способно ныне вызвать скорее только боль и растерянность: иным, не тем, о котором мечталось бывшей советской интеллигенции, оказалось это возвращение…

Не прогнать, не рассеять тоску по наивным годам,
Где себя обретал через чтение «правильных» книжек,
Где, воспитан в безбожье, ты строил свой внутренний храм
И, не зная молитв, тем не менее к Богу был ближе…

Ныне всё на виду, и, церквей мириады отстроив,
Толпы слуг всенародных в них шествуют, как на парад.
Ныне время других — чёрно-белых жестоких героев.
Полутени не в моде: для века они — неформат.

И сибирским поэтам двадцать первого столетия остаётся только одно — как делали это так или иначе, делали однажды их предшественники (и Белкин, и Яхнин, и Солнцев) — возвращение к далёким, к позабытым корням, к зачастую преданному ими (тоже знакомый мотив!) прошлому, к началу всех начал, к своему детству и к старому дереву, стоявшему когда-то под окнами их дома:

Я однажды смогу — и приеду туда, где взрослел.
И пройдусь по двору осторожно и неторопливо,
Где когда-то мальцом вытворял уйму чёртову дел,
Где стоит до сих пор погрустневшая старая липа.

Прислонившись к родному стволу, помолчу постою,
И, погладив рукой осторожно шершавую кору,
Я почувствую вдруг — ненавязчивым, лёгким укором —
Перед временем искренним тем виноватость свою:

Что уехал давно и отъезду бездумно был рад,
Что на долгие годы забыл к этой липе дорогу…
Вообще, в жизни многое я совершал невпопад,
Но приходит пора — и стремишься к родному порогу

Всем своим существом, и неслышно кричишь от тоски,
Как деревья кричат, у которых отрублены корни…
И далёкое детство стучится в седые виски
Бесконечным набатом: не дай позабыть себе, помни!

И глубокою ночью проснусь вдруг в холодном поту —
Заколотится бешено сердце, до стона, до хрипа.
Закурю сигарету — и просто поверю в мечту:
Я однажды приеду к тебе, моя старая липа…

Но возможно ли вернуться туда, куда ты сам, по доброй воле, забыл навсегда дорогу, в то прошлое, что замкнул в памяти на десять замков, а десять ключей — выкинул из окошка нёсшего тебя по жизни без остановок, невнятными маршрутами, поезда?..

…И вдруг — словно током однажды пронзает:
Мы виделись раньше, но были не теми!
Мы были другими с тобою когда-то,
И мир был устроен совсем по-иному,
Но знаю, что так же, любовью влекомы,
Делили мы радости, слёзы, утраты…

А если это возвращение невозможно — что ж, поэт может совершать последнее: «свой пройденный путь отмечать зарубками строк».

Понимая при этом — что «…только Богу, наверно, известен / Изначальный маршрут, предназначенный именно нам».

Но и это уже было. И надолго, почти навсегда, без ответа обречён оставаться один из самых знаменитых вечных вопросов, заданный однажды главой и открывателем русского поэтического материка: «Куда ж нам плыть?..»

Эссе восемнадцатое

«Судьба, которой обречён…»

(Красноярская поэзия рубежа двадцатого – двадцать первого веков, часть вторая)

…Любопытнейшее и поучительное, однако, это занятие — чтение справочников

и биобиблиографических словарей, чтение обзорных, посвящённых писателям тех или иных времён или народов статей и монографий.

В конце или начале любой эпохи, когда она, эпоха эта, не проявилась ещё полностью, не показала, затаив на время, свой непростой и порой зловредный характер, — в конце или в начале любой эпохи появляются они, дотошные люди, редакторы, издатели и исследователи, библиотекари и поэты, которые начинают созидать для будущего потенциального их читателя такие, более или менее энциклопедические, издания.

Спустя годы и десятилетия, отряхнув с сафьяновых или бумажных переплётов пыль времён, читатели будущего века откроют их и — улыбнутся наивности и объёмности статей о писателях или, в нашем случае, о стихотворцах, давно уже и справедливо забытых… Посетуют досадливо на краткость сведений о литераторах, чьи творения всё ещё востребованы… И (это уже будет редкий случай) задохнутся от восторга, найдя информацию полную, объективную, полезную об именах, которые ещё только предстоит исследователю открыть заново взору изумлённого и благодарного читателя…

Так или иначе, но в предшествующих эссе мы о таких справочниках порой упоминали и, конечно же, практически постоянно к подобным изданиям стремились обращаться. Другое дело — насколько результативно было это наше обращение.

Упоминали мы, с горечью и с досадой, о судьбе нескольких всероссийских «кратких» или «полных», но незавершённых, изуродованных цензурой литературных энциклопедий и литературных многотомных словарей-справочников советской эпохи. Судьба этих энциклопедических изданий как будто продолжила грустную традицию выпуска обрывающихся на какой-то букве (чаще — «П», «Р») многотомных словарей дореволюционной эпохи. Последний пример, наблюдаемый нами с перерывами вот уже практически четыре десятилетия, — это судьба многотомного издания «Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь», которое никак не доберётся до читателя всеми своими интереснейшими томами; последний, седьмой, том так к читателю и не пришёл, а предыдущие добирались раз в пять-десять лет, каждый чуть ли не методом «тамиздата». Но есть надежда, есть упование на то, что и итоговый том однажды придёт к своему читателю…

В то же время вышли в столичных издательствах уже в нынешнем веке одно- и двухтомные словари, посвящённые нашим современникам, российским авторам двадцатого и текущего веков, например — «Русские писатели. XX век», «Новая Россия: Мир литературы: В 2 т.», «Русские писатели 20 века», «Русские писатели. Современная эпоха: Лексикон: Эскиз будущей энциклопедии»… Помнится, в тридцатых опыт незавершённого словаря «писателей современной эпохи» уже имел место в России. Справочник «Писатели современной эпохи: Биобиблиографический словарь русских писателей XX века», о котором мы в соответствующем эссе вспоминали, так и ограничился двумя выпусками: тираж первого, 1928 года, был большей частью уничтожен, второй выпуск издали уже в наши дни (1995)…

Но, конечно же, удел подавляющей части не имеющих всероссийской известности писателей и поэтов, работающих и живущих в регионах, печален — регулярно оказываться вне подобных словарей и справочных пособий. И надежда здесь только на «своих, местных», региональных редакторов и издателей.

Частично отражены были жизнь и творчество красноярских авторов двадцатого века в биобиблиографических указателях «Писатели Восточной Сибири», выпускавшихся в 1970–1980-х годах в Иркутске.

В 1994 и 2000 годах вышли подготовленные Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края два тома библиографического указателя «Писатели Красноярского края (1946–1990 гг.)». Помимо так или иначе связанных с писательским ремеслом различных тематических печатных и электронных биобиблиографических указателей, выпускающихся библиотечными учреждениями Красноярского края и интересных в первую очередь для специалистов, стоит особо выделить два массовых проекта, подготовленных в 2015 году ГУНБ КК.

В рамках грантовой программы «Книжное Красноярье» был выпущен биобиблиографический справочник «Писатели Енисейской губернии и Красноярского края», включивший более двухсот шестидесяти имён, которые относятся к различным периодам многовековой истории региона. А доступный в интернете электронный информационно-образовательный ресурс «Литературная карта Красноярского края» содержит более полутора тысяч статей о литераторах, критиках, литературоведах, издателях, альманахах и проектах, так или иначе связанных с нашим регионом. Но и этот справочный ресурс не способен моментально учесть появление новых книг, новых талантов, новых имён, новых фактов из жизни отражённых в нём персоналий. Информация о биографиях и творческом пути писателей представлена достаточно краткая и сжатая, целый ряд имён (пусть не самых крупных, но талантливых) отсутствует.

По-своему любопытным оказался итог издания справочников литераторов Приенисейской Сибири двадцать первого века, осуществлённого сотрудниками альманаха «Новый Енисейский литератор». В 2007 году вышла книга «Енисейские литераторы. В начале XXI века. Биографический библиографический справочник», а в 2015-м появилось второе,

переработанное издание — «Литераторы Енисея: от истока до устья. Второе десятилетие XXI века». Как указывают во вступительной статье составители, они сделали попытку «собрать в одном справочнике ныне здравствующих литераторов... В справочник включены не только имена профессиональных писателей, чья судьба связана с Енисеем, здесь представлены и биографические данные о людях, занимающихся сейчас литературным творчеством, но не имеющих писательских книжек». В итоге в первом выпуске оказалось отражено более двух сотен имён, во втором — более трёхсот.

Учитывая, что в составе двух красноярских писательских организаций числится сейчас в общей сложности примерно восемьдесят человек, число пишущих стихи авторов Приенисейской Сибири — достаточно необозримо. И, может быть, отбирая значимые для читателя стихи и значимые новые поэтические имена, есть резон чаще обращаться к тому же журналу «День и ночь», который тщательно такие стихи и имена наших современников отбирает и публикует, заодно не забывая напоминать о стихах, написанных на берегах Енисея в более или менее отдалённом прошлом. (Отрадно вдвойне, что публикации в конце каждого номера сопровождаются небольшими, но ёмкими биографическими справками об их авторах.)

А мы продолжаем в наших эссе рассказывать о поэтах Приенисейской Сибири, основной период творчества которых пришёлся на рубеж двух последних столетий.

• • •

Столько лиц, столько лиц, столько лиц
мне запомнилось — хмурых, весёлых...
В них вместились и вспышки зарниц,
и глухой енисейский посёлок.

Лесорубы! Вы были людьми!
Вас статья роковая сближала.
И скользнули морозные дни
с промороженного вокзала.

Ежедневно сквозь сизый туман
вас в тайгу уводила дорога.
Забывались скитанья, обман,
когда тело вскипало под робой.

Возвращались, не чувствуя ног,
вьюга в небо волчицею выла.
А душа, как замёрзший щенок,
под рубашкой тихонько скулила.

Спи, душа. Среди бурь и тревог
всё запомни и чистой останься.
Ведь когда-нибудь кончится срок,
и обмана откроется тайна.
Столько лиц, столько лиц, столько лиц
выплывает из зимнего мрака...
И мелькание маминых спиц,
и дощатый забор у барака.

Эти строчки Гамлета Арутюняна (1952—2016) безусловны в своей художественной убедительности и в то же время предельно автобиографичны. Наверное, именно так — на стыке судьбы и таланта, на стыке воспоминания и прозрения, на стыке воображения и подлинности — и может только рождаться настоящая поэзия.

Глухой енисейский посёлок, промороженные вокзалы, роковая статья уголовного кодекса, сделавшая вчерашнего советского гражданина таёжным лагерным лесорубом, — всё это было в детстве автора, как и блистательно точно в финале стихотворения «выплывающие из зимнего мрака» два (всего лишь два, но каких!) два конкретных, два разительно непохожих, два нейтрализующих друг друга эпизода из воспоминаний: «...И мелькание маминых спиц, / и дощатый забор у барака...»

Мама. Отец. Дед

Время — безмолвный истец.
За временем — мой отец.
Он в возрасте, что и я.
И у него семья:
жена, три сына, дочь.
Холодная длится ночь.
Словно в немом кино —
деревня моя Каргино.
Рыжее утро. Тишь.
В чистое небо глядишь.
Не крикнуть и не позвать...
А в доме отец и мать.

Гамлет Арменакович Арутюнян родился в самом конце лагерной сталинской эпохи, в ноябре 1952 года, в деревне Каргино Енисейского района. Родители его были ссыльными «врагами народа», отбывавшими в этой сибирской глухомани своё незаслуженное наказание. Здесь, в Каргино, они и познакомились, бывшие учительница начальных классов и студент-железнодорожник. Сюда в 1959 году пришла весть о реабилитации всей их семьи...

...Время вылечит боль,
Лишь останется горький осадок.
И не станет его...
Ты забудешь совсем про беду.
Вот кончается век.
Мама что-то ворожит у грядок.
И с седой головой
К этим грядкам я тоже приду.
Если глянешь на север,
Ещё так далёко до устья.
А холодную воду
Всё цедят и цедят года.

С тех далёких времён,
Когда мама жила в захолустье,
Всё прошло, унеслось,
Не оставило даже следа…

В 1967 году семья Гамлета переедет в Енисейск, и для пятнадцатилетнего подростка этот переезд обозначит начало двух параллельно в дальнейшем идущих линий его жизни: медицины и стихов. «…Вопреки всему рождённый в неволе мальчик вырос в большого доброго мужчину: любящего сына и отца, надёжного друга, прекрасного хирурга и поэта с собственным голосом» (поэт Сергей Кузнечихин).

Родители Гамлета выжили в странствиях по ГУЛАГам во многом благодаря врачам и потому мечтали об этой профессии для кого-нибудь из своих детей. «Папа и мама мои не были врачами. Но они столько лиха хлебнули в ГУЛАГе и, видимо, настолько остались благодарны той медицине, которая спасала их в тяжёлые годы, что захотели, чтобы хотя бы один из их детей стал врачом или учёным…» Врачами стали трое из четырёх…

Медицина сделает Гамлета Арутюняна одним из ведущих и известнейших хирургов-онкологов региона, доктором наук, действительным членом РАЕН. В 2014 году его изберут почётным жителем города Енисейска.

Эпитафия

I.
Прощайте, любимые,
мне не угнаться
за этим смешением
дней и ночей.
Мне ниже и ниже
главою склоняться.
И лечь в эту землю
без громких речей.
Я тоже был лёгкий,
я тоже был смелый
и женщину каждую
нежно любил.
Молчат мои губы,
молчит моё тело
средь сотен российских
промёрзших могил.
Эх, надо бы лучше!
Эх, надо бы звонче!
Эх, надо бы выше,
да, видно, устал.
И друг закадычный
мне что-то бормочет
и грустные строчки
отправит в журнал.

II.
Ничем не измерить
потерю, утрату.
Ничем не заполнить
души пустоту.
Любите друг друга,
как брат любит брата,
как день любит солнце,
как ветер — мечту.
Не надо прощаться,
ведь всё поправимо.
Не надо прощаться,
ведь всё впереди.
И строчки, как птицы,
проносятся мимо…
И чем-то окончатся
птичьи пути?
И в час, когда звёзды,
как капли свечи,
на землю ночную
всё падают, падают,
ты лучше всего
посиди, помолчи.
Глядишь, и кого-нибудь
строчки порадуют.
Исчезнет тогда
ощущенье беды.
Почувствуешь, что
не растратил весь порох.
До встречи, любимые!
Наши сады
опять расцветут
на задёрнутых шторах.

Стихи Арутюняна начали печататься после первой газетной публикации 1967 года. Потом будет участие в коллективных сборниках, в альманахах, потом выйдет шесть авторских прижизненных поэтических сборников.

Эта звёздная,
Эта звёздная нить!
Не успеешь родиться —
Пора уходить.

Непростая, начавшаяся в мире ссылки судьба, серьёзная и тяжёлая профессия, глубина внутреннего мира, преданность поэзии — видимо, всё это и определило неповторимую тональность его стихов: их серьёзность и мудрость, подлинность эмоций, философскую глубину и доступность читательскому сердцу. «По роду своей работы, постоянно эмоционально напряжённой, мне такая отдушина нужна была. Господь мне её послал. Я должен был в эту „форточку“ улетать, самовыражаться… А потом возвращаться…»

Разговор с матерью

В тихих торжественных сумерках
Будто фосфор кругом разлит.
— Ну что ты опять сутулишься?
— Мама, листва горит!

— Что ты, ей-богу, празднуешь?
Ставни сходи закрой.
— Мысли приходят разные.
Грустные все до одной.

— Эка, недолго мучиться.
Ведь толком ещё не жил.
— Знаешь, а вдруг получится
Голову положить?

— Что ты, сынок! Одумайся.
Сам себя не суди.
Этим нехитрым умыслом
Душу не изводи.

Всё ходишь и всё рассуждаешь.
Нешто старик какой?
Уймись. Отдохни. Оттаешь.
Глянь вон — закат над рекой.

«Блестящий хирург, доктор наук, он состоялся и как поэт. Честный поэт с неповторимой судьбой» (Сергей Кузнечихин).

Звезда падучая

1.
Что изменилось
с юных, давних пор?
На тот вопрос
ответишь лишь по случаю…
Лежит в сенях
неприбранный топор,
мечтая встать
за жизнь за лучшую.
В кладовке, смазано,
лежит ружьё.
Лежат патроны,
ладно упакованы.
Блестит штыка
стальное остриё,
готовое восстать
за жизнь за новую.
Ещё лежит, заржавела,
коса.
И серп висит,
покрытый ржой дремучею.
Ещё глядят
испуганно глаза
иконы в горнице
на жизнь на лучшую.
Темно в пригоне.
В яслях пустота.
Скотины нет.
Сдана — на всякий случай.
Гудят в ночи
тревожно провода,
и катится слеза
звездой падучей.

2.
Так трудно разобраться,
Что к чему.
Кому отдать
Свой голос ослабевший?
Как превозмочь
Всю эту кутерьму?
Лицо увидеть…
Вспомнить голос певший…
О чём он пел?
О близком и былом.
О том, что есть сарынь?!
Сарынь на кичку!
И всё у нас опять
Пойдёт на слом.
А в общем-то,
И это нам привычно.

Так редко встретишь
Доброе лицо,
От этого и сам
Душой добреешь.
И думаешь:
Душа, в конце концов,
Не всем дана.
А может быть, тебе лишь?

Прости, душа,
Что слово затаскали
И бросили гулять
По пустырям.
Прости, душа!
Она простит едва ли
И всё же превратится
В светлый храм.

И мы придём туда,
Согбенные и старые, —
Свечу поставить,
Внука окрестить.
А после ждать весну,
В окошко талое
Глядеть, глядеть…
Прощения просить.

• • •

Мне очень часто в жизни было плохо
И очень редко было хорошо.
Но каждый день петух крылами хлопал
И голосил: всё будет хорошо!
Он горло драл, краснея бородою,
Сверкая оперением крыла.
Выл, как гусар со шпорою кривою,
И всё орал, орал, орал…
Орал, что стоит жить на этом свете,
Что надо жизнь, как женщину, любить.
И пусть беда нам в сердце пикой метит,
Нам надо жить. Нам надо много жить!

Владимир Феофанович Капелько (1937—2000) был известен общественности Сибири прежде всего как самобытный художник. Известность его, пожалуй, не уменьшилась, а даже выросла после его ухода из жизни на рубеже двух столетий. Это не было парадоксом, потому что судьба его как автора полотен и строф складывалась не очень ровно, но наследие его было настолько значительно, что интерес думающей части общества к нему с годами мог только расти.

Написавший о нём наиболее значительный, может быть, биографический очерк-эссе Александр Астраханцев убедительно показывает, как эпоха определяла судьбы творческих людей в провинции. Молодые художники, тем более обладающие самобытным даром, не очень-то вписывались в отлаженную десятилетиями систему устройства советского художественного мира, с возможностью проведения (для избранных) персональных выставок, распределения положенных художникам благ и, главное, многочисленных заказов на написание тематических полотен, изготовление памятников и прикладное оформление возникающих культурных и образовательных учреждений. И многие, как это сделает и Капелько, уезжали поэтому из крупных региональных центров в глубинку…

Он учился в Красноярском художественном училище имени В. И. Сурикова, наставником его был ученик Сурикова Дмитрий Каратанов, выдающийся красноярский художник. Владимиру Капелько принадлежит авторство нескольких тысяч живописных и графических работ. Жил в Красноярске и Абакане. Многие из работ были созданы во время его многочисленных путешествий по Сибири, по Туве и Монголии, по Северу и южным районам Красноярского края, по рекам Енисей, Подкаменная Тунгуска, Обь, Кеть…

Над чем природа крепко постаралась,
Сменяя поколенье поколеньем,
Мне, В. Капелько,
Всё теперь досталось,
Всё без остатка.
Я в семье — последний.
Родители последнее желание,
Последнюю любовь последней страсти,
Весь свой талант
И все свои несчастья
Вложили в тело:
В кости,
В мозг
И в жилы.
И в сердце…
И оно тогда ожило.
Ожило сердце —
Чудо из чудес.
Я задышал,
Взахлёб глотая воздух,
Хватая воздух
Пухлыми руками,
Суча по воздуху
Беспомощно ногами,
Глазами в небо
Жадно упираясь.
Ура! Мне жизнь досталась,
Живая жизнь…
Что может быть нужней?..

Был участником археологических экспедиций, связанных со строительством Саяно-Шушенской ГЭС, путешествий к древним курганам Хакасии, разработал названный его именем метод эстампирования (копирования) петроглифов, сохранилась огромная коллекция сделанных им отпечатков. И авторские работы художника, и его копии древних наскальных рисунков («писаниц») неоднократно представлялись на прижизненных и особенно на посмертных выставках не только в России, но и за рубежом. Неповторимые виды природы и исторических памятников Сибири, Монголии, Крыма, Алтая и других регионов, неразрывное, преемственное единство прошлого и настоящего — постоянные темы его творчества. Как он сам объяснял: «Извечное любопытство: что там, на горе? А что за горой? А что за рекой? За лесом? А что в тайге, а что в тундре, а что в степи, а что, а что???.. Вот это (а что?) и гоняло меня с красками по всему СССР-у от моря и до моря, от края и до края. То на Сахалин, то в Прибалтику, то на Таймыр, то в Крым… Чтобы увидеть Монголию — вербуюсь скот гонять из МНР в СССР. Чтобы увидеть степь курганную в Хакасии — работаю с археологами. Вот так и мотало меня по свету сорок лет без выходных и отпускных…»

Мотивы и образный строй его стихов невольно оживляют в памяти строфы Ивана Ерошина.

Плаща брезентовые крылья за плечами
По ветру машут. Я, как саранча,
Монгольскими скачу солончаками,
Копытами кобылы стрекоча.
На солнце блещут белые подковы.
В два пальца свищет сыромятный бич.
Бараний череп надвое расколот.
Монголия-страна. Степная дичь.
Аркан, плетённый из хвостов кобыльих,
Седло скрипучее из красных конских кож —
Всё посерело от солёной пыли,
Заржавел от солёной пыли нож.
Рубаха на спине хрустит от пота,
На шее бьётся чёрный амулет.
Мчусь напрямки, мне нету поворота.
Верблюжий под копытами скелет
Звенит костями белыми, как сахар,
По небу солнце белым колесом
Без скрипа покатилося на запад,

Сурок под землю прячется на сон,
Гадюка намоталась на подкову,
Поднялась запылённая луна…

Бараний череп надвое расколот.
Монголия — восточная страна.

Зарисовка монгольских степных просторов, по которым несётся лирический герой, полна красок, звуков, солнечных бликов, ненавязчивых, экономных метафор и тайного внутреннего, почти детского восторга, захватывающего к концу чтения и читателя.

Валерий Скрипко писал о Капелько (дружеское прозвище художника у собратьев по художественному цеху — Капéля): «Этот тип людей был создан советской эпохой и вместе со следами этой эпохи, к сожалению, постепенно исчезает. Внутри советского мира эти люди были как дети — немножко бесшабашные, вечно неустроенные, но неповторимые и бескорыстные, как прямые потомки Диогена… Все они — скульпторы, художники-поэты, геологи-поэты — словно вышли из Диогеновой бочки, как писатели из гоголевской шинели».

Горы засыпают, распластавшись
По долине телом тёмно-синим.
Каркает ворона к непогоде…
Камни на степи лежат, как свиньи…
…Лошади стреноженные ходят.
Горький дым кизячий над долиной.
Каркает ворона к непогоде
Чёрным и недобрым криком длинным…
Тучи грузные по небу хороводят,
Опуская долу снега гривы.
Каркает ворона к непогоде
И летит по ветру в горы криво.

Краски насыщенны и чисты. Мир материален, вещественен, даже отчасти и натуралистичен — и в то же время почти антропоморфен, он равноправный участник невербального диалога с человеком, становящимся частью этого мира.

Капелько-художник был неотделим от Капелько-поэта, хотя стихи его печатались при жизни не так уж и часто, в основном — в журналах и коллективных сборниках. В коротком предисловии к своей публикации в «Дне поэзии» 1967 года сам Капелько пишет: «Профессия художника требует многое видеть и много делать, поэтому приходится много ходить и ездить. Манит текучая вода рек, манят летящие на север птицы, манят уходящие в тайгу люди. Манят холсты и краски. Но всего в живописи не скажешь, и что недоговорю в живописи, пытаюсь сказать в стихах. Живопись и поэзия живут во мне мирно и гармонично, не мешая друг другу…»

Как обрести на земле мне хоть малый покой?
Я уж давно как покойник.
Машут мне лебеди белой пернатой рукой,
Ходят спокойные кони
С добрыми мордами, мирными, как тишина,
В ночи весенние, много сулящие…
Я извожусь у желанного мной полотна
В ночи пропащие.
Морды телячьи тихо мне дышат в затылок
И жвачку жуют.
Краски бесцветные.
Где обрести на земле мне хоть малый уют?
Песни пропетые!
Уши мне точат обратною памятью лет.
Линии жёсткие.
Где мне найти на сто тысяч вопросов ответ?
Мысли жестокие.
Люди жестокие.
Добрые люди! Верните мне веру в людей!
Радость верните!
Осень! Верни мне моих лебедей!
Лебеди! Не поверните!

Александр Астраханцев в своём сборнике «Портреты», в очерке, посвящённом Владимиру Капелько, с которым был много лет знаком, отмечает: «В его поэтическом творчестве, так же как и в художественном, соединились дерзость и ирония, его стихи проникнуты болью, переживаниями, необычайной тревогой и в то же время огромной любовью и интересом ко всему окружающему… поэзия его, будучи иногда самодеятельной, „неучёной“ по форме, на самом деле умна, красочна, даже феерична и порой достигает огромного душевного и эмоционального напряжения по содержанию».

Вот уже не экзотическая монгольская степь, а обыденное пространство народной жизни, где «русский дух», где «Русью пахнет»… Строфы любовной песни — как растягивающиеся и сжимающиеся в любовном томлении меха деревенской гармони в руках у парнишки с синими, как небо, глазами…

Любовная песня

Растянул гармонь парнишка
Во всю ширь.
Заглянул в глаза глазами —
Синью в синь.
Ворохнулось сердце девичье
В груди.
Полюби сегодня ночью —
Не щади.
Полюби меня, кровиночка
Моя,
Поведи меня на речку
За поля.
Полюби!..

Моё сердечко
Успокой…
А парнишка на гармошку —
Головой.
Защемило кудри русые
В мехах.
А меха-то в ярко-красных
Петухах.
Только кнопки стукотят
На басах.
Только пуговки блестят
На голосах.
Плещет душу гармонист
Сквозь глаза.
И гармошка говорит про
Чудеса.
А гармошка откровенничает
Вслух,
А гармошка не стесняется
Подруг,
А гармошка крутит девок
В хоровод.
Ничего в любви сам чёрт
Не разберёт.
Где же девке разобраться,
Если ночь?
Где же девке дожидаться,
Коль невмочь,
Если сердце рвётся пташкой
Из груди,
Если он такой, с гармошкой,
Лишь один?
Гармонист один,
Как месяц
В облаках.
И никак не хочет петь
В её руках…
Помоги, гармошка, девке,
Помоги.
С гармонистом у поскотины
Сведи.
Ночью тёплой да росистой
Приголубь.
Дай отведать гармонисту
Сладких губ.
Чтоб забыл он с нею всех
Её подруг…
Помоги, гармошка, девке,
Помоги…

Он, вопреки кажущейся простоте своих стихов, был очень непрост во внутреннем своём мире, многомерен, сложен. Об этом свидетельствует, например, перечень его любимых поэтов. Как вспоминает вдова и муза художника, абаканский искусствовед Эра Севастьянова, среди поэтических пристрастий Капели были «песни его любимых бардов: Городницкого, Высоцкого, Окуджавы, Визбора, Ады Якушевой… стихи Новеллы Матвеевой (песни её он тоже очень любил), Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Павла Васильева, Николая Заболоцкого, но особенно любил стихи Ксении Некрасовой и Михаила Светлова». В его рюкзаке всегда находилось место сборникам стихов Есенина и Цветаевой, но многие их стихи он читал по памяти, не уставая восхищаться искренностью этих поэтов». Среди стихов красноярских поэтов он выделял строки Зория Яхнина, Кималя Маликова, Аиды Фёдоровой, Анатолия Третьякова, а также своих близких друзей — Николая Рябеченкова и Аллы Покровской.

Это море водило по гальке волнами.
Я прочитал, получились стихи.
Море честное, море меня не обманет,
Не обидит словами, не наговорит чепухи.
Люди! Учитесь дружить у моря.
Учитесь у неба, у ветра, у звёзд.
Люди! Зачем вам глупые ссоры?
Дорожите друг другом,
Если узнать вам друг друга пришлось.

Первая и единственная прижизненная книга стихов Владимира Капелько с необычным, предложенным самим автором названием — строчкой из его стихотворения, «Лошадь ржала в железную дудку», была опубликована в Красноярске в 1998 году в серии «Новинка сибирской поэзии» тиражом триста экземпляров. Поэту к тому времени было уже шестьдесят лет. Инициатором издания был составитель книги, друг и соратник автора по поэтическому цеху Николай Ерёмин.

А средства на издание были выделены ещё одним коллегой автора — выдающимся красноярским художником Андреем Поздеевым, продавшим ради этого несколько своих картин. Старший друг художника, Андрей Геннадьевич ещё в 1966 году отмечал его бесценный дар и художника, и стихотворца: «…Зимняя ночь. Тишина. Человек, сидя на корточках, слушает, как журчит речка Калтат. Это Володя Капелько, художник и поэт, неутомимый искатель и путешественник. Он страстный собиратель, ценит и любит народное творчество. Книги, книги, а рядом гобелены, берёзовые туески, деревянные миски, ложки, причудливо вырезанные корни, амфоры. И очень много холстов — ещё только начатых и уже законченных. Стопы этюдов и рисунков. Володя любит рисовать сочно, резко. Рисунки цветным карандашом, акварелью, углём, тушью рассказывают о жизни севера, востока, юга нашей страны. Люди, пейзажи, натюрморты — всё волнует художника. Это не холодный созерцатель, а влюблённый в жизнь человек. А влюблённый в жизнь — означает влюблённый в своё дело…»

Здесь ни дерева, ни кустика.
Здесь трава короче пальца.
Раскатись по степи, грусть-тоска,
Отлиняй с меня, как с зайца.
Здесь такие дуют ветры!
Гладят голые вершины.
Километры, километры
Со скотиной… За скотиной.
Я по степи, я по степи —
Днём и ночью, днём и ночью,
А на сердце дружбы цепи,
Между прочим, между прочим.
Я по степи на кобыле
Пегой масти, пегой масти.
Про меня уже забыли,
Я за счастьем, я за счастьем.
Я за волей, я за волей,
Я за сказкой, я за сказкой,
Я за сказкой-синеглазкой.
Волки воют, волки воют.
Вдоль дороги воют волки.
Я по камням, я по камням,
На монголке, на монголке.
Где мой Каин? Кто мой Каин?
В небе месяц, в небе месяц
С заострёнными рогами
К Чёрной речке морду свесил
Вниз рогами, вверх ногами.

В 2012 году в рамках проекта «Книжное Красноярье» была издана вторая книга стихов Владимира Капелько, «Горланят над Россией петухи!». В книгу вошла внушительная подборка воспоминаний и посвящений его многочисленных друзей. А главное — вошли собранные составителями стихи Феофановича. Названием книги вновь стала строчка из одного из стихотворений этого самобытного автора.

Пролетают утки над водою,
сразу три.
Над тобою небо — вон какое,
посмотри.
Машет облако крылом златоперым
в вышине,
и крадётся ночь котёнком серым
в тишине.
Вечер живописцем беззаботным
пачкает закат,
растирая краски пальцем потным
невпопад.
И потух, и слился с темнотою
свет зари,
лишь летают утки над водою,
те же три.

Среди посвящённых Владимиру Капелько стихов — стихотворение, написанное таёжником, столбистом и поэтом Геннадием Тептиным (1930—2009) в декабре 1987 года, в день открытия персональной выставки В. Ф. Капелько в Красноярском Доме художника. Стихи просты, чуть горьковаты и неожиданно — ярко-живописны, совсем как искусство и как жизнь художника и поэта Владимира Капелько…

Гурты коров бредут, мыча.
Ревут, в траву роняя пену.
Послушны выстрелам бича,
Не бьют с разгона рогом в стену.

Другая скачет — хвост трубой,
В её очах кровавых слёзы…
Скотину гонят на убой:
Не до поэзии да прозы…

Мольберт и краски — благодать!
И чёрствый хлеб в пастушьей сумке.
Но так хотелось разгадать
На скалах древние рисунки.

Я перед тем упал бы ниц,
Кто в душу бросил мне беспечно
Чертёж летящих колесниц
В немыслимую даль и вечность.

Но будь я трижды сердцем чист,
Мой саркофаг зароют в яме.
Никто не расшифрует лист,
Насквозь изгрызенный червями.

• • •

Продолжая рассказ о (не)забытых красноярских поэтах, понимая, что определённое число имён так и не будет на этих страницах названо, невольно задумываешься о том, по каким же критериям незаметно для самого автора идёт невидимый и читателю отбор этих «(не)забытых голосов Сибири». Да, конечно же, свою роль играют тут важные, но во многом субъективные, конечно, факторы — поэтическая состоятельность, эстетическая актуальность текстов. Но, может быть, решающим обстоятельством оказывается то, о котором когда-то великолепно и точно сказал старший современник наших героев Давид Самойлов:

Рецензия

Всё есть в стихах — и вкус, и слово,
И чувства верная основа,
И стиль, и смысл, и ход, и троп,
И мысль изложена не в лоб.
Всё есть в стихах — и то, и это,
Но только нет судьбы поэта,
Судьбы, которой обречён,
За что поэтом наречён.

Говоря о целом ряде красноярских стихотворцев двадцатого и двадцать первого столетий, можно вспомнить эту самойловскую формулу: «судьба, которой обречён, / за что поэтом наречён…»

Вот — кратчайшая даже по горчайшим «традициям» биографий русских поэтов, вот длиной всего в двадцать пять лет судьба: Тимур Геннадьевич Назимков (1963—1988).

Жизнь была наполнена творчеством и искусством — учился в художественной школе имени В. И. Сурикова в Красноярске, в Томском госуниверситете и Новосибирском пединституте.

«Мне нравится в библиотеке. Здесь у входа в углу стоит кресло. Сядешь в него, повернёшь голову вправо и упрёшься глазами в зеркало, через которое видно всё — очень удобная поза. Куда ни повернёшься — музы, музы…»

Много ездил по стране — и с отцом-геологом, и самостоятельно.

Чтение, изобразительное искусство, стихи и проза, музыка — то, чем были наполнены и детство, и юность. Был автором и исполнителем песен, альбомы из которых остались записанными на магнитофонные кассеты.

Высоцкий — мой кумир. Гитара мне подруга.
Душа изныла в ожиданье новых встреч.
Воображенье снова ждёт, когда же вьюга
Сорвёт твой бранный плащ, судьбина, с плеч,
Когда ж в тебя вонзится острый меч.
Возмездье мной руководит и ставит точки
Над всеми «И», которыми грешу.
Но всё равно спешу я через кочки,
Через валежник, бурелом — к себе спешу:
Я целый мир в себе самом ношу…

Ни единой публикации стихов при жизни не было осуществлено, а после трагического ухода поэта из жизни его мать, Л. М. Назимкова, работавшая редактором Красноярского книжного издательства, сумела подготовить и издать в Красноярске и в Новосибирске целую серию книг лирики и прозы, акварелей и рисунков Тимура Назимкова.

И к поэту стало приходить запоздалое признание.

О чём он писал? О том, о чём всегда и пишут поэты, — о вечности и о любви, о смысле жизни и о смерти. О Боге, о творчестве, о мире, в который мы приходим как недолгие гости и который сотворён, как древний деревянный собор, без единого гвоздя…

Там, за селом, я знаю косогор,
Где в прошлом был сооружён собор.
Он был построен без единого гвоздя.
Мы в нём с тобой укрылись от дождя.
Судьба нас завела под эту крышу,
Судьбы удары я по крыше слышал.
Вот снова дождь. И вмиг в груди моей
Встают воспоминанья кротких дней:
Собора своды веяли прохладой
И что мы посетили их, как будто были рады.
Парили древностью седой его подвалы.
И, если мы смеялись, смех в огромном зале
Похож на сатанинский был…

О, дивный тот собор я не забыл,
Что сделан без единого гвоздя…
Мы в нём с тобой укрылись от дождя.

Будучи уверен в себе, он мог достаточно трезво взглянуть на мир и на своё место в нём. «Пушкина мне не достичь, как и Лермонтова. О чём говорить? Достичь можно лишь самого себя, в полной мере употребив ниспосланное».

В полной ли мере он успел «достичь самого себя»? По немногим прожитым годам — нет, конечно. Но опубликованные стихи подтверждают то, о чём упоминают пережившие его друзья, — ранняя, тронутая богемностью взрослость, сквозившая и в образе жизни, и в той своеобразной философии жизни, с которой встречаемся мы в его запоздалых книгах.

Я стучался в асфальт ваших душ.
Я на землю сходил дождём.
Ничего не достиг. Но, коль взялся за гуж,
Буду биться и ночью, и днём.
А кругом народ
Всё спешит, идёт.
И на асфальте ничего не прорастёт.
Я всё надеялся, что бьюсь
О ваши души не напрасно.
И пробудить я ваши чувства
Хочу не зря дождём прекрасным.
А кругом народ
По делам идёт.
И на асфальте ничего не прорастёт.

«В поисках тайны и смысла» — так назвала очерк о Тимуре Назимкове С. Бобрищева в сборнике 2012 года «Писатели Сибири и Дальнего Востока». «Нет пищи для души, и голодает она. Растворение души» — этой назимковской строчкой назван один из изданных в Красноярске посмертно сборников лирики и эссе поэта. «И я уходил ни с чем, / Будто раненый зверь. / Не спев, / Один, / В дождь и слякоть», — завершение стихотворения, посвящённого Т. Назимкову лично знавшим его ещё одним поэтом — уроженцем Сибири, Антоном Нечаевым (родился в 1970-м).

Вечное гамлетовское «To be or not to be?»…

— Бороться с жизнию… Но как?
— Сначала объяснить её.

…Среди неосуществлённых проектов моей телевизионной молодости — фильм о Тимуре Назимкове. Несколько раз (это было через несколько лет после его безвременного ухода из жизни) я встречался с его мамой, вместе с ней начали отбирать материалы для фильма, но… Почему решил отложить «на потом», фактически — в никуда, эти съёмки? Может быть — ощущал собственную неготовность к посмертному разговору с поэтом и о поэте. Может быть — какое-то смешанное чувство боязни темы и необходимой в той ситуации деликатности остановило меня тогда.

А может быть — надеялся однажды вчитаться в его строки и понять что-то главное в этой непростой судьбе, что и позволило бы когда-то, потом, выстроить драматургию фильма?.. Не знаю. Перечитывая сейчас, спустя несколько десятилетий, его несовершенные, конечно, не отредактированные в своё время, поспешные часто, но осенённые печатью истинного поэтического дара строки, вспоминаю слово «не напрасно», которое как-то особо высветила и подчеркнула краткосрочность его жизни и его творчества.

И ещё ясно ощущается — не только в содержании, но в стилистике, в интонации, в ритме и в манере его стихов — их созвучность той, раннеперестроечной, эпохе. Когда звучали (уже посмертно) песни Высоцкого, потом Цоя и Гребенщикова, когда мы, затаив дыхание, слушали прорвавшиеся к позднесоветскому слушательскому уху и сердцу «Наутилус» и «Pink Floyd», когда жизнь «продвинутой», «интеллигентской» молодёжи начинала вдруг обретать (на время) те «тайны и смыслы», которые не были, может быть, открыты предшествующим поколениям…

Вдали горит закат печально-красный,
А чёрный лес грустит, как эта осень.
И рыбаки свободно и прекрасно
Раскинули палатку на откосе
Возле реки.
Как всё соединилось!
Лес, и земля, и люди, и река…
Легко и вдохновенно потрудилась
Здесь творческая смелая рука
Художника-природы
Вдохновенно!
Как жизнь тут задушевна и ясна!
Как далека она от сожалений,
От тайных сердца мук, ума сомнений,
Как всё здесь дышит воздухом и верой!
Нет, не напрасно я живу, наверно,
Нет, не напрасно!

• • •

Саяны. И синь Енисея.
Рыжеют стога на лугу.
Душистые листья кипрея
Задумались на берегу.
Тихо. Снуют трясогузки.
По небу плывёт самолёт.
И поле в желтеющей блузке
Тревожит меня и зовёт.

«Гравёр по обработке цветных металлов» — так называлась специальность, которую получил он, окончив художественную профтехшколу в знаменитом посёлке Мстёра Владимирской области.

За плечами Ивана Захарова (1928—2001) к моменту его переезда в Красноярск были рождение и детство в российской глубинке (Ивановская область), нелёгкое отрочество, пришедшееся на годы войны…

В облако тумана не замотан,
в памяти недремлющей
живёт, —
вот он, раскудрявившийся,
вот он —
наш, за частоколом, огород!
От избы к нему — через
дорогу.
Отвори воротца — и плыви
тихо и влюблённо —
понемногу…
Морем зеленеющей любви…
…Шла война. От слёз старели
бабы.
Я б фашистов тоже убивал
за погибших… За Россию
я бы…
только я с бурьяном воевал.
Молод был. Во мне играла
сила,
но не понимал я одного:
зелень огородная кормила
благом сотворенья своего.
И теперь, когда
не опереться
на далёкий юношеский
взлёт,
там, в деревне, бьётся
моё сердце —
преданный кормилец —
огород.

Потом, после кормильца-огорода и учёбы в Мстёре, были военное авиационное училище, двенадцать лет офицерской службы в армии. Когда он переехал после армии в Красноярск, стал сначала работать на заводе. Потом — так уж складывалась его жизнь, и так диктовала меняющаяся вокруг него эпоха — он сменит не одну профессию и не одно место работы. А ещё, уже в зрелом возрасте, заочно окончил юридический институт, но работу по этой специальности так и не найдёт. И по-прежнему будет подрабатывать — то столяром, то художником, то слесарем, то гравёром, то мастером…

…Не отрекусь от чисел месяца,
От жизни той,
В которой пенится, тревожно бесится
Морской прибой.
В родной дали, печалью меченной,
Твой голос глух,
И лес застенчивый, дождями встреченный,
От слёз опух.
Под ноги мне рукой уверенной,
Без суеты,
Петлю неведомой дороги медленной
Бросаешь ты…

Да ещё в его жизни до самой до трагической гибели были стихи. Сначала публиковал их в районных и в армейских газетах и журналах, потом настала очередь журналов краевых и центральных, коллективных сборников. Потом стали выходить небольшими тиражами (после перестройки — в основном за собственный счёт) авторские книжечки стихов и поэм. Красноярские композиторы-песенники написали на его стихи музыку к нескольким, ставшим на время довольно популярными, песням: «Сибирячка друга провожала», «Едет в отпуск пограничник», «Бежит тропинка к Енисею», «Эх, звени, коробушка!», «Баллада о хлебе», «Саяны», «Горит над тобою звезда», «Улетели лебеди»…

День угас. И опять
тишина в этом мире
огромном.
Где-то слышу
дыханье…
Это кто же вздыхает,
маня?
Это ты, тишина,
затаилась в углу
затемнённом,
и чего-то молчишь,
и тоскливо глядишь
на меня.
Я сижу за столом…
Наступило ночное
дежурство.
Ты покинь уголок
и ко мне не спеша
подойди.
Слышишь, сердце
стучит
в океане тревожного
чувства? —
что уходят года…
ему больно в усталой
груди.
Юность стынет
вдали,
ей теперь до меня
не добраться.
Если беды сложу —
будет жгучей печали
комплект.
Ты взгляни, тишина,
как ночные снега
серебрятся
и утюжат машины
отупевший от гуда
проспект.
Я бы вновь
повидал
и поля, и болота,
и долы,
на каурой кобыле
ускакал на заре
в сенокос,
а потом, в сентябре,
я вернулся бы в класс
профтехшколы —
акварелью писать
и мечтать о любимой
до слёз.
Но — увы! — тишина,
не вернётся, что было
когда-то.
Завтра смена придёт —
и пойду я домой,
торопясь.
Ты запомни меня
без сомнения
и непредвзято,
что с тобой говорил
стихотворного
таинства князь…

Самым представительным и полным, пожалуй, стал только посмертный его сборник «Ностальгия», вышедший в 2017 году в серии «Литературное наследие Красноярья» и составленный его собратом, тоже уже покойным, увы, Михаилом Стрельцовым.

Незабвенны русские Иваны
в доброте родимого угла —
города им, светлые поляны
да Россия чтоб живой была.

Не теряют шапку Мономаха,
до конца прекрасны и чисты,
зла не помнят, не боятся страха,
и неутомимы, и просты.

Всё к лицу: и красная обнова,
и рядно, и лапти на ногах.
Всем Иванам праведное слово —
колос, созревающий в полях…

<…>

Николай Гайдук (1953—2024) — коренной сибиряк, родом с Алтая. Детство его прошло в алтайском селе Волчиха.

Иголкой сосновой прививку мне сделали в детстве —
В бору заповедном, где тихо волчиха жила.
Дожди и снега над кострами любили погреться,
И что-нибудь жуткое ночь вдохновенно плела.

Среди этих сосен росли мы порой, как волчата, —
До крови могли за свою правоту постоять.
Мы рано узнали, как мало нам нужно для счастья —
Еда под ногами, и волю у нас не отнять.

Всё это потом пригодилось мне в жизни огромной —
По дебрям таёжным, по каменным дебрям блуждал.
Кормился, бывало, одной только ягодой скромной,
Людей опасался, а зверя улыбкой встречал…

Жизнь действительно была у него огромной по тем пространствам, в которых он её прожил. После окончания сельской восьмилетки поступил в медицинское училище, получил первую свою профессию — фельдшера. С ней сначала поработал в «далёких деревенских местах», а потом пошёл в армию. Служил там «не только в тёплом лазарете», но и в глухой тайге. Тяга к творчеству, «к сочинительству» заставила его после армии сначала получить профессию театрального режиссёра, а потом окончить Высшие литературные курсы в Москве. Многообразными были и места его работы: директор Дома культуры, режиссёр народного театра, редактор газеты на Крайнем Севере, заведующий бюро пропаганды художественной литературы в Красноярске, сценарист документальных фильмов.

А ещё в его жизни всегда была природа и было много дорог — и Чуйский тракт, по которому он гнал гурты скота от Монголии до Бийска, и служба матросом в Мурманске, и Якутия, где подвизался плотогоном… Последние годы жизни прошли в Дивногорске. «Носит меня постоянно по земле. И тот самый ветер странствий, и житейские дела. В жизни было много дорог, да они и не кончаются, потому что никак не найду ту „золотую точку“, в которой можно было бы остановиться…» — признался он журналистам из информационного агентства «1-Line». «Дороги помогают жить» — назвали публикацию о нём в газете «Аргументы и факты — Алтай».

И природа, и дороги, «которые его выбирали», вошли, конечно, в его многочисленные книги, в стихи и в прозу (первый авторский сборник лирики, «Калинушка-калина», вышел в 1986 году).

Уходит март — сгорает снеговьё,
Которого здесь было выше крыши.
Ты ждёшь, когда природа запоёт,
И зацветёт, и реки заколышет.

И вдруг душа ударится в тоску,
Причины толком не осознавая.
Там, где вчера твой след был на снегу, —
Пробьётся завтра зелень молодая.

Настанет время солнца, время нег.
Ты долго ждал — пора повеселиться.
Но почему так жаль ушедший снег?
Придёт другой. А тот — не повторится.

Ты с каждым годом видишь всё острей —
Неповторимость капли и снежинки,
Неповторимый след судьбы своей,
Неповторимый свет во мраке жизни.

«В поисках Беловодья» — точный заголовок одного из журналистских материалов о Николае Гайдуке. Наверное, он не первый и не последний поэт, искавший на безбрежных сибирских просторах своё «Беловодье» (вспомним тут вновь и Ивана Ерошина, и продолжателей ерошинской традиции). Преданность поэта родной земле, преданность мечте о благословенном легендарном Беловодье органично перетекала в его стихах и прозе в слова об утерянных заветных традициях русской земли.

По земле ветра гуляли русые,
Как траву — плечом сгибая лес,
Голубели всюду очи русские
От воды-голубки, от небес…

И куда всё это подевалось?
По какой реке сбежало вниз?
С лебедою пашня повстречалась,
Свесил крылья горестный карниз.

Спит глухое гулкое пространство,
Где прожить — не поле перейти.
Здесь легко навеки затеряться,
Вот и затерялись мы в пути.

Спят века в туманном одеяле,
Только месяц душу бередит,
Спит святая Русь — и уж едва ли
Ту царевну можно разбудить!

Мы ещё, конечно, много можем,
Грозный гул не зря впотьмах дрожит!..
Мы ещё лихие песни сложим —
Перед тем, как головы сложить!..

Поэт признавался: «…сибиряк без Сибири задыхается». Почему? «Огромные горы держат его на этой земле, могучие реки являются его продолжением, и когда есть эта привязка человека к природе и неразрывная связь со своей землёй — возникает совершенно неподдельная к ней любовь…»

Поклон полотенцу

Родился ты — и приняли тебя
На русское цветное полотенце.
Женился ты, ликуя и любя,
И вновь оно трепещет возле сердца.

Пришла пора — ты бросил дом в лесу,
Но где бы ни был ты с сумой бродячей,
Ты полотенце вновь прижмёшь к лицу,
Как будто бы целуя или плача…

Оно пойдёт повсюду за тобой,
Волшебное, родное полотенце,
Расписанное ласковой рукой,
Дарованное чистым русским сердцем.

Не только в том углу, где мыть лицо,
Но даже там, где душу омывают, —
Возле иконы с тихим огоньцом
Узоры с полотенца удивляют.

Ты позабыл язык травы, цветов,
Тебе узорность эта непонятна,
А пращур полотенцем был готов
На жарком солнце вытереть все пятна.

Среди высоких этих берегов,
Среди полей, дождей, страды и снега —
Расшитое письмом седых веков,
Оно имеет силу оберега.

Пускай тебя минуют хворь и спесь,
Пускай с тебя сползёт всё наносное —
Душа чиста, покуда в мире есть
Вот это полотенце мировое!

Всю жизнь оно с тобой везде идёт,
Да и потом, над горестною кручей, —
Тесовый гроб в глубины уплывёт
На полотенцах длинных и горючих.

И в этот час, наполненный тоской,
Над миром вспыхнет новый крик младенца!
И жизнь его — с весёлою слезой —
На расписное примет полотенце!

Невольно вспомнились мне при чтении этой проникновенной и неожиданной «оды русскому полотенцу» похороны моего отца, прожившего всю жизнь в другом городе, вдали от нашей семьи. Оказывается, завещал он положить ему в гроб старенькое, обветшавшее полотенце. Полотенце когда-то соткала и дала младшему любимому сыну мать, моя бабушка, рано умершая. И всю свою непростую жизнь он не расставался с этой единственной памятью о матери, о детстве… И я положил полотенце отцу в гроб, близ его натруженных рук, близ его исстрадавшегося, но не ожесточившегося сердца…

Священный тополь

Юность моя заколочена досками,
Чертополох под окном,
Вечер дымит голубой папироскою,
Память блуждает в былом.

Юность беспечная счастье прохлопала —
Бросила душу в бега,
Только у мудрого мощного тополя
В берег зарылась нога.

В юности тополь был низкий и тонкий,
И на весенней заре
Имя одной расчудесной девчонки
Вырезал я на коре.

Самые нежные пел я тут песни —
Гимны любви, красоте.
Имя твоё проросло в поднебесье —
Светит подобно звезде.

Свет незакатный мой, свет незабвенный,
Неразлюбимый вовек…
Лето в разгаре, а тополь священный
Сыплет на голову снег.

Снег на избе, заколоченной досками,
Снег скоро будет кругом.
Вечер дымит золотой папироскою
В тихой тоске о былом.

Учивший когда-то Н. Гайдука в институте культуры любимый его преподаватель, профессор В. П. Марин, так говорил о своём ученике: «Писатель Николай Гайдук является блистательным художником русского слова, мастером, способным удивлять и восхищать в духе лучшей классической литературы, призванной глаголом жечь сердца людей, возвышать их помыслы и раздвигать горизонты…»

«Раздвигать горизонты» — что может быть благодатнее этой миссии поэта?..

<…>

Эссе девятнадцатое

«…найти конец кольца»

(Красноярская поэзия первой четверти двадцать первого века, часть первая)

Пути поэзии и литературы Красноярского края определялись в конце двадцатого – начале двадцать первого веков совокупностью множества субъективных и объективных факторов.

Противоречивые социально-политические процессы, развернувшиеся в стране в девяностых годах, не могли не сказываться на развитии культуры.

В девяностые люди стали гораздо меньше читать. Россия перестала быть самой читающей страной мира. С одной стороны — появились многочисленные кабельные и эфирные телеканалы, современные кинотеатры с огромнейшим выбором зарубежной кинопродукции, от Феллини и Антониони до боевиков и любовных драм, видеомагнитофоны, онлайн-кинотеатры, интернет… С другой — для многих это стало временем элементарного выживания, когда времени на чтение просто не оставалось. Эпоха «дикого капитализма», крушение прежних идеологических норм и большинства духовно-нравственных традиций способствовали прерыванию и традиции чтения.

Личности регулярно менявшихся губернаторов региона и красноярских мэров, представителей законодательной власти региона порой тоже непосредственно влияли на развитие или торможение литературных процессов в Приенисейской Сибири.

Например, при губернаторе В. М. Зубове возник и смог встать на ноги литературный журнал для семейного чтения «День и ночь», три десятилетия уже фактически являющийся одним из главных центров литературной жизни региона; тогда же было подготовлено по инициативе его редакции открытие единственного в России Литературного лицея для школьников. При сменившем Зубова в самом конце девяностых генерале А. И. Лебеде произошли значительные кадровые перемены во многих областях жизни края, и вопросы развития культуры, литературы и книгоиздания, СМИ в регионе стали курировать «варяги». «День и ночь» и «Енисей» переживали не самые лучшие времена в своей истории. А красноярские литераторы до сих пор вспоминают, как по инициативе новых помощников губернатора в сфере культуры и литературы в мае 1999 года в Красноярске был проведён длившийся целых пять дней фестиваль к двухсотлетнему юбилею главного русского поэта — «Пушкинские дни на берегах Енисея», с участием сорока его потомков.

В двадцать первом веке наступили периоды управления краем А. Хлопониным, Л. Кузнецовым, В. Толоконским, А. Уссом. Красноярская общественность с благодарностью вспоминает тех из них, кто реально помогал писательским организациям и библиотекам, кому известно было о существовании местных писательских сообществ. (Здесь надо также вспомнить, что возникновению новых инициатив в сфере книжной культуры в регионе в этот период способствовало Законодательное собрание Красноярского края.)

В самом начале нового века, ещё при губернаторе А. Лебеде, как мы уже говорили, созданная в 1946 году писательская организация распалась на примерно равные части («на консерваторов и либералов» — продолжали горестно шутить сами литераторы), и на её обломках возникли региональные представительства Союза писателей России и Союза российских писателей, которые постепенно вставали на ноги. Тогда же писателями была учреждена общественная организация «Писатели Сибири» (ныне — «Сибирская творческая инициатива»). Начали свою деятельность в крае представительства международного ПЕН-клуба и Литфонда. После внезапного закрытия Дома писателей на Стрелке было создано для нескольких творческих союзов автономное учреждение культуры «Дом искусств», действующее до сих пор. Литературные клубы и объединения стали в городах и весях края возрастать не только числом, но и умениями.

В конце 2000-х, ближе к 2010-м годам возник небесполезный для местных авторов краевой грантовый проект «Книжное Красноярье», стала проводиться (2007–2019 годы) Фондом М. Прохорова знаменитая книжная ярмарка «КрЯКК», начал возрождаться альманах «Енисей», выходить инициированные общественностью альманахи «Новый Енисейский литератор» и «Русло», учреждена была вдобавок к Астафьевской литературная премия имени Игнатия Рождественского. С 2004 года проходит в формате публичных поэтических чтений конкурс «Король поэтов», с 2013 года проводится литературный фестиваль «КУБ» («Книга. Ум. Будущее»).

В совокупности факторов, способствовавших оживлению литературной жизни, необходимо, безусловно, не забыть упомянуть и саму наступившую «постгутенберговскую» цифровую эпоху, с девяностых дарившую сибирякам и сказочные возможности персональных компьютеров, и безбрежные возможности интернета. Конечно, от печати традиционных бумажных книг ни один поэт и прозаик никогда не откажется, хоть пятьдесят-сто экземпляров — да будет искать возможность напечатать, но лёгкость создания электронных публикаций и целых электронных интернет-библиотек, ведомственных и персональных сайтов, страничек в соцсетях — она, конечно же, и путь стихов к читательскому сердцу сократила, и, вероятно, как-то катализировала возникновение новых поэтических имён из числа представителей родившейся уже после крушения советской власти молодёжи. Появился даже иронический термин «сетевая поэзия». Парадоксом было то, что, с одной стороны, читать люди стали меньше — а людей пишущих не только меньше не стало, но их число начало возрастать и возрастать…

Ведь и в эпоху компьютеров главным чудом жизни были не компьютеры, не четырёхмерные проекции… А что?.. А поэзия и снег, к примеру, как в этих стихах красноярской поэтессы Оксаны Горошкиной:

Снег падает.

Выходит человек
из темноты сгустившейся подъездной.
Он в темноте —
беспомощен, нелеп.
Но здесь его
не накрывает бездной,
и человеку дышится легко
и сладостно,
как будто бы впервые —
снег падает.
Ныряют в молоко
поступки, постулаты, позывные…
У тротуара мнутся фонари.
Их долгий свет —
как Божий дар на взводе.
Не нарушай гармонию.
Смотри:
снег падает,
а человек — выходит.

Как бы то ни было, а постепенно возникали новые литературные лидеры, сменившие прежних «властителей дум» красноярской литературы.

<…>

Хранящиеся в интернете, застывшие в нём (надолго, почти навечно!), как некие фантастические капсулы времени, статьи и заметки, посты, обсуждения в блогах и на страницах в соцсетях, которые велись в последние три десятилетия самими литераторами и литературными критиками, позволяют увидеть, как возникали, подобно новообнаруженным астрономами звёздам или, иногда, подобно самочинным «беззаконным кометам», новые поэтические имена на красноярском литературном небосклоне, проследить, как начинался путь этих «юных» (независимо от паспортного возраста) красноярских поэтов к читателю. (А порой, если начинающий автор не стал по каким-то обстоятельствам продолжать своё движение к профессиональному поэтическому творчеству, эти старые сайты, блоги, соцсети позволяют любопытствующему любителю сибирской поэзии прочесть строки, которые так никогда и не были в печатном виде изданы, так и остались в рукописях ли, в электронных ли публикациях…)

Повторимся, имён этих новых поэтических возникло в двадцать первом веке на берегах седого Енисея великое множество. Что этому способствовало — изменившаяся ли эпоха, новые ли возможности интернет-пространства, литературные ли конкурсы и смотры, альманахи и журналы ли, которые мы выше называли?

<…>

Ещё одно, достаточно известное сейчас читателю, имя. В начале века будущий автор стихов для взрослых и популярных книг для детей Рустам Карапетьян (родился в 1972-м) числился ещё начинающим литератором. Окончил психолого-педагогический факультет Красноярского госуниверситета, работал программистом, начинал печататься. В 2007–2008 годах к нему пришёл первый большой успех — премия за поэтические произведения на конкурсе имени В. П. Астафьева, победа на конкурсе «Король поэтов».

Карапетьян, пожалуй, видный представитель той части «новых поэтов» Сибири, которые не мыслят себя вне поэтической традиции, которые не скрывают пиетета перед поэтической «шинелью», перед гуманистической высокой миссией русской поэзии, из-под покрова которой и вышли они в свет, к читателю.

Жизнь не оборвана? Жизнь не оборвана.
Спустится полночь всезнающим вороном.
Искрами звёзды слетятся к костру.
Ветер коснётся невидимых струн.
Жизнь не кончается? Жизнь не кончается —
Дети на скриплых качелях качаются.
Рвётся сквозь камень упрямый пырей.
С лаем резвятся щенки во дворе.
Жизнь продолжается? Жизнь продолжается.
В небе прозрачном лицо отражается.
Тронешь случайно лишь тенью руки —
До горизонта помчатся круги.

В то же время это поэт, ищущий свои пути, свои темы и формы, как и подавляющее большинство его современников, хотя быть первопроходцем всегда непросто.

Время травою, ветром, волной реки.
Бабочки вьются, мерно гудят жуки.
Думают куколки: «Будет всё, как хотим.
Я буду бабочкой. Я наращу хитин».
Думают куколки: «Будет иная жизнь.
В небе плескаться будем мы и кружить».
Ты улыбнёшься, слова мне не сказав,
мимо скользнёт стеклянная стрекоза,
полная света. Время скользит, как тень,
дарит нам лето, месяц, неделю, день.
Сколько получится. Сколько себе хотим.
«Я буду бабочкой. Я наращу хитин».

«Целая погибшая жизнь в нём трепетала…» — почему-то эта тургеневская фраза вспоминается вдруг в ходе знакомства с этим эпизодом «из жизни насекомых». Сначала — с чёткостью математической формулы поэт обозначает ход времени, через всего лишь три знаковых (но каких многомерных!) образа: «Время травою, ветром, волной реки», — действительно, это — время: скоротечность травы,

невесомость ветра, вечный, не прекращающийся ни на секунду наплыв волн на берег. Потом — по-своему исчерпывающе полная картина всей жизни органического мира на земле: «Бабочки вьются, мерно гудят жуки…» Дальше — наша с вами, из детства, мечта о будущем, о такой далёкой и прекрасной, о взрослой жизни, о любви: «Думают куколки: „Будет всё, как хотим“…» И, наконец, полная программа пути к этому будущему (которая сама-то и есть всё это наше будущее, но мы этого ещё не знаем): «Я буду бабочкой. Я наращу хитин…»

А дальше — дальше «камера стиха» отъезжает, вписывает в кадр Его и Её, и они тоже молчат и тоже мечтают — то ли о будущем, то ли о том, чтобы длилось и длилось это мгновение, чтобы время было к ним — милосердно. И поэт — дарит им эту надежду: «Время скользит, как тень, / дарит нам лето, месяц, неделю, день. / Сколько получится. Сколько себе хотим». И апофеозом — финал: «Я буду бабочкой. Я наращу хитин».

Глубокая и оригинальная, своеобразная философия жизни открывается за циклами и за миниатюрами Р. Карапетьяна, за его внешне обманчивыми, вроде бы совсем даже «документальными», описательными наблюдениями над собой и миром вокруг себя. Поэт называет себя застенчивым интровертом. (В одном из интервью с ним прозвучал коварный вопрос: «Если бы вы писали о себе заметку в литературной энциклопедии, как бы вы себя охарактеризовали?» Поэт ответил: «Наверное, сказал бы, что я довольно интровертный, застенчивый человек. Потому когда-то и стал писать, наверное…») Да, он и в своих стихах как бы интровертен, не вмешивается в жизнь, не ведёт с нею диалог, но как только начинаются стихи, его поэтический взгляд на мир становится исполнен жёсткой уверенности, это взгляд снайпера, мгновенно схватывающего свою цель.

Киты домов, что выброшены морем,
лежат и дышат тучно, тяжело.
Они заснут, и здесь настанет город:
асфальт, бетон, застывшее стекло.

Мы будем жить в них, будто бы Ионы,
и шлёпать в гости из кита в кита,
швырять окурки из глазниц оконных
до сноса или Страшного суда.

Мы будем чистить глянцевые крыши
и ждать ремонта, Ветхий чтя закон.
Мы жадно ждём. Киты лежат и дышат.
И высыхает кожи их бетон.

«Асфальт, бетон, застывшее стекло…» — это, конечно же, портрет города, который в очередной раз «настал», одной из двух вечных, противостоящих друг другу громад-реалий в мире поэтов: пасторальная деревня vs никогда не засыпающий город.

Мы помним чудесный город, из которого спускался к подобной безбрежному океану реке лирический герой Владлена Белкина. Помним враждебный человеку, безликий город у Льва Тарана. Помним город-музей, в котором застыли навечно романтическими и горькими осколками прошлого скульптуры воинов и гидростроителей, у Зория Яхнина. Помним равнодушный к человеку город, из которого бежит к разрушенному, умирающему собору герой Тимура Назимкова.

А это — это город Рустама Карапетьяна, это заснувшие «киты домов, что выброшены морем» (какое опять метафорически и фотографически точное уподобление!)… Город, в котором люди (метафора, как часто у Карапетьяна, развивается дальше, разворачивается, подобно цветку из бутона или подобно той самой бабочке, которая родом из куколки) — как попавшие в чрево кита Ионы, в жизни которых — только два исхода, им суждено ждать во чреве кита «до сноса или Страшного суда». Высокое и низкое, символическое и бытовое здесь, в этом городе, нераздельны, окурки летают — «из глазниц оконных» спящих китов, а непреходящая ветхость ждущих ремонта крыш мгновенно вдруг перетекает в вечность Ветхого Завета.

Стихотворение завершается драматически, темой времени и судьбы. Время у Карапетьяна — сквозной и постоянный образ. Временем поверяются сила чувства и крепость намерения, иномирность мечты и основательность прочитанного тома. Оно, как мы уже видели, у этого поэта эпично и мифологично, оно как бы не имеет ни начала, ни по определению подразумеваемого, но, как правило, поэтом не описываемого конца. Конца, отсутствие которого как будто бы даёт лирическому герою (в данном случае — героям) право на отсутствующий у них в реальности жизни выбор: «Мы жадно ждём. Киты лежат и дышат. / И высыхает кожи их бетон»… «И высыхает кожи их бетон…» — какое физически точное (бетон трескается) и поэтически неоспоримое, какое горчайшее завершение у этой исчерпывающей жизнь российского горожанина саги, уместившейся в двенадцать строчек, среди которых нет ни одной лишней…

А судьба в поэзии Карапетьяна — это нечто неподвластное человеку, она предопределена (не важно чем — роком, обстоятельствами, привычкой, характером, ошибками, случайностью), и спорить с этой предопределённостью бессмысленно (хотя в его прозе человеку даются порой скитания, «попадания» в разные, на первый взгляд, реальности — но это-то тоже и есть судьба, от которой не уйдёшь).

Вот как в строчках, вместивших судьбу, о которой поэт умудрился успеть в этих восьми строчках

всё рассказать, дать чёткий психологический портрет, обозначить связь причин и следствий — и заставить читателя безнадёжно окунуться во мрак одиночества, в котором «Лишь только темнеют заборы, / Лишь только надежда бела…»:

За сорок. Воровка. Кидала.
Но год уже, как бесконвой.
Варила, кормила, давала.
Оглянешься — нет никого.
Лишь только темнеют заборы,
Лишь только надежда бела.
Воровка. Кидала. За сорок.
Сварила. Скормила. Сдала.

А вот и — судьба то ли отдельного дома, то ли города, то ли целой страны, то ли эпох и поколений, её населявших (хотя, кажется, о том, что это судьба страны, впрямую поэтом ни слова не сказано):

Здесь так же душно и темно,
Как до и после революций.
И сквозь закрытое окно
До сквозняков не дотянуться.
Отсюда все давно ушли,
И мухи бледные издохли.
Лишь солнца луч стоит в пыли,
Как зыбкий памятник эпохе.

Быт и мир, вечное и сиюминутное сталкиваются у поэта не только в сюжете, но и в самой форме стихотворения, в переплетённых намертво между собой его лексических рядах («небо из стакана», «солнце из горла», «окурок ветра»…). Но (как это бывает зачастую и в беспощадной и не оставляющей надежды логике бытия, что в «жисти» есть) каплю надежды для лирического героя автор всё же оставляет: «и пойду сдавать бутылки / в близлежащую страну». Или это автор, наоборот, с горькой иронией эту-то последнюю каплю «выпитого из стакана неба» у героя и забирает?..

Я с похмелья хмурым встану,
доползу я до стола,
выпью неба из стакана,
дёрну солнца из горла,
досмолю окурок ветра,
что листвою весь пропах.
Жисть наладится немедля,
жесть отступит впопыхах.
Растворится боль в затылке,
снова кожу натяну
и пойду сдавать бутылки
в близлежащую страну.

В одном из своих интервью Рустам Карапетян размышлял об особенностях развития и существования современных поэтов: «…если сейчас написать как Пушкин, не будет проку, ведь нам два Пушкиных многовато. Надо постараться найти себя, а это долгая, кропотливая работа. Нужно читать многих других авторов, учиться и в то же время понимать, чем ты от них отличаешься. Но чем больше ты их читаешь, тем сильнее проникаешься, и они становятся частью тебя. В общем, задача не из лёгких…» («АиФ-Красноярск», 2016).

Знатоки современной сибирской поэзии давно говорят, что эта, «не из лёгких», задача была Рустамом Карапетьяном решена.

Марина Саввиных в 2012 году писала: «Я познакомилась с его уникальным дарованием, кажется, лет пятнадцать назад, когда меня попросили написать короткую рецензию на стихи тогда ещё никому не известного молодого стихотворца. Помню, меня поразила тончайшая, непередаваемая ориентальная интонация этой поэзии — именно „ориентальная“, как у немецких и английских романтиков девятнадцатого века…»

<…>

…Среди множества поэтических имён, которыми были отмечены на красноярской земле 2000–2010-е годы, — имена поэтов разных поколений и разных направлений. И те, кто начал писать пять или десять лет назад, уже в наступившем веке. И те, чьи первые строчки пришли к читателю ещё во второй половине века предшествующего, двадцатого.

Охватить все имена, заслуживающие читательского внимания, заслуживающие, вслед за знакомством с ними, не на один и не на два раза прочтения — увы, в рамках одного эссе невозможно. Да и надо ли?

По существу, сегодня «День и ночь» (и другие сибирские литературные собратья этого авторитетного журнала) — это своеобразный, интереснейший вид своего рода хрестоматий, оперативно включающих в себя всё самое интересное из поэтических имён и строчек, рождающихся в эти, может быть, минуты у талантливейших людей, творящих на просторах необъятной Сибири. Публикация на страницах «Дня и ночи» — своего рода сертификат, подтверждающий отнесённость строф и строк к тому, что называем мы поэзией.

При этом есть неизбежная необходимость вспоминать время от времени слова В. Астафьева: «Сейчас пишется море стихов, но поэзии истинной в них присутствует капля».

Критики ещё в самом начале века зафиксировали расцвет русской лирики в России в целом и за её пределами. Так, в 2008 году в журнале «Дети Ра» (а затем и в выпущенной в 2014 году интереснейшей монографии) филолог и поэт Евгений Степанов отмечал: «Нынешнее время переживает расцвет русской поэзии, причём в самых разных

городах — в Саратове и Тамбове, Киеве и Днепропетровске, Харькове и Перми, Нью-Йорке и Хельсинки, Екатеринбурге и Берлине, Воронеже и Новосибирске, Липецке и Владивостоке… Осознать в полной мере это можно будет, на мой взгляд, только спустя годы… Важнейшая особенность нынешнего времени — очень высокий уровень поэзии российских регионов и не выведенной в мейнстрим поэзии столичных городов. В настоящее время в нашей стране работают десятки первоклассных поэтов, пишущих силлабо-тонические стихи и, к сожалению, обделённых вниманием критики и литературоведения… Современная поэзия работает избыточно, что позволяет говорить о кризисе „перепроизводства“».

И хотя охватить всё «созвездие» современных поэтических имён у нас не получится, попробуем хотя бы имена некоторых современных авторов назвать и прочитать (пользуясь образом Р. Карапетьяна — «наискосок») хотя бы некоторые их строки.

В число молодых авторов, которые регулярно бывают «на слуху» у сибирского читателя, вошла в 2010-х годах Екатерина Малиновская (родилась в 1990-м). Окончила КГПУ имени В. П. Астафьева по специальности «учитель русского языка и литературы», затем аспирантуру, став преподавателем-исследователем. Работает методистом в красноярском Доме искусств, с 2021 года возглавляет Красноярское отделение Союза российских писателей. Участник конкурсов и лауреат: литературной премии «Лицей», фестиваля «Русские рифмы», конкурса «Король поэтов», конкурса имени Игнатия Рождественского, премии Главы города Красноярска и других. Участвует в красноярских литературных фестивалях, семинарах, работает в жюри детских и молодёжных поэтических конкурсов. Автор книг стихов, рассказов, поэтических переводов.

Стихи Е. Малиновской — подчёркнуто современны по содержанию и по форме, они спокойно созвучны своему времени и находятся в этом смысле в одном ряду со стихами других поэтов этой эпохи, парадоксально называемой частью критиков периодом «позднего», «постсоцреалистического» постмодернизма. Одна из бросающихся в глаза примет этой принадлежности времени — зачастую лишённые прописных букв и знаков препинания стихотворные тексты в форме широко возвращающегося в русскую поэзию в последние несколько десятилетий свободного стиха, верлибра — стиха, независимого от жёсткой метрической конструкции и рифм.

каждый сам за себя
но мы закрываем глаза
и тихо держимся за руки
улыбаемся в темноте

в фильме меланхолия Кирстен Данст
молодая прекрасная Кирстен Данст
и ещё другие герои почему-то их я совсем не помню
сделали домик закрыли глаза
и достойно встретили смерть
они тихо держались за руки

единственный смысл существования
живых существ на земле
это смерть живых существ

до после всё это не важно
живи жизнь
и в конце умри

но если всё же получится
то попробуй держать за руку
того
кто окажется рядом
или себя самого

Писавшие о Малиновской напоминают её слова о своём творчестве: это «сплав личного со значимым для неё культурным контекстом — кино, литература, живопись». И действительно, в этом стихотворении, обращаясь на бегу, как и её современники, к глобальным вопросам бытия, к постижению своей и общечеловеческой судьбы, напомнив читателю об извечном одиночестве «каждого» в этом мире, автор вопросы онтологического порядка разрешает в том числе и с помощью интертекстуальности. В популярном у зрителей 2010-х годов апокалиптически-фантастическом фильме Ларса фон Триера «Меланхолия» герои действительно пытаются под музыку Вагнера «достойно встретить смерть». Смерть, которая, как дальше говорится в стихотворении, есть неизбежный и «единственный смысл существования живых существ на земле» — здесь возникает любопытная аллюзия с державинскими строчками: «Приемлем с жизнью смерть свою, / На то, чтоб умереть, родимся…»

И — вслед за этой констатацией: «…до после всё это не важно…»

Но, конечно же, поэт-то, в отличие от лирического героя, знает, как «всё это» важно… И в последних строчках мелькнёт вдруг лучик надежды, лучик света: «но если всё же получится / то попробуй держать за руку / того / кто окажется рядом / или себя самого…» Собственно, в этих заключительных строчках и сосредоточено поэтическое начало, окончательно превращающее в верлибре «нарезанную на строчки прозу» в стихи…

Отчётливые для литературного критика многожанровость и фрагментарность, насыщенность цитатами или аллюзиями, интертекстуальность, самоирония и доля сарказма, — всё это, так или

иначе, свойственно и стихам, в которые возвращаются на своё место традиционные поэтические технологии: рифма, метр.

В вагоне уложите спать
И не будите в Новосибе!
Пускай прокатится опять
Со мною армия России.

И, в мягкой шапке со значком,
Как будто гордый кот британский,
Мне улыбается тайком
Солдат улыбкой басурманской.

В давно забытых поездах
Житьё по-прежнему чудно́е.
Запястье, плечи, пятка, пах —
Родное.

Отказ от повествовательности, почти неизбежный в стихах молодых современных поэтов, вовсе не равнозначен отказу от сюжетности стиха. Сюжет (или намёк на него) часто возникает, как тайный водяной знак, в пространстве между строчками, между строфами, между собравшимися вдруг воедино увиденными «кадрами» — как будто некий пазл собирается к концу стихов.

В стихотворении «Как люди, умирают дневники…» сюжет формируется ассоциациями и метафорами. Мёртвые дневниковые воспоминания на миг оживают, и вот уже ими «по-птичьи, с руки» кормится душа. Сад из той далёкой поры, когда «жизнь была рекой». А «чайные печальные глаза» подкрепляют следующий за ними образ: «На фотографии мы будто в тёплой чашке», — и вот уже вспомнившаяся вдруг оса из того сада готова сесть на полосатое «платьице-рубашку». И кажется, что героиня и её незримый для нас собеседник «у времени за пазухой застыли» вместе с застывшими там «живыми красками мёртвой красотой».

И конечный вопрос, возникающий в ходе этого свидания со своим прошлым, застывшим «за пазухой времени», вопрос, ответа на который (в соответствии со всеми законами поэзии) никто не ждёт.

На одном конце «временно́й петли» лирический герой в дне сегодняшнем, на другом — пробудившаяся не до конца, мёртвая память, иллюзорная, как фата-моргана, но без этого диалога с прошлым, со старыми фотографиями и дневниками — возможно ли наше существование?.. И вновь и вновь «былое просит душу»…

Как люди, умирают дневники.
Воспоминанья мёртвые послушай.
Чуть слышно, но былое просит душу,
И та по-птичьи кормится с руки.

Когда-то, вспомни, жизнь была рекой
В тени простого маленького сада.
Твоя улыбка, и коса — ограда —
Плетёною чернеет полосой.

И чайные печальные глаза.
На фотографии мы будто в тёплой чашке.
Я в полосатом платьице-рубашке,
А где-то в листьях прячется оса.

Живые краски мёртвой красотой
У времени за пазухой застыли.
Боюсь произнести… Скажи, мы были
В саду с тобой?

Ещё одно популярное у читателей разных поколений имя: Иван Клиновой (родился в 1980-м), красноярец. Окончил филфак КГПУ имени В. П. Астафьева. С детства писал стихи, во время учёбы печатался в студенческих изданиях и красноярских газетах — примерно так об этом говорится в биографических справках, сопровождающих его публикации. Сам же поэт признавался в интервью, данном его коллеге Александру Григоренко: «Лет в шесть я увидел по телевизору мальчонку, который браво читал стишки собственного изготовления, и мне жуть как захотелось так же. И я сочинил что-то на тему „Спички детям не игрушка“. В пятом классе появилась первая публикация в газете „16—91“, сейчас её уже нет. Поспорил с одноклассником, кого первым опубликуют и по телевизору покажут, сам, внаглую, позвонил в редакцию: „Я молодой красноярский поэт. Не желаете ли опубликовать мои стихи?“ — и они пожелали… Потом несколько лет рифмовал „розы — слёзы“, а в конце школы встретил Марину Олеговну Саввиных — она и стала моим первым мастером…»

Открывшийся ему путь в поэзию был сродни пути к островам сокровищ, ещё памятным по мальчишескому «кругу чтения»…

Я в центре зноя, ничего не зная,
Стою, пока вокруг всё чепуха.
Сквозь бабочку проходит ось земная,
А сквозь меня проходит ось стиха.

И губы, треснувшие первым словом
И первой кровью, лепят впопыхах
Под этим смуглым небом чернобровым
Новейшую молитву о стихах.

Послушливыми ямбами владея,
Натравливаю их на духоту
И начинаю тему всё быстрее,
Как гальку, перекатывать во рту.

Вон вроде отъезжает мой автобус.
Не до него. Я погружаюсь в зной.
Но что-то шевельнулось подо мной,
И развернулся бабочкою глобус.

Наступило время публикаций в журналах («Сибирские огни», «Октябрь», «Вестник Европы», «Континент», «День и ночь», «Эмигрантская лира» и других). С 2003 года — член Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра. После окончания вуза работал в Красноярском литературном лицее, в редакции журнала «День и ночь». Лауреат литературных премий (Илья-Премии, Фонда имени В. П. Астафьева, премии имени Игнатия Рождественского и других), участник фестивалей и форумов молодых литераторов, редактор ряда поэтических сборников. Автор книг стихов «Шапито», «Античность», «Осязание», «Латте-арт», «Оффтоп-портрет», «Варкалось», «Пропан-бутан», «35: избранные стихотворения…» и других, печатался в коллективных сборниках.

В ранних стихах поэта читатели (как о том пишут критики) обоснованно находили «ожидаемые интонации бунтарско-романтической юности» (А. Нечаев). Бунтарство, тщательно маскируемая долей ёрничества романтичность и, главное, любовь к внутренней свободе — этому всему было суждено оставаться и спустя десятилетия в стихах, написанных поэтом, родившимся в 1980 году.

В упомянутом интервью 2015 года Клиновой говорил: «…материал, конечно, беру из самого себя. Можно даже уточнить предмет исследования — человек в городе и сам город. Деревню петь я не могу, я её не знаю, и красоты природы как-то мимо меня проходят — я полностью городской».

В начале восьмидесятых — появлялись на свет последние советские дети, теоретиками потом причисленные к «поколению X», к «неизвестному поколению». Но уже готово было заявить о себе «поколение Y», «сетевое поколение», которому предстояло, захватив самый краешек советской эпохи, растерянно в юности проснуться однажды в компьютерно-интернетно-цифровой среде… О перекрёстках поколений (тема времени часто оборачивается у него темой пространства) будет так сказано в его раннем тетраптихе, посвящённом родному «бесфабульному» Красноярску:

…Химера города, опять к тебе приник,
Твой ученик, глотая горький воздух,
Я, выросший среди стрижей и книг,
Читая завещанье девяностых,
В тебе распутываю старые клубки
Крамольных переулков, перекрёстков,
Которые единственно крепки
Лишь матами сегодняшних подростков…

Эта причастность к разным поколениям не могла не отразиться почти зеркально в его поэтическом мире — и отразиться не только неожиданным соседством порой нелитературной, скажем так, лексики с эпиграфами из поэтов Серебряного века.

…Культура, как земля, меняет лики,
И я расту из древности моей,
Как из усов прекрасной земляники, —
Вот тайна прорастания корней…

Тема противоборствующих и стремящихся друг к другу поколений присутствует на страницах его сборников разных лет. Идеалы, пристрастия, привычки поколения, в котором он пытается себя увидеть, становятся одним из зеркал, отражающих не только внешнее, но и глубинное, внутреннее.

Я не для вечности, я сделан для мгновенья
Из ржавого куска металлолома.
Я человек плохого поколенья.
Мне чувство состраданья не знакомо.

Как нить накала, я дрожу от напряженья.
Мне не дано, как Пушкину, влюбиться.
Я не для вечности, я сделан для мгновенья…
Но сладко будет в этом ошибиться.

«Мгновение» — принадлежность к поколению «некст», поколению отцов, а «вечность» — это, пожалуй, унаследовано от предыдущего, «неизвестного» поколения.

Так они и будут соседствовать, эти два мира, в стихах И. Клинового, безуспешно, но настойчиво пытаясь понять и догнать/перегнать друг друга.

…Кто ты такой, чтобы верить в твою победу?
Брод уступает иному бреду,
Где-то в глубинах гугла зарыв ответ.
Кто ты такой, мы узнаем, пройдя по следу,
Если сумеем взять этот самый след.

Мгновения — это покуда ещё работает в нашей жизни до боли сердечной привычный, в плоть, кровь и чернила въевшийся, благословенный вай-фай. Вот он, вай-фай, в любимой кофейне на красноярской улице, за чашкой латте, помогает поэту создать целую одноимённую книгу.

…Я говорил себе: «Дождусь… дождусь…» —
Но дни мои шнуровкою корсета
Тянулись от заката до рассвета,
И бьющаяся жилка интернета
Прощупывалась чётко, словно пульс…

Освоивший термины и технологии «постгутенберговского» бытия современный человек не задумывается о непрочности, об (хорошее, жаль, что

«устар.», слово) эфемерности матричного мира, в который мы сами себе кажемся почти вросшими, по крайней мере — не выпускающими в нём, независимо от принадлежности к поколениям, из рук айфоны.

Но…

Эфемерность электронной переписки
Устанавливает новые законы:
Мы не помним, что писали нашим близким,
И далёким что писали, мы не помним.

Всемогущий интернет за семь печатей
Прячет в цифру заточаемое слово,
И куда бы ни писал ты — на Крещатик,
На Бродвей иль в городишко подмосковный, —

Всё останется в конвертиках незримых,
И никто не вскроет письма после смерти,
Не узнает, что писалось о любимых
И какие на полях плясали черти…

Всё собранье сочинений — стопкой диски,
И никто потом не скажет: «Прочитайте
Том такой-то электронной переписки:
Там сквозит такая нежность в каждом байте!»

(Опять эта нежность, у Клинового — «сквозящая в каждом байте»!)

Как просто и как точно сказано о невозможности для нас, нынешних, пережить вновь что-то подобное тому, что испытывали мы, перечитывая случайно сохранившиеся чьи-то к нам старые, из другого мира, бумажные письма или — перелистывая в детстве страницы с переснятыми на доцифровую ещё фототехнику пушкинскими рукописями. Да, в те миги наших юности или детства гусиные перья, перьевые ручки и чернила в непроливайках уже уступили место чуду зарубежной техники — шариковым ручкам. И с этим мы почти сразу, почти спокойно смирились. Но могло ли нам прийти тогда в голову, что настанет время, когда и бумага для наших писем, черновиков и дневников больше не понадобится?..

«Мгновения» и «вечность», «X» и «Y» будут рядом, то споря, то помогая друг другу, в поэзии, родившейся на стыке двух разных поколений…

«Все умерли. И Одиссей, и Гектор, —
Ты шепчешь над руинами лица. —
Из Времени хреновый архитектор
С идеей фикс — найти конец кольца».

Да, Время неказисто и горбато
И в шутку разрушается дождём.
Мы из него все выросли когда-то,
И мы в него когда-нибудь врастём…

Но бурлящее в венах и генах предыдущее поколение заставляет напомнить себе и читателю о том, что вай-фай не вечен (и может быть, даже — почти кощунство! — совсем и не важен). А что тогда потом, «после вай-фая»?..

Сохрани мою память во всех, что ни есть, облаках!
Мы почти небожители, нам ли бояться паденья?
В кэше гугла хранится единственный маленький страх,
И когда-нибудь вскроются наши полночные бденья.

Но ещё не чирикнут последний, венчающий твит,
Но ещё наша речь в интернетах журчит, как живая…
И покуда вай-фай над Землёй невозбранно разлит,
Сохрани мою память! Вдруг завтра не будет вай-фая.

Интонации, по существу, неожиданно трагические возникают в лирическом мире, исполненном иронии, гротеска, усмешек, небрежности разноформатья строф, точности выбранных слов и привычности соседствования высокого и низкого штилей, а рядом с ними — избираемых то разговорной, то ораторской манерами общения.

Вот ведь родина-ссылка — Сибирь!
Как острожный, люблю эту землю,
Потому что иной не приемлю.
Мне и вправду боярин-снегирь
Соловья заводного милее.
Я стою на яру Енисея
И не знаю, на кой эта ширь.

И тут же осознаёшь, что они, трагические интонации эти, неизбежны, если окружающий мир мастерски и точно отстроен, смоделирован поэтом, способным не только разглядеть и расслышать его сегодняшние реалии, вплоть до забытых, казалось бы, человечеством «нитей Ариадны» и «голосов травы», — но и прозреть будущее этого мира и нас в нём и успеть сказать об этом своему читателю.

Старики — уходят, ты — жуть как жив
И годишься им в мотыльки.
За тобою стоптаны миражи,
А за ними — лишь башмаки.
Но они прошли через много драк
За возможность всерьёз молчать,
А тебе достанется штурм-унд-дранг
С их плеча.

«…я вообще работаю в минорном ключе. В жизни я человек спокойный, большие, яркие эмоции я испытываю редко и тем более редко их показываю. А в творчестве я скорее грустный человек. Мне вообще кажется, что в миноре куда больше обертонов, чем в мажоре» (из интервью 2015 года).

Трагизм этого мира — он, как думается, изначально присутствовал в поэзии И. Клинового.

Может быть, с прожитыми поэтом собственными годами и с миновавшими вокруг него десятилетиями трагизм этот обрёл бóльшую выразительность, стал направленнее и настойчивее. Разве не безысходно-трагичны было, к примеру, осмысление мира и себя в нём в этих ранних строчках (из сборника «Античность», 2004)?..

Я назначу тебе свидание
На руинах роддома.
Просто сердцу заранее
Боль разлуки знакома.
Здесь, среди кирпичей и прочего,
Позаросших бурьяном,
Вспомним лучшего зодчего:
Время непостоянно.
Я надеюсь, что не расплачешься,
Не проронишь ни слова.
Память, стёртая начисто,
Здесь написана снова.
Всё, что помнило это здание,
Проживём за минуту...
Я назначу свидание.
Только сам не приду.

Мир двадцать первого столетия — изначально противоречив, противоречивость эта заложена в нём почти что «ментально», поэт лишь глубже нас осознаёт и чувствует её, вскрывая глубинную природу явлений и архетипов, раскрывая её присутствие во всём, чем наполнена жизнь его современника. Автор предисловия к одному из многочисленных лирических сборников Ивана Клинового, писатель и переводчик Марина Кудимова замечала: «...перед нами книга человека за монитором, человека, зависящего от качества вай-фая больше, чем от природы. Человека постгуманитарной эпохи, цепляющегося за то, что осталось от него прежнего. От всех нас в конечном счёте остаётся детство и движение. Даже если детство давно кончилось, а двигаемся мы не туда. Но кто знает — куда надо?»

О заре я выхожу на балкон
Золотые сигареты курить,
Серебристый пепел грустно ронять.
Так заведено испокон.
Ариадны тянется нить
Для по лабиринту петлять.

Конфликт представления о мире и самого мира, вечный дуализм современного человека. По существу — вечное возвращение к забытым было традиционным архетипическим образам русской культуры, к вытесненным из созданной, слепленной, осенённой «цифровизмом» эпохи, к списанным было как культурный хлам былого...

...И рад бы я по полюшку идти
И с балалайкой ездить на медведе,
Но сбит и с панталыку, и с пути —
Родные буки мне уже не веди.

И всякий раз, когда ещё тверёз
И на растраву скор по-идиотски,
Я в плеере включаю шум берёз
Саскáчеванских, северодакотских...

И представитель любого современного поколения вновь и вновь оказывается в положении оставленного где-то в прошлом образа, образа «витязя на распутье», третий век подряд раздираемого на части Западом и Востоком, нежностью и цинизмом, высокой любовью и неизбежной телесностью...

Я строю стены вокруг торнадо,
Трихотомирую божество,
Но где-то есть и моя Гренада,
И даже скво.

На лунный свет каподастры ставил,
Из мусса музыку извлекал,
Но говорят: это против правил
И всех лекал...

...Образ Кассандры не случайно возникнет в заголовке одной из поздних публикаций Ивана Клинового («Синдром Кассандры»). Только вот вопрос в том, расслышат ли хриплый, упорный и вещий Кассандров голос новые, появившиеся на свет уже в новейшем времени поколения — зумеры, альфы и (продолжение следует?..)...

Эссе двадцатое

«Какая даль в стихах! Какая высь!..»

(Красноярская поэзия первой четверти двадцать первого века, часть вторая)

Разглядываю только что размещённую в интернете фотографию (цифровую, естественно) состоявшейся час назад презентации летних номеров альманаха «День и ночь». Что можно сказать, её рассматривая? Представительно — несколько десятков человек собрались в стылый, непогожий, дождливый, промозглый осенний субботний день в краевой библиотеке. По «социальному» составу: две трети — сами писатели, остальные — читатели или только-только начинающие писать.

Вот ещё интересно — возрастные ощущения (вспомним ненаучные, конечно, «теории поколений», о которых говорили в прошлом эссе). В основном — две группы представлены на фото «в память о презентации»: маститые, ветераны и — молодёжь. Несколько меньше — представителей среднего поколения, тех, кому сегодня за тридцать, и за сорок, и немного за пятьдесят.

Ну, в общем-то, логично: родившиеся в восьмидесятых «миллениалы» и в шестидесятых-семидесятых «иксеры» («потерянное поколение») продолжают, пока есть ещё немного времени на это, активные жизненные поиски, снова ищут себя и своё место в этой жизни, а заодно — и утраченные жизненные ценности, наверное. И вот, через их головы, молодёжь двадцать первого столетия ведёт диалог с поколением совсем старших, «бумеров» — тех, кто родился во второй половине сороковых — начале шестидесятых. И все они потом — и те, кто пришёл нынче в библиотеку, и те, кто в ней не появился, — встретятся вместе под обложкой очередного номера. Начнётся очередной диалог поколений, может быть — и творческий спор, и аксиологическая (а то и — идеологическая) дискуссия?..

О чём захотят сказать старшие тем, кто ещё в колыбели, не начав говорить, уже нажимал виртуальные кнопки мобильных? О чём сами старшие спросят себя, жизнь и своих внуков?..

Может быть, с грустью вздохнут?..

Что было, сплыло и промчалось мимо,
Так сердцу мило
И неповторимо,

Что хочется заплакать, вспоминая…
Поскольку жизнь в душе
Уже иная…

И, помолчав немного, добавят, поясняя:

Продолжительность жизни равна
Свету мысли
И скорости света…

И, конечно, не наша вина,
Что мы все
Забываем про это…

А когда вспоминаем —
Уже
Света нет ни вокруг, ни в душе…

Это — Николай Ерёмин, родившийся в 1943 году в Амурской области, один из старейших красноярских писателей. Первое стихотворение опубликовал в пятнадцать лет в «Красноярском комсомольце». Вот он, среди сверстников и собратьев, на страницах «Дня поэзии – 1967»: студент Красноярского мединститута. Молодой, счастливый, усатый.

Песенка о трамвайчике и любимой

Качайся, трамвай, качайся.
Мой путь, никогда не кончайся.
Глядит на меня
и, как солнце, печёт
твой карий счастливый зрачок.
Пытаю судьбу, пытаю.
То падаю, то взлетаю.
Но нас неизменно —
паденье ли, взлёт —
трамвай в неизвестность везёт.

Как скоро сходить, как скоро!
Ты — солнце, а я — твой город.
Я твой, вот и цел,
а от жарких лучей
трамвайчик горит — он ничей.

Какое удивительное, какое непохожее на наше нынешнее время! И образы, и настроение, и слова, да что там — сам язык кажется совсем иным, непохожим на наш сегодняшний…

Позднее выпускник мединститута окончил Литературный институт имени А. М. Горького, стал профессиональным писателем, членом Союза писателей и Российского ПЕН-центра, автором поэтических книг и сборников прозы. Работал с литературными проектами и был редактором литературных альманахов и антологий, изданных в Красноярске.

Над книгой «Поэты XX века»

1.
Какая даль в стихах!
Какая высь!
Превозмогая возраст и усталость,
Мои друзья на небо вознеслись…
Ни одного со мною не осталось…
Лишь эти пожелтевшие страницы —
Как тень
за тенью
пролетевшей птицы…

2.
Остановиться в вечности на миг,
Остаться навсегда одной из книг,
Которую хотя бы пролистали —
Об этом все тщеславные мечтали
И называли каждый миг судьбой…
…И мы с тобой, мой друг, и мы с тобой…

Во многих поздних стихах Ерёмина лирический герой вспоминает, перебирает прошлое, соотносит прожитое и его итоги с тем, о чём мечталось когда-то.

По енисейской северной воде
Я плыл — спиной к земле… Лицом — к звезде…
Мне было хорошо — плыть и смотреть…
Во сне и наяву — из жизни в смерть —
От всех земных сомнений и забот…
В мечтах,
Что будет всё наоборот…

Среди многочисленных проектов, которые инициировал или в которых участвовал Николай Ерёмин, был и проект «Миражисты», в рамках которого он издал альманахи «Пощёчина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го измерения» и другие. «Миражи» — понятие знаковое и важное для поэта. Об этом он так говорит, например, в стихотворении «Автопортрет»:

Автопортрет

Миражист,
Увы, миражевед, —
Я теперь премудрый древний дед,
Знающий, что было и что будет…
. . . .
Пусть меня случайно не осудит
Тот, кто ищет правду в мире лжи,
Но не может видеть миражи…
Потому что до поры они —
Откровенью Божьему сродни —
Скрыты и на солнце,
И в тени…

Среди циклов и отдельных стихов зрелого периода — восьмидесятых-девяностых годов — некоторые выделяются как бы наособицу, своей не очень частой у Ерёмина открытой лиричностью, лишённой иронии доверительностью и единством с окружающим миром. Одно из них не случайно, видимо, избрали в 1988 году В. Астафьев и Р. Солнцев для публикации в своей антологии «Час России».

Помнишь, милая, как лежали под берёзами?..
С листьев капли дождевые падали…
Были капли огневыми, острыми…
Помнишь, милая, вспомнить рада ли?
Как целовал я тебя в шею белую…
Как целовал я тебя в уста маковые…
Как шептала: — Что с тобою мы делаем?.. —
И обнимала меня всё ласковее…
Помнишь, милая, как лежали под берёзами
И хмельные, и счастливые, и трезвые?..
А верхушки берёз всё покачивались…
А дождинки всё сыпались ясные…

И свидание наше не оканчивалось…
И светилось в листве солнце красное…

Призвание поэта, судьба поэта и, наконец, миссия поэта — сквозная тема ерёминской лирики. В одном из стихотворений она заявлена просто, горько и строго.

Начало стихотворения — привычный поэтический антураж: погашена догоревшая свеча, огня у поэта нет, бессонная ночь, стакан вина, её нескрасивший, и — «сошедший с ума» поэт (вслед за Святым семейством?) отправляется в Египет.

Во второй строфе это спонтанное частное бегство в Египет оборачивается риторической картиной бесприютности и невостребованности поэта этим миром.

И, наконец, третья строфа. Образ, здесь появляющийся, — стакан воды в пустыне, который мерещится поэту: образ достаточно многозначный и неожиданный, выводящий поэтическую мысль в стихотворении на философскую высоту…

Ни спички нет. Погашена свеча.
Стакан вина бессонной ночью выпит.
Поэт сошёл с ума — и, бормоча,
При свете звёзд пешком пошёл в Египет…

Увы, кому нужны его слова?
Он был и есть — один на белом свете.
Всё горячей под солнцем голова.
Листки поэм разбрасывает ветер…

Уходит он от счастья, от беды,
Чтоб жизнь остановить на половине…
И не стакан вина — стакан воды
Мерещится ему в его пустыне.

• • •

Перечитаем стихи из первого сборника Алексея Козловского (родился в 1947-м) «Дни осени», вышедшего в Красноярске в 1977 году по рекомендации Всесоюзного совещания молодых литераторов в Москве. Он родился на минусинской земле, окончил географический факультет Красноярского пединститута, с 1970 года несколько десятилетий учительствовал в средней школе села Новотроицкое Бейского района Хакасии. Стихи начал писать рано.

Из-за горы — рекою алый свет,
вдоль по нему, как лодка, — птичья стая,
чуть выше — самолётик, оставляя
белёсый распадающийся след.

Текучие приметы сентября.
Теперь закаты строже и скупее.
Смотрю на незнакомого себя,
о чём-то невозвратном сожалея.

Куда та лодка птичья уплыла,
помахивая вёслами-крылами?
Где самолёта белая стрела
и где мы те, взволнованные, сами?

Первым обратил внимание на начинающего поэта Роман Солнцев, помогший ему составить подборку стихов «Рыжий календарь» в газете «Красноярский комсомолец» в 1970 году. За несколько десятилетий у Козловского вышли авторские сборники стихов и прозы, многочисленные

публикации в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Смена», «Сибирские огни», «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Енисей» и других.

Мир природы, увиденный поэтом, прекрасен и логичен в своей бессмертной эстетике, оборачивающейся не нарочитым, без всякой натяжки нравственным посылом. Единство с природой спасает душу…

Кони

За окном, за палисадом
Ходят кони, ходят рядом.
Присмотреться — как лекала:
Круп налево, круп направо,
Мягкой линией обводки,
Ходят кони, словно лодки,
Холки слева, холки справа,
Далеко до ледостава.
Кони, словно облака,
Отражаются в воде,
Кони всюду и нигде.
Озираюсь — были рядом.
За окном, за палисадом
Уплывают облака,
Льдом подёрнулась река.

«Козловский обладает даром тонко, без нажима, соединить мир природы с миром человеческой души», — написала в посвящённом молодому поэту очерке в сборнике «Дом и мир» критик и литературовед Галина Шлёнская. Очерк назывался «Ответственность дебюта», автор подчёркивала, что у поэта есть своя тематика (прежде всего — мир сибирской природы), образный строй, своя музыка стиха, а главное — уважение к поэтическим традициям и стремление учиться у классиков.

Настольную лампу рябины
Включили под осень в саду.
И, в сторону сдвинув гардины,
Я створки окна разведу.

Настольная лампа… Но вроде
От пушкинской что-то поры
В щемящей сентябрьской погоде,
В отсутствии вязкой жары.

Включили всю музыку лета,
Мелодию прожитых дней.
Махровые, как эполеты,
Последние астры над ней.

И там, в окончанье аллеи,
Всё чудится мне до сих пор,
Что сам Александр Сергеич
Во флигель прошёл через двор.

Открыть свою задушевную, слитную с природой лирику для окружающего мира, для «вопросов и болей сегодняшнего дня» — к этому критик в 1984 году призывала талантливого автора. Со временем это открытие произошло: может быть, потому, что резко менялось всё вокруг, от социальных и экономических реалий до духовных ценностей и нравственных посылов. Всю жизнь проработав в школе, Козловский с горечью пишет, например, подводя итоги педагогического пути:

Нет нужды вспоминать о школе,
Сколько отдано было сил
Ей и детям. Виновен, что ли?
Да и так ли я их учил?

Всё реформы, бои, сраженья,
Разлетались эпох куски,
От предательств и соглашений
Разъезжались материки.

Школа — сказано для примера,
Что не каждого довела
Вот хотя бы до инженера:
Видно, карта не так легла…

Обращаясь к любимой природе, которая в результате деяний людей как бы «умом повредилась», поэт обращается к современникам и соплеменникам, заклиная их:

…Не трогайте, ради Христа,
Бездушные вы инвалиды,
Коль нет на вас, сирых, креста,
Её необъятных угодий,
Ни недр потаённых её,
Затонов её мелководье,
Деревьев тугое смольё,
Воды шелковистую мякоть,
Багульника розовый цвет,
И даже осеннюю слякоть
Оставьте как некий секрет.

Но самые безнадёжные, может быть, строки А. Козловского посвящены итогам судьбы целого поколения (или даже нескольких поколений), людей, лучшие годы своей жизни отдавших Стране Советов и оказавшихся в итоге «пасынками этой страны».

В вышедшей в 2013 году в Абакане книге стихов с откровенно публицистическим названием «Парни с рабочей окраины» поэт поэтапно, с безжалостностью хирурга препарирует историю страны и личную, человечью историю своего поколения, которое от разрушенной временем и людьми державы оторвать, конечно, невозможно: ведь именно ради неё жили «парни с рабочих окраин», жили «Под гудок тепловозный с откоса / И под запахи

солидола, / Где теплее куртки с начёсом / Знамя Ленинского комсомола…»

Наше время совпало со снегом,
Как поездка совпала с распутицей,
С безнадёгой, с беспутною спутницей,
Со второй половиной века,
С его взлётами и застоем,
С его Пьехою и «Поехали!»,
С его трезвостью и запоями.
Мы тогда ещё планы строили,
Но уже наполнялись гноем
Души вымороченных изгоев.

«Провинции бездушной пацаны», «пленники глухого снегопада» — так можно, по словам поэта, назвать поколения «парней окраин заводских, вечерних школ, одежд простого кроя», те поколения, которые западные учёные называют красивыми именами «беби-бумеров» и «иксеров»…

Ещё не разобрали по домам
Невест, ещё свекрови — просто мамы,
И не скребут зубцы кардиограмм
Сердца отцов надсадно и упрямо.

Ещё до перестройки далеко,
Как до Луны пешком без передышки.
И песенка звучит про Сулико
Из каждой точки радио и вышки.

Пошагово: ещё, ещё, ещё…
Мы постигаем дальние пространства,
Да вряд ли хоть один из нас крещён
Иль ведает о магии брейк-данса.

Мы парни тех окраин заводских,
Вечерних школ, одежд простого кроя,
Романтики от сих высот до сих,
Убитые безвременьем застоя.

Мы роботы, мы пасынки страны,
Мы винтики тяжёлого уклада,
Провинции бездушной пацаны,
Как пленники глухого снегопада.

Мы вроде и свободны, и легки,
Что даже крыльев нам теперь не надо.
Но нам не оторваться от земли,
Мы — пленники глухого снегопада.

● ● ●

Сергей Кузнечихин (родился в 1946-м) — четвёртый, «послевоенный» ребёнок в семье, жившей в посёлке Космынино, что под Костромой. (Семье своей, матери с отцом он со временем, когда, как в тайгу, уйдёт в прозу, посвятит безыскусные, с улыбкой не без сострадания, трогательные строки — и снова судьба целого поколения предстанет перед нами в конкретной, частной судьбе…) Учился на химфаке Калининского политехнического института, после окончания которого по распределению работал инженером-наладчиком в Свирске Иркутской области, затем в Красноярске, где вышла в 1979 году его первая книга стихов «Жёсткий вагон».

Смотри, какая радуга —
Цветы, а не цвета,
За грозы все в награду нам —
Такая красота.

Теперь давай зажмуримся,
Авось и перейдём
Через пустую улицу,
Размытую дождём.

По роду работы за два десятилетия «изъездил всю Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки».

Памяти Валерия Прокошина

Городские квартиры и сельские избы
Далеки, но значительно дальше от них
Низкорослые русские анахронизмы —
Засыпные бараки окраин глухих.

Точно так же, как дети, рождённые в браке,
От нагулянных (я не касаюсь тюрьмы —
Повезло), но, рождённые в шумном бараке,
От рождённых в домах отличаемся мы.

Пусть не только у нас тараканы с клопами —
Светлым будущим жить не легко никому.
Но особая, чисто барачная память
Выдаёт невозможность побыть одному.

Слишком тесная близость чужого дыханья.
Узость комнат скрывает большой коридор.
И распахнутость, и отчуждённость глухая
В наших душах ведут изнурительный спор.

Обнажённость развешанных стираных тряпок
И бесстыдство скандалов…
А после того —
Постоянность желания спрятаться, спрятать
Не конфетку в карман, а себя самого.

Покойный Эдуард Русаков очень точно заметил: «В молодые годы Сергею Кузнечихину пришлось немало поездить по стране, что способствовало появлению у него широкого, трезвого взгляда на жизнь, раннему избавлению от прекраснодушных иллюзий. И профессия, и жизненный опыт, и память детства — всё это во многом определило

его пристрастие к суровому реализму, к жёсткому психологизму, к чёткому пониманию границ между добром и злом…»

Косо в землю вросшая избушка,
Словно почерневший истукан.
На столе порожняя чекушка
И стакан.

Пара мух ощупывает крошки —
Видно, чем-то запах не хорош.
Ни тарелки на столе, ни ложки,
Только нож.

Стихи и проза Кузнечихина печатались в «Литературной газете», в журналах: «Наш современник», «Дальний Восток», «Урал», «Литературная учёба», «Подъём», «Сибирские огни», «День и ночь», «Киевская Русь», «Радуга», «Предлог», «Дети Ра», «Арион» и многих других. Кроме собственных авторских, публиковался и в коллективных сборниках. Участвовал в подготовке красноярской книжной серии «Поэты свинцового века», был вдохновенным составителем сборников А. Барковой, А. Тинякова, Н. Рябеченкова, А. Кутилова. Судьбы поэтов в российской глубинке, судьба творческой незаурядной личности в «провинции» — тема, не оставляющая писателя, тревожащая его сердце, всеми своими гранями открывшаяся ему и в судьбах красноярских и российских литераторов, с которыми был он дружен, да и в собственной, наверное, биографии.

Успех пропитан запахом натужности —
Не тем, так этим маешься в угоду.
Лишь осознанье собственной ненужности
Даёт поэту полную свободу.
Когда канонов мнимые приличия
И прочие былые заблуждения
Забудешь. И людское безразличие
Из наказания в освобождение
Перешагнёт.
Останется бескрайняя
Свобода слов. Свобода тьмы и света.
Но хватит ли для самовозгорания
Огня в душе ненужного поэта?

Безусловны присутствие неподдельного поэтического начала в стихах Кузнечихина, добротность и основательность строф, нескрываемая отмеченность его строк и искренностью, и ненарочитой интеллектуальностью. Судьбы его лирических героев не оторвать, не отделить от судеб страны и судеб нескольких эпох, выпавших на их долю. Судьбы эти начинаются и завершаются в предместьях и в просёлках России, освещая и освящая их родившимся в них русским словом.

Просёлки

Памяти Владимира Солоухина

1.
В окнах стёкол острые осколки,
И крапива выше, чем плетень.
Отмирают старые просёлки,
Щупальца сиротских деревень.

Было время, и они таскали
Для хозяйства жита, сена, дров…
Уводили, радости искали.
Приводили девок или вдов.

А теперь ни конный и ни пеший —
На машины сели и в объезд.
Разве только заплутавший леший
В старой колее поганку съест.

Вязкою травой на редком взлобке
И в низинах цепким ивняком
Заросли просёлки, тропки, глобки,
Не пылят, а в горле горький ком.

2.
С какой высоты начинается небо —
Не знает гора и берёза не скажет.
С какой высоты начинается небо —
Не ведает птица, и облако даже,
И ветер, шалящий в дорожной пыли.
С какой высоты начинается небо?
И люди молчат, не скажу, что боятся,
Наверное, всем нам неловко признаться,
Что небо всегда начиналось с земли.

О Кузнечихине, о природе его удивительного «провинциального» дара написано было его современниками много точных и глубоких слов. Вот об одном из стихотворений Кузнечихина говорит его коллега Олег Балязин: «Поэтические тропы Сергея Кузнечихина — продолжение проступающих из лопухов, крапивы и подорожника тропинок городских предместий. Возьмите ветку сирени или одуванчик, повглядывайтесь в них с часок, поразитесь разнообразию необходимых сочетаний и переходов, богатству выделки и выдумки — и вы поймёте, как создавалась „Окраина“, одно из лучших стихотворений в русской поэзии… Мне, выросшему на городской окраине, ограниченной речным берегом, впору самому ссутулиться от пронзительной точности слов, каждой детали (намокшего до черноты штакетника, кратко выбеленных дождём мостков), от самого воздуха, лезущего под рубаху при прочтении…»

Окраина

Окраина. Козий горох. Подорожники.
А всё-таки город (над почтою — шпиль).
Но вот нападение шустрого дождика —

И в грязь превратилась пушистая пыль.
По ставням весёлою дробью ударило,
И дождик затих, а затем на реке
Пристал катерок и отправился далее,
К домам подошёл человек налегке.
Вдоль чёрного ряда штакетника мокрого,
Мостками, промытыми до белизны,
Он медленно шёл, наблюдая за окнами,
Сутулясь от свежести и тишины.
Вдруг пёс шелудивый, а может, некормленый,
Лениво затявкал на стук каблуков,
И в лужу с поспешностью, слишком покорною,
Спустился он с чистых, но гулких мостков.
Потом замолчало животное глупое,
Утешась нехитрою властью своей,
А грязь под ногами вздыхала и хлюпала,
И редкие капли слетали с ветвей.
У дома с тремя молодыми берёзками
Он встал и, прокашлявшись, вытер усы,
Потом закурил и, светя папироскою,
Приподнял рукав и взглянул на часы.
И, вымыв ботинки с носками облезлыми,
Чтоб в дверь не стучать, он вошёл со двора…

Потом два сердечка, что в ставнях прорезаны,
Зажглись и не гасли уже до утра.

Сложно отделить кузнечихинскую лирику от его же прозы — они смыкаются, переплетаются, как бы переходя друг в друга. Стихи его зачастую повествовательны — как повествовательны стихи Пастернака, Заболоцкого, невольно вспоминающихся, когда пробираемся мы вместе с лирическим героем Кузнечихина сквозь грязь и надежды российских окраин и предместий. Так в лирике. А проза его — неуловимо лирична и поэтична по самой своей природе, и здесь впору вспомнить уже прозаиков, того же Солоухина, имя которого не случайно появляется в стихах Кузнечихина. Жаль, что о поэте, о его сродстве с Солоухиным не успела написать Г. М. Шлёнская, путь которой в литературоведение и литературную критику когда-то начался именно с размышления о лирической прозе в солоухинских «Владимирских просёлках»…

Но современники успели отметить, что проза Сергея Кузнечихина, постепенно явившаяся сибирскому и российскому читателю, — явление незаурядное. Он лауреат международной литературной премии имени Фазиля Искандера в номинации «Проза» за книгу «Где наша не пропадала». Рассказы и повести о жизни, многочисленные байки, удивительные по точности своей и нескованности шаблонами мемуарного жанра воспоминания-повествования о красноярских, о сибирских и московских писателях, поэтах, публицистах — только часть этого прозаического богатства. Стиль прозы Кузнечихина узнаваем и любим читателем. «Проза Сергея Даниловича Кузнечихина — крупное явление русского искусства… Это искусство, как ему и положено, никогда не было равно советской литературе, не вламывается оно и в рамки нынешних откровенно коммерческих или псевдоинтеллектуальных проектов…» — такие слова об этой прозе сказал писатель и литературовед Максим Лаврентьев.

День затишья

(…на той, гражданской)

Разлёгся поперёк дороги
Убитый человек в исподнем.
И чей он — белый или красный —
Теперь уже не разберёшь,
Он к ослепительному солнцу
Остекленелый взгляд свой поднял,
А по краям дороги — поле,
А в поле — выжженная рожь.

Ему не знать того, что будет,
Не передать того, что было,
Лежит — земля к спине прижата,
И солнце светит супротив,
А рядом, путаясь в поводьях,
Ржёт сумасшедшая кобыла,
Дробит копытами о камни,
Выводит яблочко-мотив,

И, пританцовывая, машет
Хвоста облезлою метлою,
Привыкнув к выстрелам и ритмам
Лихой частушечной бурды,
Она жеманно выгибает
Хребет, сравнимый лишь с пилою,
И щиплет рваными губами
Густую кочку бороды.

Размышляя о писательской судьбе Сергея Кузнечихина, его коллега, прозаик и критик Александр Кузменков, в публикации с говорящим названием «Опоздавший» писал о «каиновой печати провинциала»: «Литературные репутации делаются исключительно в столицах…» Но и спорил с этим, вспоминая мудрую поэтическую строчку самого Кузнечихина: «Дар Божий! Для него прописка безразлична…»

Смерть — как неверная жена
Или вдова, ей всё едино,
Казалось бы, ещё влажна
Могилы тягостная глина,
Растерянность, печаль и страх
У провожающих на лицах.
Был человек — остался прах,
А этой даже притвориться,
Приличья ради, тяжело,

Улыбка растянула губы,
Сверкают весело и зло
Никелированные зубы.
Скабрёзной шуткой веселя
Саму себя, народ смущая,
Воротит нос от киселя
И просит для сугрева чая.
А коли чая нет — вина.
И, передразнивая плачи,
Стоит, нахальна и хмельна,
Бедро костлявое отклячив.
Цепляется, чтоб не упасть,
Дрожит от страстного озноба,
И предлагает переспать,
И шепчет про любовь до гроба.

Наверное, так оно и есть?.. Таланту прописка несвойственна, он в ней не нуждается. В уделах, в городах и весях провинции писателю открывается изгнанная из больших городов, порой опустившаяся, порой — сохранившая себя, всё та же бессмертная, несмотря на бродящие совсем рядом искушения, сомнения и смерть, Россия, Расея, Русь... Недаром же рядом с именами поэтов-современников («товарищей по несчастью», как назван один из его сборников) в прозе и в лирике Кузнечихина вполне естественно возникает и имя великое — поэта, который образ талантливой, независимо от «места жительства», России передал как «по эстафете» русским читателям и поэтам иных поколений и иных «прописок»...

● ● ●

«Какая станция?» — спросила,
взглянув на сумрачный перрон.
И мне ответили: «Россия!»
И отцепили мой вагон.

Родилась Татьяна Долгополова в 1970 году в Красноярске, окончила филологический факультет Красноярского педагогического университета. Публиковалась в периодических изданиях, в коллективных сборниках. В 2000 году стала лауреатом премии имени В. П. Астафьева в номинации «Поэзия», участник литературных конкурсов и фестивалей, творческих встреч. Среди авторских книг — «Зодиакальная болезнь» (1992), «Лепта» (2004), «От себя» (2009) и другие.

Я для вас пишу пару строк.
Ваш любой каприз, как приказ,
исполняю точно и в срок,
всё для вас, всё только для вас!

Я на перекрёстке миров
строю в вашу честь светлый храм.
Я срываю розу ветров,
чтобы подарить её вам!

А вот это стихотворение Евгений Евтушенко предложил Татьяне Долгополовой прочитать на его творческом вечере в Красноярске в 2015 году — в тот день Татьяна провела для знаменитого гостя экскурсию по Дому-музею В. П. Астафьева, где тогда она работала.

Едва проснувшись — лгу.
И засыпая — лгу.
Я откровенно лгу
во сне и на бегу.
Зато — всегда права.
Зато — какой успех!
Услышав: «Как дела?» —
солгу я: «Лучше всех!»
Я лгу, но я довольна:
спасает ложь от бед.
Вы спрашивали: «Больно?»
И я лгала вам: «Нет!»
Я в этой лживой луже
увязла навсегда.
Вы спрашивали: «Сдюжишь?»
И я лгала вам: «Да!»
Моя земная жизнь
отчаянно проста:
она из чистой лжи.
Я лгу. Везде. Всегда:
в ночи, и поутру,
и в снегопад, и в дождь...
И если я умру,
не верьте — это ложь.

Работала Татьяна Долгополова и журналистом, и экскурсоводом, и на телевидении, и в библиотеках. Об этих периодах её жизни можно прочитать в удивительных её прозаических произведениях, в которых жизненные наблюдения «рифмуются» с неподдельным тонким юмором и иронией автора, портреты красноярцев, жителей и гостей Овсянки вписаны в узнаваемые пейзажи и интерьеры Сибири.

«Библиотека — неиссякаемый источник для писательства. К творчеству подталкивают общение с людьми, которые всегда новы, складывающиеся ситуации, которые тоже всегда новы, а человек в определённой ситуации — это уже история. И истории эти просят: „Запиши нас!“ — рассказывает она в интервью газете «Городские новости. — ...У меня появился и постоянно пополняется цикл миниатюр „Библиобудни“, его я выкладываю в соцсетях и вижу, что он пользуется вниманием читателей. Часть этого цикла была опубликована на страницах журнала „День и ночь“. Многие люди просят меня, чтобы я издала „Библиобудни“ отдельной книжкой. Можно, но мне, честно говоря, лень этим заморачиваться. Я большой лентяй. А истории продолжаются, „Библиобудни“ пополняются, и конца им не видно.

Между библиотекой и знаком бесконечности можно смело ставить знак равенства».

Ирония и юмор — неотъемлемая часть мироощущения Долгополовой.

Уже я скоро стану старой бабкой.
Любимый кот, гераньки на балконе…
А мне по-прежнему охота грабить банки!
И уходить дворами от погони.

Чтоб каждый день был как электрошокер.
И чтобы ночь смотрела пистолетом.
Как мне охота проиграться в покер —
чтоб в пух и прах! И не жалеть об этом.

Вот так пожить, забыв про все законы,
позволь ещё, судьба, хотя бы разик.
А мне судьба: «Гераньки на балконе!
Любимый кот! И ножки — в тазик, в тазик…»

В лирических героинь и героев её стихов невозможно не влюбиться. Часто прочитаешь — улыбнёшься невольно. А потом — задумаешься…

Вот — несколько строк о любви.

Любовь — это не когда тебе приносят
в дом роз пять корзин,
и ты нюхаешь.
Любовь — это когда тебе полдня говорят
про девяносто третий бензин,
а ты слушаешь…

А вот — и о любви, и о праздниках, и о радостях, и о счастье…

Один цветок
в уже отвыкшей вазе,
и всё.
И — праздник.
Суровый Цельсий
подобрел на градус,
и всё.
И — радость.
Пройти квартал
и в двери постучаться,
и всё.
И — счастье.

И часто есть строки серьёзные и не слишком лёгкие, вдруг лишённые спасительной иронии, заслоняющей и героев, и автора от серьёзной и не слишком лёгкой жизни.

Строки, очень просто, казалось бы, сделанные, выписанные. Начинаются паузой, ожиданием — как будто перед дальней дорогой. Но вот смахнула героиня с лица свои морщинки. Сандалии. Летучие, с крыльями, как у античного бога Меркурия, как у сказочных героев. И ещё несколько секунд, последние две затяжки перед тем, как: «Ну всё, мне пора. Вперёд». И — прибой. И как в предыдущей строфе брошенная впроброс, будто случайно, реплика про сандалий, «который жмёт», — так же возникает вдруг абсолютно естественно ещё одна, придающая окончательную убедительность драме бытовая фраза, заботливо брошенная, видимо, возлюбленному, тому, кто остаётся, с кем расстаётся героиня: «Окошко за мной закрой. / И погаси окурок».

Сейчас. Докурю и встану.
Морщинки смахну с лица.
Надену свои сандалии,
Пришив к ним по два крыла.

Сейчас. Застегну лишь пряжки.
Вот левый немного жмёт.
Сейчас, ещё две затяжки…
Ну всё, мне пора. Вперёд.

А там, впереди, — прибой.
Там я остужу рассудок.
Окошко за мной закрой.
И погаси окурок.

Как вдруг обретает полновесную трагическую интонацию монолог лирической героини, бегущей, чтобы «От равнодушных глаз, / От мимолётных ласк, / От дум паутины / Освободиться», чтобы «Стать — тенью, одной из всех, многих — / похожих…» (Если бы, как сказано было в другом стихотворении, просто «Постылых крыл не замечать, / расчёсывать густые кудри…») И как «ступенчата», будто ракета, взлетевшая с Земли в далёкий космос, мечта отмеченной печатью поэзии женщины («кадр» всё укрупняется и укрупняется: от фиолетовой мглы — до дворика запущенного, от старых качелей в акации — к простой меловой черте, белой, на тротуаре… Классики… Классика…).

Вот так бы — с вечерним проспектом слиться.
Стать — сумерками, усталостью на ресницах
прохожих.
Стать — тенью, одной из всех, многих —
похожих.
Влиться
В рекламы, вывески, витрины.
От равнодушных глаз,
От мимолётных ласк,
От дум паутины
Освободиться.
От междометий притворных,
Вопросов — ненужных,
ответов —
неполных,
пустых секретов,
откровений.

Мглой фиолетовой вечерней
Стать.
Иль — двориком запущенным,
Качелями старыми в акации цветущей,
Чертой меловой
На тротуаре — белой
линией,
И — в никуда с первым беспутным
ливнем!

Эта вечная непохожесть, эта вечная бесприютность, эта вечная обречённость «идти туда, куда не звали»…

…Я мимо всех дверей распахнутых
Гляжу в зашторенные окна.
Мне в скрипке вместо струн натянуты
Свеченья лунного воло́кна.
Я чувствую желанье странное,
Больное, сродное печали:
Быть там, где буду нежеланною,
Идти туда, куда не звали.

И акварельная, нежная, тонкая, осенняя, октябрьская графика обретает вдруг облик потерянной судьбы, потерянной любви.

Что ж тут поделаешь? Октябрь…

«Как много яблок в эту осень… / Как много в воздухе печали…»

Ушли последние автобусы.
Куда бы?
Уже завяли гладиолусы —
Октябрь.
Без парусов стоит тоскующий
Корабль.
И первый лёд трещит на лужицах —
Октябрь.
Забытой быть, а не заброшенной
Хотя бы.
Уже давно все травы скошены —
Октябрь.
А у меня совсем не ладится
С судьбою,
И я одна, а мне всё кажется —
С тобою.

Истоки трагизма — наверное, они не в житейских обстоятельствах, которые вчера или сегодня опять не сложились, они — не в расставании, которое, если вдуматься, в любви и в жизни всегда неизбежно. Они — «рядом с раной», той, которая вечно приходит к любому поэту, если он — настоящий. Рядом с Чёрной речкой, которая однажды возникает в любой поэтической судьбе. Рядом с ещё одним пейзажем, который чернее чёрного, ибо — «ушли все белила / на посмертную маску»… И эта белейшая «посмертная маска» смотрит из глубин стихотворения Татьяны Долгополовой на нас бессмертными, закрытыми пушкинскими глазами…

Чёрный с чёрным не сходен,
как ни взмахивай кистью.
Даже уголь не чёрен
рядом с чёрною мыслью.

Все слова — между прочим.
Повод явно надуман.
Что там — чёрные очи,
если — чёрное дуло.

Может, парою были,
может, не были парой.
Мелочь — чёрные дыры
рядом с чёрною раной.

И в последнейшей хвори
вспомнишь локон колечком…
Лужа — Чёрное море
рядом с Чёрною речкой.

— Так не пишут картину:
только чёрные краски…
Но ушли все белила
на посмертную маску.

<…>

Эссе двадцать первое

Вместо послесловия

Вот и завершилось это наше путешествие по страницам сибирской поэзии разных лет и разных времён.

Очень многое сказать просто «не успелось». Что-то наверняка сказано оказалось впробрюс, на бегу, полуразборчиво. И конечно, всё написанное за эти полтора года, пока работали мы с коллегами и единомышленниками над грантовым проектом «(Не)забытые голоса Сибири», — изначально достаточно субъективный взгляд на стихи сибирских поэтов нескольких поколений, который на истину в последней инстанции претендовать ни в коем случае не может.

Да и могут ли стихи, независимо от их авторства, от века и места написания, читаться равнодушно и бесстрастно, могут ли они быть нами «присвоены» (как теоретики литературы говорят о постигнутых читателями произведениях), могут ли стихи стать частью нашей духовной жизни, если мы не откроем поэтам в ответ наши собственные души, если не призовём на помощь, постигая их поэтическое слово, всё пережитое нами самими, все наши собственные радости, скорби, обретения, потери, надежды?..

Избранный для этой книги жанр, эссе, дал возможность предложить читателю свободное, не зависящее от строгих жанровых характеристик,

сугубо личностное размышление о судьбах поэзии и поэтов на берегах Енисея, о некоторых особенностях их поэтики и стилистики, о мотивах, образах, о лирических героях их стихов.

Не пытаясь примерить на себя роль историка или литературоведа, мы решили поделиться в этих эссе размышлениями о прочитанном нами, поделиться радостью открытия имён, судеб, строк как тех, что были нам хорошо знакомы до работы над проектом, так и тех, которые (увы, но это так!) были вовсе не известны. Мы не пытались представить энциклопедические, подробные биографические очерки об авторах прочитанных нами вместе с читателем этой книги стихов, упоминая только те обстоятельства, особенности и превратности жизни наших героев, которые представлялись нам значимыми для понимания судьбы их произведений, их места в поэтическом мире Приенисейской Сибири…

И вот эту-то читательскую работу над узнаванием и вдумчивым прочтением стихов, в которые их авторы, наши земляки, вложили свои чувства и мысли, весь талант и душу свою, всю любовь к своей земле — эту-то работу нам с вами, дорогие читатели, предстоит продолжить, уже по отдельности. Открывая не раскрытые или даже не упомянутые в этом сборнике имена, циклы, стихотворения…

Хочется выразить признательность читателям, нашедшим время прочитать эти эссе, а также и всем издателям, критикам, литературоведам, архивистам, историкам, редакторам, труды которых (антологии и сборники, стихотворные подборки, монографии, статьи, крохотные даже заметки, электронные публикации…) оказались своего рода путеводителями (и путеводителями интереснейшими!) в ходе осуществлённого совместно с читателями этой книги путешествия в мир поэзии Приенисейской Сибири… Какие-то из подобных бесценных материалов, рассыпанных порою по подшивкам старых журналов и ведомственным сборникам, мы успели в эссе упомянуть, а какие-то — предстоит читателям открыть самостоятельно…

И возможно, что и автору этих эссе, и кому-то из его читателей предстоит ещё и дальнейшая основательная работа в архивах и музеях Сибири, для того чтобы открыть что-то никем ещё не опубликованное или прочно забытое, заполнить белые пятна в биографиях, ответить на вопросы, которые у тебя, когда ты влюбляешься в новое для тебя поэтическое имя, неизбежно во множестве возникают…

Храни вас Бог, дорогие читатели! Прекрасных вам книг, дивных открытий и новых стихов, конечно же…

Посвящение

Завтра к тебе постучится зима.
Хрупким растеньем последний листочек
Пальцев неловких ляжет в размах
Тенью раскосых робких отточий.

Вздрогнешь улыбкой, глаз отведя,
Жадных объятий зеркал избегая.
В модульной сетке — в шрамах дождя —
Ласточка сядет с левого края.

С нею вместятся в улыбки пробел
Сонмы столетий, сомнений не зная.
Лист акварельный, влажен и бел,
Памятью красок тебя осеняет.

Эльдар Ахадов

Доброе слово

В комнате

Трижды в жизни моё пребывание в лечебных учреждениях сопровождалось общением с людьми, чьи имена у двоих и фамилия у третьего прочно ассоциируются с художественной литературой.

Сочи. Море. И гор вершины.
Звёзды слева и звёзды справа.
Двое в комнате: я и Шиллер,
Врач с фамилией Парулава.

День сверкнёт драгоценным камнем,
Где душа — лишь его осколок.
Двое в комнате: я и Гамлет —
Лучший в мире поэт-онколог.

Вот и ты мне кивнул, что лучший,
На больничной присев кровати.
Двое в комнате: я и Пушкин,
И не в комнате, а в палате.

Грома ль облако, вьюги ль замять —
Не заснуть нам и не проснуться…
Двое в комнате: я и Память,
Ждём и верим, что все вернутся…

Вдвоём

Была обычная семья.
Но повзрослели наши дети.
И вот остались ты да я —
Вдвоём одни на целом свете.

У неприкаянной плиты
Ты ждёшь звонков их каждый вечер.
Здесь помним только я да ты
Всю милоту их детской речи.

Свод неба меркнет голубой,
И вновь из сотовых ни звука…
Теперь здесь только мы с тобой,
Чтоб не замёрзнуть друг без друга.

* * *

Над планетой, похожей на плод,
Только небо к душе прикоснётся:
Среди ночи тягучей, как мёд,
Сон трепещет горячий, как солнце…

Дремлет мир, населённый людьми,
Лишь волнуются сны, полыхая,
За мгновенье до первой любви,
До любви без конца и без края!

Смысл жизни

«И всё-таки в чём смысл жизни?» Однажды на встрече со школьниками ученица 7 класса обратилась ко мне с таким вопросом, требуя немедленного короткого и правильного ответа, заставив меня чувствовать себя полным ничтожеством, не знающим ответа на такой элементарный вопрос.

Никакого смысла в жизни нет.
В этом весь большой её секрет.
Не имеет никакого смысла:
Петь ли «ом», рассчитывать ли числа,
Книги ль жечь, сдавать ли города,
Чтобы возвращаться в никуда,
Давши слово, лгать и клясться снова, —
Можно всё, раз смысла никакого.
Жизнь проста, как сорная трава:
Можно всем качать свои права,
Не качать, конечно, можно тоже.
Нет же смысла, нет его!.. И всё же
Я её запомню, как смогу,
Стоя здесь, на нашем берегу,
И туда с опаскою взирая,
Где ни нас, ни берега, ни края…

Мой ангел

Мой ангел, я тебя не стою —
Ни ночью, ни при свете дня.
Всё, чем кичился я, — пустое,
Но ты — не покидай меня!

Из чувств сильнее всех шестое,
Как джига ливня и огня:
Мой ангел, я тебя не стою,
Но ты не покидай меня!

Жизнь, как и смерть, встречаю стоя,
Не возносясь и не кляня…
Мой ангел, я тебя не стою,
Но ты не покидай меня!

Доброе Слово

Мир начинается с Доброго Слова.
Кажется вроде: что в этом такого?
Доброе Слово. Всего лишь. С утра —
Там, где обида гуляла вчера,
Там, где на свата наехала сватья,
Там, где родные поссорились братья,
Там, где — немыслимо даже сказать —
Кто-то посмел замахнуться на мать!..
Стоп!
Подождите…
Послушайте снова:
Мир начинается с Доброго Слова!
С доброго взгляда. С улыбки простой.
С утра земного. С молитвы святой.
Мир вам, родные, друзья и соседи!
Мир вам, орлы, караси и медведи!
Мир вам, леса, и луга, и поля!
Мир тебе, наша и чья-то земля!..
Если сегодня у вас день рожденья —
Пусть будет много любви и везенья,
Всем, кто родился однажды на свет,
Счастья желаю на тысячу лет,
Мало? Добавим тепло и сердечно:
Пусть этот день продолжается вечно,
Пусть, словно воздух, огонь и вода,
Мир не исчезнет уже никогда!
Счастливы будьте, бодры и здоровы…
Всё начинается с Доброго Слова.

● ● ●

О том, что любят, — не кричат,
Не пишут кровью или в чат,
С безумным видом всем подряд
Взахлёб о чувствах не вещают…
Но если волны бьют внахлёст,
А в небе гаснет бездна звёзд,
Любовь, поднявшись в полный рост,
Собою близких прикрывает.

Письмо любви

Девушка,
вот Вы пишете,
что полюбили меня с первого взгляда.
А я Вам верю.
С чего бы Вам меня не полюбить,
а мне Вам не поверить?
Чем я хуже других,
которых уже кто-то любит?
Ничем.
Тем более что любовь,
как говорится,
зла.
Хотя внутренне я с этим не согласен.
Ибо на самом деле любовь добра невероятно,
это Вам каждое любящее сердце скажет!
А у Вас ведь любящее?
Да?..
Нет?..
Ну что Вы молчите?!
Ах да,
глупая моя голова!
Вас же нет здесь!
Это же я сам с собой разговариваю,
пока за окном идёт серый осенний дождик,
письмо Ваше вчерашнее вспоминаю,
которое какой-то молодой человек выставил
в интернете,
похвастал всем на посмешище:
вот, мол, какой я перец!
Я увидел нечаянно, прочитал и
заснул
случайно
по-стариковски.
Во сне чего только не пригрезится!
А Вы плачете теперь,
наверное.
Вам стыдно,
что все подряд Ваше письмо читают.
Даже никчёмные старики.
Уж простите их, что читают.
Радостно, когда кто-то кого-то любит.
Вот и дождик закончился потихоньку.
Солнышко сквозь низкие тучки пробилось
золотым лучом.
Так и любовь Ваша —
настоящее золото.
А всё прочее —
дождик:
побудет да сгинет.
А солнышко с нами останется…

Свет

У света нет ни возраста, ни тени,
Нет ни «вчера», ни «завтра». Всё — «сейчас».
Пади пред ним, священным, на колени,
Гляди в него, не отрывая глаз!

Гляди на звёзды, на луну, на солнце
И ясный взор минувшим не печаль,
Покуда он на скорости несётся,
Бессмертием пропитывая даль…

Покуда просыпается планета
(А где-то засыпает на ходу),
Нет ничего вокруг, помимо света,
В который я когда-нибудь войду!

Поющая пыль

Посвящается Ayo Ayoola-Amale

Между нами пролегла тень,
вальяжная, если не сказать хуже,
догадываясь о её намерениях.
Она повернула голову направо, налево и
вспять — в поисках нас:
нет, не нашла.
Мы поющая звёздная пыль над ней.
С той стороны тени — мои и твои мысли,
с этой тоже.
Они плывут, кувыркаясь, переворачиваясь,
как снежинки в зыбком пространстве
вибраций,
вспыхивающих мириадами галактик
каждую вечность длиной в один
исчезающе малый миг.
Нас нет. Или мы есть. Это не важно.
Тень не способна разделить наши мысли.

Потому что

Что ты ищешь впотьмах на вершине горы,
Там, где пахнут небесным земные миры?
Что ты бродишь, как дождь, по лесам и
полям?
Здравствуй! Хола! Ни хао! Хэлло! Ас-салям!..
Здравствуй! Знаешь, а нам ведь с тобой по
пути:
Мне тебя без тебя никогда не найти!

Вослед

Баку жемчужно-серебристый,
Омытый пеною морской,
Ошеломительно лучистый,
Один на свете ты такой…

Ветрами вечно голосистый,
Листвой волнующий рассвет,
Плеснул водою мне вослед
Баку жемчужно-серебристый.

Ответный голос

Ни в менторы, ни в судьи не гожусь.
Их без меня хватало и хватает.
Вот только фраза «помню и горжусь»
Ответный голос мне напоминает.

Для многих он ничем не знаменит,
Но мной услышан и до боли понят:
«Кто помнит, тот стыдится и скорбит.
Гордится тот, кто ничего не помнит».

Лес

Не было ничего.
Вдруг что-то вздрогнуло, зашевелилось,
в глубинах сознания нечаянно вспыхнул
и тут же погас, но затем возник снова
еле видимый, нежный, нерешительный свет.
Он медленно ощупывал темноту,
пронизывая её отовсюду и
растворяясь в пространстве
изумлённого изумрудного цвета.
Цвет заколыхался,
стал пушистым и прозрачным,
потёк над землёй в разные стороны
и хлынул дождём.
Земля набухла, размякла и внезапно застыла,
пронзённая изнутри мириадами
тонких древесных копий и стрел.
И возник Лес.
И запели птицы.
И началась жизнь.

Мир соткан из любви…

Мир соткан из любви,
Её тончайших нитей,
Из созданных людьми
Невидимых событий.

Их нет в календарях,
Ни в памятках, ни в святцах.
В них шибко не горят
Всем встречным признаваться.

Что, если их и нет?
Но это не ошибка:
Вот встретила букет
Ответная улыбка

Мгновенье, оглянись!
Ты видишь лишь отчасти:
Там, на краях ресниц,
Блеснули капли счастья!

Андрей Лушников

Франческо Франча

* * *

Земля вздулась, как на опаре.
Убийственный ливень стеной.
И всяческой твари по паре
В ковчег поприманивал Ной.

Весь день всевозможные звери
Брели, ударяя в настил,
Но к ночи он запер все двери
И даже людей не впустил.

Жена шепчет спящему Ною:
— Стучат, ты не слышишь? Вставай.
Иль, хочешь, сама я открою?
— Нет, поздно уж. Не открывай.

* * *

Клубком во сне свернулась кошка.
К утру мороз наверняка.
Боюсь и выглянуть в окошко —
Настолько осень глубока.

Вокруг дороги обнищали,
Лишь, молодцами молодцы,
Подняв замёрзшие пищали,
Стоят деревья, как стрельцы.

Идёт, идёт зима в селенья,
Сама собой идёт пора
Мне подводить до удивленья
Стальные брови топора.

Не ждать напрасно месяцами,
И не жалеть, и не любить,
Не хороводить со стрельцами —
А буйны головы рубить.

Не ползать старой черепахой,
Не всюду крыльями махать,
Не слёзы проливать над плахой,
Не о потерянном вздыхать.

А заострять свой довод веский,
Рубить всю правду день за днём —
Ту, что оставил Достоевский
Мне в наказании моём.

* * *

В провинции, куда ни глянь, а пошлое
Уж на ногах, как только рассвело.
И непременно будущее — прошлое,
Настолько, что аж скулы все свело.

В уездный городок дорогой тряскою
Не каждый добирается рыдван.
Здесь крылья прячет Алексей под ряскою,
Чертей гоняет по углам Иван.

Здесь Грушенька, как блудня, расфуфырена
И Дмитрий пьёт, пока не замели.
Читает Смердяков Исака Сирина —
И к свету шею тянет из петли.

Голоса

— Умереть или жить — всё едино.
Нас к погибели гонят кнутом.
Если сдавлена страхом грудина,
Что же будет, приятель, потом?

— Тишина ожидает в итоге.
У виска пальцем ты не крути,
Мы с тобой на вечерней дороге
Станем всё же мудрее в пути.

— Нас послали с тобой на галеры,
И крадётся луна по пятам.
Всюду призраки, всюду химеры.
Что ты видишь, к примеру, вон там?

— Там — поля со звени-пой-травою
И простор со звездою внутри.
Ты вокруг не верти головою,
Ты с надеждой вперёд посмотри.

— Мы идём целый день по болотам.
И от ноши устала спина…
Там, гляди, что-то вспыхнуло! Что там?
— Тишина это, друг, тишина.

● ● ●

Чтобы помнил народ супостата,
Чтобы впредь не кончались святые,
Брат идёт на родимого брата,
Ангел жнёт колоски налитые.

Чтоб на небе синела наколка,
Чтоб истории кровь не густела —
Всё везут из времён Святополка
На телеге Борисово тело.

Чтоб на братьев ломалась краюха,
Словно горло трапезному хлебу,
Верный повар от уха до уха
Режет горло смиренному Глебу.

Сколько примет святыней осколков
Мощевик из бедра кипариса?
Сколько будут везти Святополков
Тело Глеба и тело Бориса?

Франческо Франча

У сильных подачек не клянча,
Болоньи седой старожил
Франческо по прозвищу Франча
Искусству, как Богу, служил.

И видел его современник,
Как в свете вечерних огней
Входил он, как первосвященник,
В святилище славы своей.

И как, разбираясь в таланте,
От каждого был он далёк,
Как в гений великого Санти
Всмотрелся однажды — и слёг.

Франческо на смятой постели
Метался и плакал в бреду,
Он славы своей капители
Как будто бы видел в аду.

Шептал он: «О злая судьбина.
О славы разбитый алтарь.
Ты бог, Рафаэль из Урбино,
А я-то всего лишь кустарь.

Судьба, ты жестоко смеёшься,
Ты губишь мою госпожу.
И ты, Рафаэль, остаёшься,
А я в твою тень ухожу».

И мысли кипели, как лава, —
Что всех примирит Красота,
Что ей не нужна его слава,
И зависть его, и тщета.

● ● ●

Лк. 21:34—36

Летний город — словно из картона,
Словно растворился в мираже,
И раскрыты окна Овертона
В городе на каждом этаже.

Мужики в пивнушке по рюмашке,
Церковь им напротив — как бельмо,
И гуляют малышей мамашки,
Как своё последнее само.

Тополя стоят, как солдафоны,
Школьники сбежали под навес,
И у них крутые телефоны,
И у них взаимный интерес.

И на дачу два пенсионера,
Едучи в Эммаус, неспроста
Хвалят мощность кондиционера,
А не милосердного Христа.

И послушник у скита в предместье,
Взгляд подняв от выжженной земли,
Разглядит, как грозное предвестье,
Облачко прозрачное вдали.

И последний день из всех грядущих
И из всех, что были искони, —
Он, как сеть, найдёт на всех живущих,
И никто не спрячется в тени.

● ● ●

Памяти В. Н. Лушниковой (1928—1994)

Вот и весь мой короткий рассказ,
Как в жестокости поднаторелых
Горячо нелюбимые с глаз
Отправляются в дом престарелых.

Там бледны сквозь еловую мглу
В тёмных окнах печальные лица,
Прижимаются лица к стеклу,
Просят всех, кто снаружи, молиться.

И, дозорный, с высоким челом,
Ангел ждёт на последнем причале,
Он лицо закрывает крылом,
Чтоб не видеть вселенской печали.

Да растает печаль в облаках
Престарелых, скорбящих, недужных.
Помолитесь о всех стариках,
Никому, кроме Бога, не нужных.

Юрий Ромашков

Рисунок

* * *

Старый тополь в густом серебре.
От людей отдыхает природа.
Что же было со мной в декабре —
В завершении страшного года?

Может, вовсе он не был таким?
Только мир к поражению близок…
Но явилась сквозь жизненный дым
Кареокая девушка-призрак.

С нею было мне в новость смотреть,
Как сживается снег с тополями,
И система, что гонит на смерть,
Оставалась всегда за дверями.

И пока вся страна на войне,
Что никто никогда не объявит,
Я скрывался в мечтательном сне,
И никак меня сон не оставит…

Пусть опять бесполезный обман
Изневолил мне душу до скрипа…
И тоскует, врастая в туман,
Чернобокая стройная липа.

Отчего бы и мне не врасти
В этот мир колдовских вдохновений?
Ведь себя никогда не спасти
От свистящей стрелы впечатлений.

* * *

Там, где гнутые стебли полыни
Изрослись дочерна на снегу,
Я служу позабытой богине
И ревниво свой культ берегу.

Пусть в углу неприметного скита
Этот образ понятен лишь мне,
Пусть богиня всем миром забыта —
Мне легко её звать в тишине.

Я придумал ей имя и святость,
Поместил её образ в киот,
С той поры легкокрылая радость
В пламенеющем сердце живёт.

И чадит маслянистым угаром
Мой светильник из медных пластин,
Заходящее солнце пожаром
Утопает в тоске паутин,

И текут эти светлые капли,
Словно воск от оплывшей свечи…
Зачерневшая келья, как цапля,
Поднимается к небу в ночи.

И стоит эта гордая птица,
А вокруг только снег да полынь…
Я легко засыпаю. Мне снится
Тень одной из забытых богинь.

Рисунок

Глубокие лужи подёрнуты ряской,
И горбится в щели застрявший окурок.
На старых воротах с облупленной краской
Колышется ветром поблёкший рисунок.

Все краски потёрлись, и скрепки примяты,
Заплаканы щедро небесной водою.
Там с честью былинной фигурка солдата
Набросана смело детской рукою.

Он в форме знакомой зелёного крапа,
И флаг, обожжённый осколками, вьётся…
Подписано ниже: «Люблю тебя, папа».
Но папа с войны никогда не вернётся.

И память измажется бытом, как сажей,
И му́ка растратится в жизненных гротах…
Рисунок заменят на те, что расскажут
О новых героях на старых воротах.

Август

Ночью воздух сытнее и слаще,
Суть предметов иначе видна…
Звёзды в августе падают чаще,
И в рябинах дрожит тишина.

Чиркнет в небе, сгорая, пылинка,
И другая за ней пробежит…
Из тумана тугая косынка
На листве золочёной лежит.

Тень забора легла на дорогу,
Мир небесный нам шлёт метеор:
Приближаясь к земному чертогу,
Он теряет весёлый задор.

Он мелькнёт и растает в тумане,
Отразится на капле росы…
И молчу я, забывшись в обмане,
Провожая ночные часы.

Ведь столетия так существуют
Звездопады над старой землёй,
И столетия люди враждуют
И любовь подменяют войной.

Посвящение Астафьеву

Когда ружьё не будет верным другом
И в пыльный шкаф схоронится мундир,
Забудь войну: иди за вольным плугом,
Взрасти пшено и накорми весь мир.

Нельзя забыть о той душевной боли,
Что нёс в себе последний из солдат…
Так много лет с собой молчало поле,
И этих лет нельзя вернуть назад.

Но оглянись: дорога бойкой веной
Лежит в закат, петляя меж холмов,
И колоски бегучей рыжей пеной
Вот-вот падут под силами ветров…

Прекрасна жизнь в победе неизменной
Над властью зла, над знаменем чумы…
И каждый злак — отдельный мир вселенной,
В которой можем заблудиться мы…

Забудь войну — она была недугом,
Каким болел наш скоротечный век.
Забрось ружьё — иди за вольным плугом…
И будь свободен, русский человек.

Станционный домик

Рыжий куст рябины, бледный крест оконный,
Лист резной как будто нитками пришит…
Спрятанный от мира домик станционный
У поросшей лесом насыпи стоит.

В почерневших шпалах — факел краснотала,
На просевших рельсах — почивает мох…
Жизнь остановилась, мирно задремала,
И по лесу слышен этот сладкий вздох.

Войны и разлуки, гарь и пепелища
Здесь не знают власти, не тревожат сна.
Там горят деревни да растут кладбища,
Здесь же — добрый август, солнце, тишина…

Вот он, этот домик, — весь в тенях рябины,
Помнит он о прошлом, что гремело здесь
Говором чугунным паровой машины,
Только пар, как годы, быстро вышел весь.

Рельсы потускнели, в лес упёрлись разом,
И последний поезд смолк в цветной дали.
Лишь смола на брёвнах чуть приметна глазу —
Плавятся на солнце капли-хрустали…

А внутри, как прежде, тяжесть ожиданья:
Вот придёт с обхода грустный человек,
Стол к себе придвинет, глянет расписанье…
Ныне в этих цифрах — отболевший век.

И врастает время в битый подоконник,
Серебрятся нити цепких паутин…
Даст ли жизнь вернуться в этот тихий домик,
Что осыпан жаром молодых рябин?

Ведь мечты проходят, а надежды тают,
Всё бежит — стремится прочь и навсегда…
В никуда и эти рельсы убегают,
Как стремятся годы — также в никуда.

Татьяна Панова

А мы могли бы…

* * *

Время тикает неспешно по ночам,
Будто кто-то мне чего-то обещал,
Будто кто-то обещал с иных высот,
Что с деревьев позолота не спадёт.

Будто кто-то обещал ещё тепла,
Чтобы впрок того тепла я запасла.
От вечерней и до утренней зари
Время тикает снаружи и внутри.

Время тикает дождями в полумглу
И стекает ручейками по стеклу,
Будто кто-то обещал, да не сдюжал,
Словно слёзы, те дожди не удержав.

Время тикает, наверное, не зря.
Потому-то и неискренне нельзя
Верить этому прекрасному вранью,
Добровольно попадаясь в западню.

* * *

Всё устало, всё устало —
Этот день и этот свет.
Глубь зеркального овала
Тяжело вздохнула вслед.

Город спит. Дома и люди
Беззащитны в своих снах,
Громко падают секунды,
И бессильна тишина.

Всё устало, все устали —
Звуки, музыка, слова.
Отпечалились печали,
Откуражилась молва.

И листвою, и листвою
Заметает в жёлтый цвет,
Словно пылью золотою,
Ту страну, которой нет.

* * *

Угадать невозможно, увы,
В этой музыке из поднебесья —
Что за скрипка затихла в оркестре,
Что за голос умолк в хоровых.

Поседела земля к октябрю,
Посветлели туманные дали.
Посмотри — на цветах запоздалых
Сизый иней блестит поутру.

Город этот усыпан листвой.
Скоро выпадет снег, скоро, скоро,
Прикрывая немые укоры
Белоснежным своим торжеством,

Прикрывая усталость огней
И уже отменённые встречи,
Даже вздохи, от коих не легче,
В занавески на каждом окне.

Посмотри на трамвай. Так и мы
Средь других в городу миллионном
Словно сядем в пустые вагоны
И поедем до самой зимы.

* * *

Где лету нашему в угоду
Цвести спешили поскорей —
Мы там могли бы по-другому,
А мы могли б ещё теплей.

Теплей взглянуть, теплей прижаться,
В закаты пряча голоса,
В одно сплетая наши пальцы,
Надежды, думы и сердца

С дождливой сумеречью ранней
И снов обрывками подчас
Изношенных воспоминаний,
Живущих в нас, живущих в нас.

А мы могли бы всё иначе.
Кто знает — как? А всё ж могли б.
Эх, кабы были б мы незрячи
Да каб не в небе журавли.

В отместку нежный август ныне
Волос коснулся сединой
За муки прожитой гордыни,
Что приходила на постой.

Лев Авилкин

Военные истории

The old sparrow[1]

Тегеранская конференция глав правительств стран антигитлеровской коалиции проходила в советском посольстве в столице Ирана с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Советскую делегацию, в которую входили Молотов, Ворошилов и другие представители дипломатического корпуса, возглавлял Маршал Советского Союза Иосиф Сталин. Американскую делегацию возглавлял президент США Франклин Делано Рузвельт, сопровождаемый своим неизменным специальным помощником и советником Гарри Гопкинсом. Делегацию Великобритании возглавлял премьер-министр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль.

Конференция проходила в обстановке выдающихся побед советских Вооружённых сил, приведших к завершению коренного перелома в ходе не только Отечественной войны Советского Союза, но и всей Второй мировой войны. Гитлеровцы уже были изгнаны из Донбасса и Левобережной Украины, 6 ноября 1943 года был освобождён Киев. К концу 1943 года было освобождено более половины захваченной врагом территории СССР. Итог войны был уже предрешён. Однако фашистская Германия ещё оставалась сильным противником. Она по-прежнему располагала ресурсами почти всей Европы. В этой связи детальному рассмотрению на конференции подвергался вопрос о создании против Германии второго фронта в Европе, открытие которого должно было начаться с операции по высадке англо-американских войск на северо-западе Франции, получившей кодовое название «Оверлорд» — слово, по-английски означающее «сюзерен», то есть верховный господин своих вассалов. Именно в Северо-Западной Франции удар по врагу дал бы наилучший результат, ибо, по мнению Сталина, этот участок является наиболее слабым местом Германии.

Стремясь завершить войну на равных с Советским Союзом условиях, необходимость открытия второго фронта хорошо понимал президент США Рузвельт, который накануне Тегеранской конференции говорил своему сыну, что «если дела в России пойдут дальше так же, как и сейчас, то, возможно, будущей весной второй фронт и не понадобится».

Понимал это и премьер-министр Великобритании Черчилль. Ход войны, при котором честь почти всех побед принадлежит русским, тревожил его. Если Англия, считал он, тоже не выйдет из войны на равных условиях с СССР, её положение на международной арене резко ухудшится и Россия станет дипломатическим хозяином мира.

Тем не менее вопрос об открытии второго фронта продвигался очень медленно. Советская делегация, стремясь быстрее завершить разгром фашистской Германии, настаивала на скорейшем открытии второго фронта. Черчилль же всячески оттягивал его открытие, возлагая тем самым всю тяжесть борьбы на Советский Союз. Антисоветская направленность английской делегации становилась всё более явной по мере того, как приближалась перспектива освобождения от гитлеризма европейских стран советскими войсками. Всем было совершенно ясно, что всякий раз, когда премьер-министр настаивает на вторжении не во Франции, а через Балканы, он хочет, прежде всего, врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не допустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в Венгрию. Именно поэтому Черчилль так отчаянно защищал свои итало-балканские планы. Для ведения дискуссии он избрал испытанный им метод. Он не высказывался прямо против открытия второго фронта во Франции, а, наоборот, говорил об этом как о деле давно решённом, но тем не менее заявлял, что не может пожертвовать операциями в Средиземном море и поэтому не может гарантировать, что операция «Оверлорд» будет осуществлена в установленный срок, который он считает большой ошибкой.

Таким образом, открытие против нацистской Германии действенного второго фронта постоянно оказывалось под угрозой срыва, благодаря чему Германия могла свободно осуществлять перегруппировку сил и маневрировать резервами.

Хотя премьер-министру и не удалось в Тегеране добиться своих целей и Сталин настоял на открытии второго фронта во Франции, что соответствовало интересам всей антигитлеровской коалиции, всё же борьба за его открытие велась очень напряжённо,

1 Старый воробей (*англ.*).

тем более что Рузвельт, хотя и поддерживал Сталина, всё же допускал некоторые колебания.

Вот в такой-то обстановке острой дипломатической борьбы на Тегеранской конференции и произошёл следующий инцидент.

Заседания участников конференции происходили за круглым столом. Рядом со Сталиным сидел переводчик. Переводчики сидели и рядом с Рузвельтом и Черчиллем. Но у них язык один — английский. Сталин же английским языком не владел. Во время беседы Сталин всё время заученным движением руки рисовал в своём блокноте волчьи головы. Черчилль постоянно курил, и перед ним, кроме блокнота, лежала коробка дорогих сигар.

В начале одного заседания президент Рузвельт, ни на секунду не прекращая разговор, что-то написал в своём блокноте, вырвал листок и передал его Черчиллю. Черчилль прочитал, сложил листок и положил его в свой нагрудный карман, никак не отреагировав на записку.

Это видели все участники заседания. Видел это и Сталин, но он и глазом не моргнул, продолжая спокойно вести беседу и рисовать волчьи головы.

Через одну-две минуты Черчилль что-то написал в своём блокноте, оторвал листок и передал его Рузвельту. Рузвельт прочитал, улыбнулся и, разорвав листок пополам, выбросил его в корзину.

И это тоже все видели, и никто никак не отреагировал.

После заседания, когда все вышли из зала, записка Черчилля по указанию Сталина из корзины была извлечена, склеена и прочитана. На ней было написано: «The old sparrow will not fly out of the nest».

Записку тут же перевели. По-русски это значит: «Старый воробей из гнезда не вылетит».

— Какой воробей? — вслух задумался Сталин. — Кого он считает воробьём? Меня? Или себя? А что за гнездо? Расшифровать!!! Немедленно!!!

Но как ни старались, записка расшифровке не поддавалась. По дипломатической почте были привлечены лучшие шифровальщики и дешифровальщики страны, но… безрезультатно.

— Проклятье! — свирепствовал Сталин.

Но всё было напрасно. Записку не расшифровали. Так и осталась она нерасшифрованной. Нерасшифрованной она и получила свой инвентарный номер, и легла на полку архивного хранилища КГБ.

• • •

Прошли годы. В самом конце войны умер Рузвельт. В марте 1953 года умер Сталин. Во главе Советского государства стал Никита Сергеевич Хрущёв.

В 1956 году Хрущёв совершил визит в Великобританию на крейсере Балтийского флота «Орджоникидзе». Во время этого визита он встречался со многими видными деятелями этой страны, в том числе и с Черчиллем.

В одной из приватных бесед с Черчиллем Хрущёв обратился к нему со словами:

— Господин премьер-министр, — так назвал Хрущёв Черчилля, два года назад ушедшего в отставку с этого поста, — разрешите задать вам один вопрос, касающийся Второй мировой войны, а именно Тегеранской конференции, непосредственным участником которой вы были. Давно повержен гитлеровский фашизм, давно умерли Рузвельт и Сталин. Стоит ли спустя много лет хранить тайну, до сих пор будоражившую наше сознание? Что за переписку вы с Рузвельтом вели во время одного из заседаний на этой конференции?

И Хрущёв напомнил Черчиллю об упомянутом выше инциденте.

Черчилль задумался, напрягая память, и спустя некоторое время ответил:

— Вы что-то путаете, господин Хрущёв. Этого не было.

Хрущёв стал настаивать, на что Черчилль сказал:

— В конце концов, господин Хрущёв, мы воспитанные люди, и поэтому вести какую-то переписку на глазах у Сталина мы не могли. Я не отрицаю, что у нас могли быть какие-то тайны от Сталина, но мы с Рузвельтом встречались не только за столом переговоров, но и в перерывах между заседаниями, и могли обговорить свои конфиденциальные вопросы где-то в кулуарах, что мы, несомненно, и делали. А так, чтобы на глазах у дядюшки Джо?![2] Нет, этого не было и быть не могло. Вы, господин Хрущёв, что-то путаете.

Хрущёв продолжал настаивать, на что Черчилль сказал:

— Утверждаю, что этого не было. Вы, коммунисты-большевики, вечно что-нибудь выдумываете и сваливаете на других.

— А что мы выдумываем? Вы можете привести пример? — сказал Хрущёв.

— Могу, — ответил Черчилль. — Вот вы во всех своих учебниках истории пишете, что Керенский в тысяча девятьсот семнадцатом году бежал из Зимнего дворца в женском платье. А мне Александр Фёдорович при встрече рассказывал, что это чистой воды выдумка большевиков, и когда он выходил из дворца, то ему ваши солдаты отдавали честь. А вы придумали какое-то женское платье. Вот и здесь, за совещательным столом в Тегеране мы с Рузвельтом не секретничали от Сталина. Не секретничали!

Чтобы решить спор, Хрущёв даёт команду в Москву найти и самолётом доставить злополучную записку в Лондон, что и было незамедлительно сделано.

[2] Прозвище Сталина в странах антигитлеровской коалиции в годы войны.

При очередной встрече с Черчиллем Хрущёв гордо предъявляет ему записку со словами:

— Ну?! Что вы на это скажете, господин премьер-министр?!

Черчилль взял в руки записку и задумчиво произнёс:

— Да-а! Чудеса!.. Моя рука. Узнаю свой почерк. Чтобы это могло значить?!

Хрущёв в ожидании ответа торжествующе смотрел на Черчилля.

Вдруг Черчилль, хлопнув себя по лбу, громко воскликнул, да так громко, что переводчик вздрогнул:

— Вспомнил, господин Хрущёв! Вспомнил! Рузвельт, как настоящий воспитанный джентльмен, чтобы не привлекать внимание посторонних, написал мне, чтобы я застегнул расстёгнутую на моих брюках ширинку. Вот я ему этой запиской и ответил, — и, улыбаясь, с иронией добавил: — А вы эту записку сохраните. Для истории!

Клятва Гиппократа

Война всё спишет

Эту реальную историю мне рассказал один фронтовик, которого сейчас уже нет в живых, а в то тревожное военное лихолетье ему всего-то было девятнадцать лет. Уже после войны он окончил факультет журналистики Московского университета и до самой пенсии работал в газете. Когда он рассказал мне эту историю, я порекомендовал ему опубликовать её в прессе, на что он ответил, что в условиях социалистической действительности никакая цензура её не пропустит, а если изменить конец и сделать его благоприятным, то теряется весь смысл истории.

Так и осталась она неведомой миру. Я же расскажу её с его слов, а поэтому буду рассказывать от первого лица.

Война всё дальше и дальше катилась туда, откуда пришла, на запад. Вот уже несколько часов я слушал, как канонада боя удаляется от меня в западную часть горизонта. Совсем недавно бой был здесь, в поле, на котором я сейчас стою в ожидании тягача. Тягач должен оттащить два наших танка, две наших «тридцатьчетвёрки» на ремонтную базу. Эти два танка получили в бою незначительные повреждения и после ремонта могут ещё войти в строй боевых машин. Мне, рядовому бойцу, заряжающему одного из них, было приказано остаться и охранять их. Изрытое траншеями и окопами поле, на котором я нёс свою «караульную службу», было совершенно пустынным. Только невесть откуда взявшиеся грачи, которым до войны не было никакого дела, беспечно щебетали в весеннем воздухе. Ранняя весна 1945 года! Близился победный конец войны. Фронт всё дальше и дальше катился на запад. Там, в той стороне горизонта, гремел бой. Конвульсирующий враг ещё не сдавался, но уже ничто не могло остановить победную поступь наших войск. Отсюда и настроение у меня, как и у всех наших бойцов, было хорошее, даже приподнятое. Думалось о чём-то прекрасном, о будущей жизни, об учёбе после войны…

Закинув за спину свой ППШ[3], я ходил вокруг подбитых машин, и в голове у меня звучала торжественная музыка Богатырской симфонии Бородина.

Прошло несколько часов, а тягачей всё не было. Да и когда они придут? Но… я выполнял приказ и охранял подбитые танки. А от кого охранял? В поле не было ни души, кроме щебечущих грачей. Мне стало зябко.

Вдруг я услышал скрип телеги и понукающий голос нашего «кашевара», как мы его называли, Ивана Лубкина, развозившего на своей подводе полковое имущество. В этот раз он вёз несколько термосов каши на передовую, чтобы покормить солдат. Подъехав ко мне, он остановил свою клячу, весело приветствовал меня и зачерпнул мне в котелок большую порцию наваристой горячей каши. Ах! С каким аппетитом я уплетал эту кашу! Иван, свернув самокрутку, закурил и присел рядом.

— А что, не холодно тебе? Не озяб здесь? — спросил он меня.

— Конечно, холодно, — ответил я. — Не лето ведь ещё. Видишь, снег кое-где лежит.

— Так чего ты здесь маешься? — говорит Иван. — Кому нужны твои подбитые танки? Кто их украдёт? Вон сколько окопов! Залезай в любой и спи там. Тягачи придут — услышишь.

Сказав это, Иван повёл свою клячу дальше, на передовую.

«А что? — подумал я. — Иван прав. Не посидеть ли в окопе? Хоть от ветра укроюсь. Да и наблюдать из окопа за подбитыми танками можно нисколько не хуже, чем на открытом месте».

И, проводив Ивана, я решительно направился к ближайшему крытому брёвнами и ветками окопу. После котелка вкусной густой каши я был сыт и намеревался отдохнуть.

Спустившись в окоп, я тут же в ужасе отпрянул назад. Прямо на меня широко открытыми глазами смотрел живой немецкий солдат. Он лежал на полу окопа с искажённым от страха и боли лицом. Мне потребовалась секунда, чтобы совладать с собой и вскинуть для выстрела автомат. Ещё бы миг — и я выпустил бы по нему очередь из своего ППШ, но немец опередил меня криком по-русски:

— Не стреляй! Не стреляй! — и вскинул вверх руки, как это может сделать лежащий на земле человек.

Что-то остановило меня от выстрела, но я продолжал держать немца под прицелом. Немец хоть и с заметным акцентом, но довольно чисто заговорил по-русски:

[3] Пистолет-пулемёт Шпагина.

— Не надо стрелять! Я сдаюсь! Вот моё оружие! — и он указал на свой автомат, лежащий неподалёку. — Это всё. Больше у меня оружия нет.

Я взял его автомат, не выпуская из-под прицела своего, и строго спросил:

— Кто такой? Почему здесь прячешься?

— Я ранен, — ответил немец. — У меня перебиты обе ноги. Не могу даже ползти. Я вот уже сутки лежу здесь и несколько часов наблюдаю за тобой. Если бы я хотел тебя убить, давно бы сделал это без труда. Поверь мне. Я не хотел тебя убивать. И не только тебя. Я никого не хотел убивать.

В голосе немца чувствовалась какая-то интеллигентность и искренность, и я решил при первой возможности сдать его как пленного, тем более что с перебитыми ногами и без оружия он мне был не опасен. О своём решении я сказал ему. Он обрадовался и сказал, что именно этого он и хочет.

Мало-помалу я успокоился, присел поодаль от немца, но свой автомат всё же держал наизготовку: всё-таки передо мной был враг.

Прошло какое-то время. Я периодически выходил из окопа, осматривал поле и возвращался назад. Немец всё это время лежал на земле.

Наконец он попросил меня помочь ему сесть, прислонившись спиной к стенке окопа. Самостоятельно он этого сделать не мог из-за изуродованных ног. Я помог ему и сел рядом. Мы стали разговаривать. Немец говорил на очень правильном русском языке. С виду ему можно было дать лет пятьдесят — пятьдесят пять. Из разговора с ним я узнал, что он был не последней скрипкой Гамбургского оперного театра, жил в Гамбурге, и у него там осталась семья. Кроме жены, у него два сына, которые, по его словам, были ненамного младше меня. А на фронт он попал по тотальной мобилизации. Германия катилась к неминуемому краху, и Гитлер гнал на фронт всех, не считаясь ни с возрастом, ни с профессией. Сам он в армии никогда не служил, воевать не умеет и не хочет. А сейчас он очень обеспокоен за своих сыновей, которых уже тоже, вероятно, угнали на фронт. Самой заветной его мечтой было дождаться конца войны и увидеть своих детей.

Так мы сидели и разговаривали. Тяжело было смотреть, как его мучила боль в ногах, но помочь ему я был не в состоянии. Оставалось сидеть и ждать. В разговоре я спросил, откуда он так хорошо знает русский язык. Он ответил, что несколько раз был в Москве, в Ленинграде и в Киеве с концертами, что он вообще любил русскую культуру, а русских композиторов Глинку, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского и других ставит в один ряд с Бетховеном и Вагнером.

— Я всегда с наслаждением и слушал, и исполнял симфонические концерты этих великих композиторов, — сказал он. — А что касается русского языка, то я с таким же успехом могу разговаривать с тобой и на английском языке.

— Как же вы, такие интеллигентные и образованные люди, решились пойти на нас войной? — с детской наивностью, которую можно объяснить только моей молодостью, спросил я. — Столько горя нам принесли!

— Что ты, мальчик! Да разве я хотел с тобой воевать?! Да разве я хотел уничтожить тебя и твоих близких?! — с горечью ответил он. — Трагедия, случившаяся в Германии, — это беда не только одного вашего народа, это трагедия всего человечества и прежде всего самого немецкого народа. Я же тебе уже говорил, что двоих таких, как ты, я оставил в Гамбурге. Где они сейчас? Что с ними?

И он застонал не то от боли, не то от воспоминаний о своих сыновьях.

Прошло несколько томительных часов. Тягачи всё не приходили. Я выглянул из окопа и увидел возвращающегося с передовой Ивана Лубкина. На телеге лежали три наших раненых бойца, среди которых был командир моей танковой роты майор Звонарёв. Он лежал с раздробленной правой ногой и тяжело дышал. Именно он, майор Звонарёв, приказал мне остаться и охранять танки до прихода тягачей.

— Всё, сынок! Я, кажется, отвоевался! — сказал он мне, как только я подошёл к телеге. — Как бы хотелось встретить конец войны в Берлине, да, видно, не судьба!

Я стал ему говорить что-то ободряющее, но в душе мне самому было очень тяжело видеть своего командира в таком бедственном положении.

Я рассказал о своём пленном немце и посетовал, что не знаю, куда мне его сдать, на что Иван быстро среагировал:

— Давай его мне. Я ведь везу раненых в медчасть, а по дороге буду проезжать приёмный пункт пленных. Он сейчас как раз ближе к передовой, так что я обязательно мимо него проезжать буду. Там и сдам твоего немца.

Я даже обрадовался такому обороту дела.

— Идём, — говорю, — в окоп. Он там сидит.

И мы вместе пошли в окоп.

Когда мы в него вошли, то застали немца в том же сидячем положении, в каком я его оставил. Без посторонней помощи он даже позу поменять не мог. А на Ивана вдруг нашло какое-то баловство. Иначе и не назовёшь. Вскинув автомат и направив его на немца, Иван закричал:

— Что, фашист?! Довоевался?! Вот я тебя сейчас!.. За кровь детей, за слёзы матерей!..

Надо было видеть, какой испуг отразился на небритом и измученном лице немца.

— Брось, Иван, — говорю я. — Он без оружия и тяжело ранен. Кошке — игрушки, а мышке — слёзки. Оставь немца в покое. Давай отнесём его к телеге.

— Нет, — заерепенился Иван, — пусть сам ползёт. А не доползёт — пристрелю!

И немец пополз. Но уже через пару метров силы оставили его, и он замер недвижимым. Только тяжёлый стон вырывался из его груди.

— Ладно, Иван, не дури, — сказал я. — Давай отнесём немца.

Мы донесли его до телеги и положили на землю. Здесь Иван опять стал куражиться над ним, сказав, что если немец сам не залезет в телегу, то он фашиста пристрелит. Услышав это, вмешался раненый майор Звонарёв:

— Без глупостей, ребята, — сказал он. — Поверженный и сдавшийся враг — уже не враг, а пленный, заслуживающий снисхождения. На телеге место есть. Кладите его. Я подвинусь.

Мы положили немца на телегу, и Иван, понукая лошадь, повёл её дальше, в тыл наших войск. Я долго смотрел им вслед, удручённый тяжёлыми мыслями о жестокостях войны.

• • •

Старшие возрасты были демобилизованы сразу же по окончании войны. Мы же, мальчишки, ещё несколько лет тянули солдатскую лямку уже в мирное время. В 1948 году с моего согласия и по моему желанию я был направлен учиться на курсы военных журналистов в город Львов.

Однажды, в один из выходных дней, я, курсант этих курсов, с увольнительной запиской в кармане шёл по одной из оживлённых улиц Львова. Впереди меня, опираясь на клюку, неторопливо шёл человек с протезом правой ноги. Почувствовав мой взгляд, он обернулся. Так и есть! Это же бывший командир моей танковой роты майор Звонарёв. Он тут же узнал меня. Как мы обрадовались встрече! Оказалось, что он по ранению демобилизован и живёт со своей семьёй здесь, во Львове, работает в какой-то мастерской. Он сразу же, не допуская никаких возражений, пригласил меня к себе домой. Всё-таки встретились два однополчанина-фронтовика. Нас очень приветливо встретила его жена, накрыла на стол и поставила бутылку водки. Чего только мы с ним не вспоминали! Всех перебрали из нашей роты, да и из нашего полка. Он рассказывал о себе и живо интересовался моей судьбой. Одобрил мой выбор учёбы на курсах, на что я сказал:

— Никак не демобилизуюсь, иначе я пошёл бы учиться на факультет журналистики какого-нибудь университета.

— Ты ещё молодой, — ответил он. — Сначала окончи курсы, а университет от тебя не уйдёт. Молодец! А я, вот видишь, инвалид. Ногу мне ампутировали сразу же, как Иван Лубкин доставил меня на своей телеге в медчасть.

— А помните, Николай Алексеевич, — назвал я его по имени-отчеству, — того немца? Вот повезло-то ему! Сейчас, наверное, он уже со своими детьми в Гамбурге.

— Какого немца? Уж не того ли, что вы с Иваном положили на телегу рядом со мной? — с какой-то грустью в голосе спросил он.

— Да, да! Того, того! Он ведь музыкант, скрипач из оперного театра Гамбурга. Я с ним долго разговаривал до вашего приезда. По-русски чисто говорит. Интеллигент, одним словом!

— А ему вовсе и не повезло!

— Как не повезло?! — воскликнул я. — Что случилось?

— А случилось вот что. Видно, не все врачи дают клятву Гиппократа. А если и все, то есть среди них и клятвопреступники.

— Да что же произошло? Расскажите!

И он рассказал следующее.

Пленного раненого немца, по нашему общему замыслу, Иван должен был сдать в пункт приёма пленных и далее везти наших раненых бойцов в медчасть, которая находилась на два-три километра дальше в тылу. За время, пока Иван ездил на передовую, произошла дислокация, связанная со стремительным наступлением наших войск, и медчасть оказалась ближе к передовой, чем та часть, где можно было сдать немца. Немец был тяжело ранен, самостоятельно идти не мог. Значит, его надо было везти.

И тогда начальник медико-санитарной службы полка, врач по профессии, полковник медицинской службы и член Коммунистической партии, сказал:

— Буду я ещё каждому фашисту подводу давать.

И с этими словами он достал из кобуры пистолет и тут же, прямо на телеге и на глазах у всех, тремя выстрелами пристрелил пленного.

Трагедия в проливе

В 2005 году в тихоокеанских глубинах потерпел аварию российский глубоководный аппарат с экипажем из трёх человек. Запутавшись в рыболовецких сетях, аппарат погрузился на глубину несколько сот метров и лишился возможности всплыть. Никакие спасательные службы России оказались не в состоянии оказать помощь обречённым людям. И тогда правительство страны обратилось за помощью к иностранным спасателям. На призыв о помощи откликнулась спасательная служба королевства Великобритании. С берегов Туманного Альбиона в район аварии срочно на самолёте были доставлены необходимое оборудование и специалисты, и в результате проведённой уникальной и исключительно сложной операции российский экипаж глубоководного батискафа был спасён.

Но так было не всегда. В 1957 году, в эпоху безраздельно царствующего в Советском Союзе коммунистического режима, было по-другому.

Остров Нарген (Найсаар) в Финском заливе отделён от полуострова Пальясаар, принадлежащего Эстонии, Суурупским проливом, шириной не более трёх миль. Суда, выходящие из Таллина и идущие на запад, с таллинских Екатиринтальских створов поворачивают влево на створы Виимси и по ним через Суурупский пролив выходят в Финский залив, оставляя слева маяк Пакри и порт-пункт Палдиски, базу подводных лодок Балтийского флота.

Дизельная подводная лодка (подводный корабль литеры «С») проходила необходимые измерения на КИМС[4] у восточного берега Таллинского залива.

Закончив все необходимые работы, подводная лодка легла на курс, ведущий по створам Виимси, для следования в свою базу и вошла в Суурупский пролив. Корабль шёл в надводном положении. На мостике находились командир корабля, вахтенный офицер, сигнальщик и курсант выпускного курса военно-морского училища, проходивший на корабле плавательскую стажировку и поднявшийся на открытый мостик покурить. Время было обеденное, поэтому горловины всех отсеков корабля были открыты, и бачковые, по общефлотскому порядку, разносили по отсекам обед. Навстречу подводной лодке по Суурупскому проливу на большой скорости шёл эсминец. Море было спокойным.

В результате неправильного маневрирования обоих кораблей произошло их столкновение. Удар был настолько мощным, что все четверо, находившиеся на открытом мостике подводной лодки, были сброшены в море. Они были подняты на борт эсминца. Подводная лодка получила большую пробоину, и через неё и открытые горловины вода моментально стала заполнять все отсеки корабля. Лодка пошла ко дну. Несколько человек успели забежать в кормовой отсек и задраить горловину. Остальные члены экипажа лодки погибли сразу. В кормовом отсеке, вместе с забежавшими и находившимися в нём до столкновения, в живых осталось двадцать восемь человек из всего многочисленного экипажа. Среди них был и начальник штаба бригады подводных лодок капитан второго ранга Смирнов, находившийся на корабле для обеспечения перехода.

Нетрудно представить себе весь ужас положения, в котором оказались оставшиеся в живых моряки в полузатопленном кормовом отсеке. Холод и страх сковали людей. Погас свет, и отсек погрузился в абсолютную темноту. Люди в нём лишились возможности хоть что-то предпринять для своего спасения. А над головой двадцатиметровая толща воды.

Для подобных случаев на подводных лодках имеются аварийные буи яркой окраски, соединённые тросом с корпусом лодки, крепления которых можно отдать изнутри. Буй всплывает, показывая тем самым место затонувшего корабля на морском дне. В специальном отсеке аварийного буя имеется телефонная трубка, соединённая кабелем с лодкой. Открыв горловину отсека и взяв трубку, можно разговаривать с людьми внутри лодки.

В невероятно трудных условиях капитан второго ранга Смирнов сумел отдать крепления, и буй всплыл. Связь с лодкой установилась. У обречённых людей, находившихся в замкнутом от всего мира пространстве, появилась какая-то надежда. Они, по крайней мере, узнали, что наверху идут работы по их спасению.

Капитан второго ранга Смирнов сообщил, что в отсеке паника, трудно держать дисциплину и приходится применять грубую физическую силу. Кроме того, он сообщил, что в отсеке становится трудно дышать, кислород на исходе.

Чтобы как-то облегчить положение людей, было решено подключить к специальному клапану в борту лодки шланг и через него насосом подавать в затопленный отсек воздух.

Как раз незадолго до этого приказом министра обороны маршала Жукова, который при всём своём полководческом таланте мало разбирался (или не хотел разбираться) во флотских вопросах, почти вдвое было сокращено денежное содержание сверхсрочнослужащих. Результат сказался немедленно. Весь золотой фонд специалистов-сверхсрочников уволился. На всём Балтийском флоте не нашлось водолаза, знающего устройство подводных лодок и способного подсоединить шланг к нужному клапану лодки. Молодые малоопытные срочнослужащие водолазы этого делать не умели. Только через несколько дней такой опытный водолаз, сверхсрочнослужащий мичман, был найден на Черноморском флоте и самолётом доставлен к месту аварии.

Шланг был присоединён. В отсек стали подавать воздух. Капитан второго ранга Смирнов с большим трудом голосом умирающего человека сообщил, что воздух в отсек поступает, но растёт давление. Стравить излишек давления не удаётся. Несколько человек уже скончались.

Над погибшей лодкой скопилось большое количество кораблей. Прибыли большие флотские чины. Всё решали и решали, что делать, как спасти людей. Между тем время шло, а дело не продвигалось.

Сохранить в тайне такую грандиозную операцию вблизи берега было невозможно. Узнали о гибели советской подводной лодки и в Швеции. Правительство Швеции предложило помощь, заявив, что у них есть необходимое оборудование, и гарантировало быстро поднять лодку. Но где там коммунистам принять помощь иностранной, да ещё капиталистической, державы?! От помощи отказались. Побоялись, что шведы могут обнаружить какие-то секреты на этой старой, довоенной постройки лодке.

[4] Контрольно-измерительная магнитная станция.

Штурман эсминца предложил водолазами закрепить на лодке буксирный трос и мощными буксирами волоком по дну моря отбуксировать лодку на мелководье так, чтобы оголилась её рубка. Затем на пробоину наложить пластырь и через рубку откачать воду. Люди в лодке смогут отдраить свой отсек и спастись. Но и это предложение было отвергнуто, так как скоро должны были подойти плавучие краны и, застропив лодку, поднять её на поверхность. Скоро! Но как скоро? Краны буксируют из Кронштадта и Либавы, а мощные буксиры, способные оттащить лодку по грунту на мелководье, есть здесь, в Таллине.

Но на этом безобразия не кончаются. В целях предохранения обрыва кабеля инструкция предписывает разговаривать по телефону аварийного буя только со шлюпки или с плотика. Однако большим флотским чинам, прибывшим в район катастрофы, из-за «округлостей» их фигур было трудно неоднократно спускаться в шлюпку и было приказано поднять буй на борт эсминца. Вскоре поднялся ветер, началось волнение, и кабель, соединяющий буй с лодкой, оборвался. Связь с затонувшей лодкой была безвозвратно потеряна. Оставшиеся в живых люди в ней лишились моральной поддержки. Что происходит с ними, стало неизвестно.

Наконец плавкраны были доставлены. Несколько часов ушло на то, чтобы завести стропы, и подъём начался. Лодка уже почти была поднята, уже на поверхности моря показалась её рубка, как вдруг носовой строп соскользнул, и лодка с большим дифферентом на нос ушла на глубину, врезавшись носом в грунт. Теперь и отбуксировать лодку волоком по грунту на мелководье стало невозможно. Только спустя почти месяц после гибели лодка была поднята и установлена на причале Купеческой гавани Таллина. В живых в лодке не осталось никого. Чтобы достать и захоронить трупы погибших моряков, корпус лодки разрезали автогенной резкой.

Так закончилась в эпоху коммунистического режима эта позорная эпопея по спасению своих же защитников Отечества. Как тут не вспомнить спасение трёх человек экипажа глубоководного аппарата в 2005 году, ради чего правительство России не погнушалось принять помощь иностранного государства.

В боевом ядре

В 1956 году наметилось заметное потепление в отношениях между Советским Союзом и Югославией. Испорченные сразу после победы над фашистской Германией отношения между этими странами, совместно воевавшими против гитлеризма, являлись результатом имперского мировоззрения Сталина, возомнившего себя властелином чуть ли не всего мира. Маршал Иосип Броз Тито, патриот своей страны, не пожелавший слепо подчиняться злой воле Сталина и придерживающийся политики «неприсоединения», в первые послевоенные годы карикатурно изображался в советских газетах палачом с окровавленным топором и виселицей в руках, шагавшим по трупам. И только после смерти Сталина появились признаки потепления в отношениях между СССР и ФНРЮ.

Уже после двадцатого съезда КПСС, разоблачившего культ личности Сталина, и с началом нормализации отношений, летом 1956 года Иосип Броз Тито по приглашению Н. С. Хрущёва посетил Советский Союз. Народом Советского Союза это было воспринято с величайшим пафосом. Ещё бы! После стольких лет отвержения, когда Тито преподносился советским людям подлинным людоедом и губителем демократии хуже Гитлера, он вдруг прибыл с дружественным визитом в СССР. При посещении маршалом Тито Ленинграда на Невском проспекте, где проезжал его кортеж, скопилась такая толпа народа, которую можно сравнить разве что с толпой на похоронах Сталина в Москве. Творилось что-то невероятное. Не только проехать по Невскому было невозможно, но даже протиснуться пешком, чтобы пересечь проспект, было нельзя. Чтобы взглянуть на проезжающий кортеж, люди лезли на капоты и крыши машин. Толпа была неудержима. Когда же кортеж проехал и толпа стала расходиться, Невский проспект огласился руганью водителей изрядно помятых толпой автомашин.

Боевой корабль Балтийского флота несёт службу в боевом ядре у входа в Финский залив. Задача корабля — не допустить проникновения любого неопознанного объекта со стороны сопредельных государств в территориальные воды Советского Союза. Стоит июнь 1956 года, пора белых ночей, этого сказочно-удивительного времени года. Четыре часа утра, а солнце уже высоко над горизонтом, и зеркально-гладкое море игриво отражает его лучи. Слегка приподнятые рефракцией очертания островов висят над линией горизонта. Вдали от корабля по водной глади расходятся следы плывущих тюленей. Ласковое июньское раннее утро в Финском заливе.

На корабле идёт размеренная походная жизнь, присутствующая на всяком военном корабле в море. Сигнальщики зорко следят за горизонтом и воздухом, гидроакустики внимательно прослушивают водную толщу. В гиропосту под мягкое жужжание гирокомпаса несёт свою вахту штурманский электрик. Комендоры — на своих боевых постах, в машинном отделении — механики и мотористы. Одновременно с дозорной службой идёт боевая учёба.

На корабле объявляется боевая тревога. Предстоит атака условной подводной лодки. Значит, будет глубинное бомбометание, которое всегда

вызывает неподдельный интерес у всего экипажа. Взрыв глубинной бомбы сопровождается возникновением мощного водяного холма, после оседания которого на поверхность моря всплывает большое количество оглушённой рыбы. Успевай только её собирать. Сразу же после взрыва бомбы с корабля спускается шлюпка, в неё собирается рыба, и на весь корабль готовится вкусный обед из свежайшей рыбы. Рыбные блюда нравятся всем (или почти всем), но особенно страстным любителем свежей рыбы из всего экипажа был старший помощник командира корабля капитан третьего ранга Маткович Винько Матиевич, югослав по национальности, с 1945 года связавший свою судьбу с советским Военно-морским флотом. В годы войны Маткович воевал в рядах югославских партизан под командованием Народного героя Югославии (впоследствии трижды Народного героя и Героя социалистического труда Югославии), генерального секретаря ЦК компартии Югославии маршала Иосипа Броз Тито. Были у Матковича и югославские ордена. Сразу же по окончании войны Винько Матиевич в группе из тридцати человек был направлен в Советский Союз учиться в Высшем военно-морском ордена Ленина Краснознамённом училище имени М. В. Фрунзе в городе Ленинграде. За время его учёбы в СССР Сталин и Тито стали непримиримыми врагами, и возвращение Матковича на родину, как и всех югославов группы, стало заказано.

Окончив высшее военно-морское учебное заведение в 1950 году, Винько Матиевич остался служить на кораблях советского Военно-морского флота, отказавшись от родины, где у него осталась мать. В Советском Союзе он женился, и у него появились дети. Но о своей матери, как и о других своих родственниках, оставшихся в Югославии, он ничего не знал, и узнать что-то о них было для него невозможно. Такова трагедия, покалечившая судьбы многих, попавших в жернова сталинского амбициозного чванства.

Маткович был честным, жизнерадостным, энергичным человеком и отличным морским офицером. В редкие досужие часы офицеры в кают-компании с интересом слушали его рассказы о службе в югославской армии, о партизанских боевых операциях, о Югославии.

Он рассказывал, что в 1945 году всю их группу, направлявшуюся на учёбу в Советский Союз, многократно и тщательно инструктировали о том, как вести себя в СССР, как общаться с советскими людьми и тому подобное. В результате о советских людях у него сложилось такое впечатление, что они все исключительно честные и порядочные, далёкие от мздоимства и какой-либо корысти вообще, и живут все без исключения не зная забот и нужды. Богато живут. А между тем в Советском Союзе была карточная система и царил страшный голод. Вот и произошёл у него при первой встрече с советскими людьми несколько забавный случай.

Первая остановка при въезде в Советский Союз у них была в Киеве. Почему-то он шёл один по улице Киева и в руках нёс буханку хлеба. Он даже не представлял, что хлеб в то время можно было на рынке продать за баснословную цену. Вдруг к нему подходит человек в промасленной, явно рабочей, одежде и с мольбой в голосе говорит:

— Друг, продай хлеб!

«Как это я советскому человеку буду хлеб продавать?» — подумал Маткович и сказал:

— Да ты что! Бери так!

И с этими словами отдал буханку работяге, который со слезами благодарности схватил хлеб и, не веря такой удаче, быстро отошёл прочь.

Придя на вокзал, Маткович увидел, что его товарищи стоят у пивного киоска и пьют пиво. Порядком удивившись, он спросил:

— А где вы деньги взяли на пиво?

— А мы хлеб продали, — отвечают они. — Вот пивком и балуемся.

Это была его первая встреча с советскими людьми в послевоенное время.

А во время войны (в конце её) довелось ему быть очевидцем безобразного, просто ужасного случая. Дело было так.

Красная Армия гнала фашистов по Европе. Проходила она и через Югославию. Войдя в одну югославскую деревню, части Красной Армии были восторженно встречены населением. Эйфория охватила всех в деревне, и, чтобы оповестить соседнюю деревню о том, что Красная Армия уже у них, одна молодая девушка, югославская комсомолка, вызвалась поехать туда на велосипеде. И поехала. В безлюдном поле её остановили красноармейцы и группой изнасиловали. Дождалась девушка «освободителей», ничего не скажешь!

А сейчас Винько Матиевич готовит к спуску шлюпку для сбора оглушённой после взрыва глубинной бомбы рыбы. Бомбомёты заряжены, минёры ждут команду. Держись, «вражеская подводная лодка»!

Штурман корабля, как при молитве, шевеля губами, чтобы запомнить взятые на навигационные ориентиры три пеленга, бежит в штурманскую рубку с крыла мостика и сталкивается с радистом, срочно несущим командиру корабля только что полученную радиограмму. Командир, ознакомившись с радиограммой, отменяет учебную атаку подводной лодки и объявляет фактическую боевую тревогу. Штаб флота радиограммой сообщил, что береговые посты зафиксировали в территориальных водах Советского Союза неизвестный военный корабль, идущий со стороны Балтийского моря в направлении на Таллин. Приказано принять меры к недопущению проникновения неизвестного

военного корабля в глубь территориальных вод СССР и заставить его покинуть их.

Послушный воле командира, корабль рванулся на сближение с чужаком. Догнав его, корабль лёг на параллельный ему курс в расстоянии двух-трёх кабельтовых[5] от него. На корабле тревожная атмосфера. Чужой корабль действительно военный, что хорошо видно по зачехлённым артиллерийским установкам и торпедным аппаратам. Он невозмутимо, не обращая внимания на советский корабль, продолжает следовать в направлении Таллина.

На мостике советского корабля все всматриваются в чужака, пытаясь определить его национальную принадлежность. Флага на чужаке нет, а по бортовому номеру государственную принадлежность не определить. Что за дьявольщина?

На мостике советского корабля лихорадочно думают, что делать, как поступить. Международное право допускает мирный проход любого корабля через территориальные воды любого государства. Чужак шёл с зачехлёнными орудиями, не таясь и не производя никаких манёвров и действий. Это значит, что его плавание через территориальные воды СССР соответствовало статусу мирного прохода. Но куда он шёл? Если в Таллин, о чём свидетельствовало направление его движения, то почему об этом неизвестно советским властям? Кто-то на мостике советского корабля даже предложил дать предупредительный выстрел. Но как отреагирует на это чужак? Всё же все службы заняли свои места по боевой тревоге, и кранцы первых выстрелов были открыты, орудия заряжены. Комендоры ждали приказа.

Командир корабля приказал сигнальщикам запросить по международному своду сигналов национальную принадлежность чужака. Ответ удивил всех на советском корабле. Он тоже запросил наш корабль о национальной принадлежности.

Вот это номер! Идёт в наших водах, да ещё спрашивает, кто мы такие.

— Не показать ли ему сигналом, что мы эфиопы? — вслух думает командир.

Тем не менее дело принимает серьёзный оборот.

Штурман, обращаясь к командиру, говорит:

— Надо флаг поднять. Мы же без флага идём. И он тоже без флага. Сейчас ночь, хотя и светло. Вот мы и не понимаем друг друга.

До подъёма флага по корабельному уставу было ещё больше двух часов. Флаг поднимается в восемь часов утра, а сейчас идёт только шестой час.

— Вот оно в чём дело, — говорит командир. — Поднять флаг!

Сигнальщики выполнили приказание, и на гафеле заполоскал советский военно-морской флаг. В ответ чужак тут же поднял свой. Это был флаг ФНРЮ.

— Югослав! — вырвалось у всех на мостике нашего корабля.

— Вот так штука! — говорит командир. — Тито же сейчас в Советском Союзе! Что он, за ним идёт? Или провокация? Надо связаться с чужаком.

Когда с ним была установлена связь по международному своду сигналов, выяснилось, что это учебный военный корабль Югославии идёт с курсантами в Стокгольм. Но ведь Стокгольм находится в противоположной стороне, о чём ему было незамедлительно указано. В ответ югослав сообщил, что это грубая ошибка его штурмана, прочитавшего на транспортире цифру, противоположную нужной. Сообщив это, югослав извинился и сразу же начал разворачиваться на противоположный курс.

В принципе, такая ошибка возможна, так как на штурманском транспортире цифры нанесены попарно, отличаясь друг от друга на сто восемьдесят градусов. Вот он и шёл в противоположную сторону. Ошибка эта, конечно, нелепая по своей сущности, из-за невнимательности. Да ещё на учебном судне. Чему же они учат своих курсантов?

Югослав развернулся и пошёл в сторону Стокгольма.

Наш корабль проводил его до выхода из советских территориальных вод, пожелал ему счастливого плавания и приступил к продолжению несения боевого дежурства.

И надо же было случиться этому инциденту именно в тот момент, когда маршал Иосип Броз Тито гостил в Советском Союзе. Хорошо ещё, что не дошло до применения оружия.

Две судьбы

I.

Дизельная подводная лодка Северного флота несла боевую службу в Средиземном море, заняв заданную ей позицию. Незаметно для глаз проходящих судов лодка наблюдала за перемещениями и действиями кораблей Шестого флота США, вот уже несколько лет в эпоху холодной войны не покидавших просторы Средиземноморья. Позиция, которую занимала подводная лодка, была определена командованием советского Военно-морского флота, возглавляемого заместителем министра обороны СССР, Главнокомандующим ВМФ адмиралом Сергеем Георгиевичем Горшковым. Каждая подобная позиция, занимаемая советскими подводными кораблями, была тщательно законспирирована, и координаты их местонахождений были засекречены и доступны строго ограниченному, узкому кругу лиц. Раскрытие засекреченной позиции, по всем существующим в то время канонам, являлось государственным преступлением. Исходя из этого, становится понятной та ответственность, которая

[5] Кабельтов — одна десятая часть морской мили, т. е. 185 метров.

возлагалась не только на командира подводного корабля, но и на каждого члена экипажа. Лодка укомплектовывалась самыми хорошо обученными, морально устойчивыми и многоопытными специалистами флота.

Всплывать на поверхность моря для зарядки аккумуляторов и вентилирования отсеков можно было только при полном отсутствии на горизонте каких бы то ни было судов. Поэтому перед каждым всплытием горизонт тщательно просматривался в перископ и море прослушивалось гидроакустической аппаратурой. При малейшем подозрении на присутствие каких-либо кораблей или судов всплытие запрещалось.

Командир корабля капитан третьего ранга Федосеев строго придерживался инструкции. Однако нарушение всё-таки произошло. И не по вине экипажа. Дело в том, что в морской воде, которая является средой акустически неоднородной из-за непостоянства физико-химических характеристик (температуры, солёности, плотности, давления), существует такое явление, как рефракция звука, искажающая распространение акустических волн. В результате этого прослушивание толщи воды гидроакустической аппаратурой иногда даёт сбои. Так и произошло в этот раз.

Тщательно и довольно продолжительно прослушивая море, гидроакустик не обнаружил никаких шумов, свидетельствующих о наличии на горизонте посторонних судов, о чём и доложил командиру. Федосеев принял решение всплывать.

Как только лодка показалась на поверхности моря, сразу же было обнаружено, что прямо не неё надвигается огромный нос американского авианосца, который, чтобы не протаранить лодку, резко «шарахнулся» в сторону. На лодке моментально сработали срочное погружение, но… было уже поздно. Лодка была обнаружена.

Американцы, конечно, не стали скрывать этот инцидент и на весь мир незамедлительно «раструбили», что в таком-то квадрате Средиземного моря таится русская подводная лодка.

Позиция лодки была раскрыта, и Федосеев получил приказ возвращаться в базу.

Неприятности начались сразу по возвращении подводного корабля в базу. После дальнего похода и длительного нахождения лодки в море экипаж был встречен суровым молчанием. Никаких поздравлений с возвращением, никакого отдыха. Только суровые неодобрительные взгляды. Командир корабля капитан третьего ранга Федосеев был вызван «на ковёр» к командующему Северным флотом. Никакие доводы об искажении проходимости акустических волн в морской среде во внимание не принимались. Работа комиссии по разбору похода сводилась только к нарушению инструкции, халатности и разгильдяйству. Старшина отделения гидроакустиков сверхсрочнослужащий мичман Степанов, один из опытнейших специалистов-акустиков, был уволен за профессиональную некомпетентность. Гроза нависла и над капитаном третьего ранга Федосеевым. Самое меньшее, что было ему обещано, — это снижение в звании на одну ступень и снятие с должности командира корабля. Не исключались суд или увольнение с флота. Раскрытие засекреченной позиции подводной лодки было расценено как преступление, что вообще-то, по существующим в то время порядкам, соответствовало действительности. В таком тревожном и «подвешенном» состоянии ожидания возмездия Федосеев находился вот уже несколько суток.

Неожиданно пришёл приказ ему и командиру бригады подводных лодок Северного флота срочно прибыть в Главный морской штаб к Главнокомандующему ВМФ адмиралу Горшкову «на ковёр». Это ещё больше отяготило и без того гнетущее настроение Федосеева. Ничего хорошего от этого вызова он ждать не мог, поэтому сказал своей жене, чтобы она собиралась к переезду на родину в город Пермь и к гражданской жизни.

Вечером этого же дня Федосеев и командир бригады подводных лодок капитан первого ранга Ивлев поездом выехали в Москву.

По прибытии в Москву, приведя себя в порядок с дороги, Федосеев и Ивлев явились в Главный штаб ВМФ. В приёмной адмирала Горшкова ждать аудиенции им пришлось довольно долго. Всё это время ожидания в приёмной они почти не разговаривали между собой. Всё, что было надо, они уже высказали друг другу и в базе при разборе похода, и в поезде. Сейчас нервная обстановка была такова, что не до разговоров. Комбриг Ивлев тоже чувствовал, что получит хороший «нагоняй» от Главкома, а Федосеев был в таком нервном расстройстве, что разговаривать он не мог ни о чём.

Только через два с половиной часа ожидания наконец-то Главком принял их. Аудиенция состоялась не более трёх минут, в течение которых адмирал повышенным тоном накричал на обоих, стуча по столу кулаком, и приказал быть на следующий день ровно в десять часов у него в приёмной, откуда они вместе с ним поедут на приём к Первому секретарю ЦК КПСС и Председателю Совета Министров СССР Никите Сергеевичу Хрущёву.

Просторный кремлёвский зал, где должна была состояться встреча с партийным лидером и руководителем государства Никитой Сергеевичем Хрущёвым, блистал роскошью убранства и архитектурной отделки. Но всем троим было не до красоты зала. Заметно нервничал даже Главком ВМФ адмирал Горшков, не говоря уж о комбриге Ивлеве и главном виновнике вызова командире корабля Федосееве, который был на пределе нервного срыва. Все трое понуро стояли в огромном дворцовом зале. Молчали. Ждали появления главы государства. Хрущёв должен был с минуты на минуту

появиться и войти в зал через открытые двери, возле которых они и стояли.

Вдруг в соседнем зале послышались шаги нескольких человек, сопровождавших Хрущёва, и весёлый, громкий голос самого Никиты Сергеевича. Мгновенно приободрившись, Горшков, Ивлев и Федосеев выстроились в ряд и приняли строевую стойку «смирно». Войдя со своей многочисленной свитой в зал, Хрущёв развёл широко в стороны руки и громко и радостно произнёс:

— А ну-ка покажите мне наших героев! Какие молодцы! Кто командир подводной лодки?

— Капитан третьего ранга Федосеев! — щёлкнув каблуками, отрапортовал командир подводного корабля, не понимая, что происходит.

Хрущёв подошёл к нему, обнял за плечи и продолжал:

— Посмотрите, каков молодец! Прямо богатырь! Красавец! Так, значит, американец прямо-таки шарахнулся от тебя в сторону?! Правильно! Так и надо! Пусть они от нас шарахаются, а не мы от них! Молодец! — восторженно говорил Хрущёв, делая ударение на слове «шарахаться».

И, обращаясь к Главкому Горшкову и комбригу Ивлеву, добавил:

— Представить к ордену Красного Знамени и к очередному воинскому званию!

К месту службы Федосеев вернулся капитаном второго ранга и с орденом Красного Знамени.

2.

Подводная лодка Северного флота под командованием капитана второго ранга Кима Фёдоровича Семёнова вернулась в базу из дальнего океанского похода. Поход продолжался несколько недель, все боевые и учебные задачи были выполнены образцово. Выпускник высшего военно-морского учебного заведения 1954 года Ким Фёдорович Семёнов был деятельным и перспективным офицером Военно-морского флота СССР. Будучи ещё курсантом военно-морского училища, Семёнов вступил в Коммунистическую партию и вёл большую общественную работу, являясь комсоргом факультета, а на последнем курсе обучения — старшиной курсантской роты. Карьерный рост офицера Семёнова был ошеломляющим. Первым среди выпускников своего курса он стал капитаном второго ранга и командиром подводного корабля, уже через десять лет после выпуска. Экипаж вверенного ему корабля первым в бригаде подплава отрабатывал и успешно сдавал все задачи подводных лодок. Ко всему этому можно добавить, что он удачно женился на очень красивой, умной и образованной девушке из весьма интеллигентной ленинградской семьи. Впереди Семёнову «маячил» успех блестящего морского офицера. Ничто не предвещало грозы.

Трудный океанский поход окончен. Все отчёты сданы без задоринки. Можно и отдохнуть.

Попросив разрешения у командира бригады взять выходной день, Семёнов договорился с начальником тыла базы подплава майором интендантской службы Карабановым, живущим в одном доме с ним, провести завтрашний день на природе с удочками. Майор Карабанов, страстный рыбак, знал излюбленные всеми местными любителями рыбалки места хорошего клёва и тоже взял себе выходной день.

Весь вечер друзья провели в приятных хлопотах: готовили удочки, блёсны, мормышки. Приготовили соответствующую экипировку, провизию на весь день и, конечно же, обзавелись бутылочкой «горючего».

Рано утром следующего дня в резиновых сапогах, в брезентовых штормовках и в хорошем настроении офицеры отправились на рыбную ловлю.

Сначала клёв был хороший, и друзья быстро наловили изрядное количество рыбы. Затем клёв стал хуже и к полудню прекратился совсем. Появился аппетит. Они развели костёр и наварили ухи. Под наваристую ушицу бутылка водки быстро опорожнялась. Пропорционально уменьшению содержимого бутылки поднималось настроение. Этому способствовали тишина и красота окрестного пейзажа. Ласковый безветренный день северной природы навевал приятные мысли, способствовал хорошему отдыху после нелёгкой военной службы. Был будний день недели, поэтому рядом с ними не было других любителей рыбной ловли.

А в это время на базу подводных лодок прибыл командующий Северным флотом. В базе была сыграна боевая учебная тревога. Командира одной подводной лодки и начальника тыла базы по тревоге на месте не оказалось. За ними был послан оповеститель. Вернувшись, оповеститель доложил, что капитан второго ранга Семёнов и майор Карабанов, по сообщению членов их семей, уехали на рыбалку.

Кто-то вспомнил, что майор Карабанов, как заядлый рыбак, часто любил рассказывать о своём способе ужения рыбы и о тех местах, где он «пропадал» почти все свои выходные дни. Командующий флотом приказал выслать туда оповестителя на машине с распоряжением обоим немедленно прибыть в часть.

Оповеститель, матрос срочной службы, представитель национальности одной из среднеазиатских республик, без труда нашёл друзей и на своём «чучмечном» говоре, искажённом русском языке, передал им распоряжение адмирала.

Решив, что они экипированы далеко не подобающим образом, да к тому же всё-таки выпили и поэтому не стоит показываться на глаза адмиралу, они попросили матроса-оповестителя сказать, что он их не нашёл.

Вернувшись в часть, матрос-оповеститель доложил:

— Они там говорят, что я их не нашёл.

Оповестителя послали вторично, но уже с офицером. Прибыв к месту отдыха друзей, посланный офицер сказал:

— Товарищи, адмирал всё знает. Надо ехать

— Как же мы явимся к адмиралу в таком виде? Нам надо переодеться и привести себя в порядок,— говорит один из них.

— Не надо,— отвечает офицер.— Адмирал приказал доставить вас немедленно прямо с рыбалки.

Делать нечего, поехали.

Почувствовав лёгкий запах спиртного, исходящий от обоих далеко не по форме одетых офицеров, адмирал встретил их недобрым взглядом. Обращаясь к майору Карабанову, он сказал:

— Вы способны обеспечить всем необходимым снабжением корабли, выходящие в море?

— Так точно! — ответил майор.— Сейчас распоряжусь. Всё будет сделано в лучшем виде!

— Да вы просто наглец,— сказал адмирал.— А вы,— обратился комфлота к Семёнову,— способны сейчас повести корабль в бой?

— Наверное, нет,— ответил кавторанг.— Но, товарищ адмирал, у меня сегодня официальный выходной день, который я с разрешения комбрига взял после длительного похода.

— Выходной день. Выходной день,— тихо дважды повторил адмирал.— А вот двадцать второго июня сорок первого года тоже был выходной день. А началась война. А мы с вами люди военные и должны быть готовы к боевым операциям в любой момент, независимо от выходных и праздничных дней.

И, немного помолчав, адмирал добавил:

— Идите оба домой. Сегодня от вас толку нет.

Придя на следующий день на службу, Ким Фёдорович Семёнов ознакомился с приказом командующего Северным флотом, которым он был отстранён от должности командира подводного корабля. Этим же приказом он был переведён на должность командира роты в учебный отряд. Это было такое огромное понижение по службе, которого никто не мог даже предположить. Карьера передового офицера с блестящим будущим резко оборвалась. Подобного унижения мало кто смог бы перенести. Не перенёс его и капитан второго ранга Семёнов. Он начал пить.

Незамедлительно начались неприятности не только на службе, но и в семье. Ряд взысканий на службе и постоянные скандалы дома привели к тому, что Ким Фёдорович с военного флота был уволен за моральное разложение и остался не у дел.

Сменил место жительства. Вместе с женой переехал в Ленинград к её родителям, но с трудоустройством пошли проблемы. Удержаться сколько-нибудь длительное время ни на какой работе не удавалось: отовсюду увольняли за прогулы и пьянство. Жена, со всей прямотой интеллигентного человека, принципиально поставила перед ним дилемму: или бросаешь пить, или убирайся вон!

И он убрался!

На двадцатилетие выпуска собрались в актовом зале Морского корпуса Петра Великого его выпускники 1954 года. Кима Семёнова среди них не было. Оргкомитет разыскивал и приглашал всех выпускников. Семёнова не нашли. Обратились к его жене с просьбой помочь найти Кима. Она ответила, что он окончательно спился, стал бомжевать и куда-то уехал. Куда — она не знает и никаких сведений о нём не собирает.

Так нелепо закончилась блестящая карьера когда-то образцового и перспективного офицера советского флота.

Шарлатан

Летел я самолётами Аэрофлота из Куйбышева, как в середине прошлого века называлась Самара, в Таллин, столицу Эстонии. Прямого рейса Куйбышев — Таллин не было, поэтому я летел на Ригу, где должен был сделать пересадку на самолёт до Таллина. Рига не принимала, и нас посадили в аэропорту Вентспилса, небольшого латышского городка на берегу Балтийского моря. Аэропорт в Вентспилсе был небольшой, здание аэровокзала одноэтажное, а народу в нём накопилось ужасно много, так как все рижские самолёты направлялись сюда. Стояла осень, погода была промозглая, и поэтому люди старались находиться не на воздухе, а в помещении. В результате в здании аэровокзала набилось так много людей, что не только посидеть, но даже к стенке прислониться было негде. Все нервничали, все ждали объявления о посадке в свои самолёты, но администрация аэропорта ничего сказать не могла. А неопределённость ещё больше усугубляла нервозную обстановку.

Так прошло несколько часов. Мой самолёт из Риги на Таллин давно уже должен был улететь, и я тоже изрядно изнервничался. К тому же усталость просто валила с ног.

Вот в таком-то положении я оказался у стойки, за которой сидел диспетчер. Облокотившись об эту стойку, я стоял с полузакрытыми от усталости глазами и ждал своей дальнейшей участи.

Вдруг я увидел, что через толпу людей к этой стойке, работая локтями, пробирается какой-то гражданин интеллигентного вида явно еврейской национальности.

— Простите, пожалуйста,— обратился он к диспетчеру, подойдя к стойке и предварительно поздоровавшись.— У меня к вам просьба. Дело в том, что скоро вам должны позвонить из горкома партии и попросить позвать к телефону доктора-гипнотизёра Финкильштейна. Так

это я. Но мне неудобно всё время стоять здесь и ждать звонка, поэтому я и прошу вас сказать звонившему, что я, Финкильштейн, лечу сейчас в Ригу из Ташкента, а дня через два-три улетаю в Норильск. Я буду вам очень признателен, если вы выполните эту мою просьбу.

Диспетчер пообещал выполнить просьбу и даже записал её себе для памяти. Я всё это, стоя рядом, слышал.

Через какое-то время я оказался возле справочного бюро и так же стоял, ожидая посадку в свой самолёт. Обстановка в аэропорту не менялась. Самолёты только прибывали, и ни один ещё не был отправлен.

И тут я увидел, как к справочному бюро подошёл тот Финкильштейн, которого я уже встречал у диспетчерской стойки. Мне было видно, что он обратился к оператору справочного бюро с какой-то просьбой, и оператор ему отказывает. С какой именно просьбой, я не слышал.

Вот здесь-то меня как вожжа подстегнула. Несмотря на усталость и не открывая полусомкнутых от усталости глаз, я тихо проговорил, обращаясь к оператору:

— Да помогите ему. Это же Финкильштейн, доктор-гипнотизёр.

Надо было видеть изумлённый взгляд Финкильштейна. Он несколько секунд смотрел на меня с открытым от изумления ртом.

— Откуда вы меня знаете? — спросил он, справившись с удивлением. — Вы слушали мои лекции?

— Нет, — ответил я. — Я вас вижу впервые.

— А как же вы узнали мою профессию и даже мою фамилию? — спросил он.

— А что вас так удивляет? — сказал я. — Вот я же не удивляюсь, что вы гипнотизёр. А я телепат. Только и всего. Каждый как может свой хлеб зарабатывает.

Казалось, не было предела его удивлению.

— Ну я вас серьёзно спрашиваю. Откуда вы меня знаете? — не унимался Финкильштейн.

Я решил разыгрывать его дальше.

— Я же вам сказал, — ответил я. — Я телепат и в подтверждение могу сказать о вас больше. Вот, например, вижу, что вы летите в Ригу из Ташкента, а через пару дней полетите в Норильск.

Финкильштейн не нашёлся что ответить. Так и стоял с изумлённым видом. Затем он порывался что-то сказать, но, махнув рукой, отошёл немного в сторону. Я видел, что он несколько раз снова пытался подойти ко мне, но у него всё как-то не получалось. Наконец он решительно направился ко мне.

— Идёмте в ресторан, — сказал он, подойдя. — Я вас приглашаю.

— Да что вы! — говорю. — Разве возможно при таком скоплении людей попасть в ресторан?

— Идёмте. Я всё устрою, — заверил он меня.

И я согласился. Хоть посидеть, думаю, можно будет. Да и стакан чая неплохо бы выпить. И мы пошли.

Как и следовало ожидать, свободных мест в ресторане не было, о чём свидетельствовала табличка на двери ресторана в полном соответствии с нравами «развитого социализма». Но Финкильштейн, войдя в ресторан, кому-то что-то сказал, и нам отвели удобный столик только на двоих в дальнем от оркестра углу, что меня очень устраивало, так как посидеть хотелось в тишине.

Финкильштейн заказал бутылку коньяка, кофе, лимон, и мы с наслаждением стали потягивать коньячок, ведя непринуждённую светскую беседу, не вспоминая о разговоре возле справочного бюро. За беседой мы друг другу представились и даже обменялись домашними адресами. Так мы понравились друг другу.

Бутылка коньяка подходила к концу. Оставались последние рюмки. Только тогда Финкильштейн как-то заговорщически вдруг спросил:

— Скажите мне всё-таки, как вы можете узнавать не только имя человека, но и его профессию, и даже его планы? Ведь мы с вами до сих пор не были даже знакомы.

— Помните, — ответил я, — часа два-три назад вы подходили к диспетчеру и просили его ответить на звонок из горкома партии, назвав при этом себя и свои планы? Я стоял рядом и весь ваш разговор хорошо слышал.

— Как же, как же! Было! Было! — воскликнул он. — Я сам должен был сообразить и догадаться! Что же это со мной происходит?! Устал, наверное, очень.

— Вот и всё моё шарлатанство, — говорю я ему. — А теперь вы откройте секрет вашего ремесла.

— Ха! — усмехнулся гипнотизёр. — Ставьте бутылку коньяка! Я поставил!

«Писатель»

Курсанты второго курса Пермского речного училища проходили групповую плавательскую практику на грузовых судах Камского речного пароходства. Практика заключалась в том, что с утра до полудня они занимались «теоретически», то есть под руководством руководителя практики, преподавателя училища, изучали устройство судна, правила плавания по внутренним судоходным путям, общую лоцию, специальную лоцию и другие дисциплины, а с двенадцати часов до двадцати в две смены несли вахты на руле и в машинном отделении. Ночных вахт они не несли, как не достигшие совершеннолетия.

Я, преподаватель морских дисциплин училища, руководил прохождением практики группой курсантов на сухогрузном теплоходе «Ядрин».

Приняв груз в порту города Пермь, наш теплоход вышел в рейс назначением на Тверь, которая в описываемое время называлась Калинином. Прибыв в порт Калинина, теплоход встал под разгрузку. Далее планировалась погрузка и следование на Каму. Учитывая, что разгрузка и погрузка займут довольно значительное время, я решил съездить на электричке в Москву.

Вернувшись к вечеру в Калинин, я, к своему ужасу, обнаружил, что теплоход уже ушёл. Посоветовавшись с диспетчером порта, я решил, что самый оптимальный вариант для меня — это немедленно возвращаться в Москву и далее электричкой ехать в Ярославль, где можно будет сесть на «Ядрин», когда он будет проходить ярославским рейдом.

В Москву я приехал уже глубокой ночью. На вокзале узнал, что ближайшая электричка на Ярославль будет только в семь часов утра. Мне предстояла мучительная ночь на вокзале. Выбора не было. Вещей у меня с собой не было никаких, и это несколько облегчало моё положение.

На диване, на котором я собирался коротать ночь, сидела женщина интеллигентного вида, по форме глаз которой легко можно было догадаться о её среднеазиатском происхождении. У неё было очень много вещей, сумок и сеток с дынями, яблоками и прочими фруктами.

Неожиданно в углу зала освободился диван, и женщина попросила меня помочь ей перенести к нему её многочисленные сумки, так как в углу было уютнее сидеть в ожидании поезда. Я помог ей, и мы вместе сели на этот диван.

Разговорились. Оказалось, что она тоже едет в Ярославль из Узбекистана к своим родственникам и все эти фрукты везёт в виде гостинцев. Так мы и сидели с ней всю ночь, ожидая электричку. Женщина действительно оказалась весьма интеллигентной, вежливой, воспитанной дамой, что было видно по её разговору.

Излишне говорить о том, как мы устали, если помнить, что я весь день ходил по Москве, а она несколько дней была в дороге. К тому же очень утомительно действовал шум в зале моечных машин.

Наконец ночь кончилась, и диктор по трансляции объявил о подаче нашей электрички к перрону. Мы заняли в вагоне удобные места, сидя у окна напротив друг друга. Прислонившись головами к борту вагона, мы оба дремали, изредка обмениваясь кое-какими фразами.

Поезд уже подходил к Ярославлю, когда она вдруг спросила:

— Скажите, а вы не писатель?

— А как вы догадались? — ответил я, не отрывая головы от борта вагона и не открывая глаз.

— Ну, ясно! — со вздохом сказала она. — Я вас узнала. Я видела вас на обложке журнала «Роман-газета».

— А-а, — протянул я, так и не открывая глаз.

— Я читала ваши книги, — продолжала она. — Хорошие книги. Читала ваш роман «Горение», «ТАСС уполномочен заявить», А какие замечательные фильмы поставлены по вашим книгам! Один фильм «Семнадцать мгновений весны» чего стоит! А «Майор Вихрь»! Хорошие фильмы!

Из её болтовни я понял, что она перепутала меня с известным писателем Юлианом Семёновичем Семёновым. Здесь уместно сказать, что голова у меня лысая, и я ношу небольшую бородку. Правда, не щетину, с какой Юлиан Семёнов изображён на обложке «Роман-газеты». Ну да что из того? Перепутала.

Я не стал ни разуверять её, ни подтверждать её догадку. Я промолчал.

Вскоре поезд подошёл к перрону Ярославского вокзала. Я помог моей спутнице донести её поклажу до стоянки такси и пошёл догонять свой «Ядрин».

А эта славная женщина, вероятно, до сих пор при случае рассказывает своим собеседникам, что сам Юлиан Семёнов помогал ей перетаскивать с места на место её многочисленную поклажу.

Флотская «покупка»

Вечерело. Свободные от вахты собрались в кают-компании теплохода и занимались «травлей», то есть рассказывали всё, что взбредёт в голову. Я вспомнил посещение в 1974 году итальянского города Венеция на теплоходе «Нефтерудовоз-9», на котором мне довелось в ту пору работать, и решил рассказать забавную историю, происшедшую со мной при покупке женских колготок. А надо сказать, что тогда, в эпоху так называемого «развитого социализма», у нас колготки можно было достать (именно «достать», а не купить) только по великому знакомству с торговыми работниками, да и то не всегда.

Порт, в который мы пришли, был не сама Венеция, а Маргера, от которого до Венеции надо было ехать автобусом минут пятнадцать-двадцать по какой-то дамбе, что я и сделал. Приехав в Венецию, мне прежде всего надо было поменять доллары на итальянские лиры. Сделать это можно было в любом банке. Войти в банк, возле которого стоял карабинер, итальянский полицейский, можно было через стеклянную дверь, но она была закрыта. Чтобы она открылась, надо, как мне показал карабинер, нажать зелёную кнопку. Я нажал. Дверь распахнулась, и я, держа в руках мужскую сумочку-визитку, вошёл внутрь, как оказалось, шлюзового пространства. Следующая дверь, ведущая в банк, тоже была стеклянная. Но она почему-то не открывалась. Я стою и жду, когда она откроется. Поскольку обе двери были прозрачными, я стоял в шлюзовом пространстве видимый и со стороны улицы, и со стороны банка. Но нужная мне дверь не открывалась. Вдруг

во вмонтированном в потолке динамике диктор на итальянском языке что-то проговорил, после чего открылась дверь, ведущая на улицу. Я вышел, подумав, что нажал не ту кнопку. Внимательно посмотрев, я нажал именно зелёную кнопку. Дверь распахнулась, и я опять вошёл внутрь шлюзового пространства. Всё повторилось. Дверь в банк не открывалась, диктор что-то сказал на непонятном мне языке, открылась наружная дверь, и я вышел на улицу. Стою и в недоумении гляжу на дверь. Ко мне подошёл карабинер и показал на сумочку-визитку, которую я держал в руках. Я понял, что дело именно в ней. Карабинер показал мне на ящики-ячейки, куда я и положил свою визитку и взял от ячейки ключ. Теперь я свободно попал в банк и совершил нужную мне операцию по обмену валюты.

Имея в кармане итальянские лиры, я пошёл покупать колготки.

Присмотрев в одном магазине нужный мне товар, я обратился к продавщице по-русски продать мне колготки. Естественно, она меня не поняла. Я обратился к ней по-английски:

— I want to buy from you the tights for woman, for my wife. The tights, the tights[6].

Безрезультатно! Английский язык продавщица не знает. Я стал ей рисовать на бумажке, но у меня это плохо получалось. Понять она меня не может. Так я довольно долго объяснял ей, что мне от неё надо. Наконец, когда я нашёл их на витрине и показал ей, она поняла и громко произнесла:

— А-а, madam kalsoni!

Я закивал головой:

— Да, да! Yes, yes! Madam kalsoni, madam kalsoni!

Кто бы мог подумать, что «кальсоны» по-итальянски — это «колготки».

Так мы, наконец, поняли друг друга, и я привёз жене нужный подарок.

Вообще, я заметил, что, не в пример другим странам и народам, итальянцы не в ладах с английским языком. Так, когда мне надо было возвращаться на судно, я долго не мог найти автобусную станцию, откуда автобусы ходят в Маргеру. У кого бы я ни спрашивал по-английски, как найти автостанцию, никто меня понять не мог. Наконец, я решил обратиться к двум девочкам школьного возраста, полагая, что они изучают английский в школе. И не ошибся. Они меня поняли и внятно всё объяснили.

После меня и другие рассказывали забавные истории, случившиеся с ними. Запомнился рассказ старшего механика Евгения Ивановича Полушкина.

Будучи ещё студентом второго курса института, гулял Женя с девушкой Олей в городском парке в период экзаменационной сессии. Оля тоже была студенткой и в это время сдавала экзамены. Она рассказала Жене, что только вчера она успешно сдала экзамен по ненавистной ей начертательной геометрии. Принимал экзамен добродушный старичок, похотливым взглядом посматривающий на молоденьких студенток.

Учитывая это, Оля при ответе на билет подошла к экзаменаторскому столу в мини-юбке (специально надетой) и кокетливо сказала, что если она не получит положительную оценку, то она прямо сейчас выпрыгнет из окна с шестого этажа. Старик-экзаменатор что-то просюсюкал ей в ответ, умилённо посмотрел на Олю, как кот на сметану, и в результате она получила четвёрку

Женя, конечно, воспринял её рассказ как шутку. Но всё же, движимый каким-то непонятным чувством, на очередном экзамене, который принимала довольно пожилая женщина, решил пошутить и сказал ей, что если она сейчас не поставит ему хотя бы тройку, то он незамедлительно выпрыгнет из окна аудитории на пятом этаже. Пожилая женщина-экзаменатор отложила в сторону свои бумаги, сняла очки и несколько секунд смотрела на Женю. Затем она встала, подошла к окну, распахнула его и, указывая указательным пальцем вытянутой руки на улицу, гневно сказала:

— Валяй! Быстро! Чтобы я видела!

В результате Женя был отправлен на переэкзаменовку.

Было совсем темно, когда я поднялся в ходовую рубку. Стояла тёплая звёздная летняя ночь. С правого крыла ходовой рубки я увидел в небе созвездия Большой и Малой Медведиц и обратил внимание на то, что Полярная звезда находится точно по правому траверзу[7]. Войдя в рубку, я сказал:

— Сейчас мы идём курсом двести семьдесят градусов. Допускаю отклонения плюс-минус пять градусов.

Рулевой включил освещение компаса, и все, кто находились в рубке, увидели, что наш курс был двести семьдесят один градус.

— Эх! Как это вы так точно смогли определить курс без компаса? — раздался удивлённый возглас.

— По звёздам, — ответил я. — Надо знать мореходную астрономию.

Между тем теплоход шёл вниз по Воткинскому водохранилищу Камы, час назад пройдя пристань Оса. Взглянув на светящийся циферблат часов, я заметил, что время было половина второго. На вахте, кроме рулевого, стоял капитан теплохода Челпанов.

Ещё когда было светло, то было видно, что на реке довольно часто встречаются любители-рыбаки, которые на своих резиновых лодках стояли

[6] Я хочу купить у вас женские колготки для моей жены. Колготки, колготки.

[7] Траверз — направление, перпендикулярное курсу судна.

очень близко к судовому ходу, что изрядно отражалось на нервах вахтенных судоводителей: не ровён час, кого и «задавить» можно. Об этом мы поговорили с капитаном.

— Путаются здесь,— сказал он.— Было светло, так здесь много было рыбацких лодок. Того и гляди, кого-нибудь утопишь, чёрт бы их побрал. Ни судоходная инспекция, ни водная милиция их не гоняют.

— Что касается милиции,— ответил я,— то наземная нисколько не лучше водной.

Так мы и шли вниз по Каме, гружённые по самую верхнюю ватерлинию. Осадка теплохода была настолько глубокой, что якоря, торчавшие в клюзах, почти достигали поверхности воды. Иногда мы расходились левыми бортами со встречными судами, идущими вверх по Каме, обмениваясь с ними импульсными отмашками. Всё шло своим чередом.

Постояв немного в рубке, я спустился в свою каюту. Лёг спать. Завтра предстоял рабочий день: проводить занятия с курсантами училища, проходившими на теплоходе групповую плавательскую практику. Пытался уснуть, но сон почему-то не шёл. Я стал читать книгу. Читал долго, а сон так и не шёл. Наконец, устав читать, я встал и поднялся в ходовую рубку.

Рассвет уже вступил в свои права. Время на часах и показания компаса можно было прочитать без освещения. Облака приобрели розовый оттенок, что предвещало скорый восход солнца. От реки тянуло приятной утренней свежестью.

В рубке находились матрос Пучков, стоявший на руле, и старший штурман Николай Сидоров. Капитан Челпанов отдыхал в своей каюте после вахты. Теплоход продолжал движение, осуществляя расхождение со встречными судами, с которыми, кроме импульсной отмашки, штурман Сидоров обменивался кое-какими фразами по ультракоротковолновой связи.

Совсем рассвело, когда я собрался спуститься в каюту, как вдруг услышал, что нас по УКВ вызывает встречный теплоход. Сидоров ответил на вызов, и все находящиеся в рубке услышали, как вахтенный судоводитель встречного судна сказал:

— Что у вас за человек сидит на якоре?

— На каком ещё якоре? — говорит Сидоров.

— На правом,— отвечает судоводитель встречного судна.

Сидоров ответил:

— А у вас, посмотри внимательней, кто-то чай пьёт на клотике.

На этом разговор прекратился. Я и Сидоров обменялись недоуменным взглядом.

— Шутит мой коллега,— обращаясь ко мне, сказал Сидоров.— Знаем мы такие шутки.

— Да нет, здесь что-то не так,— ответил я.— Я знаю все флотские «покупки». Знаю, как на клотике чай пьют, знаю, как кнехты осаживают, якоря точат, шапку дыма дают, а такого, чтобы на ходу судна вблизи форштевня на якоре человек сидел… Такого я ещё не встречал!

Не успел я договорить, как нас на связь вызвал следующий встречный теплоход:

— «Ядрин», у вас на якоре человек сидит.

— Что за чертовщина?! — выругался Сидоров.— Пучков, пойди и посмотри, что там такое,— послал он рулевого, а сам встал на руль.

Я пошёл вместе с Пучковым посмотреть на «чертовщину».

На полубаке Пучков и я перегнулись через планширь[8] фальшборта и увидели странную картину. На лапах слегка приспущенного правого якоря, крепко двумя руками обняв веретено, стоял человек. Его ноги постоянно омывались встречным буруном. Он смотрел вниз и не шевелился.

— Эй! Мужик! Как ты туда попал и что там делаешь? — крикнул Пучков.

— Помогите! — слабым хриплым голосом ответил стоящий на якоре человек, не поднимая головы.— Я больше не могу. Сейчас упаду. Помогите!

— Сейчас поможем,— ответил Пучков.— Потерпи немного. Доложу начальству.

И Пучков побежал в рубку.

Вызвали капитана. Челпанов моментально поднялся в рубку и остановил движение судна, задним ходом погасив инерцию. Для снятия человека с якоря спустили шлюпку. Но снять его было непросто: у него не разжимались пальцы, и сам он стоял как каменный, не мог пошевелить ни одним членом. Пришлось силой разжимать его пальцы, осторожно снимать с якоря и укладывать в шлюпку. Так же с осторожностью подняли его на борт и положили в свободную каюту. Больше часа он ничего вразумительного сказать не мог.

Дали ход, и теплоход продолжил рейс.

Наконец вынужденный пассажир стал понемногу приходить в себя и рассказал, что с вечера рыбачил на резиновой лодке около судового хода. Мимо проходили суда, но он не обращал на них внимания, увлёкшись хорошим клёвом. Уже стемнело, когда он с ужасом увидел нос надвигающегося на него большого судна. Далее он не мог объяснить, как перевернулась его резиновая лодка и как он ухватился за якорь и забрался на него.

— Так, значит, ты несколько часов сидел на якоре? — спросил его капитан.

— Всю ночь,— ответил горемычный рыбак.— Измучился вконец. Не знаю, что теперь со мной будет. Что делать?

— Что будет? Что делать? — вторит ему капитан.— Отдохни пока, чайку попей. А через четыре часа мы будем проходить Чайковский шлюз. Там и сойдёшь на берег. А если хочешь, мы тебя здесь шлюпкой высадим на берег.

— Нет, нет! — отвечает рыбак.— Я лучше отдохну до шлюза и там сойду, а то у меня сил нет.

[8] Планширь — перила фальшборта.

Вскоре теплоход вошёл в Чайковский шлюз, и наш пассажир сошёл на берег. Он ещё долго махал нам рукой, когда мы вышли из шлюза и продолжили рейс.

Кавказское гостеприимство

Зимой 1973–1974 года мне довелось плавать в бассейне Чёрного моря на теплоходе класса «река — море» «Нефтерудовоз-9». Суда этого типа строил в Перми судостроительный завод «Кама». Замечательные, надо сказать, суда эти нефтерудовозы. Хорошая управляемость, высокая мореходность, отличные бытовые условия для экипажа. Суда оборудованы всем необходимым, включая радиолокатор и авторулевой. О таких спутниковых навигационных системах, как GPS, в то время мы ещё и не слышали.

Рейсы мы совершали по всем портам Чёрного и Азовского морей. Заходили и в крупные черноморские порты, и в небольшие, такие как Геническ на Азовском море и Скадовск на Чёрном. Заходили даже в искусственно соединённое с морем озеро Донузлав, находящееся у западного побережья Крымского полуострова, к северо-западу от Евпатории. Возили разные грузы. Возили и металл, и руду, и мазут, и даже песок.

Однажды подходили мы ночью к озеру Донузлав. Видимости не было никакой. Валил густой снежный заряд, создающий помехи радиолокатору, из-за чего он стал бесполезен. Мы шли порожними, а потому эхолот тоже показывал «погоду», так как при малой осадке под его вибраторами проскальзывал воздух. Определить место судна не было никакой возможности. Чтобы уменьшить риск напороться на подводные скалы, я уменьшил ход. Чисто интуитивно я подавал команды рулевому: право десять градусов по компасу, лево двадцать и так далее. Чувствуя, что мы где-то близко от входа в Донузлав и что дальше идти опасно, я решил до улучшения видимости встать на якорь. И встал.

Через несколько часов рассвело, и снежный заряд прекратился. Видимость стала отличной. Каково же было наше всеобщее радостное удивление, когда мы увидели, что стоим на якоре возле самого приёмного буя в Донузлав. Вот так штука! Такую точность постановки на якорь можно было ожидать только при тщательном ведении навигационной прокладки в хорошую видимость и частых определениях места судна.

Через несколько лет, когда я уже работал преподавателем морских дисциплин в Пермском речном училище, я при случае рассказал об этом профессору Пермского пединститута, доктору педагогических наук Шварцу, лекции которого я слушал в университете педагогических знаний при Пермском политехническом институте. Лекция была посвящена интуиции. Выслушав меня, профессор сказал, что в основе моей интуиции при подходе к месту якорной постановке судна лежали, конечно, глубокое знание навигации и опыт судовождения.

Порт Скадовск, находящийся в северной части Киркинитского залива Чёрного моря и прикрытый песчаной косой, зимой замерзает. При выходе из Скадовска и ещё не выйдя из акватории, прикрытой этой песчаной косой, наш нефтерудовоз был затёрт льдами. Да так крепко, что не мог двигаться ни вперёд, ни назад. Чтобы вырваться из ледового плена, почти вся команда вышла на лёд, чтобы ломами и пешнями обкалывать лёд вокруг судна. Машина работала на задний ход, но теплоход не двигался. Обкалывали лёд довольно долго. Старший механик, Александр Александрович, тоже работающий на обколке льда, подошёл по льду к форштевню корабля и со словами:

— Ну что же ты стоишь? — похлопал по нему ладонью.

Только он это сделал, как теплоход двинулся назад. Все бегом по льду стали догонять теплоход и подниматься на борт. Обошлось без ЧП. Судно вырвалось из ледового плена и вышло на чистую воду.

— Давно бы тебе надо, Сан Саныч, похлопать по форштевню,— говорили почти все, обращаясь к стармеху.— А то мы битый час обкалывали лёд, а дело-то, оказывается, вон в чём! В хлопке ладонью по форштевню!

Развеселившись происшедшим, команда дружно занялась своим делом, и мы продолжили рейс.

Очень часто нам приходилось заходить в грузинский порт Поти. Заход в этот порт относительно сложный. Надо войти в гавань, где стоят военные корабли, а уж из неё заходить в гавань для торговых судов. Всё это было сопряжено с несколькими поворотами и движением задним ходом. В этом и заключалась сложность.

Как-то в конце декабря, в преддверии нового 1974 года, пришли мы на внешний рейд порта Поти и легли в дрейф в ожидании лоцмана. Ждать пришлось очень долго. По ультракоротковолновой связи связались с диспетчером, который только и обещал, что лоцман скоро будет, но проходили часы, а его всё нет. Я решил войти в порт самостоятельно, без лоцмана, тем более что из-за многократного посещения Поти я хорошо знал вход в него. И вошёл. Вошёл удачно, безинцидентно. Уже стали открывать крышки люков, готовясь к разгрузке, уже комиссия, состоящая из пограничных, таможенных и санитарных властей, готова была взойти на борт, как вдруг вижу — по причалу бежит взволнованный грузин-диспетчер и гневно кричит:

— Уходы на рэйд. Бэри лоцман, заходы!

— Ты что? — отвечаю.— Как можно? Я уже ошвартовался.

— Уходы, тэбэ говорят! — не унимается диспетчер.— Бэри лоцман, заходы!

— Послушай, кацо,— говорю я ему,— не дури. Давай лоцманскую квитанцию. Я подпишу.

Диспетчер дал мне квитанцию лоцманской проводки. Я её подписал и поставил судовую печать, чем засвидетельствовал, что лоцманская проводка была. Умиротворённый таким оборотом дела, диспетчер покинул «поле брани» и ушёл восвояси.

На борт судна взошла комиссия по оформлению прихода. В комиссию, как всегда, входили пограничники, таможенники и санитарный врач. Санитарный врач, грузин с институтским ромбиком на лацкане пиджака, поинтересовался, где мы заправлялись пресной водой, где принимали продукты, есть ли на судне больные и прочее. Осмотрев пищеблок, кладовую продуктов и увидев, что у нас есть куриные яйца, попросил продать ему за наличный расчёт два-три десятка яиц. Его просьба меня не удивила, так как это была эпоха «развитого социализма», а значит, эпоха сплошных дефицитов. Я только спросил его:

— Что, у вас в городе яиц нет?

— Нет, — ответил врач. — Давно уже нет.

На следующий день я вышел в город. Дни стояли предновогодние, и в городе по копеечным ценам в магазинах и киосках продавались мандарины. Мне захотелось купить несколько килограммов мандаринов и отправить посылку с ними в Пермь своим родственникам, в город, в котором в эту самую эпоху «развитого социализма» их днём с огнём не найти.

Однако мне было известно, что по постановлению местных властей вывоз из Грузии цитрусовых, а следовательно, и отправка их почтой запрещены. Значит, отправить посылку из Поти я не мог. Но нас грузили на Керчь. А Керчь — это не Грузия, и я решил купить мандарины и отправить посылку из Керчи.

Купив килограммов пятнадцать мандаринов, я набил ими две хозяйственные сетки и в двух руках понёс их в порт. При подходе к проходной порта я встретил несколько человек из нашего экипажа, которые мне сказали, что в порт с мандаринами меня не пропустят. В шутку они мне сказали, что видели, как на проходной у них на глазах заставили одного человека, пытавшегося пронести несколько килограммов мандаринов в порт, съесть их все до одного прямо на проходной.

Что делать? Не через забор же проникать в порт! И я робко направился в проходную порта.

Только я вошёл в проходную, как вахтёр, рослый грузин, остановил меня вытянутой в мою сторону ладонью:

— Нэлза! Контрабанд!

Я взмолился:

— Послушай, кацо! Ну какая контрабанда? Скоро Новый год! Несу для своей же команды к праздничному столу. Разреши пронести на судно.

Вахтёр заулыбался, похлопал меня по плечу и говорит:

— Прахады, дарагой! Кушай на здоровье!

Я торжествовал.

На другой день я возвращался из города пустым. Рядом с проходной была столовая, где можно было попить пива. Невозможная мечта для Перми того времени. Если в пермских пивбарах и можно было, отстояв очередь, выпить кружку пива, то непременно с какой-нибудь кашей в придачу.

Желая выпить кружку пива, я зашёл в столовую. Столовая была пуста, и только в дальнем углу за одним столиком сидели четверо грузин и о чём-то разговаривали. За прилавком, где в разлив продавалось пиво, стоял изрядно крупный грузин с эдакой сытой физиономией. Очереди не было.

Я подхожу к прилавку и хочу заказать кружку пенного напитка. Продавец через мою голову о чём-то по-грузински громко разговаривает с одним человеком, сидящим за тем единственно занятым в дальнем углу столиком. О чём они говорят, я, естественно, не понимаю. Закончив разговор, продавец наливает кружку пива и подаёт её мне. Я достаю деньги, чтобы расплатиться, но продавец говорит мне по-русски:

— Дэньги нэ надо!

— Как это не надо?! — не понимаю я. — Почему не надо?

— Садысь, пэй. Дэньги нэ надо, — говорит продавец.

— Как это вдруг у вас тут пиво бесплатно дают? В чём дело? Я, может быть, вторую кружку захочу.

— Садысь, тэбэ говорят. Пэй сколько хочешь. Угощают тэбя, — отвечает продавец. — Пэй!

Так ничего и не поняв, я сел за свободный столик и стал медленно потягивать пиво.

Вдруг я увидел, что тот человек, с которым продавец разговаривал через мою голову, был тем самым санитарным врачом, которому мы продали три десятка яиц. Мне стало понятно, что этот врач сказал продавцу, чтобы он деньги с меня не брал, а он заплатит за меня. Меня, конечно, это очень тронуло. Мы с этим врачом были совсем не знакомы. Единственная наша встреча была при оформлении прихода в порт Поти. Чтобы не ударить в грязь лицом, мне захотелось как-то отблагодарить санитарного врача за столь любезное гостеприимство, и я, дождавшись конца их беседы, подошёл к нему. Поздоровавшись, я предложил ему пойти со мной в город под тем предлогом, что я города не знаю и прошу его побыть моим гидом. На самом деле я хотел где-то посидеть с ним за бутылкой грузинского вина. Он согласился, и мы пошли в город.

Чудеса грузинского гостеприимства продолжались. Мы заходили в несколько кафе, несколько раз заказывали вино, но ни разу мне не удавалось заплатить. Как только я порывался это сделать, он останавливал меня словами:

— Ты гость здэсь. Вот я приэду к тэбэ, ты будэшь платить. А здэсь я плачу.

На судно я пришёл в «приподнятом» настроении.

Николай Толстиков

Другая страна

Это жуткое слово — «рэкет»

Молодая женщина, которой на её требовательный звонок открыли дверь, явно тянула на супружницу «нового русского» среднего пошиба. Длинноногая, в облегающем точёную фигурку ярком импортном спортивном костюме, с тщательно наложенным на лицо макияжем, со стриженым бобриком крашеных волос на голове, дама бесцеремонно ткнула пальцем с длинным холёным ногтем прямо в грудь Сане Колыхалову:

— Вы хозяин?

От изумления разинувший рот до ушей Саня было кивнул, но тотчас скосил глаза на выглянувшую из ванной, где поуркивала стиральная машина, жену. И засмущался почему-то её невзрачного вида — растрёпанной головы, грязного, надетого на грузное, потерявшее прежние формы тело халата, босых, с натоптанными до черноты пятками, ног.

Впрочем, незваная гостья уже отодвинула Саню в сторонку, как бесполезный предмет, и, впиваясь немигающим взглядом в близорукие растерянные глаза Саниной «половины», напористо заговорила о таком, что супруги Колыхаловы не знали, что им и делать — стоять или падать.

— Ваш сын — рэкетир! С моим мальчиком Володичкой Мороковским они учатся в одном классе. Володичка ранимый, впечатлительный ребёнок, тихий, и, представьте, ваш… — личико дамочки перекосилось то ли от отвращения, то ли от ужаса.

Каким-нибудь ещё паскудным словом она всётаки сынка Колыхаловых больше не обозвала, но будто пришибленным супругам поведала, что их разлюбезное чадо сумело вытрясти из её отпрыска несколько сотен «зелёненьких». Складывала, мол, денежки в кубышку на подарок дорогому Володичке в день рождения, а пришлось бедняжке «заначку» мамкину обчистить и всю отдать. Хорошо хоть вовремя мать спохватилась… Понимает, что Колыхаловы — люди небогатые, и даёт поблажку: через неделю должок вернуть, и тогда не дойдёт ни до милиции, ни до судов, ни до ещё чего…

Дама укатила на красной пузатенькой иномарке, а Саня, проводив её из окна унылым взглядом, навис своей долговязой фигурой над сыном и с выразительным щелкотком запохлопывал сложенным вдвойки ремнём себе по ноге. Пятиклассник Дениска, обиженно надув пухлые щеки, с опаскою втягивал стриженый «шарабан» в плечи, прикрывая ладошками мягкое место.

Всякий раз, когда Колыхалов вынужден был всыпать сынку «горяченьких», раздражало и даже злило его то, что сын — точная копия мамаши, разве что за исключением одного; и часто находились дураки подначить, видя вместе отца с сыном: дескать, не тороватого ли соседушки произведение? Саня сатанел, а языкастые сомневающиеся острословы торопливо-трусливо открещивались: шуток, что ли, не понимаешь? Успокаивала вера в примету: если сын на мать похож как две капли, значит, счастлив будет.

И опять — много ещё чего бесило, рвало душу… К своим сорока годам Колыхалов ясно и безнадёжно понимал, что в жизни ничего путного, к чертям собачьим, не добился. Пялил глаза с телячьим восторгом вслед бегущим высоко в небе облакам, сам барахтаясь беспомощно в луже. В большом и шумном областном центре он теперь часто тосковал по крохотному родному городишке, где в юности труждался «литрабом» в сельхозотделе районной газетёнки. А тогда, наоборот, тянуло в большие далёкие города неудержимо. Но кому там он, Саня-Санёк, нужен? Без него таких полно!

И всё-таки Колыхалов обманул судьбу — в областную «молодёжку» он накатал письмецо-вопль: в жутком одиночестве, мол, девки, молодой и интересный, пропадаю!

Девчонки откликнулись, в редакции Сане вручили целую папуху писем. Разбирал почту он основательно: на крашеных изнеженных лярв не бросался, нашёл тихую и скромную, парнями не затасканную, да ещё и с квартиркой.

После свадьбы Колыхалов пристроился работать в заводской многотиражке и скоро там скис. В деревне-то от люда почтение немалое бывало: эко дело — корреспондент приехал! Иной трудяга за бутылочкой да на природе, гордясь обществом — газетчик повыше любого начальства будет! — изливал душу до изнанки, а тут, в заводских цехах, народ озабочен, сердит, не шибко разговорчив, отмахивается от тебя как от надоедливой мухи, и если уж прорвёт кого, то вроде ты, писака, и виноват во всех неустройствах и катавасиях!

Однажды съёженного после очередной пробежки по цехам Саню пожалел заглянувший на минутку в редакцию «сбачить картинки» земляк Алёшка-художник:

— Штаны без толку протираешь! А какие очерки раньше писал! В тебе, брат, писатель загибается, в «подтирашке» этой тебе каюк!

О том, что существует такой земеля Алёшка, Колыхалов только здесь и узнал: художник давненько покинул городишко, но, видать, изредка наведывался на «пленэр», особо своё появление в родных пенатах не афишируя. Творческий труд он успешно совмещал со сторожевой службой во вневедомственной охране и, ероша чёрную с проседью бородищу, изрекал глубокомысленно:

— Зато не отправят на БАМ!

Он и сманил Саню в «ночные директора»: броди себе, глазей на звёзды в небе, шевели мозгами. Чем не лафа для пишущего человека?!

Молодая жена поворчала на грядущее малоденежье, но смирилась: кто знает, может, с гением рядышком спит.

Сторожить стал Колыхалов гараж турбазы на берегу реки — десяток автобусов на площадке, обнесённой дырявым забором, и несуразно слепленную из кирпичей коробку мастерской, в уголочке которой, отгороженном от прочего стеночкой из изоплиты, коротал ночи, растянувшись на лавке возле пышущей жаром батареи. Охрану несли две дворняжки: если что, то они заливались звонким лаем, и Саня, продирая кулаками глаза, выбредал на волю.

Время было ещё тихое, как «цветущая» вода в стоялом омуте, ворьё не донимало, шоферня что украсть друг у дружки могла и днём; оставалось остерегаться проверки милицейского начальства, но спящим на посту Колыхалов застигнут не был, и вскоре выпихнули его, молодого и длинноногого, бригадиришком. Предстояло ему верховодить полусотней стариков и старух, ещё боевых, но и с сыпавшимся вовсю из одного места песочком. В ночную пору надо было бодрою рысцою оббежать десятка два постов, а где и заменить выбывшего по болезни, но чаще по пьяни «орла» или «орлицу». Выгнать нарушителя дисциплины бригадир не мог: и «кадры» тогда на дороге не валялись, и в кого из бригады пальцем ни ткни — обязательно ветеран какой-нибудь. Передвигается чуть ли не ползком, а всё равно на пост добраться норовит — службу нести. «Без работы мне каюк!»

Старики, поругивая затеявшуюся чехарду магазинных цен и правителей, поминали Сталина как бога, грезили, жили своим прошлым. Колыхалов, внимая рассказам, раззявя рот, сам не заметил, как дома только и стал говорить о временах, когда его самого и «в проекте» ещё не было. Он с восторгом пересказывал стариковские байки, не раз и по одному и тому же месту, что жене надоело.

— Ты же в чужом прошлом живёшь! Нас для тебя как и нет! — вспылила она.

Накануне еле собрали сына Дениску в школу на новый учебный год: у жены на работе задержали зарплату, а на Санины бригадирские много не разбежишься. Супружница, видать, окончательно отчаялась сидеть на одной картошке и дожидаться от Колыхалова гениальных строк и бешеных за них гонораров, язвила без пощады:

— Ты, как улитка, в раковину хочешь упрятаться, и притом — чужую! Только — без рогов! Пока…

Кто знает, Саня бы, может, и унырнул, да не получалось!..

Всякие конторы, базы, склады теперь именовались по-новомодному — фирмами и офисами, благообразных старичков хозяева скоро оттуда попёрли, заменив их крепкими, мускулистыми парнями и мужиками в камуфляже. От услуг вневедомственной охраны отказывались так стремительно, что Колыхалов — генерал без войска — сам под сокращение угодил.

— Ничего! — встряхнулся он. — Я ещё в газете могу!

Там только его, голубчика, и ждали. Поскольку многотиражки давным-давно издали пшик, Саня сразу направился в редакцию областной газеты. Хлыщеватый парнишечка, облачённый в отутюженный костюм, небрежно пролистнув трудовую книжку, взглянул на просителя, снисходительно ухмыляясь:

— Господин Колыхалов, вы жили и в газетчиках состояли в одной стране, а теперь страна уже другая. Тут не только перестраиваться — перерождаться нужно! И это вам не о доярках и механизаторах писать…

Отфутболенный, Саня уныло побрёл по улице и на перекрёстке едва не угодил под колеса «навороченного» джипа. И что обидно: хоть бы просигналили, кулаком погрозили через стекло, или б выскочил кто, разразясь матом, а то и оплеуху бы отвесил, — нет, прокатили, не сбавляя скорости, как мимо пустого места, ладно хоть не прямиком по нему. Но всё равно — и под колёса не попал, а как раздавили…

Колыхалов, словно ослепнув, шёл, натыкаясь на встречных прохожих, и очнулся, только когда кто-то, с кем он столкнулся и вовсе лоб в лоб, воскликнул радостно и недоуменно:

— Сколько лет, сколько зим!.. Ты не пьян ли с утреца?!

Алёшка-художник!

Не признался бы сам, так и не узнать бы его. Всё бегал в затрапезном куцем пиджачишке, а тут — при фирменном «прикиде», вдобавок — башка обрита: волосёнки чуть заметным ёжиком топорщатся вместо пышных кудрей до плеч. Борода лишь прежняя, помелом, осталась.

Узнав про колыхаловскую нужду-печаль, Алёшка тут же выдал неожиданное предложение:

— А иди-ка опять сторожишком пока. Место подскажу. При церкви. Я и сам там фрески под куполами подмалёвываю. Не то чтоб халтура, нет, картинки мои теперь за «бугор» свободно идут, и не трясись, что как тунеядца на БАМ отправят. Для души стараюсь…

Саня сначала оторопел, потом возмутился было, но… покорно поплёлся за художником следом, попутно косясь на толпу перед зданием «биржи труда». Он побаивался разговаривать с настоящим живым попом, не ведал, с какого боку подойти, но это не понадобилось. Из домика возле храма выглянул пожилой мужичок — староста, спросил у Алёшки про Колыхалова:

— Человек надёжный? — и после утвердительного кивка одним безработным стало меньше.

Служебные обязанности Сани были всё те же: после того, как бабуля-смотрительница закроет храм на замок, ходи себе с колотухой под стенами и поглядывай, чтоб какой-нибудь злоумышленник-безбожник через металлическую сетку, натянутую на столбах вместо ограды, не сиганул, да поёживайся, памятуя, что под ногами древний погост.

Ранним утром вслед за той же смотрительницей Колыхалов заходил в храм и робко топтался в притворе, с любопытством разглядывая всё и чувствуя себя как в музее на экскурсии.

Лоб не умел тогда толком перекрестить, а минуло времечко — и теперь сам удивлялся, что бы без церкви и делал… Саня готовился к посвящению во диаконы, и накануне — надо же — так родной сынок подкузьмил.

Лишний рот

Памятнику кто-то в последние времена подсоблял разваливаться. Исподтишка, но настойчиво. Расседались всё глубже трещины на постаменте, швы между составными частями скульптуры тоже всё больше расходились, будто злоумышленники расковыривали их монтажкой.

Памятник стоял в глубине разросшегося одичавшего сада, берёзки и тополя, ели и сосны заслоняли его от людских глаз. Только раз в году, весною, когда на ветвях деревьев лопались первые почки, народ сходился сюда на митинг, возлагал к подножию простенькие венки с бумажными цветами. И до следующего мая в сад забегала лишь вездесущая пацанва да забредали озирающиеся выпивохи, хоронились в высокой траве и там же, после возлияния, блаженствовали.

Однажды в дальнем углу сада забурчал, копая котлован, экскаватор, потом, заливая фундамент под дом, завозилась бригада приезжих работяг. Стены из кирпича класть начали.

Люд в городишке, в последние времена пришибленный безденежьем, безнадёгой, враньём из телевизора и палёной водкой, мало чем интересовался, разве что кто ещё смог позавидовать дельцам-торгашам, да и тот, вздохнув удручённо, махнул рукой, когда узналось, что это — Мороковские родовое гнездо затеяли строить! Кто такие — известно: один брат лесом приторговывает, весь бизнес в Городке «крышует»; остальные братаны пусть и не дома, но в чужих краях тоже заплаты на последние портки не подшивают. Но круче всех папаша — у самого губернатора в советниках по сельскому хозяйству ходит!

Только Василий Васильевич Колыхалов, или попросту Васильич, бывший главбух, а ныне просто пенсионер, проковыляв на больных ногах мимо будущего «гнёздышка» и в тени под деревцем переводя дух, не возгорал завистью, его иное тревожило. Подмечал он: чем выше подрастали стены особняка, тем ещё больше разваливалась скульптура, накренивалась набок, готовая вот-вот рухнуть. Прежде Васильич всегда неторопливо обходил памятник вокруг, внимательно к нему приглядываясь, но вот сад внезапно обнесли оградой из железных прутьев, и в неширокий прогал в ней стало неловко заходить — всё равно что в чужое имение вторгаться.

Васильич и в этот раз постоял тут, не решаясь войти, вздохнул и поковылял прочь.

Из кузова автолавки на крохотном базарчике-пятачке в центре Городка торговали куриными яйцами. Яички фабричные, невзрачные, почти вороньи, но зато дешёвые — и очередь за ними змеилась будь здоров! Под настороженными и даже враждебными взглядами Васильич несмело стал пробираться в начало очереди, где топтались ветераны войны.

— Василь Васильич, подруливай к нам, «недобиткам»! Не ссы, прорвёмся! — приветствовал Колыхалова старичок навеселе.

Когда-то он в «шараге», где Васильич работал главбухом, плотничал, ничем особо не выделялся, и мало кто знал, что в войну дошёл до Берлина.

Колыхалова ветераны считали своим: инвалид и по годам им ровесник, — но только вот не был Васильич на фронте. Обо всём этом вспоминать он не любил, разве что сыну иногда за редкой стопкой водки рассказывал…

— …Печальник твой! — показывая матери родившего сына, вздохнула бабка-повитуха и как в воду глядела.

Стоило только ему, уже подростком будучи, оторваться от родительского дома — и пошло-поехало…

Ваську вместе с оравой таких же деревенских, сопливых ещё, парнишек выгрузили из теплушки на путях сожжённой дотла станции; озирающихся испуганно, жмущихся друг к дружке ребят местные тотчас окрестили «телятами». После ровной, глазом не за что зацепиться, степи перед пацанами громоздились обугленные развалины большого города на берегу Волги. Ребят разместили на житьё

в уцелевшем доме; им предстояло ломами и кирками расчищать территорию бывшего тракторного завода.

Пока стояла тёплая долгая осень, было ещё сносно, но когда резко накатило предзимье с пронизывающими до костей суровыми ветрами, не смогли спасти ребят истрёпанная одежонка и разбитая обувка, стало совсем худо. Васькиным отрядом руководствовала властная пожилая тётка. Она сразу же у своих «телят» собрала хлебные карточки, выдавала хлеб по норме, и ребята, хоть и вечно голодные, держались на скудных пайках. В других отрядах, получив карточки на руки, пацаны то пропили их, то потеряли, а то и кому вор в карман залез. Через некоторое время такие доходяги — из стороны в сторону ветром мотает, поглядывая на встречных жадными умоляющими глазами, едва брели на работу. Однажды услышал Васька от своей бригадирши, когда где-то в развалинах опять громыхнула затаившаяся мина:

— Отмаялся какой-то бедолага… Может, так-то и лучше, чем от голоду. Прости, Господи, меня, грешную!

Ваську и хлебная «пайка» не уберегла: с «белыми мухами» он, вроде тех доходяг, еле потащил ноги, а вскоре и вовсе слёг. Бригадирша добилась, чтобы его осмотрел доктор. Добродушный старикан стукнул парнишку деревянным молоточком по пятке, и гаснущим от дикой боли сознанием Васька успел уловить жестокие слова:

— Костный туберкулёз. Если выживет голубчик, то на всю жизнь инвалидом останется…

Васька и верно через год, после госпиталей, возвращался домой на костылях.

На дорожной развилке с горем пополам выбравшись из кузова попутки и глядя на череду припорошённых первым снежком остроконных крыш домов родной деревеньки, вспомнил он не мать и отца, сестру или братьев, а соседскую девчонку…

Позапрошлой ещё весной Васька вознамерился раскисшей уже тропинкой перебежать по льду на другой берег реки и не заметил, как ухнул в промоину. Неподалёку соседская девчонка помогала матери полоскать в проруби бельё. Она не растерялась, не заголосила испуганно, как мать, а ползком подобралась к барахтавшемуся беспомощно в воде Ваське и протянула ему длинную суковатую «полоскалку». А там и подмога из деревни подоспела…

К тому давнему купанию злые сталинградские ветры хворобы и добавили.

Васька, миновав соседний дом и больше всего желая не попасться кому-либо на глаза, доковылял до родного дворища.

На слабый стук отозвалась настороженно мать: смеркалось, и Бог весть, с добром или худом кто мог пожаловать.

— Кто, крещёный?!

— Ночевать пустите? — Васька не узнавал своего сдавленного, совсем чужого голоса.

— Да у нас все лавки заняты.

— Неужто все? Может, кто-то и не дома?

— А и верно… Младшенький вот где-то обретается.

Звякнула задвижка засова на двери; мать прижалась к сыну:

— Васятка!..

С утра пораньше потянулись соседи на вновь прибывшего посмотреть, узнали как-то про него: то ли сноха Евдоха на колодце шепнула, то ли видел кто, как он в сумерках на костылях к дому ковылял.

Старший брат Иван, натянув гимнастёрку с поблёскивающей одиноко медалькой, похаживал по горнице, горделиво разглаживал усы и снисходительно-свысока поглядывал на младшего, спрятавшего от чужих глаз свои костыли и жмущегося пугливо в дальнем уголке за столом. Средний брат Алексей погиб на границе в самом начале войны, а вот Ваню судьба миловала: вместо окопов попал он, как охотник-промысловик, в особый отряд — диверсантов в тайге вылавливать. Попадались они ему или нет — о том он умалчивал, но пострелять белок и куниц, лосей и медведей довелось немало. И с таёжницей-комячкой в лесной избушке Ванька такую жаркую любовь закрутил (много позже сознался в том по пьянке брату), что потом, после Победы возвратясь, с Евдохой, женой законной, ложе разделять стало ему в тягость. Евдоха, пытаясь ублажить долгожданного мужа, ластилась назойливо к нему, крутилась так и сяк, благо свекровушка была туговата на ухо и за занавеской, разделяющей избу на две половины, вряд ли что слышала.

Деверь Васька отсутствием слуха не страдал, на печной лежанке беспокойно-страдальчески ворочался с боку на бок, и от этого, бывало, в самый неподходящий момент летели с печи чьи-нибудь тяжеленные катанки и грохались на пол.

Евдоха робила в колхозе трактористкой, и Васька, ещё до сталинградских степей и своей болезни, крутился возле снохи за прицепщика. Задрипанный тракторишко часто глох, Евдоха заползала под него и что-то там подкручивала гаечным ключом, широко раскинув голые ноги. Васька, бегая вокруг, поневоле подглядывал за нею и стыдливо отводил глаза, засунув кулаки в карманы штанов.

А теперь парень подрос, хоть и инвалид, да не по тому самому делу…

Иван недолго крутил вокруг да около:

— Уезжать на учёбу тебе, Васька, надо. Чтоб потом на чистую работу. А то ни лесорубом, ни трактористом…

Васька и так смекнул, что домашним помехой стал, но ещё горше было другое…

Клуб был в соседней деревне; субботним вечером Васька из окна завистливым взглядом

провожал бредущую по улице шумную ватагу парней и девчонок. Его не забывали: заскакивали в дом ребята помладше.

— Куда я? По сугробам-то…

— Так мы тебя на чунках вмиг домчим!

В клубе, после того как «прокручивали» кино, длинные лавки сдвигали к дальней стене, громоздили их друг на дружку. Народ повзрослей, посолидней расходился по домам, а молодяжка под звуки трофейного аккордеона заводила, как умела, кадриль. Из-за горы лавок Васька опять с завистью взирал на танцующих, вспоминая о закопанных в снег у крыльца костылях и беспокоясь о том, как бы не убежали, позабыв о нём, пацаны с чунками.

Соседская девчонка, та, что вызволила Ваську прошлой весной из речной промоины, подходила к нему, молча стояла рядом, поглядывая из-под ресниц, как казалось Ваське, брезгливо и с жалостью.

— Ты вот что… Зачем я тебе такой? Не подходи больше! — однажды не выдержал он.

Девчонка, вспыхнув, убежала, а потом пацаны, мчавшие на чунках Ваську домой, на улице обогнали её, идущую под руку с рослым красивым парнем…

«Рэмбо»

Кто не слыхал в Городке о Владимире Владимировиче Мороковском! Это такая знаменитость!

До сих пор рассказывали-живописали: стражей порядка Мороковский разделывал, как какой-нибудь заправский Рэмбо. Служебный «уазик» водил он, трезвый или в подпитии, самолично, и, взглянув на номера, вряд ли бы местный самый въедливый гаишник задумал прицепиться — только приключений себе на задницу искать.

Те, «залётные», менты нашли…

Владимир Владимирович ехал на собственной «Волжанке», что до того стояла без дела новёхонькая в гараже. Куда направлялся — никто не ведал, злые языки утверждали, что и по бабам. Ещё — то ли «перебравши» был, то ли детство в одном месте заиграло — погнал несусветно! Но дорогу ему вдруг перегородил милицейский «жигулёнок», и страж порядка без всякого почтения прорявкал:

— Вылезай, приехали! Ваши права!

— Счас покажу! На, носи за бархат!

Здоровяк-сержант полетел ныром в придорожный кювет, следом догнал его и напарник, тоже детина немаленький. В ходе потасовки всё же который-то из ментов добрался до рации в машине, истошно воззвал о помощи, и крутить разбушевавшегося нарушителя помчались со всех сторон наряды…

Происшедшее с Мороковским в народе толковал и так и сяк, добавляли ещё от себя небылицы, и в предвкушении — кто со сладострастным вожделением, а кто и испуганно-изумлённо — ждали: что же будет-то?!

Владимиру Владимировичу после проработок «наверху» влепили наказание вроде почётной «принудки». Отправили, конечно, не общественные нужники чистить или на стройке кирпичи подавать, а вспомнили, что до советской «номенклатурной» работы окончил он сельхозинститут. Вот пусть и потрудится главным агрономом в самом дальнем и отстающем совхозе. Так и «меры приняты», и с глаз долой его, шалуна, и как бы сразу на путь исправления! Даже партийный билет не отобрали…

Начинающий «литраб» районной газеты Саня Колыхалов, собираясь в командировку на посевную в тот самый совхоз, был наслышан обо всём этом и от наставлений редактора хотел бы отмахнуться, но пришлось выслушать их, изобразив на лице самую озабоченную мину.

— Ты там всякие домыслы и сплетни о Владимире Владимировиче в голову не бери! — напутствовал Саню главред по прозвищу Ортодокс, то ли от углублённого изучения основ марксизма-ленинизма, то ли от избытка желчи высохший до перламутровой желтизны человек. — Не забывай, что о коммунисте всё-таки будешь писать! Этакий ведь богатырище…

Редактор многозначительно вознёс перед Саниным носом обкуренный до черноты палец.

Для Сани всё районное начальство было на одно лицо. В какой-нибудь праздник во время демонстрации возвышалось оно на трибуне в одинаковых тёмно-синих костюмах, при строгих галстуках, с надменно-самодовольными ухмылками на физиономиях. Мороковский тоже обретался там среди прочих и был неотличим от персон, должных к себе внушать простому люду робость и почтение.

И Саня растерялся даже, когда по ступенькам покосившегося крылечка совхозной конторы не спеша сошёл сорокалетний мужик, облачённый в безнадёжно расползающуюся по швам затрапезную болоньевую куртку, обутый в солдатские кирзачи; на голове его каким-то чудом лепилась фасонисто кепчонка пирожком.

Санины попутчики, двое спецов из районного сельхозуправления и картавый доктор, главврач поликлиники и хозяин «уазика», на котором ехали, по мере приближения к совхозной конторе всё яростней перемывали косточки Мороковскому: вроде в годах мужики, а хуже старух-сплетниц. Но тут дружно умолкли, заторопились наперебой выбраться из машины и под его насмешливо-хмурым взглядом будто споткнулись об невидимое препятствие.

Картавый доктор подскочил к Мороковскому, затренькал деланно-бодреньким смешком:

— Владимир Владимирович, неплохая погодка на дворе, не правда ли?

— Так и шепчет: займи да выпей! Заходите в гости!

После опрокинутого натощак, с дальней дороги, стакана самогонки и схрумканного второпях солёного огурца у приезжих замаслились глаза; теперь все наперебой принялись восхвалять гостеприимного хозяина, в вечной дружбе клясться, только что лобызаться ещё не полезли.

— А это кто с вами? — Мороковский кивнул на подзахмелевшего Саню.

— Из газеты писатель!

— О-о!..

Это уж много позже докумекал Саня, почему это так усиленно пёкся о его невзрачной персоне Владимир Владимирович, да так, что скоро стал казаться юному «литрабу» своим рубахой-парнем, не грозным начальником, а чуть ли не ровней.

Спровадив довольных и разгорячённо-болтливых специалистов, Мороковский весь остаток дня возил корреспондента по совхозным полям. Начальственным неторопливым жестом выманивал из кабины трактора механизатора, о чём-то долго и малопонятно для Сани, убедительно ему втолковывал. Измотанные посевной мужички смиренно потупляли глаза, мямлили под измазанный соляркой нос:

— Вам виднее, Владимир Владимирович… Исправимся.

Мороковский, отступившись от работяг, и Сане стал активно «втирать» что-то насчёт сельхозработ, что тот, поначалу пытавшийся с понимающе-сосредоточенным видом черкать ручкой в блокноте, умаявшись, забросил это бесполезное занятие и обрадованно вздохнул, когда Владимир Владимирович предложил вернуться с полей в своё обиталище в селе.

— Перекусим маленько!

Расплескав остаток самогона по стаканам, он чокнулся с Саней опять как на равных:

— Ну как, товарищ писатель, уважает меня народ? Уважает…

Согласившись с Саниным утвердительным кивком и едва занюхав выпитое сухой хлебной горбушкой, Мороковский заёрзал на затрещавшей погибельно табуретке:

— Ты ещё главного в моей жизни не видел! Поехали!..

Разбитый деревенский большак упёрся в заасфальтированную трассу, ведущую к райцентру, и Владимир Владимирович «выжал» тут из мотора «уазика» крайние силёнки.

Саня, стараясь не показывать испуг, вспомнил о гаишниках.

— А-а! — понимающе усмехнулся Мороковский. — Когда я кого боялся!..

Домчав до райцентра, он остановился на окраинной улице напротив большого покосившегося пятистенка, высветив фарами подслеповатые, плотно задёрнутые занавесками окна.

— Отцово гнездо! Наша теперь дача… Да!

— Откуда вы, полуночники?..

— Ладно, не ворчи, жёнушка! — Владимир Владимирович чмокнул в щёку открывшую дверь женщину. — Сгондоби нам чего закусить. Я ведь всего на часок, до свету обратно надо.

Хозяйка захлопотала на кухне; Саня, присев на краешек стула, разглядывал её, втихомолку удивляясь. Неприметная, с простым, до поры увядшим лицом, с усталым взглядом больших печальных глаз — близко не поставишь с расфуфыренными супружницами местных партийных «бонз».

Они были пристроены на инструкторских должностях в горкоме партии; к ним однажды прикомандировал Ортодокс Саню для живописания «рейда» по детским площадкам в городе. Двух «боярынь» в служебной «Волге» мало интересовали сломанные качели и заваленные собачьим дерьмом песочницы, дамы взахлёб обсуждали наряды жён и дочек доморощенных «партайгеноссе», особо не стесняясь представителя прессы. Что он им — корреспондентишка-пацан, плебей, и только.

Водитель «Волги» возьми и брякни:

— В универмаг, слышал, золото завезли.

— Чего ж ты, олух, молчал?! Давай гони!

В узкий проём двери служебного входа дородные тётки пролезали, отталкивая друг дружку…

Вскоре на столе в сковородке пузырилась яичница, в тарелках аппетитно исходил паркóм разогретый вчерашний борщ — хозяина будто каждый вечер домой ожидали.

Владимир Владимирович выразительно постучал ногтем по пустому стакану.

— Ты хоть знаешь, кто это? — со значением кивнул он в сторону Сани. — Писатель!

— Полно тебе! — доставая бутылку с остатчиком водки, вздохнула женщина. — Лишку опять бы не было!..

Пока пили, закусывали, она, присев на табуретку в углу кухни, опять с печалью в глазах неотрывно смотрела на мужа.

— Крепость моя! — залудив стакан и плотно закусив, расчувствовался Мороковский и смачно чмокнул жену в щёку.

— Пошли, покажу! — он вцепился Сане в рукав и потащил к плотно прикрытой двери в горницу.

Приоткрыл её, включил ночничок, и Саня различил в полутьме комнаты разметавшихся во сне на кроватях троих парней.

— Богатство моё!..

На обратном пути у Сани вовсю чесались руки: машинку бы пишущую сейчас, и гони строки — вон какой герой рядом за рулём восседает! Но пыл мало-помалу угас; езда по ровной дороге Колыхалова убаюкала, он сладко задремал, хотя колдобины просёлка опять привели его в чувство.

— Отдохни у зоотехника, он у нас на больничном, — Мороковский остановился

возле невзрачного щитового домика и посигналил.— Я сегодня буду занят.

На звук тотчас выскочил тщедушный белоголовый мужичонка в наспех накинутой на плечи телогрейке.

— Забери писателя, пускай у тебя чуток погостит!

Мужичок, внимая наказам, согласно с подобострастием закивал головой: есть спать уложить, есть угостить!

Саня, препровождённый в комнатёнку за занавеской, едва присел на кровать — тут же и ткнулся лицом в подушку.

Проснулся он после полудня: солнце вовсю плескало в окно лучи. На столе в горнице возвышался пузатый старинный самовар. Около него сидели зоотехник с замотанной шарфом шеей и, видно, тракторист в пропитанной мазутом спецовке.

— Товарищ писатель, с добрым утречком! Вернее, уж с деньком! — заулыбался сморщенным личиком хозяин.— Мы вот тут со свояком чаи гоняем. Присоединяйтесь!

«Опоздал я, остыл чаёк!» — с сожалением подумал Саня, берясь за холодную чашку, но, глотнув из неё, принюхался. Да это брага деревенская, или, по-местному, «гобешное»!

Мужики, потягивая из своих чашек, с хитрецою поглядывали на корреспондента. Едва опорожнил он чашку, нацедили из краника самовара ему другую.

— Ты молодец, Генаха! Ловко удумал! — похвалил зоотехника свояк: он был заметно навеселе.— Кто сюда зайдёт, век не додует!

— Эх, «голова с заплаткою», до чего людей довёл! — вздохнул в ответ зоотехник, заливаясь от похвалы чахлым румянцем.— Был я на днях на свадьбе у родни в городе, так в ресторане сто грамм на рыло только и наливали. А подкрашенную самогонку под столами гости из рук в руки передавали. В чайниках!

— Лучше не говори! — откликнулся сочувственно свояк.

Сане после бражки повеселело, захотелось ему пошутить.

— У меня тут, мужики, магнитофончик! — он щёлкнул по пачке сигарет в нагрудном кармане.— Хоть и перестройка сейчас, и гласность, а…

«Самоварщики» разом замолкли, даже чашки с питьём от себя подальше отодвинули, лениво запозёвывали.

Сане даже неловко стало от внезапной тишины, он решил, что мужики сейчас встанут и уйдут, и сам не рад был своей шутке, но Генаха-зоотехник наконец осторожно прокашлялся и завёл нудным, монотонным голоском заезженную «пластинку» о погодке, о грибках-ягодках. Свояк-тракторист кивал ему, поддакивал и не отводил сожалеющего взгляда от недопитой чашки.

Сане это скоро прискучило, и чтобы прервать пустую трепотню, ничего больше не пришло ему в зашумевшую от бражки голову, как взять да и расхвалить своего вчера обретённого героя. Мороковский-то не чета некоторым, вот уж ничего не боится, и с ним таким не пропадёте!

Генаха вздыхать о дождичках перестал разом; с усохшего личика его глянули пытливо живые, с лукавинкой, глазки.

— Ты бы это, товарищ писатель… — он, выдув, не отрываясь, свою чашку, крякнул.— Ты выключи магнитофончик-то, дай сказать!

Помякав выброшенную демонстративно Саней на стол пустую пачку из-под сигарет, Генаха был удовлетворён и продолжил:

— Э, Мороковский твой — это не нашего поля ягода! Мы здесь родились, тут и помрём, а он взлетит ещё ой-ой-ой! — зоотехник воздел вверх палец.— Вы сами, писаки, ему поможете, а уж он пылищи-то горстями в глаза насыплет, горазд!.. Спалил вот по весне брошенную деревню. Траву сухую на поле поджёг и пожар на проделки ветра потом свалил… И хоть бы хны!

— Чего ты, Генаха, хочешь,— вздохнул свояк.— Ему наш старик-директор в рот смотрит, только бы до пенсии усидеть. Думаешь, писатель, чем твой Морок так занят, что тебя к нам сплавил?

— Пашет и сеет, руководит,— растерянно пожал плечами Саня.

— Во-во! На бабе чужой проценты нагоняет! — хохотнул, сально ухмыляясь, Генахин свояк.

И Генаха с застенчивой улыбочкой согласно кивнул:

— Проверять не надо!

У Сани от смущения пунцово запылали уши, поскольку, как ни крути, он был ещё девственником. Парень попросился на улицу продышаться.

«Наговаривают! Потому что завидуют! И… боятся! А я вот сейчас проведаю Влад Владыча и докажу им!»

Хмельная брага вовсю торкала Сане в голову, подталкивала на подвиги, хотя бы во имя справедливости. И он, пошатываясь, побрёл по улочке.

Сгустились сумерки, и — невелико село, но Саня заплутался. Пробираясь в заулках, обходя какие-то изгороди, он представлял себе то печальные и добрые глаза жены Мороковского, то разметавшихся во сне его сыновей.

Наконец Саня уткнулся прямо в крылечко знакомого домика-гостинички, где обретался Мороковский. Заметив ещё рядом и потрёпанный «козлик», парень обрадованно протопал по ступенькам крыльца, на ощупь, выставив перед собой руки, миновал тёмный коридор, стремясь к полоске света, выбивающейся из-под неплотно прикрытой двери в комнату.

— Несёт нелёгкая кого-то! Ой, да я запереться забыл! — послышался тревожный голос Мороковского.

— Но какой ты голодный был, Вова! Прямо с порога — и в койку! — ответил ему насмешливо-игриво женский голос.

Саня толкнул дверь, и при свете ночника навстречу ему качнулся мускулистой глыбой в наспех надёрнутых трусах Владимир Владимирович. Позади него на смятой постели возлежала рыжеволосая дама. Выпростав большие упругие груди, она с усмешечкой блестящими зелёными глазами поглядывала на Саню; шевельнула будто невзначай рукой, и лёгкое одеяло, обнажив вихор её тёмно-бурых волос, соскользнуло на пол.

Мороковский, пытаясь загородить собой бесстыдницу, угрюмо надвигался на Саню. Тот, пятясь назад, закричал запальчиво, в испуге, сорванным, как у молодого петушка, голоском:

— Я о вас писать собрался!.. Как вы можете? У вас же жена, которая вас любит, сыновья! И вы же… коммунист!

— Пошёл вон, щенок!

О моральном облике Сане поразглагольствовать не удалось: после хорошей оплеухи он летом пролетел коридорчик и мягко шмякнулся в грязь возле крыльца. Ещё на секунду-другую догнал его заполошный женский хохот, и всё стихло с железным лязгом засова на входных дверях.

Саня поднялся и опять побрёл, понурый, в потёмках по селу, размазывая по своему лицу и грязь, и слёзы…

Эх, сколько минуло после того позднего вечера лет! Нет теперь болтающей велеречиво «головы с заплаткою» на экране телевизора, и век другой, и страна другая…

Наследничек

Этого дня Саня ждал с трепетом. Старичок-архиерей предварительным собеседованием со «ставленником» — так отныне в церкви называли Колыхалова — остался, похоже, доволен, благословил его на «генеральную» исповедь перед духовником епархии. Предстояло припомнить все грехи и грешочки прожитой сорокалетней жизни, но Сане пока было не до этого. Он, выйдя из епархиального управления, полетел, ровно пацанёнок, по улице, не чуя под собою ног. Скоро, в ближайший великий праздник, за литургией в храме в родном Городке будет он стоять в белом стихаре на солее перед Царскими вратами, и владыка, возложив ему на плечо украшенную крестами ленту — диаконский орарь, возгласит по-гречески: «Аксиос!» И троекратно громогласно откликнется хор: «Достоин, достоин, достоин!»

Саня даже дневник надумал завести, чтобы все происходящие события записывать, будто от новой точки отсчёта своей жизни идти. Давно ли, держась за локоть Алёшки-художника, нанимался в сторожа при храме, потом подавал батюшке кадило в алтаре, ходил на занятия в духовное училище? И, со словами молитв, в соучастии в церковных таинствах он однажды ощутил себя верующим человеком. Не случилось какого-то ожидаемого чуда или знамения, вера пришла к нему тихо и сокровенно. «Спасись сам, и около тебя спасутся тысячи!» — лучше саровского старца никто ещё не сказал.

Возле дома Саня поумерил свой бег: и так мчался по тротуару, едва не сшибая встречных прохожих, — нехилый дядечка с народившимся пузцом и с лохматой, в первых лучиках седины, бородой.

Жена ошарашила прямо с порога, вернув на грешную землю:

— К директору школы нас вызывают!..

…Мальчонка был болезненный, хиленький, под бледной нежной кожицей каждую жилку видать. Глазёнки голубенькие, наивные, головка на тоненькой шейке лобастая, тяжёлая. Саня, взглянув на своего сынка Дениску, румяного и упитанного, что-то вроде превосходства, довольный, почувствовал, но одёрнул тут же себя. Что стоит родному «бугаёнку» дохлика такого где-нибудь в углу прижать?

А мальчонка, единственный отпрыск семейства Мороковских, таращa невинные глазки, и на «очной ставке» в кабинете директора продолжал твердить своё: мол, взял у мамки из ухоронки доллары и передал Дениске. И даже пальчиком для пущей убедительности на него указал.

Дениска в ответ только глаза кулаками тёр, всхлипывая: отпираться больше, видно, слов не находилось.

— Как же мальчик-то ваш добрый, спокойный, увалень-таки прямо — и у товарища своего стал бесстыдно деньги вымогать?! — хлопала, как клуша крыльями, большими пухлыми руками себя по бокам пожилая директриса. — Дожили! Как это и называется?!

— Рэкет! — буркнул под нос Саня…

— Папа, он всё врёт! Не верь ему! — всю дорогу до дома теребил отца за ладонь Дениска, но Саня не слышал его, прикидывая лихорадочно, у кого бы подзанять такую кучу денег.

«Не пропадём!»

В Городке, куда после войны приехал Васька Колыхалов, курс бухгалтеров в местном профтехучилище состоял из одних фронтовиков-калек. Куда было сунуться на учёбу человеку без руки или ноги, глаза или чего-либо ещё иного? Кто начинал спиваться — тому прямой путь в сапожники, а кто не привык чуть что — и лапки кверху, тот не делал этого и теперь, работу желал заиметь чистую и непременно уважаемую.

Ваську подселили в комнатушку в одно окошечко к бывшему лётчику Степану Алексееву.

— Ты чего, парень, по жизни молчун или язык проглотил? Боишься меня, что ли? Так я с виду

только страшный! — добродушно бурчал сидящий за столом здоровяк с обожжённым лицом и без правой руки. — Давай подсаживайся! Небось, брюхо к хребтине присохло!

За «косушкой» Васька, непривычный к питию, размяк и, всхлипывая, размазывая по щекам слёзы, стал рассказывать, как добирался сюда. Люди добрые помогли ему залезть в теплушку, битком набитую разношёрстным народом; Васька, пристроив костыли, притих возле мордастого детины-солдата, сидящего в обнимку с молодухой, задремал и, наверное, проехал бы так не одну станцию, кабы не очнулся вдруг от крепкого тычка в плечо.

— Колись, урод! Ты деньги у меня спёр?! — выкатив бешено на Ваську глаза и лапая у себя за пазухой, орал на всю теплушку солдат.

Парень испуганно отпрянул, тут же получил сапожищем в пах и согнулся крючком от дикой боли, теряя сознание. А где вверху над ним разорялся и бушевал служивый…

У Степана на лице от недавнего добродушия не осталось и следа: страшные ожоги ещё больше побагровели.

— Тыловая крыса, его мать!..

Но, скрипнув зубами, Алексеев сдержал себя и окинул жалостливым взглядом лёгкую фигурку Васьки, закачавшуюся на костылях:

— Ты, братишка, не думай о всех нас худо… Держись меня, не пропадём!..

Много, не один десяток лет, проработали потом они вместе в городской «коммуналке», один — начальником, другой — главбухом. И памятник солдату тоже устанавливали вместе…

Бронзовая статуя, в разобранном виде привезённая из далёкой Грузии, так и оставалась лежать составными частями вперемешку в дальнем углу склада. Кладовщица изворчалась вся: дескать, когда солдатика «сердешного» на место с почётом водрузите, пусть и на грузина он обличьем смахивает, ну да ладно, тогда, на войне, все равны были.

Всё время что-то мешало свершиться этому благому делу, все наличные немногие силёшки горкомхоза всегда уходили на другое. То протекали крыши коммунальных развалюх, то деревянные мостки по всему городишку вздувались горбом и норовили поймать в капкан между досок ногу торопыги-прохожего, то перемёрзший за зиму водопровод по весне бил фонтанами. Какой уж там постамент для памятника, до него ли? Даже куда его поставить, не могли определиться!

Неведомо, сколько бы ещё всё тянулось, кабы Алексеев не слёг с инфарктом. Едва поднявшись с больничной койки, он сказал решительно главбуху:

— Васильич, устанавливаем памятник! Всё в сторону!

— Юбилей Победы скоро, — закивал Колыхалов.

— Не только в этом дело, — вздохнул Степан и приложил руку к груди. — Могу не успеть!

— Средств-то у нас… В смету не заложено. — развёл Колыхалов руками.

— А мы профилакторий ремонтировать собирались…

Профилакторий — так, для «вывески» сказано. Это был скорее «охотничий домик», куда время от времени наведывался сам «зампредрика» Владимир Владимирович Мороковский с прочей районной «номенклатурной» шоблой-воблой. Принимал он гостей и повыше, искал покровителей; в ту пору ментов ещё не гонял, а сельским хозяйством и вовсе заниматься не думал.

В доме собирались подправить печки, полы и крылечко подновить.

— На установку-то памятника хватило бы… — прикинул главбух. — Только потом по шеям бы нам не наклали!

— Не бзди, Вася, прорвёмся! — глаза Алексеева молодо блеснули, и на мгновение Колыхалову показалось, что перед ним не изнурённый болезнью и старыми ранами ветеран, а юный бесстрашный Степан-лётчика…

Только навернулся, наверно, с того злополучного крыльца товарищ Мороковский, может, сам или кто из его холуёв, а пуще — из высшего начальства! Да и фигуру солдата, притулившуюся с краю старого парка и обёрнутую до поры до времени куском брезента, не утаишь, отовсюду видно. Иначе зачем бы потащили Алексеева с Колыхаловым под начальственные очи?

— Рассказывайте, делитесь, старые жучки, как подворовывали! — с притворной улыбкой вопросил их Мороковский и забухал, точно колотушкой в било: — Нецелевое использование средств! Вам что было приказано делать? Под суд захотели, так пойдёте!

На инвалидов разорялся он, начавший полнеть детина, долго. Когда, наконец, вышли из его кабинета, Алексеев вытер пот со лба:

— Как пацанов нас… Как воров! Крепко он перед кем-то выслужиться хотел, да мы с тобой не подсуетились!

— Лучше бы уж мостков по улицам побольше настелили… — вздохнул Колыхалов. — По ним хоть людям ходить.

— А памятник наш для бар, что ли?..

Бронзового солдата в День Победы открывали торжественно. Алую ленточку перерезали орденоносец-ветеран и, естественно, Мороковский. На митинге Владимир Владимирович разливался соловьём, а когда выступавшие после него начинали в его адрес нести всякую лестную чушь: мол, без вашего чуткого руководства ничего бы тут не стояло, — Мороковский скромно потуплял глаза долу и вроде бы как застенчиво расплывался в улыбке.

Упало полотно, открывая людским взорам памятник: солдат, опираясь на автомат и сняв каску,

смотрит вдаль, может быть, пройдя последний огневой рубеж по долгой дороге к родному дому.

Алексеев смахнул с глаз слёзы и кивнул Колыхалову:

— Всё ладно, брат Васильич!..

Накануне их судили и оштрафовали, взыскали по окладу: «легко ещё отделались». Алексеев вскоре опять попал в больницу и оттуда уже не вернулся.

Благодетель

Мороковский за минувшие годы внешне изменился сильно: если бы повстречал его Саня где-нибудь на улице мимоходом, мельком, то вряд ли бы узнал.

В воскресный день за службой в храме народу много, к каждому прихожанину пономарю присматриваться некогда — хлопот полно, но всё-таки Саня обратил внимание на то, что как только закончилась служба, одного из прихожан, скромно стоящего в боковом приделе, тут же обступили и отец-настоятель, и староста со старушкой-казначеей. Саня присмотрелся толком и обомлел…

Владимир Владимирович из прежнего дородного дюжего дядьки усох до костистого сутуловатого, но ещё крепкого старика. Голова по-цыплячьи обмётана редким седым пухом, лицо избороздили глубокие морщины, но пристальный взгляд оставался по-прежнему проницательным: заглядывает человек тебе в душу, а сам себе на уме.

Одет был Мороковский скромно, в неприметный тёмный костюм. Обмахнувшись торопливо крестиком, вышел из храма и, всё так же в сопровождении семенящих за ним старосты и батюшки, неспешным шагом отправился к припаркованной за церковной оградой старомодной чёрной «Волге».

«Нет, не обознался я!» — убеждался Саня, расспрашивая потом словоохотливого батюшку о прихожанине.

— Благодетель наш! И не простой! У губернатора аж в советниках состоит, — поведал тот. — Храму помогает не из «моды», а, похоже, от чистого сердца…

При коммунистах он, говорили, в своё время пострадал — будто бы за убеждения. И они-то, когда заварушка вся началась, привели его прямиком в демократический лагерь, а заодно и в областную столицу. Теперь сыновья Мороковского вертелись в немаленьком бизнесе, сам глава семейства обретался со своими советами возле высшего руководства.

Не мог понять Саня: а его самого узнал или нет Владимир Владимирович? Появлялся он в храме нечасто, на спешащего мимо по своим пономарским делам Саню внимания обращал не больше, чем на других церковных служек, и Саня поуспокоился: не вспомнил, и ладно. Неловко бы было…

Теперь же, когда у Сани не выходило из головы, где бы подзанять ещё деньжонок для сына, он как-то раз в притворе нечаянно столкнулся нос к носу с Мороковским. Владимир Владимирович почтительно-вежливо посторонился — как-никак Саня был облачён в чёрный подрясник, но от Колыхалова не ускользнуло: посмотрел на него Мороковский заинтересованно и оценивающе, даже, может быть, с какой-то ехидцей…

На задворках

Бронзовые доски со столбиками фамилий погибших на войне городковцев со стел возле подножия памятника украли глухой ночью. Воры выворотили варварски все десять досок. Милиция была поставлена на уши: денно и нощно вёлся поиск подонков, местная власть била себя в грудь: мол, всё под контролем и никто не уйдёт от возмездия! Но сразу шпану, разумеется, не взяли, и всё постепенно стало утихать. Немногие ветераны, форсировав по шатким мосточкам канаву для теплотрассы, ведущую к «барской» новостройке Мороковских, и взирая на пустые четырёхугольники на стелах, вполголоса ругались, смахивали с глаз злые слёзы.

Василий Васильевич Колыхалов как-то тоже пробрался к памятнику, остановился у подножия и, запрокинув голову, даже испугался: показалось, что бронзовый солдат вот-вот упадёт сверху. Колыхалов поспешно отковылял в сторону, присмотрелся получше и заметил: верно, верхняя половина скульптуры еле-еле держалась.

«Как и не уволокли-то вместе с досками?! — поразился Василий Васильевич. — Чуть толкни — и…»

Он ещё пуще забеспокоился, когда вычитал в газете, что в областном центре прямо с могилы украли бюст героя-лётчика. Тот погиб в небе над Западной Украиной, но полвека спустя недобитым «самостийщикам» и их потомству героический прах перестал давать спокойно спать, начались тут на память лётчика всякие недобрые поползновения. К счастью, земляки не растерялись: привезли и с должными почестями перезахоронили героя в родной земле. И буквально через пару дней тоже ведь, наверное, земляки упёрли бюст. Цветной металл всё-таки…

После прочитанного сердечко у Василия Васильевича нехорошо ёкнуло. Поотдышавшись, он заторопился к заветному парку и не зря предчувствовал беду: памятника на месте не было! Неподалёку от осиротевшего постамента заливали асфальтом дорожку, ведущую к изящному, с колоннами, особняку в глубине сада. Работягами придирчиво руководил молодой дородный мужчина, по замашкам сразу видать — хозяин.

Василий Васильевич беспомощно потыкал куда-то в небо пальцем, из горла его

вырвались невнятные мычащие звуки, и мужчина-распорядитель, заметив неладное со старичком, подошёл к нему, гася на своей холёной физиономии сожалеюще-презрительную ухмылку:

— Устал уж вам всем объяснять: на реставрацию «братишку» вашего отправили! Починят, отполируют — будет блестеть, как котовы яйца!

Василий Васильевич поуспокоился, через некоторое время сам недоумевающим знакомым стал с уверенностью говорить, что памятник-де в капремонте, а это дело долгое. Лучше уж верить в чьи-то слова, чем изводиться домыслами и предположениями…

Полетел первый снежок; как-то Василий Васильевич брёл, скукожась от ледяного ветра, из магазина домой. Приключилось с ним дело стариковское, не терпящее отлагательства,— короче, свернул он за угол. Смеркалось, но прохожего люду навстречу попадалось немало, и все знакомые, это тебе не в чужом городе, к стволу любого дерева не прижмёшься. Место, где приспичило старику,— здание администрации, тут же на первом этаже отделение милиции. Да что поделаешь! Колыхалов на всякий случай пробрался подальше в глубину глухого, огороженного высоким забором дворика и… обмер, заметив возле широкого рундука ментовского нужника припорошённого снегом лежащего человека. Вон и черты лица явственно проступают сквозь снежный саван. Василий Васильевич рукой смахнул с памятника снег, вздохнул горестно, но сколько ни пытался поднять памятник, так и не смог, даже пошевелить его силёнок не хватило.

Колыхалов, обессилев, опустился прямо на землю рядом, закрыл своё лицо озябшими ладонями.

Его легонько потряс за плечо милиционер:

— Дедуля, не своровать ли на «цветмет» солдата намылился?..

Дорожки пересекаются

Эх, Саня. Саня! Не оказалось у тебя ни богатеньких знакомых, ни тороватой родни, ни спонсоров; если и кто-то и дал что взаймы, то сущие копейки. Но кручиниться долго всё же не пришлось. Колыхалов-старший, узнав про горе-беду, пожурил сына даже: что молчал-то прежде, дурачина?

— На машину с пенсии откладывал, хотелось «инвалидку» поменять… Ладно, так проковыляюсь!

Саня от радости чуть не бросился отцу на шею, точно бы, по-медвежьи заграбастав, смял старичка, но отец охладил его пыл, спросив:

— А ты сам-то веришь, что Дениска мог такое вытворить?

Саня пожал плечами:

— Да не верю я, и сын отпирается вовсю, но барчонок-то мороковский на своём стоит!

— Не сиживать им никогда за одной партой! — вздохнул Василий Васильевич.— Слушай, я вот чего хотел у тебя узнать… В храм собираюсь сходить, свечки поставить, мать и знакомых помянуть. И за внучка помолиться. И причастился бы…

— Исповедаться сначала надо,— удивлённый, проговорил Саня.

Ещё бы, отец в ярых атеистах никогда не ходил, но к церкви относился как-то безразлично. Чего ж тут ждать?! Собор в Городке разорили в годы «великого перелома», и с той поры и до наших дней в его наглухо оштукатуренных стенах функционировал клуб с кинопрокатом и танцзалом. Рассказывали, что иногда на сводах под куполом сквозь побелку проступали святые лики; женщины тогда, в том числе и мать Саньки, втихомолку крестились, шепча: «Ой, не к добру!» — а мужики, как и Колыхалов-отец, над страхами своих «половин» подтрунивали, гася неловкость в глубине души.

От Сани, хоть он чуть ли и не прыгал, радостный, не укрылось: отец был расстроен чем-то своим, не только из-за любимого внучка, хоть и старался не показывать вида.

— Опять с Мороковским наши дорожки пересекаются…

И, растормошённый Саней, рассказал историю с памятником возле мороковского родового гнездовища.

— Нынче сила вроде как на ихней стороне…

— Да ему прямо в глаза и надо врезать обо всём! — вскипел было Саня.— Вот увижу его!

— Ты со своей бедой сначала развяжись! А я сам уж… В храм, говоришь, к вам он ходит? Поможет Бог, свидимся, поговорим! Так-то где нашему брату до них достучаться…

Пустые хлопоты

Саня, время от времени нащупывая в кармане денежную пачечку, жаждал вручить её в условленное время не стриженой кикиморе-невестке, а самому Мороковскому. И не трясясь и лепеча извинения, потупив стыдливо глазки, а в гордом молчании — из рук в руки. Саня даже стал репетировать грядущее событие, и — как точно кто услышал! — в воскресенье, накануне службы, его отозвал в сторонку настоятель:

— Тебя Владимир Владимирович срочно желают видеть! Ты с ними, это самое, покультурнее и поласковей будь!

В глазах батюшки плескалась плохо скрываемая тревога.

Мороковский ожидал Саню в притворе храма. Улыбаясь, крепко пожал ему руку и — что уж совсем неожиданно! — троекратно с ним облобызался, легонько тычась гладко выбритым лицом изумлённому Сане в бороду. Жестом пригласил выйти его на церковный двор и, неторопливо ступая, двинулся по тропинке вдоль ограды.

Сане оставалось вышагивать рядом и выжидать подходящего момента, чтобы вытащить из кармана руку со смятыми в комок деньгами.

— Я вот о чём хотел с вами поговорить… — после недолгого молчания начал Мороковский. — Мне родные рассказали про вымогательство, или рэкет — по новому. Ваш сын здесь совершенно ни при чём. Мне мой внук во всём признался. Вот так, только одному любимому дедушке! На него надавили старшеклассники, прослышав, что он не из простых, предложили «крышу», а за неё надо платить. Да, времена!..

Саня, представляя себе невинные голубые глазёнки мороковского внука, был ошеломлён и оттого будто язык проглотил, только кивал согласно, как конь, головой на каждое слово Владимира Владимировича.

— Моя промашка, что мой внук в обычной школе учился. Думалось, что так жизнь получше с малолетства познает… В общем, приносим вам всем свои извинения. Самые искренние. И ещё… — Мороковский остановился, заложив руки за спину, помолчал и испытующе заглянул в глаза Сане. — Мне хотелось, чтобы о недоразумении этом никуда ничто не распространилось. Сами понимаете, не глупые: престиж семьи, доброе имя и всё такое прочее. Дуракам и завистникам ведь только повод дай. Согласны?! Вот и ладно!

Владимир Владимирович выразительно прокашлялся.

— А я со своей стороны обещаю… У вас супруга в областной администрации простым экономистом, знаю, работает? Полагаю, вполне доросла до заведующей отделом, помогу. А вы, как помню, писателем хотели стать? Небось, немало в ящиках стола рукописей накопилось? Издаться-то проблема? На толстую, солидную книгу деньжат спонсирую: стоит, вероятно. И отец ваш не будет забыт. Слышал, он, как инвалид, в очереди на получение автомобиля стоит. Ничего, подвинется очередь…

В это время на паперть храма ступил старичок-игумен, духовник, и Мороковский, не прощаясь, заторопился следом за ним. А Саня остался стоять, распяля рот; из ослабевших пальцев руки, вытянутой наконец из кармана, вывалился на землю смятый комочек денег.

Андрей Белозёров

Гори… живи!..

Койко-место

В Раздельной принимали беженцев из Приднестровья. Выдавали бумаги с солидными печатями на временное поселение. Спросом пользовались базы и лагеря отдыха у Чёрного моря. Но сладких пряников, известно, на всех никогда не хватает…

В сумятице первых дней приднестровского конфликта Украина на южное *дармовое* жительство отправила скопом тираспольчан, прибывших с большими чемоданами и баулами. Когда же на станцию начали прибывать опалённые *настоящей* войной бендерчане с ошпаренными взорами и тощими узелками, большинство южных мест было уже занято. Администрация приграничного района только беспомощно разводила руками, предлагая беженцам до распоряжений из областного центра кантоваться на вокзале. (А может быть, из Киева ожидали резолюции: дело-то затратное, ведь расселить всех обездоленных из Приднестровья на коммерческие койко-места с соответствующим содержанием — на это нужны ресурсы.) Но денежное вспоможение на первое время и полевую кухню разделянская администрация, слава Богу, несчастным предоставляла без проволочек.

Отведав из огромного солдатского котла, выставленного в самом центре Раздельной, в сквере у железнодорожного вокзала, наваристой гречневой каши с мясом и запив дымным компотом, Галя посмотрела на мирно сопящего на скамье шестимесячного Егорку, укутанного в белоснежные, выданные в эвакопункте, пелёнки.

— В Затоку поеду! — азартно выпалила она, упруго и звонко отбив ладошками по своим коленям дробь (так делала когда-то её мать в судьбоносные моменты).

— Не дури, милочка! Оставайся здесь. Здесь и люди добрые. С голоду не помрёшь.

— Куда ты с ребёнком искать приключений? Ясно же сказали: на побережье мест нет! — наперебой стали отговаривать Галю две землячки, которые сами собрались двигать в московском направлении к российским родственникам.

— Ничего. Потеснятся… Война делает людей ближе, — сказала в ответ Галя.

И действительно, в те несколько дней, пока мост через Днестр, магистральное направление, ведущее на Тирасполь и дальше на Украину, контролировали конституционалисты Молдовы, бендерчане, оказавшись в плотном огневом кольце, лишённые продовольствия, проявили себя по-братски друг к другу. Свирепая стихия войны сплотила страждущих. Будто наперекор всему, люди стали добрее, мягче душой… Делились последней краюхой хлеба, отдавали одежду и лекарства чужим людям.

Но не только гуманизм и добродушие сограждан *родной* Украины влекли Галю в Затоку. Даже совсем не гуманизм и добродушие граждан… Егорка — у него есть отец! Он в Затоке!

Подали состав на Москву.

Вагоны жуткие, товарные, в которых, должно быть, перегоняли недавно скот из какого-нибудь хуторского хозяйства на мясокомбинат в Одессу — с перекладиной между скрипучих дверей, в точности напоминающие теплушки сороковых годов. Но и этому составу люди радовались, рвались в него, орудуя невольно локтями, чтоб выбраться в Россию или куда-нибудь в Белоруссию.

Галя помахала рукой своим землячкам.

«Ничего. Обычная давка. Не война…» Ей на миг вспомнилось, как при первых разрывах мин и снарядов она вместе с оголтелой толпой, в надежде укрыться, кинулась в ближайший универсам, где стеклянные витрины и пластиковые перегородки тут же разлетелись от разрыва вдребезги, убивая и раня тех, кто искал укрытия. И её, и Егорку спасло какое-то чудо.

Вспомнив это, у Гали невольно выступили на глазах слёзы. Она рукой смахнула их, разметала по щекам солёную влагу, хотела было взглянуть на себя в зеркало, но за косметичкой не полезла… После того как шальная пуля угодила в трюмо, дав разлапистую трещину, Галя редко смотрелась в зеркало, чего-то мистически опасаясь. Нет, она была не робкого десятка, стихийно жизнелюбива и не особо разборчива в бабьих приметах, но зеркала как-то побаивалась. Вместо зеркала смотрела в глаза сыну — там, в первозданных озерцах, узнавала всю правду о себе…

Скоро она мчалась на электричке в Одессу.

Накормленный Егорка спал, укачанный дорогой. Галя глядела в окно, вспоминала *о нём*. Только *о нём*. Иногда она нагибала голову к Егорке, чтобы в чертах сына увидеть черты *его*.

…Он жил в Затоке, а познакомились они с Димой в Одессе. Он спортсмен. Потом приезжал к Гале в Бендеры — только к ней ли, а может, на соревнования? — она так и не поняла. Тогда, в Бендерах, она сказала Диме:

— Кажется, я беременна.

— От кого? — усмехнулся настороженно Дима.

— От Одессы, — рассмеялась Галя, но в этом смехе была безусловная серьёзность.

Он сделал вид, что не понимает её.

На Диму она зла не держала. Сама согласилась нести крест матери-одиночки, как в своё время её мать, которая не поставила нечаянного «папашу» в известность…

Мать умерла, когда Гале исполнилось восемнадцать. Галя рано выстрадала самостоятельность в поступках и суждениях, ей даже казалось, что и матери понравился бы её *поступок* — её славный Егорка.

Ничего, обойдёмся без главы семейства, без «сильных личностей», которые почему-то настроены на какой-то подвох со стороны любящих их женщин. Как будто от мужчин не стоит ждать подвоха, опасности или беды?!

Приднестровская катастрофа всё перевернула в сознании. За годы мирного социализма люди отвыкли думать об ужасах физических лишений, о войне; «холодная» война не в счёт. А тут вдруг, разом… Панически гудели, казалось, ни с того ни с сего заводские сирены, раздались взрывы, побежали обезумевшие люди в подвалы, в укрытия. На улицах — танки, ощеренные чёрными дулами…

Галя все последние дни и ночи несла эту *утробную* тревогу — «тревогу» гражданской обороны, потому что сама видела воочию, как бомбардировщик гулко и низко прошёл над городом и сбросил свой смертоносный груз, чтоб разбомбить мост через Днестр — единственный мост, по которому беженцы Бендер могли перебраться к *своим*. Должно быть, силы небесные отвели бомбы от цели. Мост выстоял. Но стёкла от взрывной волны в ближайших домах повылетали начисто, да и людей многих припечатало к стенам невиданной иноприродной силищей.

В Одессе Галю удивила *безмятежность*. Никаких беженцев, никаких людей в пятнистой форме. В Одессе люди были веселы и остры на язык, но они как будто не знали цены жизни. Они говорили, казалось, о пустячном, чаяли нестерпимо обывательски… Галя не видела в их глазах тяги к жизни, к жизни как таковой… Тот, кто изведал мало-мальски войны, хоть день один или всего только ночь, понимает, что есть жизнь как таковая… Потому что чуть-чуть вкусил от некоего горького плода *небытия*.

А тот, кто вкусил, не будет так спокойно и вальяжно рассуждать о футболе, о новых босоножках, о рецепте приготовления фаршированной рыбы.

«Они как дети, настоящие дети», — снисходительно думала Галя, крепче прижимая к груди Егорку, который хоть и мал, но уже тоже вкусил от *небытия*.

Вместе с тем здесь, в Одессе, далеко от взрывов, на Галю хлынули сентиментальные воспоминания ярких дней и бессонных головокружительных ночей, на побережье, возле желанного Чёрного моря. Здесь, в Одессе, мысли о Диме стали острее, глубже. Ведь встреча с ним всё ближе…

— Ну, дальше поехали, Егорка! — подмигнула Галя сынишке, который щурился от ласкового черноморского солнца.

До отправления электрички на Затоку оставалось время. Гале уж очень хотелось отведать сияющее белизной — после дымного и чёрного неба Бендер, после закопчённых термосов и фляг полевой кухни — мороженое. Может быть, мороженое тоже придаст ей одесскую безмятежность?

Она сидела в привокзальном сквере и с удовольствием ела мороженое. Потом покормила грудью Егорку. В какой-то момент словно вихрь налетел: надо ли ехать в Затоку? Ведь Дима не объявлялся, не звонил даже… Надо! Была не была. Да больше и некуда ехать! В Бендерах — война, дом полуразрушен, ни электричества, ни воды, ни газа, ни целых стёкол в рамах.

Под мерный перестук колёс и безмятежные виды одесских окрестностей Галя вспоминала свою жизнь. Вот уж двадцать два года ей — и много, и мало… Была совсем недавно школьницей, дружила с мальчишками, многие из которых добивались её внимания, работала на разных работах, ни к какой профессии накрепко не прикипела. Но вот война закончится, и обязательно устроится в детский сад. Вместе с Егоркой туда пойдёт… Где-то рядом с этими утешительными и вместе с тем тревожными мыслями витала надежда на Диму. Может, уготована не только судьба матери-одиночки?

Впрочем, в любом случае стоило поехать в Затоку. Ребёнку полезны йодистая вода и морской воздух. Егорка и так уж натерпелся, отощал. Какое там молоко от всех этих гуманитарных макарон и рыбных консервов, ведь оно вмиг сворачивалось, когда Галя сцеживала остатки после очередного кормления.

Война застала Галю средь бела дня на центральной улице, по дороге в ближайший универсам за продуктами. Как ни странно, хлеб и другие продукты ей удалось купить уже под свист пуль… А когда бежала домой с сумкой, прижимая к себе Егорку, видела, как на улице, почти рядом с ней, падают от осколков люди, а универсам, из которого они с Егоркой только что выскочили, обрушился всеми своими стеклянными витринами.

Машинально шептала: «Спаси, Господи!» — и наконец-то добралась под защиту своей двухкомнатной

квартиры на втором этаже, оставшейся ей после смерти матери. Типовая хрущёвка стояла рядом с набережной, в благоприятном месте для жизни и отдыха уютного старинного городка. Сюда, к благоухающей клумбами, редкими видами деревьев и кустарников набережной, стекались люди, делились новостями; здесь же проводились политические митинги.

Но маленькая крепость «свой дом» к вечеру стала ходить ходуном — начался обстрел. Не конкретно по дому, но снаряды ложились под самые окна. Стёкла лопались от взрывной волны, трескались, дзенькали от выстрелов снайперов.

Потом артобстрел сменился авианалётом — стало ещё страшнее: бомбардировщики норовили взорвать мост, по которому ещё вчера, даже нынче утром, шли безмятежные люди!

А тут (Галя увидела это в окно) двое здоровенных мужиков в пятнистом обмундировании — не поймёшь, свои или чужие, — завопили срывающимися голосами. Один тянул другого по асфальту, тот был ранен, окровавленными руками держался за живот — кровавая дорожка чертилась из-под него. И вдруг выстрел. Какая-то дикая сила крутанула здорового мужика и снесла с ног. Теперь они оба лежали на асфальте, оба в крови, оба стонали. Его срезал снайпер, который прятался *всюду*… О том, что это был снайпер, Галя поняла чуть позже, когда над её головой просвистела пуля и ударила в домашнее зеркало. Оконное стекло мелким колючим крошевом осыпало Галю. На зеркале — аккуратное отверстие, размером в копейку, с раскинувшимися в разные стороны лучиками.

— Э-э! — от изумления вымолвила Галя, осмотрела Егорку, не упал ли осколок в кроватку.

И теперь уж по собственной квартире передвигалась, будто вор… прячась, пригибаясь, таясь…

Потом по улице двинулись какие-то уродливые танки на резиновых колёсах. Из башен у них торчали пулемёты. Вдруг хлопок — и первый в колонне танк будто споткнулся, объялся огнём, словно опрокинули на него ванну с полыхающим горючим. Враз застрочили, казалось, со всех сторон пулемёты — хотелось заткнуть себе уши и разорвать на части тех, кто не давал спать сыну…

Егорка, к счастью, в эти горячие дни вынужденного заточения вёл себя примерно, не капризничал, несмотря на крайние трудности быта: домовая кухня не работала, кормящая мать перебивалась хлебом, консервами, водой, да и кроватка Егорки изменилась: Егорку пришлось переместить в ванную, и не просто в ванную, а в чугунную ванну, утеплив её одеялами.

…Электричка замедляла ход. Егорка не спал. Был чрезвычайно оживлён: мычал, плакал, старался что-то схватить руками и потащить в рот.

— Потерпи. Скоро приедем. Всё наладится… Улю-лю, улю-лю!..

Улицы Затоки были запружены людьми. Популярный курортный посёлок переполнен беженцами и торговцами. Пряные дымные запахи шашлыка, разваристой кукурузы… Однако не только женщины, дети и старики, но и крепкие мосластые загорелые мужчины сновали повсюду, копошились возле автомашин с приднестровскими номерами. Галя смотрела на них с недоверием. Именно такие и будут доказывать России и Украине, что делать с Молдовой. Мнение таких, как она, простых матерей-одиночек никто не услышит. Вечно мужики «играют» в политику, спекулируют на истории, подстрекают к войне… Ведь здесь, в Затоке, она видела тех, кто собирал граждан на митинги и демонстрации. А ныне? Они, казалось, седлают нужду и бесправие!

Она шла и слышала разговоры, реплики, мужиковские пересуды.

— Есть опасение, что прорвутся в Тирасполь войска Молдовы.

— Бендеры стоят насмерть. Не пропустят!

— Жара под сорок, а трупы с улиц не убраны…

— Пока Россия не вмешалась, румыны-то, глядишь, празднуют…

— Если б только Россия решала… На всё теперь разрешение Штатов требуется.

Коммерсанты с автоприцепов торговали всякой всячиной, крепкие, загорелые, смеющиеся.

— Чего хочешь, красавица? Всё есть!

Галя решила, что сперва устроится куда-нибудь с Егоркой. Непременно устроится сама. А уж потом покажется на глаза Диме. Она шла с Егоркой по центральной улице Затоки. Здесь по обе стороны — входные порталы в базы отдыха. Куда бы Галя ни заходила:

— Мест нет!

— Нет мест!

— Давно уже никаких мест нет!

И пятая попытка найти себе, как беженке, койко-место, и десятая — всё безрезультатно.

Галя пришла в администрацию Затоки. Глава администрации беженцев не принимал, принимал его заместитель. Это была коренастая, ярко накрашенная, с выбеленными волосами женщина, к которой и стремились нахлынувшие из Приднестровья беженцы.

— Мы с сыном из зоны бедствия… Нам бы койко-место, — сбивчиво говорила Галя, ей почему-то казалось, что казённое слово «койко-место» подействует на чиновницу.

— Мест у нас нет! Возвращайтесь в Раздельную, — отвечала чинуша. — Там хоть накормят. Малышу подгузников выделят… А если он у вас заболеет?.. Завтра к нам из Киева санэпидемстанция с проверкой приезжает… Где направление?.. Как без направления? Чего ж вы тогда сюда припёрлись?.. И вообще, кто вы такая? Чем

докажете, что беженка? Может, так, у моря поваляться захотелось?

Уже через минуту Галя была за порогом администрации. В полном опустошении взглянула вдоль пыльной улицы с пятнами тени от деревьев редких.

— Какие проблемы, дамочка? — кинул ей парень в тёмных очках, который курил недалеко от входа в администрацию.

— Мы из Бендер. Беженцы. Устроиться бы где-то. Хоть ненадолго, — отозвалась по накатанной Галя.

— Были б деньги…

— Разве здесь беженцев — за деньги?

— Кого-то без денег, а кого-то за… Украина дала вам неделю халявного постоя — а вышло как? Не хотят съезжать до полного разрешения военного конфликта.

— И сколько ж стоит на базу отдыха?

Парень назвал сумму. Для уточнения добавил:

— Меньше чем на декаду никто и разговаривать не будет. И оплата вперёд.

— Таких денег у меня нет… Может, дальше по побережью что-то найдётся дешевле?

— Дешевле только в камышах на лимане, — ответил парень.

Почти на всех калитках домов, что были ближе к берегу, висели таблички: «Комнат нет», «Жильё не сдаём», «Мест нет», «Посторонних просим не беспокоить».

«Может, всё-таки к Диме? — подумала Галя. — Чего таить? Чего ждать?»

— Ты откедова, дочка? — окликнула Галю старушка в белом тугом платке, взглядом окинула Егорку на её руках и её вместительную сумку — через плечо.

— Из Бендер, бабушка.

— Из Бендер? — переспросила старушка. — Там, где стреляют?

— Да, — ответила Галя.

— Я войну пережила, — сказала старушка.

— Я тоже…

Старушка усмехнулась.

— Да разве ж там у вас война? Вы войны-то ещё толком не чуяли… — она подняла глаза на Галю, спросила всерьёз: — Страшно было?

— За сынишку страшно. Воды не было… Пелёнки не постирать…

Гале вспомнилось, как в бендерской горячке, когда в доме ни воды, ни газа, ни электричества, она с ворохом белья в потёмках пробиралась к Днестру, чтобы постирать. Егорку она оставляла спящим в ванной, а сама — к реке. А если не вернётся, если её подстрелят, взорвут? Конечно, она предупреждала соседей, что уходит. Но думать о смерти было противно и невозможно, немыслимо. Как же так: кто-то выстрелит из пулемёта или шлёпнется мина — и Егорка, её сын, останется сиротой?!

У реки она всегда заглядывалась с надеждой на противоположный берег — туда, где были свои… Когда, когда всё это кончится? Кто укротит этих наци? По Днестру и проходила линия фронта. А решающий бой за мост, соединяющий берега реки, был ещё впереди.

Иногда, если шла стирать ранним утром, в поле зрения Гали на том берегу реки попадали группы людей в пятнистой форме с автоматами в руках, перебегающие от одного яблоневого ряда к другому, от ложбины, бурно поросшей ивняком, к бетонным укреплениям береговым. Ей, несведущей ни в каких военных хитростях, становилось понятно: к мосту стягиваются силы, скоро разразится что-то решительное и судьбоносное. Метров четыреста разделяло их — русло Днестра, но она чувствовала неразрывную связь с теми, кто был за рекой: пригибается, тяжело бежит в амуниции; они самые дорогие сердцу люди, будут спасать осаждённый город, прогонят врага восвояси, на запад.

В те минуты ей вспомнились фотографии сорокового года из краеведческого музея, куда всем классом ходили на экскурсию по истории родного края. На фото был запечатлён левый берег в районе городского пляжа: пограничные столбики с гербами Страны Советов и воины, взирающие строго на румынский тогда предел, город Бендеры. И вот сейчас будто бы фотографии ожили: солдаты короткими перебежками занимают позицию у моста. «Родненькие, вы должны победить! Должны! Днестр вам поможет…»

Тут припоминалась из школьной программы красивая легенда. Солдаты Екатерининской армии, раненные при взятии Бендерской крепости, входили в воды Днестра, чтобы излечить раны. Они входили в воду, омывали себя и выходили на берег исцелёнными…

Потом в Бендерах грянул бой. На помощь разрозненным и обескровленным отрядам ополченцев и казаков в Бендеры вошли регулярные приднестровские войска. Несколько танков были, наконец, по решению российской армии, дислоцировавшейся в Тирасполе, переданы в руки гвардии Приднестровской Республики.

С левого берега Днестра шла помощь. С правого берега били из бронебойных орудий и пулемётов окопавшиеся молдавские вояки. Самые смелые из осаждённых жителей выглядывали в окна, чтоб увидать бой… Гале тоже не терпелось хоть краешком глаза взглянуть, что там, на мосту, происходит. Но она не могла ни на минуту отлучиться от Егорки, пережидая бой в ванной. Она не могла рисковать сыном! И наконец-то душераздирающий вой мин, посылаемых с «румынской» стороны, прекратился, а с моста понеслось стремительное, победное «ура!».

Галя, не зная настоящих молитв, тем не менее молилась за *своих*. И вот наконец-то гвардейцы,

казаки и ополченцы рвались спасать Галю с Егоркой с победным кличем.

— Ура-а-а-а! — вторила и Галя, а Егорка, радуясь, тоже пытался помочь, и гулил, и что-то выкрикивал вроде: «Уа-а-а-а!»

…Старушка привела Галю к домику с застеклённой верандой.

— Тут племянник мой живёт. Скажи, что я тебя привела. Он пустит. На веранду.

Скупая на речи, старушка прибавила на прощанье:

— Храни вас Бог. Здесь войны нету. Его Николаем звать.

Галя перепеленала на крыльце дома Егорку, покормила его. Мир не без добрых людей! Улыбнулась солнцу. Почувствовала приятный ветерок с моря.

Николай был толстый и лысый, лет сорока мужик, подвыпивший, весёлый и проворный. Галя быстро ему всё объяснила, он тут же пригласил её в дом, тут же пригласил выпить с ним «по стаканчику».

— У меня ж ребёнок,— возразила Галя.

— Ребёнок не помеха! — рассмеялся Николай, задёрнул шторку на окне.— За знакомство, так сказать. Чтоб жилось хорошо.

Она чуть пригубила из стакана вина. Николай выпил весь. Выпил и тут же приобнял Галю, как старую знакомую.

— Это не надо. Я ведь не просто так прошусь, за деньги. У меня есть немного…

— Деньги мне как раз не нужны…— лыбился Николай.— Чего ты ломаешься-то? Под одной крышей, так сказать…

И он обнял её крепко, насильно, горячо дохнул перегаром и дикой мужицкой страстью в лицо.

Галя укусила насильника в плечо. Николай взвизгнул, оттолкнул её.

— Вот дура! Дура и дура!

Она думала, что он сейчас крикнет: пошла вон отсюда! Но Николай не крикнул. Держался за укушенное плечо, о чём-то думал. Возможно, старуха-тётка, которая привела Галю на постой, не давала ему крикнуть: «Пошла вон!»

— Ты чего, с цепи, что ли, сорвалась? Кусаться-то?

— А вы чего? Тоже с цепи сорвались? Сразу да и лапать…

— Ладно, погорячились,— буркнул Николай.— Перекантуйтесь пока дня три у меня. На веранде. Там видно будет,— он исподлобья, хитро взглянул на Галю.— Может, и помягчаешь?

— Может, и помягчаю,— сухо ответила Галя, понимая, что сейчас идти в штыки с хозяином — не резон.

— Вот и устроились,— шепнула Егорке Галя, когда осмотрелась на веранде в доме у Николая.— Теперь к морю! Грязь дорожную смыть.

Ей стало радостно, как было в первые дни после освобождения…

Она подхватила Егорку — и скорее на берег.

По ракушкам и мелкой гальке она с Егоркой шла вдоль кромки воды. Небольшие волны набегали на её босые ноги, ласкали, приглашали искупаться. Галя высматривала себе место под ивовыми зарослями, так чтобы Егорка мог посидеть в тени, играя с перламутровыми ракушками, которые ему уже приглянулись, а она окунётся в приветливом для всех-всех людей море…

У Гали не было купального костюма, она решила, что искупается в халате. Можно бы и нагой. Ведь ещё недавно, казалось — совсем вчера, они с Димой купались без единой нитки одежды под луной в море, а потом грелись у костра и целовались. Как давно это было! Теперь она женщина-мать…

…Галя почти каждую минуту думала о Диме, представляла встречу, готовила какие-то слова. Но она никак не ожидала, что встретит Диму здесь. Сейчас, на пляже! Так неожиданно!

Она увидела его и оторопела. Совсем рядом, у машины, в тени, под ивой. Дима рылся в багажнике. Потом он захлопнул крышку, направился к открытой дверце машины, где в салоне сидел ещё один человек — по-видимому, его приятель. Но тут-то он и увидел Галю с ребёнком на руках. Получилось так, словно она шла к нему, искала его — и наконец-то нашла.

Сердце Гали, казалось, остановилось. Даже Егорка почувствовал напряжение матери, замер, лежал, широко открыв глаза. «Неужели почуял отца?» — промелькнуло в ошарашенном мозгу Гали, когда взглянула на сына.

Дима сперва, вероятно, изумился встрече, потом что-то стал как будто подозревать, потом — как будто что-то стремительно анализировать, высчитывать, прикидывать.

На какую-то крошечную секунду в Гале вспыхнула надежда: сейчас Дима всё без объяснений поймёт, увидит ребёнка и сжалится над ней: подхватит малыша и примет Галю в объятия. Наконец Дима, казалось, стал весь чёрным от злобы.

— Гадина! — скривились его губы.— Всё-таки родила! Теперь в нос мне ребёнка тычешь? Специально приехала?

— Нет! — испуганно проговорила Галя.— У нас там… в Бендерах…

— Да плевать на ваши Бендеры! — истерично выкрикнул Дима.— Чего вы сюда прётесь? Советский Союз кончился! У вас там…— он, вероятно, хотел ещё что-то выкрикнуть, бросить упрёк, но с отчаяния ударил кулаком по крыше своей машины и быстро сел в салон.— Приехала, сука!

Это было последнее, что услышала Галя от бывшего возлюбленного. Машина взвыла, сизый дым выхлопа вырвался из трубы, песок полетел из-под колёс.

Егорка безумно радовался морю. Он барахтался, шлёпал руками по воде, поднимая брызги. Он и Галю тянул в воду — искупаться. Иногда Егорка внимательно смотрел на мать, словно сопереживал ей. А потом опять тянул её к морю, ласковому морю. И как будто говорил: «Мама, не бойся, я с тобой! Всё будет хорошо! Здесь войны нету!..»

Галя плакала. Во время бендерской войны она часто забывала плакать.

Гори… живи!..

В ожидании частей регулярных из-за Днестра охраняли горвоенкомат: архивы ветеранские времён Великой Отечественной и более поздние, афганские, а также списки военнообязанных и призывников. И все эти дни июньские нас не оставлял в покое снайпер; он же и расчёт миномётный, способный раскатать особнячок наш, координировал… Опасность воспламенения здания была велика… Мы и тушили пожары под началом пожарника бывалого Антоныча, упрямца-усача, самоотверженные ополченцы бендерские. И отстреливались заодно…

А вокруг, куда ни кинь взгляд, асфальт, рябой от рытвин и воронок; остовы мертвенные домишек, глазницы окон… А на мне ни росчерка пули или осколка-дурака — ни ссадины… но что внутри? «Мне страшно — стало быть, я существую! В глазах красно от всего красного окрест — стало быть, я есть! Сухо во рту и горько от пороха — стало быть…» — забегал я в умывальню генеральскую, где хотя и не было в кране воды (от начала войны водоснабжение в городе отсутствовало, наравне с газом и электричеством; гидранты же работали от особой сети водоносной), но витраж ориенталистский в окне и зеркало в раме дарили камерность ритуалу себя обретения — в анфас и три четверти. Я и на плацу срывал с лица очки для близорукости — умягчить резкость восприятия, дабы заволоклось всё…

Когда снайпер достал сослуживца младшего Антоныча, Серёгу-Крюка, — выстрел в голову (и шлем — что тебе фольга пищевая — всмятку!) — я осознал нешуточность ситуации с погружением в туман ватный перед хороводом мальчиков красных в глазах… Схоронили убитого во дворе военкомата, как при церкви забубённой, за штакетником в клумбе. Раненных тем же упырём, добровольцев Дмитрия и Володьку, перепоручили санитарам с носилками, задворками пробиравшимся к неприятелю (ничего не попишешь: больница одна, в палате бок о бок враги обретались…). Остался с Антонычем вдвоём.

Быть бы нам осторожней, ан коммандеру — шлея под робу: на рожон пёр, расхаживая широко с кишкой брезентовой по плацу. А в девятиэтажке, метрах в трёхстах, будто этого и ждали. Снайпер, подлюга… Сначала Антонычу чик-чирикнуло пулей по предплечью; обработали рану, перевязали, пошли бороться с огнём — впрямь, как в песне из фильма детства: «И нет нам покоя… гори, но живи!..» И — опять пуля. На этот раз в ногу; в икру, навылет!

— Я его, гада, вычислю! — злость и боль забрав в кулак, строптивец усатый твердил, сидя на крыльце флигелька (в мёртвой для прострела зоне), выколупывая ножичком из голени крошево щепы и стекла.

Вскрыли тушёнку. Еда завсегда придавала ощущение бытия плотности. И тут старшой, хлебнув спирта, постановил, словно зная, в какой из квартир гнездо, чтобы я волок отморозка сучьего — сюда, говорить по душам. Чем он руководствовался? Кто-то из казачков, сопровождающих пятёрку смелых на объект, пустил, наверное, по цепи утку, что я боец, для боя годный, — я и выглядел так, несмотря на специализацию гуманитарную в универе: росл и ловок в перебежках, — но это у меня от страха, не от навыка; а очки с диоптриями, когда надо, вовсе не замечают.

— Двигай, парень, стёжками окольными, — указал куда-то усами поверх меня, — крайний справа подъезд, девятый этаж, крайняя квартира справа…

— Может, вызовем подкрепление? — оспорил было я решение, взвешивая риски (ради сохранения бумаг ведомственных!). — Я же этаж весь жилой разнесу гранатами! А если его там нет? — хватался за соломину.

— Стреляют из сто сорок четвёртой. За месяц до войны я проводил осмотр плановый дома. Одна квартира была заперта. И неизвестно, в чьей собственности. Не дрейфь: козырь твой — внезапность!

— Но… — хотел я ещё по поводу спецов с амуницией и сноровкой. — Какой из меня Рэмбо? Я и в армии не служил, а в ополчение записался, дабы отстоять почву под ногами, как вещали по радио от утра до утра…

— Никаких «но», — был неумолим пожарник. — Силы все брошены на передовую, к мосту. Выполняй, боец, приказ! За снайпера орден получишь!..

Что за чёрт: мне и в самом деле пригрезился орден на груди, отнюдь не медаль, как известному герою литературному. И я шагаю по улицам города родного, повесив его на футболку выцветшую «Адидас»… Смешно?!

Я взял две гранаты и два магазина; мне думалось, что вот я и отправляюсь за бессмертьем — выбора нет: либо ты его, либо он!.. Зверь грозный засел в сто сорок четвёртой, зрит с верхотуры в прицел… Однако: я не знаю планировки квартиры той! Антоныч живо очертил план — ножичком в эфире. А вдруг снайпер не один? Антоныч и сие предвидел:

— Если завяжется перестрелка, отходи. Разнеси на хрен гадюшню ту очередями длинными. О соседях не тревожься, получат они метры свои!

«Лучше б на медаль соглашался, чёрт!.. Устыдился усача; пасть лицом в грязь убоялся? Не сумел отбояриться до прихода регуляров? Лучше б — на медаль… на медаль…» — нелепица эта кружила в голове, пока пробирался задами-огородами застройки частной к девятиэтажке зловещей.

…Улица Ленина. А здесь попал я под раздачу. Бросаюсь ничком в газон; волоском каждым и пупырышком кожи ощущаю, как ложатся пули слева и справа… Вбираю живот, обращаюсь в камень. Проходит вечность, другая… Подымаю голову. Проезжую часть перегораживает самосвал опрокинутый, столбики бетонные для винограда, что тебе спички, высыпали из кузова… Чуть поодаль на перекрёстке устроен блиндаж; в нём гвардейцы ПМР или полицейские Молдовы, палят по всему движущемуся. За кинотеатром — спасение! Под завесой плотной ужаса бросаюсь туда. Храм искусства, воспевающий героев времён всех и народов, а также приключения любовные и фантастику-хоррор, — всё это как фастфуд издохший: не к месту и не ко времени, для планеты иной… Жара под сорок. Пот заливает глаза. Пригибаюсь за парапетом фонтана пересохшего. В дыму просматривается и библиотека со стёклами выбитыми; ели голубые вдоль фасада скошены взрывом, что лопухи; ныне и в храме этом расположен чей-то штаб; книги пущены на баррикады, лежаки, подставки для цевья; служат бойцам и бумагой туалетной… Из миллионов страниц есть в фондах тех сотня-другая поистине волшебных, набор из фраз, постигая которые, я дельфином участливым рассекаю пространство жизни, узнаю и узнаю себя вновь. Несколько десятков авторов, вызволивших меня из Хаоса и причастивших Свету — ценностям Человечества Единого, сейчас они взывают из бардака вселенского, а я не могу им помочь!

Я вляпался в зону перекрёстных взглядов хищных. Где ж вы, соглядатаи: в окне слуховом трёхэтажки угловой? На кровле сберкассы? Или вон там, в корпусе опустевшем училища торгового?! «Эх, лучше бы на медаль…» Я рванул что было мочи от кинотеатра, пересёк улицу, метнулся за угол панельки зловещей. Стрельба осталась позади… Бои шли на отшибе, у моста через Днестр, но и тут, в застройке плотной центра, стоило нос насунуть…

Вот она, громада железобетонная, крайний справа подъезд. Вот и парадное за камерой мусоросборника. Я почти у цели. Во имя Братства, Свободы, Справедливости…

Подъезд заперт на засов, что ж, пробую по траверсу-цоколю — к окну ближайшему, из которого ссыпалось стекла крошево; переваливаюсь через карниз подоконный; спрыгиваю на пол. И почти задыхаюсь. При входе на кухню — труп! Женщина лет средних, срезана пулей шальной… Рядом с ней флакончик с духами разлитыми: то, с чем расстаться ей не хотелось ни при каких условиях… Перешагнул тело… Нахлынуло чувство, что всё это не со мной, так как нечто схожее происходит только в кино; здесь не кино — значит, и не со мной! И трельяж в прихожей игнорировал — наелся уж досыта отражений: прыжком гигантским — к двери входной.

На клетке лестничной отдышался; протёр очки; перемогая рвоту, поспешил вверх. В подъезде прохладно и пыльно; все панели стенные — в граффити на тему рассудка помутнения (даже потери), а может, наоборот — обретения его в фазе дробления, императив на кубизм восприятия. О, эти колера люминесцентные в окантовке чёрной, формы лапидарные, молнии-зигзаги, оскалы и надписи: «Go away, you fucking animals!..», «Go kill you Just!..» — что это, как не сдвиг плит осознания, заклинание наскальное вожака?! Я вдруг утвердился, что «сепаратизм» доморощенный наш возгорелся не в лето-1992 — а вызрел раньше во Дворах Больших, в этих многоэтажках типовых, мятеж против косности отцов, за хотение пламенное жизнь свою (и Мир!) переподчинить ритмам вселенским… Так жил-горел и я, когда в пиджаке с дрыном арматурным шёл на митинги против наци с их запретами новыми… Я сжал крепче в ладонях потных автомат, версию укороченную «калашникова»; оба кармана джинсов оттопыривали гранаты; от облика моего разило небывальщиной, я знал это и без отпечатка на амальгаме… Ан намерениями благими тут не обойтись. Нужна и хитрость. Но способен ли я на геройство в состоянии «многоплановости»?

И ни звука вокруг, точно съехали все… А как же засов в парадном?

Решил-таки постучать в сто сорок четвёртую. На манер азбучный, три раза: тук-тук-тук!.. И будь что будет!.. Тук-тук… Я сделал ещё «тук», с нажимом, — дверь и отворилась. Да она и не была заперта. «Что за чёрт?!» — успел подумать я — и влетел, и заорал с пальцем окостеневшим на курке:

— Всем на пол! А-а-а-а-а-а-а!!!

Сгоряча запускаю очередь огневую в сторону окна: окно — сектор нейтральный, никого не пораню, если что. А если тут снайпер — он и утеряет самообладание. В сознании его веером сегменты граффити распахнутся: «Животное грёбаное! Я убью тебя сейчас!..» Ведь он, паскуда, по мишеням безответным привык лупить! Даже безобидные разночинские очки мои покажутся отблеском зловещим расплаты. Я сливался уж на все сто с персонажем миловидно-подслеповатым из «Мстителей неуловимых», кто жестом характерным поправляет очочки, а потом гвоздит врага.

— Руки вверх! На пол! — опять яростно я.

И тут я увидел её… Она сидела, скрючившись, в углу, под окном, в шортах и майке синей, прикованная наручниками к трубе отопления, дрожью крупной исходя. Я обогнул стол круглый, сдвинутый к стене. И обомлел: так и есть — у двери распахнутой балконной и матрац кожаный, и подставка для ствола, и самоё винтовка снайперская, и гильз россыпь…

— Ты кто? — суровее, как мог, выкрикнул я, воин Света и Революции.

— Я… Я к бабушке приехала… а её нет… Она в больнице… У вокзала…

— Винтовка чья?

— Мужика какого-то… Я вошла, а он здесь… пуляет без разбора по кварталу… — она заплакала. — К трубе меня пристегнул — в поле зрения чтоб и для ража: фильмы про войнушку обязал пересказывать в день и ночь!

— Где он?

— Кто?

— Ну, мужик этот, снайпер?

— Сиганул через балкон. Вроде бы на этаж нижний… вот только что!

Я выскочил на балкон, глянул за перила: никого. А она рыдала:

— Отстегните меня. Ключ он в тумбочку положил, я видела…

— Документы есть у тебя? — по-деловому я, почти в манере службы патрульной. Или милиционера участкового.

— Да… Конечно. В рюкзачке.

Рюкзак небольшой розовел в кресле, я подошёл, раздёрнул молнию. Среди заколок для волос и прибамбасов косметических отыскал паспорт. В нём значилось: Ксения Кукушкина… ОВД города Таллина…

— Как ты здесь очутилась?

— Говорю же: к бабушке приехала. Я каждое лето приезжаю… Отстегните меня! — всхлипнула она. — Быстрее!.. Вдруг киллер вернётся…

Ключ от наручников и в самом деле оказался в тумбочке. Вскоре и пленница стояла передо мной в рост. Она была красивой. Представителем власти строгой мне уже быть не хотелось.

— Проводите меня к бабушке. В больницу за переездом…

— Туда ещё добраться надо, — хмыкнул я, разглядывая Ксению. — Не для этого я сюда шёл… — вновь прятал я смущение своё за междометие.

— Мне одной страшно. Проводите меня… — упорствовала она, и даже без кокетства. — Вдруг мужик тот встретится?

Здесь был резон. Не обязательно ждать снайпера в сто сорок четвёртой, его можно и во дворе… А винтовка? С ней просто. Я ударил прикладом по прицелу. И ещё раз. Склонился для контроля. Окуляры, вывороченные из орбит, сверкали и лучили в пространство залы сотнями меня, разрозненно, в манере кубистической — анфас, три четверти и даже профиль!

— Надо уходить! — вывела меня из полузабытья Ксения, закидывая за плечи рюкзачок. — Вперёд!

Идти требовалось в противоположную от военкомата сторону, через хозяйство станции железнодорожной. В проулке у фабрики швейной урчал мотором БТР без символов опознавательных. Экипажу явно было не до нас: грабился «героически» склад с продукцией… У меня был в руках «калаш» с магазином, что-то во мне свербело воротить к долгу бойцов (своих или чужих), но Ксения тронула умоляюще за плечо. Мы двинули дальше. Вечерело. То и дело взмётывались в небо шары огненные и трассёры, шоу из петард и шутих… Метров сто ещё по тротуару изрешечённому под прикрытием сектора частного, и — лазейка в заборе бетонном. Места эти я знал и гордился, что веду заложницу выученную к бабушке. Страж Галактики с бластером и в экзокостюме, отважный влюблённый из фэнтези в стиле киберпанк… А ведь я мог её убить в порыве, как велел Антоныч; знать ему: трупом больше или меньше, главнее объект вверенный…

В пути Ксения не проронила ни слова, верно, боясь развеять решимость мою сопроводить её за переезд; и не отставала ни на шаг, казалось, порхала слева и справа от меня. А я вспоминал Таллин. Будучи на практике фольклорной в Пскове, не преминул я посетить и этот город старинный. Веерообразные улицы, холм Тоомпеа, площадь Ратушная, башня «Толстая Маргарита»… На обращения мои, как пройти к той или иной достопримечательности, жители препровождали меня к цели. Чинно и молча.

А мне хотелось говорить с Ксенией — о чём угодно, ведь она мне вправду понравилась: спортивная и романтичная, хотя коленки и локти в ссадинах да ушибах; ради такой я пошёл бы — на рывок… Да и это была не прогулка. Уже не единожды залегали мы на обочине рельсов; пули дзынькали над головой, ударялись о сталь колёс… Близ мастерских ремонтных полыхали вагончики жилые; поезд пожарный, маневрируя, пытался прийти на помощь; но доступ преграждали машины путеукладочные… Антоныча бы сюда с его кишкой брезентовой!.. Когда мы миновали ангары депо, Ксения оживилась:

— Всё! Дальше я дорогу знаю. Спасибо!

— А вдруг бабушки в больнице нет? — взволновался неподдельно я.

— Если её там нет, обратно я не вернусь… Прощай! Ты молодец! — она охватила меня за шею и поцеловала.

Я потянулся было опять к губам её, она отпрянула:

— Кончится война — приезжай в Таллин! — подправила она рюкзачок и побежала рысцой вдоль ограды глухой двора грузового.

Метров через пятнадцать обернулась и помахала рукой.

— Гори, но живи! — прокричала.

А у меня аж сердце защемило и слёзы затуманили взгляд за оправой очков. Ведь она прониклась, разгадала, унесёт сейчас типаж мой за километров тысячу. Как и я — взлелею образ её в себе!

Антонычу я сказал, что снайперу учинил бы расправу, но он утёк через балкон. Раскуроченная мною винтовка — в сто сорок четвёртой.

— Я верил в тебя, сынок! — похлопал меня по плечу Антоныч. — Все детали после. Наши вступили в бой за мост, решается исход войны! — он огладил размашисто усы и повёл ноздрёй чуткой. — Пожар где-то!

— Антоныч, ты же еле ходишь после ранения. Я управлюсь сам…

— В могиле отдохнём…

Ближе к ночи, пригубив спирта из фляжки на пару с шефом, уминая тушёнку, я поведал ему про Ксению. Вот, дескать, ещё и девушку спас… Антоныч сперва нахмурил бровь, подёргал ус, а потом и головой мотнул.

— Да, хитрая баба! Из Таллина она, говоришь? Конечно, эстонцы всякую Олимпиаду золото и серебро по стрельбе берут…

— Не может быть! — содрогнулся я, ловя намёк товарища старшего.

— Учись, ботаник: деньги и война — дело подлое. А бабы… Что за баба, которая до порога мужика три раза не обманет?

— А наручники? Зачем?

— А затем. Она поняла, что её ловят… Прикинулась жертвой!

Я не поверил Антонычу, хоть он и калач тёртый по жизни и в профессии. Я не поверил, что Ксения снайпер. Нет!.. Нет и нет!.. Хотя засов дверной при выходе нашем из парадного всё так же был замкнут изнутри… Но снайпер мог ведь ретироваться и через крышу — в подъезд другой…

Позже я выведал, что в квартире злосчастной на этаже последнем и в самом деле жила старушка, которая куда-то съехала. Была ли у неё внучка?

А спустя месяц, когда противоборствующие достигли консенсуса за столом переговоров и войне был положен конец, я поехал в Таллин. В мозгу отпечатался адрес Ксении.

Вот и улица, и дом её в районе Мустамяэ.

Я поднимаюсь на площадку к квартире заветной. Я не хочу звонить, давить на кнопку… Я просто постучу в манере тривиальной: «тук-тук-тук», — как тогда, в сто сорок четвёртую.

Москва-массовка

Быть иль не быть?..
У. Шекспир. Гамлет

Дед Иван говорил внучку́, своевольцу-казаку приднестровскому, по стопам угребающему выбывших из жизни сей, унылой и безысходной, сродников:

— Эх, Андрюшка, побойся Бога! Все глаза продымил пьяным зельем перед тиливизором окаянным!

— Ты и сам, дед, в молодых годах лютее лютого водку жрал да за девками притоптывал, а сейчас за Бога хоронишься?! — отвечал хмельной тридцатипятилетний внук, уставившись тупо в экран.

— Грешен. Но как вы, чумовые, не поспешал на тот свет.

— Али мы не сыны отцов своих? — внук раскуривал со злорадством цигарку огромную. — На войне девяносто второго не погиб, чего же пророчить десять лет спустя! Фильм такой есть — про мушкетёров! Кха-ха-ха!..

— Не смеись, не смеись, поганец! Ты и жив, мобыть, потому, что иммунитет маешь, один уж остался в роду. Отец, дядья и братья полегли, что снопы… Разладилось наше бытие, через это и шаришь, чем бы забыться…

— К чему клонишь, дед, не пойму! — сучил внук по клавишам пульта, с частотой пулемётной перебирая каналы телевидения.

Да, обеспечила власть зрелищами в плоскости вещания защитников анклава самопровозглашённого — антенной параболической к юбилею очередному республики. Многие и пропили сразу подношение от олигархов-спонсоров. Но некоторые ещё упорствовали, мозоля спьяну глаз. Хотя сознавали: чушь несусветная — всё, что транслируют сутки напролёт прокатчики программ.

— Неча рассусоливать: чем понапрасну тут чубом трясти — езжай на Москву! Город шабутной, но хуже не будет; слыхал, не пьют в граде сем, потому как деньгу куют! Хоть каким заручись делом-то… Апосля возвращайся, когда с тверёзого взгляда поймёшь, что нет ничего дороже земли родной и ты должен быть ей хозяином. В этом наша соль, правда потомственная!

• • •

С приездом в Москву пьянство-разгуляйство как отрезало («иммунитет» — это в точку!), когда присмотрелся к ценам-то, да и на дедовы сбережения — совесть не позволяла оторваться. Однако и линия судьбы словно прервалась. Вмиг ощутил себя былинкой безымянной со взором тверёзым, но встроенным жёстко (до помутнения) в повинность трудовую буден; не то что в родных Бендерах — где сплошь простор, перспектива

историческая («Край воинственных могил»!), где люди живут и умирают порывом единым… Сколько воспоминаний жарких — о гагаузском походе, дозорах под Дубоссарами, как с армией конституционной «рубились» за бендерский исполком… Не один гекалитр под «былое» и «думы» улил в себя иной герой. И почил — с улыбкой на устах при встрече с Ангелом; так как охранить казака в этом чаду, именуемом «жизнь», — значит, избавить от неё!..

Работал на Москве казак и мойщиком стёкол зданий высотных, и афиш расклейщиком (тоже на высотах порядочных), и продавцом в салоне мебельном, и даже… агентом рекламным в журнале глянцевитом (вот поистине уда дьявольская под замысловатой биркой). Трудоголил, лишь бы оплатить жильё съёмное; денег деда хватило до первой получки. Вот как-то осенью и встречает его Пётр Царьков, бывший коллега по стойлу менеджерскому, с кем они состязались в количестве звонков результативных за единицу времени, что шашками махали с плеча, ну и говорит:

— Бросай, Андрюха, эти рысачества: горбатить на Папу Карла (гендиректор издания Карл Иванович) — эка невидаль?! Айда в кино сниматься! Оплата средненькая, но — в тот же день. На людей знаменитых посмотришь, себя покажешь. И ус в вине, и нос в табаке! Красотища!

Царьков очень напоминал Андрею другого Петра — товарища по братству казацкому, погибшего в бою. Одиннадцать лет минуло, а как увидел за стойкой быстрого питания его, то лавашем пряным и подавился — будто тот, бендерский, воскрес (бил по спине «двойник», помогая восстановить дыхание), — так и увязался за знакомцем новым, был принят в команду органа печатного; а теперь опять их пути пересеклись…

И пошло-поехало. Съёмки в сериалах чередуются с шоу и телепередачами (общий план, дающий блистать артисту на фоне таких, как ты), корпоративами, где статисты ряженые фривольно снуют для воссоздания атмосферы. Прибывший из российской глубинки Царьков знался с профессией иной, но навык отпал рудиментом: свёртывание производств повсеместное, а также витающие уж мотивы поведенческие эпохи, именуемой веско: постиндустриальность. Он и надоумил, куда пристроить фотки (портреты: анфас, три четверти, полный рост) с целью заручиться проездным на праздник жизни. Не всё же Богом отпущенное время поминать о войне, можно и рехнуться, особенно в столице, коей явно не до твоей в боях опалённой юности. А заодно и присоветовал (тёртый калач — полтора года раскатывал сию забавную плоскость), какую позу избрать, дабы ввернуться в формат десять на пятнадцать сантиметров; и лучше в майке с вырезом «щёлкнуться» — эдак ассистент по актёрам оценит на все сто данные наймита: выберет в охранники бандитов или в менты…

• • •

Стало быть — в артисты! В прямом смысле обернуться некто — раствориться в образах-образинах, заключить сделку со случаем. Раз перспективы особо соискателю вольному со сбритыми усами и чубом не светит («всё схвачено» вокруг!) то и неча: проще вознестись над явью — стать ничем и всем. И поначалу упасть. Ввергнуться больно и предсказуемо — в нижний круг небыли актёрской: в массовку… По натуре человеку с харизмой, Андрею, важно оправдаться перед смыслами от корней, что выбранный вектор неслучаен. Вернее, поиск и отрицание предыдущих целей, не принимаемых сердцем-умом; да и возможно ли сотворить благо себе и окружающим — в обход практик фронтовых? «Лицедей, так что же? — размышлял, сообразуясь с деда словами. — Не всё ль равно, кем быть? Главное, пытаться ещё быть, отметя в тридцать семь холостяцких лет надежды состояться по-человечески…»

А ведь под пулями мнилось: страна, мир прикованы вниманием к Приднестровью. И его, участника событий, не должны сбрасывать со счетов. Будет востребован, будет и дальше забирать вожжи стихий. Ан нет! С бравадой было сразу и бесповоротно покончено. Казаков, вставших грудью на защиту республики, лихо и прокатили впоследствии — в устроительстве государства молодого: оттеснили на обочину… Погоревали-погоревали казаки и давай, кто не расточил честолюбие, настраиваться на регионы горячие. Уезжали в казачьи округа (которые также участие выказали Приднестровью) — на Кубань и Кавказ. Кое-кто рванул в Югославию. А вот наследник рода был оставлен деда изволением дома — отведал пороха, хватит! Влиться же в русло мирное не довелось: обзавестись семьёй, решить карьерные (не без этого!) вопросы — выправить стезю профессиональную, означенную годами учения в политехе. Всё это как-то попятилось оглашенно на план дальний — после урагана военного над родной землёй, забравшего и Андрея в потоки… Бесшабашность в компании себе подобных, которых и менты не жаловали — побивали, сажали в «телевизор» до протрезвления. Это была его реальность. Потом и пить уставал! Но время упущено. Он не состоялся в плоскости жизни. Стал как все. Смотрел телевизионный ящик, отряжался на подёнщину, тянул до получки…

• • •

По весне, в один из наездов на «Мосфильм», прочесав не один коридор по штабам киностудий,

впаривая направо и налево фотографии с реквизитами на обороте: год рождения, рост, телефон (у Царькова и перечень фильмов следовал, в коих «в массе» фигурировал, приравненных к ролям-эпизодам!), — товарищи отошли на лестницу перекурить. Андрей интересовался у приятеля:

— Ты имел зарплату, начальник по рекламе о тебе отзывался лестно. Что побудило к столь виражу крутому?

Пётр сработал трагическую маску, как на фото из тугой пачки своей:

— Пойми, Андрюха, я надорвался. Жалею об одном: послать бы раньше к ядрёной фене менеджерство это! Продажа площадей рекламных — фи, никакой романтики!

— И тут её не вижу, — Андрей без рьяности попыхивал дымом. — Труд изнуряющий, хотя ничего и не делаешь: ломаешь дурака!

— Грех жалить, ты вчера эпизод зацепил… А у меня — реплика из зала…

— Я про другое, — настаивал Андрей, запуская в урну окурок ополовиненный. Старожилы казацкие по завалинкам сказывают: коли к сорока годам не бросишь курить, так с цигаркой в зубах и похоронят. — Почему ты из журнала ушёл?

Пётр затягивался неистово. Поднял глаза:

— Невмоготу целиться! Двадцать звонков результативных — двадцать человек положить: забить баки, урезонить аргументами… поднатужиться и — тучным ударом — в нокаут! Премудрость школы Папы Карла… А на деле — укокошить и себя!

Так было. Карл Иванович, профессор кафедры робототехники одного из вузов, в пенсионном возрасте затеял издание глянцевого журнала интерьерного. Держался на плаву, выискивая «научные» методы организации труда. По его установлению рабочий день делился на перетекающие фазы: час обзвона рекламодателей, час обсуждений звонков, где совместно совершенствовалось обращение к оппоненту; опять обзвон — и опять обсуждения «высоколобые»… Вечная погоня и вечная алчность в глазах: кого и как на том конце провода подсечь… Реализовывалось устремление профессора к гвардии железной буратинменеджеров, отворяющих своими ключиками золотыми — «научными подходами» — кладовые новой реальности постсоветской (в пределах обустройства интерьерного).

— А в массовке? — Андрею хотелось развенчать тщету Царькова: виделся ему другой Пётр, кто в отваге боевой не знал равных.

По сути, телефон клиента в яви менеджерской — дот, который необходимо, выказав смекалку, подавить.

— Здесь веселье, — брался Царьков за очередную сигарету. — Никаких ристалищ. Я — не хищник, я — заяц робкий!

— Кто же, по-твоему, я? — Андрей готовился к приговору; себя-то он втуне ощущал охотником по жизни.

— Да и ты не из поработителей человечества… — Пётр в лица бегущих по лестницам служителей культа иллюзий заискивал, обжигая пальцы у фильтра. — Натура чувствительная, автохтон… как и я, кхе-хе… Расслабься, получай удовольствие последнее!

• • •

В тот день на «охоте вольной» не удалось заарканить удачу — ухватить перо от жар-птицы — подрядиться на эпизод горячий… В чём и состояла специфика довольно зыбкой и не всегда приветной стези — представлять себя, быть мишенью и снайпером, вручая ассистенту режиссёра фотографии, которые заказывал в ближайшей от жилья съёмного на окраине Москвы лаборатории. Вот они, доносящие облик его бесчисленные фотоподтверждения: «Я есть: не погиб от пули; и от пьянки-безысходности ушёл!» Разнообразил и одежду, и позы, и антураж. Погрудный портрет с кодовым названием «Штирлиц»: положительный герой в светлом пиджаке, белая рубашка, галстук; оплечный — «Мефистофель»: истый искуситель с прищуром в свитере чёрном; поясной — «Влас»: кулак у щеки и бицепсы, давшие «зелёный свет» назначению в главари банды по кличке Влас; «Качалов»: свободная поза (как присоветовал Пётр), нога на ногу, в кресле-качалке… В меру привлекательный мужчина молодой: высокий с глубокомысленной складкой лоб, стремительный нос, крепкий подбородок, волевые линии рта, взгляд энергичный. Казак — в прошлом. Пестуемая ныне социальная единица в массе…

Однако Андрей пестовал мечты. Вчера только отыграл братка́ в сериале (за что и получил втрое весомее гонорар, чем за массовку), и сегодня язвило ожидание фарта. Раз на раз не приходится. Назавтра назначена пахота в шоу.

…Утомительно и бездарно схлопнутое время. С градом пота на висках и шее (жарят десятки софитов), с напряжением всех групп мышц (сидеть требовалось на кубах супрематических), с мыслей банальностью и чувств (держать мину заинтересованную). То нелицеприятно ещё, что ведущая сквернословила за кадром в микрофон. И на осветителей: режет глаз, чёрт дери, ороси другой профиль; и на «публику»: не зевать, хлопать слаженней, не лезть с воззрениями-оценками (только по знаку аплодисменты); и на гримёров, которые вусмерть надоели ей со своими щётками-пудрами… Ярко-кислотная декорация довершает ощущение преодоления — и бессмертной личности, и веры-надежды…

Телевизор развенчивал свою тайну; Андрей постигал ситуацию изнутри; ему даже казалось, что он в тылу вражеском (ходил же с Петром в «поиск» под Дубоссарами и окрест Бендер выправить данные); его миссия — явить себя. Как именно? Не важно. Бросить курить, к примеру. С выпивкой ведь завязал!

В перерыве именитый писатель (интервьюируемый) испросил воды, а распорядительница плеснула ему водку. Улучив момент, Андрей намерился с вопросом к мэтру, но ведущая вытеснила грубо «с арены слона»; писатель сделал вид, что не заметил.

Подобное задело: он не существует! Нахмурился, в отличие от расслабленного Царькова, который с пристрастием транжирил время на съёмке, жевал в антрактах морковку (после сигареты брался за корнеплод) — пресловутый бычок тупогубенький из актёрской присказки. В дымном предбаннике Царьков растекался самозабвенно перед компаньонами из городов-весей, мотыльками слетевшимися в ангар телефабричный — за пусть и не ахти какой, но деньгой. У плаката с беременной смертью — ощеренная по-голливудски, с макияжем на остове черепном, пляшущая Костлявая с косой и в джинсах, изобличающих пузо,— Царьков выпячивал гаерски и свой живот. Андрей игнорировал его жест призывный, шваркнул с ненавистью и окурок в урну — когда очередной великий-признанный, член рок-группы скандально-разгильдяйской, коротая время до следующего блока (их снимали по четыре, и это было изнурительно), предложил людям из массовки «щёлкнуться», смеха ради, у постера.

Другой Пётр предложил Андрею в канун войны запечатлеться — на фоне крепости у Днестра (та фотография и сейчас в паспорте на груди). Пренебрежение к памяти Петра — «фоткнуться» с его двойником в балагане! Настоящий перед боем припечатал кулаком к скале бастиона пачку сигарет.

— Кончится война,— его накануне слова,— тогда и у тебя, Андрюха, отобью охоту курить да водку жрать!..

Казаков, прошедших «школу» под Дубоссарами, по спецсигналу собрали в районе казарм крепостных. Выдали оружие. Знали, что на Бендеры армада прёт. Ждали приказа, чтобы защитить исполком. Не дождавшись («предательство штабных, замысливших сдать город!»), атаман скомандовал:

— По машинам, там разберёмся!

До исполкома не доехали. Всюду стреляли. Водитель остановил у центрального рынка. В лоб шла колонна бронетехники, устремляясь к мосту через Днестр. Кто-то вскинул гранатомёт. Головной бронетранспортёр загорелся. Казаки пытались закрепиться в квартале. Но тут снайперы. Пули дзынькали слева и справа… Поливал и огонь пулемётный; руки-ноги-головы неформатным образом (для представления, воспитанного на кино) устилали мостовую и тротуар — поверх внушённой с детства романтики военной…

Как в такой свистопляске оглашенной выдюжить? Шагу ведь нельзя ступить без прожигающего мозг осознания: вот именно Здесь и Сейчас, на этом адовом пятачке у киоска газетного, преисполненного декларациями интеллектуалов (ещё миг — и валящегося валом в небо, что в съёмке замедленной, и обрушивающего к кирзачам твоим веерами-страницами огнём иссечённых — «Звезда», «Юность», «Новый мир»…), у цоколя главпочтамта с растрескавшейся штукатуркой, отчего-то в виде мальтийского креста,— можно ведь и самому на эти конечные равно лепестки-сегменты располосоваться: под десятками, сотнями ножами Потрошителя! И каждая трещина перед глазами даёт новое «сейчас»: быть иль не быть?!

Ура-а!.. Ура-а!!! Перебежками стремились казаки к исполкому. Патронов не жалели… И армия конституционная — не промах: подходы к зданию просекала шквалом калибров. Необходим манёвр. Какой? Казацкий грузовик занимался пламенем, шофёр — у колёс в позе эмбриона. Крикнув ребятам:

— Я есть! — Пётр вскочил в кабину, отжал сцепление и — на броню застопорившуюся…

Ценой жизни своей улучил в момент единственный вектор. Казаки прорвались на подмогу в исполком. Флаг республики не был низвергнут…

• • •

Для чего они все — массовка? Слетевшиеся с разломов-окоёмов некогда единой страны, всё ещё близкие по духу сограждане, чувствительные к несправедливости, явно с оголтелостью во взоре, с жаждой реванша,— носители пульсаций социума. Судя же по реакции работодателя: пятна, абрисы, тени, дабы замазать брешь, придать глубину плоскости — на которой лишь намалёван очаг. Ан без артистов массовых сцен не обходится ни одно шоу. Все вместе, спору нет,— нужны; каждым в отдельности — пренебрегают: «Эй, на галёрке, некто, подите вон, раз не можете вписаться в фон!..» Недаром и в футболе испытание для команд — игра при пустых трибунах. Так же и на поприще эстрады: аншлаги звёздные обеспечиваются отдельной статьёй расходов — псевдопоклонникам платят за просмотр! Статисты зачастую заполняют площади столиц, «протестуют» на митингах-пикетах, творят рейтинги опросов.

Внести в сюжет достоверность! Массовка и придаёт вымученной картинке подлинность: движущаяся, гогочущая или, наоборот, остёгнутая… Молодёжь, средний возраст, люди пожилые — все востребованы с завидным постоянством на теле- и кинопроекты. Даже дети и домашние животные;

к этой категории, впрочем, требования особые… Сведения о претендентах хранятся в Центральной Базе, извлекаются ассистентами режиссёров, не брезгующими и принять фотки из рук желающих отличиться: в типажах иль в эпизоде — как повезёт.

Везло. Отбирали. Удался комплекцией (играл бандитов, охранников, милиционеров) и более-менее лицом фотогеничным. Красавцем, однако, не был; и не комплексовал — подмечая, как записные угодники зрительские на первых-вторых планах льнут к зеркалам подправить волосину выбившуюся, сбить былинку мизинцем приторно оттопыренным — павианы расфуфыренные… За эпизод оплата выше, и время съёмочное плотнее, и коллеги по площадке, взаимодействуя в реплике, уважают. А что говорить о прежних дружках-товарищах, с коими вчера тёрся плечом к плечу в сцене групповой — ещё дубль, ещё! — на кого не пал перст указующий помрежа: «Не хотите ли сыграть?..» — так у тех блеск почтительный в глазах…

— Ну, ты, блин, даёшь! Без году неделя в кино, а какая по счёту роль? — с жаром вопрошал Царьков, пересёкшись с Андреем на съёмке исторического «полного метра».

В последнее время их пути-дороги разошлись, каждый промышлял самостоятельно.

— Я не считаю,— Андрей озирался пристально на себя в облачении гренадера Преображенского полка, удерживая кивер… Вот так же он когда-то переоделся и в форму казацкую. Думал, игра всё это, несмотря на принадлежность кровную к племени казацкому: сапоги со скрипом, галифе с лампасами, гимнастёрка с кантом, шашка, фуражка заломленная… Форма же притянула в лоб пытливый вереницы смыслов…

— У меня всего десять — эпизодов, но я давно в этом деле! Чем ты их берёшь? — не унимался приятель, также затянутый в мундир, приглашая на скамью у гримёрной.

И опять этот здоровяк розовощёкий был стократ ненастоящий: запасался морковью и сигаретами тонкими, чтобы без претензий схлопнуть время…

— Не знаю…— Андрей наблюдал в себе преображение с облачением-то (реконструировался дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны).— Хотя… вру,— смотрел заговорщицки на коллегу,— будь в курсе: я беру их!..

— И чем?

— В каждой роли я стою на действительной жизненной почве…

Царьков с усмешкой кривой резюмировал: всё-де в этой жизни театр… Андрей же цитировал сентенции Станиславского, почерпнутые в период обращения в лицедеи. (Хотя здесь можно и поспорить, насколько обращение это было негаданно.)

За неделю до войны на той самой площади перед исполкомом, где и предстояло Петру явить себя, между друзьями случился разговор. Уже пылали Дубоссары, уже был расстрелян автобус с рабочими на окраине Бендер. Все ждали боевых действий и в черте городской… Пётр говорил, не таясь ощеренных объективов представителей средств информации, облепивших подходы к зданию (казаки стояли «вольно» на посту, подбоченившись в форме,— высокие, бравые, чубы непокорные запрокинуты в облака):

— Не сегодня-завтра начнётся. Враг стягивается по юго-западному периметру. У меня такое чувство, что меня не станет…

— Брось! — не меняя позы залихватской перед корреспондентами, Андрей впервые находил товарища в эмоциях опрокинутых.— Всех нас не станет когда-нибудь. Казак — это смертник: готов сложить голову за други своя!

— И я о том же,— щурился солнцу Пётр.— В отличие от тебя, я не потомственный. Думалось, в обличии смогу доказать!

— Потомственный, не потомственный…— хмыкал Андрей.— Что доказывать?

— Без подвига нет ничего! — отвечал Пётр, засматриваясь на стяг, плещущий звонко красным и зелёным над исполкомом.— Каждый житель республики нашей самопровозглашённой несёт в себе запал. Но хватит ли смекалки и воли осуществить? Совестно, если упущу то, что гнездится — во мне, в тебе, в нас,— требует выхода!

— Видишь, ты и есть настоящий! — бил по плечу, притягивал лоб друга к своему лбу Андрей — под вспышки алчные объективов.— Ты и есть!..

— Я есть!..— ронял Пётр чуб вихрастый на плечо Андрея.— Я есть!!! — и щёки обоих были мокры от слёз.

• • •

Нравилось ли Андрею, человеку от земли, крещённому огнём и металлом, обретаться, словно во сне, в сорок четыре уж года (прошло пять лет, как он взялся распахивать сие иллюзорное поле иллюзионное),— в персонажах, вызволенных из небытия, дабы вогнать в небытие прикованных к экрану за неизменным бочонком с алкоголем? (И норовит язык поименовать пива сорт, за которым жизнь у телевизора схлапывается,— «Небытие».) Сегодня гарцевать в составе эскадрона лейб-гусаров, завтра — в наряде инспектора дорожного, опосля — в корпусе янычаров Империи футуристической; втискиваться в малиновые пиджаки «нового русского», напяливать цепи «рыжья» на шею, попыхивая (не взатяг, бросил!) сигарой в «братанских тёрках» с такими же массовки представителями; внимать галиматье министра в депутации учёных (выдался и такой опыт интеллигентский); поблёскивать моноклем с трибуны Мавзолея; плясать Пришельцем с головой в форме

ореха,— и, опять-таки: утверждать, утверждать, утверждать — миры сублимированные, всё те же деревни потёмкинские, намалёванные на бересте. Громоздить Гору Вымысла, под которой роятся мыши… Приносило ль всё это ему удовлетворение?

В отличие от Царькова, кой не был хищником, раз не в усладу источать приёмы захвата на манер армий менеджеров столичных (чему уже хвала), Андрей обладал и здравым смыслом. Он говорил ему:

— Долг человека — загружать себя нравственно, не вязнуть в нивелирование себя за формулой тривиальной: всяк-де ныне пешка в конфигурации — куда и как это множество вгонят, ограняя по бокам, тем и составит узор под приглядом. Царьков растворился в миражах. Ты же обязан искать! активно наблюдать события — стать вершителем судьбы. В этом подвиг Человека: Я есть!!!

…Прошёл ещё год. Андрей спорил с разрывающими сознание прерогативами: потакать ли себе и тем, кто денно и нощно к экрану привлечён, пережёвывая сериалов-телепередач жвачку?.. А ведь недавно уже и события донецко-луганские воспрянули в мощь полную (не говоря уж о крымских событиях!), уже и там война. Будто опыт приднестровский перенесли параллельно через годы на восток Украины. А он, участник-зачинатель ряда событийного, давшего заряд и духу бодрости, и сопротивлению вящему, так и остаётся — «в массе». Не пристало казаку разделять участь травоядных всех, а вот быть в авангарде стихий — так это в самый раз!!!

В один из съёмочных дней прямо из артистической, где он готовился к роли берущего взятки постового, его вызвали к режиссёру. И сразу же надежда взметнулась. Шанс!.. Он согласится играть за плату символическую, лишь бы никаких ментов-банкиров-бандитов, в обход именитых-признанных, лощёных и подмигивающих, которые без «штуки баксов» и рта не раскроют… Андрей влетел в бокс режиссёрский, готовый внимать.

— Брателло! Конфиденциально,— режиссёр вышел на цыпочках из-за монитора, приоткрыл дверь закутка профессионального, глянул окрест и закрыл.— Ты подходишь по ряду параметров…— смотрел на Андрея испытующе.

Андрей ободрился. Нет, не зря воевал за землю родную. Не зря друга потерял, а потом обрёл в ипостаси новой. Не зря познал правду казацкую, удаль и горечь поражений — в чаду хмельном да в объятиях женщин многих; не зря по наказу деда пришёл на Москву; не зря чудил в «буратинах-менеджерах» и в «паяцах ряженых» (тоже ведь испытание испытаний) — всё не напрасно! Окажет влияние, точно! — явит себя. Заручится Словом и Делом! И это будет его толика, мир избавляющая от чумы нивелирования, восстания масс…

— Во вторник ты свободен? — наступал режиссёр, горя глаз огнём.

— Кажется, планировал что-то…

— Пошли всё прочее к чертям! У нас случай особый: шикарный костюм и галстук получишь в довесок к гонорару!

— А сценарий когда? — Андрей всё ещё пребывал в тумане.

— На этот раз обойдёмся. Всё, что будет нужно для кадра, сообщат после подписания с тобою бумаг ответственных.

«…радикальный по языку проект,— рисовалось Андрею.— В качестве артистов задействованы вездесущие представители массовки; коллегиально по ходу действия разрабатываются сценарий и антураж…»

— Во вторник у Боровицких ворот, стало быть, встречаемся!.. Получишь пропуск! — брался за пуговицу его бушлата форменного, бурился взглядом в Андрея режиссёр.— …В инаугурации участвовать будешь!.. Изображать лепоту благодарственную избирателей от села!.. Усы вот только тебе не мешало бы пышные казацкие приклеить — для убедительности пущей!.. Хе-хе, не грех, кто-то должен… Типаж, по-моему, великолепен!

Нетрудно догадаться, какой выбор сделал Андрей. Ведь образ беременной Смерти с косой, балаган цивилизационный символизирующей, к сорока пяти годам жизни стал ему антипатичен.

● ● ●

Придя на могилу к деду Ивану (он умер, не дотянув до возвращения внука из отступа), Андрей долго вглядывался в фото на кресте: непокорный чуб седой под летней фуражкой, верные усы, лучистые глаза. Безмолвно благодарил деда за мудрость.

Начиналась новая эра: исход — из мегаполиса! В векторе: от массы, множества пустопорожнего,— к единице самоосознающей!

Стажировка

Хочу — следовательно, существую!
Артур Шопенгауэр

Падающие на кварталы мины — что тарелок оркестровых схлопы процессии погребальной, травящей по пятам. И это не сон психотика. Только успели миновать развилку, не покрыв и треть расстояния до больницы,— началось. Конституционалисты атаковали, не щадя никого и ничего… Справа замелькала окраина одноэтажная, вжимаясь в себя; слева и впереди — в новую реальность — болваны пятиэтажные микрорайона «Ленинский».

— Чёрт, чёрт!!! Мама родная!.. Михалыч, давай во дворы!!! Так мы никуда не доедем…

Но её крик заглушил раскат. Мина.

Карбюратор разворотило осколком. Водитель погиб, уткнуться успев колесом в песочницы детской борт. Старик в маске кислородной повалился под лафет скамьи скорой помощи, ломая кости и дух испуская. Окна калейдоскопом изошли, ни зги сквозь,— и только вопли вопиющие, и посвист снарядов да мин… Сорок один градус выше нуля — а озноб и в трахеях иголки, будто минус предельный. Полярная стынь: июнь 1992-го в Бендерах.

…С чемоданом, на котором сердцем пульсировал крест, к панельным фасадам льнули, забегали и в подъезды на передышку. Сообщить бы по инстанции о трагедии с водителем и пациентом-инфарктником, ан связь телефонная по городу оборвалась… Она — врач-кардиолог, брюнетка ладная за тридцать, бурная и порывистая, влетающая на сёрфинге — с волной взрывной — в сердце мужское (сказал бы поэт про неё), и он — стажёр двадцатипятилетний…

— До конца обстрела остаёмся здесь! — озарение опахало лицо её, смахнув градины пота ледяного.

— Точно,— опускался на бетон лестничной клетки он, глаз не сводивший со старшей; чемодан задвинул под ноги, чтобы не мешал жильцам сигать через ступени.— Быстро это не кончится!

Акцент выдавал в коллеге молдаванина.

Врач с вызовом бросила, чертыхнувшись:

— Ваши штурмуют город, а ведь в нём добрая половина молдаван! Не хочешь к своим — пострелять?!

— Вы же сказали,— перекрикивал канонаду он,— здесь всех намешано. И «нашим», и «вашим» достанется!

Она поняла, что сморозила глупость. Но гнев не сменила:

— Можешь к своим, Петря, я не против. Лекарства раздам…

— Вас, Галина Аркадьевна, не брошу! — сторонился огородников с вёдрами-граблями (война захватила в страду).— И, во-вторых, ориентируюсь плохо на местности — пятый день всего стажировки: куда ж бежать?.. За вами — как на привязи…— в этом уже сквозило игрище: сердце без любви — кимвал бренчащий!..

Где-то совсем близко застрочил пулемёт. Очереди автоматные в ответ. Глухо ухнула граната. Посыпались стёкла…

Он был из Кишинёва, учился на четвёртом курсе мединститута. И не гадал столкнуться со следствием, причину же наблюдая в шествиях уличных под триколорами с головой бычьей: в возбуждённой колонне по изволению деканата и сам дефилировал, случалось… Но и сепаратисты — не промах: у арки Триумфальной сзывали всех уязвлённых лозунгом заборным «Чемодан — вокзал — Россия!» — вот перебазировались в анклав на Днестре. Национализм и сепаратизм — точат-грызут тело государства, будто опухоль.

— Не пожалей! Сам-то определяешься — политически?

Он искал ответить нестыдно (чтобы акцент не зашкаливал), но призвал Гиппократ. Раненый: заносили того, волоча кисель кровавый с ноги,— а тут Ангелы в одеждах белых и с чемоданом! На третий этаж поднимали. Подросток квёлый взбирался позади, трепеща разрывов и прижимая к груди конечность, с колена ссаженную (доводилось Петре ампутировать ноги мужские на втором курсе: тяжёлые). Отпрыск не расставался с «наследием» отцовым и дома, когда папаню, работягу заводского, уместили на топчан. Галина вела: заглянула под веки горюну, замерила пульс, дозволила Петру жгут наложить, вколоть, перевязать… Вручив хозяйке капельницу, успокоила её сурово. Потом — к пацану. Вырвала ногу, приказав ассистенту в мусоропровод её. Петря вышел на площадку, однако спускать в камеру не стал. Прислонил к трубе стоймя в туфле «Зориле» (подумал: коренные и ходят ныне в обуви местных фабрик, пришлые выбирают иные — маркер «кто есть кто?» с началом междоусобицы) — рядом с бутылками из-под кефира пристроил. И — к начальнице хирург будущий.

Она движима была выполнять миссию в доме по соседству, чей гонец не замедлил явиться.

— Русских лечим, затем молдаван, слыхал, практикант? Шучу-шучу — всех, покуда лекарств хватит! В сторону вариации!..— и, хлопнув фельдшера по плечу, к порогу маршировала… под сизый ветер мин и снарядов…

Обыватель же замкнулся по ячейкам, голову — в крыла укутав: рушащийся картинно мир! «Последний день Помпеи», «Девятый вал»… Метался и по комнатам люд, кипами книг и матрасами проёмы окон баррикадируя… Криз психический у граждан мирных. Криз психический у властей. А точнее, у военных «крышу» сорвало… Но как там у врачей?

Не только руки-ноги выдирать с рёвом из объятий ревностных приходилось. Погружались по локоть в утробы, осколки извлекая.

— Давай, давай! Заходи без проволочек! — мастеря отводку крови из занавески в кастрюлю, подстёгивала Галя напарника над раненым очередным.— Зажимы-пинцеты — по обстоятельствам!

И он постигал: пульсировали в пальцах стажёра органы — слезились или «вскипали» отревоженно в упорной к жизни фактуре своей. И до сердца дошёл, когда оно в рубцах сбилось с ритма. (Торговка дородная доставлена с кулём в обнимку; куль и упредил потерю крови, пережав ток.) Но запустил, с адреналином! Молодчага! («Петрик — лучший в Барнауле электрик!..» — вспыхнула прибаутка в сознании Галином из детства.)

— Ты не ответил: наци городской? — буравила его, сторонясь уж воскресшей, у коей осколок тащили из груди (волею судеб — будет жить!).

— Вам, Галина Аркадьевна, лишь сепаратисты по душе?

— А всё же?

— Сватали в националисты… Хотя совсем недавно главным предметом была история КПСС: без этого зачёта ни на какую стажировку…

— А сейчас?

— История Молдовы — как преемницы империи Рима!

— И талдычит ахинею сию лектор бывший по истории КПСС?

— Как знать… — Петря окунал руки в таз, вытирал. Брался за чемодан мрачно. — Приднестровская республика тоже ведь… Кто и зачем зажигает эти звёзды самопровозглашённые?!

— Наци. И козе ясно! — поспешала за коллегой, покорённая его правдой.

Зов профессии их вёл — под знаменем и в униформе не поймёшь, каких градаций цветовых… Его халат и её — в зигзагах крови венозной и сосудистой; ядовито-жёлтый фурацилин в напряжении ляпов не уступал; марганцовка дробинами по полю; и — чёрное на белом — уголь активированный… Впору с Малевичем сразиться!..

Близкие Тетёхи Сисястой (во время операций давались и прозвища больным) заклинали их отдохнуть, поесть. Однако недосуг.

Роженица; внезапные схватки; выманивали без инструментов жизнь на свет: солдата, нет, мама родная, двойню! Так и есть — мальчик и девочка!..

— Божа Матир-заступныца, шоб я так богато жила!.. — причитала свекровь.

Свёкор же, осчастливленный в квадрате, испросил имена:

— Галинка и Петрусь?.. Цэ дюже добрэ!..

И одарил «людын, хто найкращи наши друзи» связкой халатов синих. Оказались медики в нужный момент в нужном месте (действительно: «места» надо знать!). Если б не чемодан с крестом красным, они б напоминали уж ремонтников техники бытовой; в ракурсе обстоятельств — спецы реальности становящейся, на все руки-ноги-животы починители. Тогда как прочие русские, украинцы, молдаване убивали друг друга.

Девятнадцатого июня в семнадцать часов тридцать минут по Москве армада хлынула на Бендеры с окраины городской: танки и бэтээры, самоходные установки и миномётно-гаубичные батареи. Продвигались к исполкому и мосту через Днестр, изрешечивая огнём неувёртышей теплокровных: людей, кошек и собак, ворон, голубей и белок, — а также здания жилые и заводские, деревья, песочницы и качели… Явь… Время-место замесилось едино пулями пронырывающими. Вещество существования вскинулось вспять. Защитники целостности государства — и такие же сепаратисты остервенелые… Война всех против всех: сердец-рук-ног — осознаний сложности жизнетворящей — и рейсшин-лекал огневых в плоскости раската мирового!.. Воспламеняющий сознание аккорд первый Войны!.. Слух-зрение ошпаривает предчувствие грандиозное: «Пляска смерти», «От колыбели до могилы»… и «Капричосы», «Осенний каннибализм», «Герника»…

Ночь они коротали в квартире онкологического. Хозяйка, измождённая не менее супруга, умолила докторов. Поражённый опухолью на последней стадии был одним из лидеров провозглашения анклава.

— Моя фамилия Штырбу — «беззубый» по-молдавски! — пробовал он улыбнуться и впрямь щербатым ртом. — Не все мы акулы национализма, как видите!..

Петря промолчал. Галя ответила:

— Политики! Вы зачастую и понятия не имеете — за что ратуете!..

Ей вторило убранство жилища — как у всех: два кресла тощих, столик журнальный, сервант с коллекцией рюмок (в одной при каждом всполохе-сотрясении дальнем тренькает звонко окаменевшая медалька-шоколад), гравировка «Есенин» над телевизором, сувенир «Парусник» — у изголовья… Улучив, когда Пётр провалится в сон, она вколола рыцарю идеи (под отблеск шара огненного, небо чертившего) ту самую дозу. Освободила от мук пациента вразрез с заповедью клятвенной. Узрела душу родственную: мятежник!

Пыталась и сама ввериться морфию, сна ведь ни в глазу… Призрак насмешливый — мать — из Барнаула родного явилась. Куда-то звала; бунтовщица и нигилистка дочь соглашалась, хотя с ногтей младых независимость отстаивала. Дипломированный психиатр; а близкие хотели видеть в ней педиатра. И не по распределению приехала в городок Бендеры на Днестре, лишь бы от уклада закостенелого, назиданий старшинских подальше… Беглая! Ход неординарный. «Бен дерé» в переводе с тюркского: «Я хочу!» Своевольцы здесь с миссией особой: каждый сам по себе — хранитель-искатель «Я», вместе — оболочка плазменная ядра, Материка-Империи!.. Жизнь обломала крылья: в кардиологи-анестезиологи переквалифицировалась; психолог в «совке» — эко диво: все больные глотают лекарства группы типовой… Женщина в состоянии пограничном, заключила она про самоё, теряя мысли нить, в глуши бездн своих прочь от канонады за окном погружаясь. Рядом стажёр в кресле и пациент почивший… Ей снилась нога, с колена ссаженная, солдатская, но обутая в кроссовку «Адидас», вдруг и давящая чью-то кисть, взрывом оскоплённую, сжатую то ли в кукиш, то ли в кулак… И барабаны, барабанным боем вопрос по пробуждению в голове: солдат в «Адидас» — отчего? ведь

уместнее — сапог имперский?!. И звук струны лопнувшей — с лучом первым солнца… Сон и явь слились — до экстаза воли и представления.

И все под утро второе войны из жителей осаждённых насунулись из укрытий своих. Обвыкнув с мыслью о снайпере в окне слуховом чердака пятиэтажки напротив, или вон там, в ячейке общаги выжженной, и ещё — в башенке универмага разграбленного (солдатнёй или мирными — не разберёшь, мародёрство всюду)… И лучше места эти обходить, торить пошагово траекторию историческую — на хлебозавод (не озабочены, видать, ни конституционалисты, ни сепаратисты безопасностью продовольственной)… Миропорядок от нелюдей в камуфляже и в кроссовках. Вот оно — послабление от командования в униформе (и тех, и этих) — жара, асфальт под ногами плавится! — а эдак удобнее задачу военную исполнять: сеять жуть, мрак, панику в сердцах; чтобы, помимо обстрелов ночных, — и дневная острастка: и на свету тяжелели б мышцы, не смели живые носа казать на воздух (можно ли назвать свежим его — упитанный гарью и кровью забродившей?), без газа, воды и электричества по конурам, знали б место, завидуя мертвецам!..

— Семёновна, глянь, не сосед ли твой брюхом кверху у столба? В морге уборщицей работала, чай, не стошнит! — крик во дворе.

А в ответ:

— Федот, да не тот. Нашенский с пятницы дома пьяный дрыхнет: о войне не ведает! А этот похож: и лицом, и росточком…

— Шёл человек — и вот те пришёл: на тот свет!

— Эк хватануло: поперёк живота… вся кровушка в песок сошла… аккуратненький такой… — ещё голос за окном.

— Мины образца нового: деревья, как лопухи, косят! Апробация!

— Семёновна, давай яму рыть! Вороны лицо испортят. Кончится свистопляска, разберут: кто и что?

— Кончится ли? А может, так и жить — в подвале: и есть, и срать в углу одном?.. Или об землю рожей… Вот и на Игната выросла лопата!..

— Семёновна, у тебя не язык, а бритва! Хлестче мин!!

…Предельность бытия. Вопреки стихии, дома не усидеть: вот и разводили костры поварские из мебели раздербаненной, штакетников и беседок детских в колодцах дворов люди, делились хлебом и информацией (ипостась насущного на войне!): долго ль ещё в кольце осадном чахнуть-куковать? Держат стойко оборону исполкома казачки́ пришлые и ополченцы местные в пылу пропаганды сепаратистской, бьются они за квартал каждый в центре города; но конституционалисты не менее подкованы в раже идейном, ни пяди не уступят за просто так. Где же ты, где, армия-освободительница российская, турок и шведов гнавшая, а также фашиста, где «табу» твоё на беспредел нынешний — ведь одиннадцать километров всего от становища твоего в Тирасполе?.. Вопросы, вопросы — для несведущего в геополитике ума обывательского… Верили, надеялись, ждали… В палисадниках хоронили мёртвых. И активиста провозглашения региона Штырбу погребли, гроб из ящиков от снарядов «Алазани» ему соорудив; и тело водителя скорой, и старика-инфарктника прибрали достойно, и многих прочих, в хаосе начала павших… В царстве неопределённости ковалась «форма форм»: Volo ergo sum!

Занимали они брошенную контору ЖЭУ в пятиэтажке жилой, куда и доставляли раненых с микрорайона, занятого конституционалистами. Несли сюда и матрацы, простыни для перевязки, воду, съестное… Размещались больные в коридоре, вдоль стен на полу (глуше, защита от пуль) — мужчины, женщины, дети, старики, — труба нетолчёная бед: народу — не протолкнёшься и в обстрел, и в затишье. И всякий здесь с требованием если не исцеления телесного, то слова спасительного.

— Суки! Знали же, что на город армада прёт, разведка — лучшая в мире!!!

— А вот фрицы в Отечественную нас в села выпроваживали задолго до красных наступления!!!

— Красные, белые, коричневые, сейчас попляшем!!!

— Свобода без жертв не обходится!..

— Нам и дали свободу: чтобы мы хлебнули её и захлебнулись, «SOS» возопили!!!

А ввечеру дня третьего они поцеловались. Она поцеловала его. Он не оробел. Целующиеся врачи в халатах синих, точно работники научные после череды испытаний изнуряющих, — сцена субтильная. Петря ощутил: ему не жить без неё. А Галя — она не сходила с ума. Хотя Пётр был прекрасен, человека к жизни возвращая, «весь как Божия гроза…» — манкое, колдовское, стремительное в нём. Латал не раны кровоточивые, латал мироздание, брошенный в горнило сам. Эти его пальцы, достающие из плоти осколок, и словно цветок — к ней…

— Так, Пётр, прости… Чёрт!! не было ничего! — отстранялась, когда и он, преодолев условность, шёл от себя. — …С тяжёлыми управились, завтра средней тяжести… — желая скрыть своё, желая замкнуться.

Её бездна, бездну войны пересилив, уже поглотила его: о, этот голоса бархат, улыбка, мечта страстная…

— Сообщили из больницы, — красок в тембре убавила на фоне всполохов разрывов дальних, — помочь не могут: ни лекарств, ни инструментов… Да и микрорайон оцеплен… — вещала у окна простреливаемого.

Заклинала стихии пламя, «на земле весь род людской». Бес ликовал в ней, Преодоления пел мотив яростный — всего и вся, поверх наций и религий!..

Отошла от проёма, взглядом ошпарив,— и стекло в створке изошло паутиной от пули шальной.

— Ни хрена себе; чёрт!!! — всё, что могла сказать на событие сие, глаза распахнув и не моргнув.

В пограничье миров оказалась, готовая и ещё шагнуть за грань. Был бы повод!

Петря онемел. Без акцента и высокопарности. Сознавал: ужас и скрежет зубовный не затмили её, потрясающую, обвиняющую с размаху в узости политической и национальной, а потом вдруг и целующую его… Энергией взрывов умащалась любовь их: огонь лечит, огнём природа обновляется!.. Кровь и кровь всюду (в гортани привкус её), и канонада… и это будило его. Хотелось, словно деревенщику, горланить-танцевать молдавскую хору пламенную. «Как в пословице от Семёновны: кому война, а кому — мать родна! Будто специально для нас — национализм и сепаратизм!.. Сотворили они волну, зачерпнули нас!..» Таки полыхнуло. От взрыва исполинского — волна! Бомбардировщики пронесли низко, сбросили заряд на мост через Днестр. Святло небывалое — вширь окна, от края горизонта и до края. И Гриб — разросся бахромчатый на Ноге вскипевшей, как во сне… Любящему сердцу многое открывается!.. «Опять нога,— усмехнулась Галя втуне.— К побегу очередному мне призыв?!» Сон и явь — до экстаза воли и представления. Хочу — следовательно, существую!

Конституционалисты уже прочно закрепились на «Ленинском», установив контроль гражданский и вывесив повсюду (и над крыльцом ЖЭУ) триколоры с бычьей головой. В других же секторах города, где из сил последних держался исполком мятежный и дымил клубами мост взорванный, шли бои.

Тактика войны быстрой успеха атакующим не принесла — в апатичности пребывали и подшофе, из-за манифестов бессмыслия, отступления-наступления ряби… Доктор же и фельдшер трудились, рук не покладая. Нет-нет да и кто-то из вояк забредал к ним — подлечиться (с серьёзными же ламентациями направляли в Кишинёв). И Семёновна в халате синем, уборщица из морга, вызвалась в милосердия сёстры. Бывалой закалки женщина; без неё не сдюжили бы молодые. И воды запасёт, и чуть свет у крыльца костёр разложит, каши-киселя сварит, утку обезноженному поднесёт; и думу тяжёлую отведёт.

— Как теперь, мать, жить-быть под румынами?

— Не так страшен враг, как его малюют, друзей опасайся…

— С друзьями-то мы, мать, и вляпались в маразм, согласен! А всё же — как оно под румынами?

— Румына не бойся, румына повидала я, милок, на веку: отчество в паспорте изымут; в школе молитву «Татул меу» повелят; активисты списки оформят: кто и за кого?.. Незнайка — на пляжу, а знайку — в суд ведут!.. Куда им, тараканам усатым, против нашего: авось, небось да как-нибудь…

— Наци, демократы, советы-коммунисты, а я, мать, просто быть хочу!..

— «Хочу» — половина «могу», милок!

В госпитале самодеятельном недоставало элементарного, хотя и пополнились ресурсы из кабинетов врачебных школ и садов детских. В подсобке обнаружился гипс, Пётр накладывал повязки. Антисептиком служил раствор извести хлорной, наркозом — самогон из арсенала Семёновны. Резекцию сустава предпринял не единожды Петря, ампутацию предотвращая. Боролся он за каждую тела пядь — в отличие от армий самозваных, жизни ценность утверждая. У одного молдаванина военного после обработки раны (осколок в плечо, чуть выше — снесло б голову!) проступила татуировка — Солнце восходящее; хирург орудовал иглой над расколотым с тщанием, полагая, что вызволяет и его из Небытия. «Только Солнце и осталось в Молдавии!..» — думал он.

Существование (а иначе и не назовёшь бытие в осаде: ни тебе информации достоверной, ни тебе передвижения свободы за пределы микрорайона) входила в некое русло. Галина и Петря — уже как муж и жена. Хотя обычно в песнях — война-разлучница! Петря и ревновал супружницу, настаивая отказываться от приглашений офицеров «подлечить их в обители скромной», в здании школы, как и ЖЭУ, переформатированной, но только под казармы и штаб. Галина пресекала домогательства, ибо оказывала помощь женщинам, с солдатнёй флиртовавшим.

— Ой, Пётр, неужто уроню себя? Я гордая! — отвечала на упрёк неинтеллигентный по поводу отлучек.— Измерю вот давление полковнику, он жаловался, попрошу шприцов для госпиталя — и обратно!.. Аль я не я и воля не моя?! — смеясь, подражала Семёновне.

Что ему оставалось? Из тех она, кто и «в горящую избу войдёт». (Помнил из литературы русской; в молдавском же эпосе путь освещают сердцем — мужчины!) В заботу о раненых погружался; а их-то уж можно было «выписывать» всех, с доставкой же горемык по адресу — тут Семёновна (на спине, не иначе) во сто сил лошадиных: слона на ходу стреножит… Такие они, русские, живущие на окоёме имперском!.. А всё же куда это она, однако?

У Петра был припрятан пистолет. Вояки зачастую теряли оружие спьяну или меняли на спиртное и наркотики. Дети — и те играли в затишье настоящими. Взял чемодан, на котором пульсировал крест, и — за Галей, о слежке не предупредив. С замиранием взбежал он на крыльцо широкое школы, готовый любые преграды преодолеть. Под навесом за партой бились сержанты в «Чапаева». А вот в жилище офицеров часовой фельдшера не пустил. Сошёл Петря с крыльца, сел поодаль на бордюр у джипов армейских, стал думу думать:

«Какой такой пациент особый?! Адъютанты обкуренные будут скабрёзности городить, на жестах ломаных пояснять… Изнасилуют!.. Чёртова Семёновна с премудростью своей. Что означает это: я не я и воля не моя?..» — вскочил, нащупывая пистолет в кармане халата; за угол здания устремился.

«Ещё вчера я благодарил Бога — за эту женщину: дерзкую, умную!.. Я благодарил войну… и вот плата!!!» На чемодан громоздился и — к трубе водосточной, — абсурд, мальчишество, но нет для него вариантов других: по выступу межэтажному — к «покоям» полковника, кабинет директора школы облюбовавшего.

И вот окно заветное. Оно зашторено, но фрамуга открыта. Петря подглядел: Галя — на стуле, а полковник на диване разбросался, руку на тумбочку облокотив. Давление мерили.

— …Вы же образованный человек — в звании, — Галя хранила свой тон, где-то с усмешкой. — Кто дал вам право судить? Целый регион объявлен преступным, а ведь здесь люди — они иного сорта? Их не кормила ваша волчица итальянская?

— Кардиолог, слушай пульс, что ты понимаешь в политике!

— Я по необходимости кардиолог. Я — психолог…

— Хм… Мне нужен другой врач… А может, хе-хе, ты агент?.. — полковник говорил через силу, был заторможен в реакциях, несмотря на браваду. — И что за диагноз?

— Военный мещанин — вот диагноз!.. Утрата перспективы исторической ведёт к сокрушительным последствиям. Миропроект узко-национальный, как и широко-экспансивный — на штыке, — обречены!

Полковник кадык выпрастывал, рвал пуговки на воротнике:

— Ценности твои… нации, народы, люди… вещи среди вещей!..

— Вы конституируете законченные миры. А задача — расширить горизонт, помочь каждому осуществить выбор!.. И потому не рыпайтесь, полковник! — Галя плеснула на вояку воду из стакана. Схватила шприц наполненный. — Вперёд!!!

Петря повалился в газон, подобрал чемодан и — к входу парадному. Слышал и видел то, что и стало расплатой за ночи-дни перевёртыша военного. Вот каково оно — идти на поводу у женщины прекрасной…

…Ещё мгновение. И дверь школы распахнулась.

— Чёрт! Всем на месте, иначе я ему антифриз загоню!!! — горели её глаза; как и тогда, две недели назад, когда она…

Но на сей раз грозила, если не выполнят требования её. Шприц — у шеи полковника: игла впивалась и выныривала, секла бороздку по коже. Сам же чин седовласый — в проёме на полусогнутых: за воздух руками цеплялся; а глаза его — что у быка на флаге государственном.

— Чёрт!!! Теперь: двадцать шагов назад, или «маршалу» вашему не жить!!! — Галина, понукая командира молдавского, как щитом прикрывала себя. — Ключи от машины!!!

Двое за доской игровой бросились исполнять, а другие, отмеряя эти «двадцать шагов», пятились, не понимая в точности по-русски.

— Пётр, в машину, чёрт!!! — она кричала, угадав в дымке предзакатной присутствие его с пистолетом вскинутым. — Кому сказано: — ко мне! Я отныне твой Новый Рим и Империя отдохновения. Иначе я его поцелую!!!

Петря постигал «план»: вырваться из микрорайона оккупированного, прихватив полковника. Но это не его, фельдшера, партия! Он медлил, переводя ствол от «чапаевцев» ошарашенных — к Гале.

— Галина Аркадьевна, а полковник зачем?

— Пошевеливайся, хирург! Пациент в состоянии предынфарктном, нужна срочная госпитализация!

«Э-эх, я не я и воля не моя!» Подхватил обмякшего полковника (впрямь с давлением проблемы у того; и пятно в паху фиксирует глубину вод, как на атласе школьном), втащил в салон. Галина — за руль. Адъютанты реагировали в какофонии. И Петря не удержался: его выстрел прозвучал на манер вороны карканья… Никто ни в кого не попал!..

Пересечь блокпост на повороте в километре от школы, а там вояки матёрые, не в пример ординарцам штабным. Вперёд, пока информация не дошла!..

По машине со штандартами конституционными не стреляли, конечно, расступились в смятении, так она и рассчитала («Ну и женщина: и свободу себе добыла, и языка-штабного!»). Не собираясь, однако, привлекать к операции стажёра, сам увязался. Хотела поматросить его и…

…Полковника транспортировали в реанимацию. В Кишинёв не довезли бы (судя по пульсу), помощь неотложную оказали в логове сепаратистском принудительно. Оклемался; тогда же допросили из разведки военной. Но без пристрастия, одного ведь они все поля ягоды, уважающие друг в друге ястребов-беркутов-коршунов, чтящие звёзды (нравственный закон!) не в Небе, а на погонах.

После войны Галя и Петря стали вместе жить — в Кишинёве. Стажировка в анклаве взрывоопасном хирурга и психолога новообращённого завершилась. Галя получила орден от властей сепаратистских. И Петря получил, но никому его в городе родном не показывал. Разве что полковнику, через годы с вывихом сустава попавшему на приём к нему. Спиртным уж тот не баловал в жару, из армии уволился, генералом не став. А история государства Приднестровского набирала обороты. К чему всё пришло — тема особая.

Елена Орлова

Обречённая чайная роза…

● ● ●

Вроде всё хорошо, но немного не так,
Лёгкий сумрак сквозит по душе.
Восьмиклассник прыщавый
заходит «вконтакт»,
Баба толстая смотрит в планшет.

Может, я не права, может, всё — ерунда,
Может, мысли мои невпопад.
Только Ржевский-поручик упал со стыда,
Заглянувши в девичий айпад.

Виртуальная тьма импонирует мне,
В гуще форумов прячется тень.
Не Коперник ли снова сгорает в огне
На кострах социальных сетей?

Змей коварный проплыл в электронной воде,
В кроне сайта повис на хвосте.
Усложняется мир, но паденье людей
Неизменно в своей простоте.

● ● ●

Обречённая чайная роза цветёт у дороги,
Вспыхнет бледный бутон и безвременно гаснет
в пыли.
Что хочу от неё? Помолчать о судьбе и о Боге,
О жестокой неправде цветеньем объятой земли.
Неужели на Страшном суде станут спрашивать
строго
За какой-нибудь пепел Освенцима в детской горсти
И не спросят за то, что шоссейная эта дорога
Пролегла, где замученный куст порывался цвести?
Соблазнительна прелесть подсвечивать пафосом
лишним
Невозможность спокойно и мудро судить о простом,
Соблазнительно путать пещерную ненависть
к ближним
С поэтической дрожью над всяким зачахшим
кустом.
Я такая, как есть! Без претензий на искренность
позы.
Изуродовал душу шипастый хтонический страх.
Боже, что Ты творишь, зажигая цветистые звёзды
В отягчающих мёртвую тьму пылевых облаках?

● ● ●

Не отстать от Америки — был стратегический план,
Доложила разведка о запуске вражьего шаттла.
Легендарный ответ — самолёт орбитальный «Буран» —
Лишний повод понять, до чего всё неверно и шатко.

Первый взлёт в непогоду, под натиском, при штормовом,
Два витка по орбите без груза и без экипажа
И манёвр при заходе на полосу… А, каково!
Не любой испытатель на это б отважился даже.

Сильный должен понять, что высокая участь тяжка.
Незабвенный «Буран», ты героев античных не хуже!
В этом мире тусовки, массовки и середнячка
Сильный должен смириться, что миру не очень-то нужен,

Что последним полётом окажется первый полёт,
Тяготенье накажет летать пожелавшего выше…
Не утечка, не взрыв, не ошибка в расчётах убьёт —
В позабытом ангаре гнилая провалится крыша.

Сколько в памяти чёрных и незаживающих ран!
Сколько в сердце усталом горючего чистого яда!
Покружить кукурузником — вот оно, счастье, «Буран»…
Но летавшему к звёздам подобного счастья не надо.

● ● ●

Так умирала бабочка в неволе:
тянула тельце судорожно кверху
и выпрямляла согнутые лапки,
вытягивалась, становясь похожей
на тех слонов, написанных Дали.
И задрожала мелко, и сломалась,
застыла, но подрагивали крылья
всё реже, всё слабей, едва заметно…
Людей я не жалела никогда.
Я по себе прикидывала точно,
кому из них, за что и даже сколько!
Вместить умела жалкая душонка
страданья только мух и тараканов.
Когда-нибудь и я вот так сломаюсь,
и сверху Бог посмотрит на меня
и сжалится? — какие там грехи…
Так умирают бабочки в неволе.

● ● ●

На горизонте точка расплывается в три штриха.
В пятнах, отточиях, тильдах узоры множа,
Изменяется небо… Может быть, облака
Телеграфною лентой тянутся? Не похоже…
Может быть, новостная бежит строка?

Темнота уплотняется — липкий зудящий гул,
Ощущаемый более нервами, нежели слухом.
Может быть, мухи? Куда их погнал Вельзевул?
В потемневшей лазури круженье пера и пуха!..
Влажный тяжёлый воздух в глаза подул.

Крыльями бьющая темень… Полдень совсем погас.
Силой удара выбив в земле траншею,
Может, ворона… Ягодно-чёрный глаз
Медленно теплится на перебитой шее.
Следом другая — замертво в этот раз.

Вверх бултыхнуться принудил простой инстинкт.
В глотке налипли пуха чужого клочья.
Солнце звездой далёкой во тьме блестит,
Кто не взлетел — упавшими в грунт вколочен,
Так тяготение душам неловким мстит.

Воздух, густой и скользкий, похож на клей,
Глаз приглядевшийся ставит за вехой веху:
Русло речушки петляет среди полей,
Первыми падают, кто впереди и сверху.
Ниже спускаешься, держишься чуть левей.

Быстро теряешь силы, перо, помёт.
Чёрною тучей небо совсем закрыло,
Сколько протянешь? Вроде пока везёт.
Слышишь, не слышишь, знаешь — кричит бескрылый,
Забиваемый в землю, пока на крыло встаёт.

● ● ●

Травка, на ней цветочки цветут — газон.
Ляг, поваляйся, лёгкий включи музон.
Бабочкой, с белых крыльев стряхнув пыльцу,
С неба спорхнёт улыбка — тебе к лицу!
Над головою солнце… Светло, легко…
Что под землёю спрятано — глубоко!
Срытое кладбище, много людских костей,
Пепел пожарища, древний фундамент стен
Рухнувшей церкви, дно крепостного рва…
Как же, трава подножная, ты права!
Ибо всегда не важно, какое зло
В душу незримой тяжестью залегло
И заросло, как будто травой простой,
Бледно-зелёной слабой улыбкой той.

● ● ●

Там, где я была, золотой растаял,
Белый снег растаял, побежал ручьём,
Перелётных птиц раскричалась стая
За чужим окном и в саду ничьём.
Там горел костёр у речушки летом,
Мне в любви клялись, не жалея слёз,
Горделивый взгляд был моим ответом,
Мимолётный смех ветерок унёс.
Там, где я теперь, для душонки нищей
Только стыд остался и самосуд,
Там, где я, любви от любви не ищут,
Поднимают крест и его несут.
Неживой пейзаж за окном тревожит,
Холодна бетонная эта клеть,
Но огонь легко побежал по коже,
Занялась душа и должна гореть.
Эти «там» и «там» различит не каждый,
Только тот, кто с краю да на краю.
Костерок в аду не разводят дважды,
И горят, горят от любви в раю.

● ● ●

Я слышала, что Блоковские чтенья
ни разу без дождя не обходились.
У валуна читали… Облака
лениво громоздились в бледном небе
и замирали… Захотелось вниз
спуститься по Гаврилиной дороге,
где мелкий, гниловатый, тёмный пруд
так плотно окружён прибрежным лесом,
дневным лучом так скудно освещаем,
что показалось — вслед за водовозом
не к берегу спустилась, а на дно,
заросшее тенями, словно тиной.
Вдали читали… я одна брела
вокруг воды по скользкой сбитой тропке,
не убивать стараясь комаров,
не мять грибов… над ёлкой громыхнуло,
сильней запахло прелыми цветами.
За мною шепотливый нежный гром
поднялся на Малиновую гору,
ворчал, как добрый пёс, предупреждая,
что надо воротиться…Поняла,
пошла назад бетонкой потемневшей.
У валуна читали… Свет блеснул…
Мгновение — и Блок обрушил небо
на чтения свои, их завершая.

Виктория Соловьёва

Ночные тени

Оса

Знаю, что там, где он, там нет ни страха, ни
боли.
И мне боль приглушить бы.
Он не боялся жизни: «Разве всё в жизни горе,
разве всё в мире — зря?
А ты попробуй любить… как море,
разливаясь и чуть дыша».

Всё — зря. Всё — не зря.
Какой постулат вернее?
От него остались:
полупустой фотоальбом,
и старая флешка на крепкой ленте.

Память — лихое наследство.
Где-то я там жила. В комнате — кружева.
В небе — стрижи. Солнце лови, держи!
Синяя тишина. Брат — тридцать три вихра.
Солнце досталось мне — память на поводке
— ниточка в небеса.

Где-то на краешке памяти кокон плетёт оса.

Можжевеловое

За окном меняется звук и цвет.
То посолит меру, то поперчит…
Неизменно — курит в окно сосед,
и, как трактор, кошка ко сну урчит.

В белокуром небе — хрустальный звон!
По карнизам стелется тишина.
В этом небе каждый найдёт своё —
мандолиной выгнула бок луна.

А за ней, мне видно, растёт прибой.
Золотистый, тянущий мёд свечей.
Сорок дней молюсь. Без тебя, с тобой.
Заплетаю в волосы страх ночей.

За окном снежиночья суета…
Траекторий вычислить не смогу.
Ухожу по ним, мысли снова там,
где луна поёт можжевельнику.

Ночные тени

Ночные тени маленьких дворов
играют в шашки, в поддавки… Над ними
фонарь, как Вифлеемская звезда,
рисует всем по очереди нимбы.

Петру сегодня что-то не везёт,
как пожелали — ни пера ни пуха…
Отвлёкся и прошляпил верный ход —
расстроился, махнул рукой — непруха…

Пошёл домой, где счастье ждёт-пождёт.
В авоське: чёрный хлеб, кефир (пол-литра)
и лапы кур. Есть в этом доме кот,
ждёт у дверей, языческая сила.

Клубок теней незавершённых дел
имеет хвост, змеится… Бесконечен.
Бежит за ним в подъезд, вползает в дверь,
меняя жизнь, длиною в синий вечер.

Петро колдует в кухне, чёртов кран…
Меняет подуставшие прокладки.
Кот рядом, гайку крутит, «клептоман».
Известны всем кошачии повадки.

Уйдёт гулять во сне по проводам —
будить рассветы, шёрстку неба чистить.
Петро засядет с ручкой до утра
и вечность будет слушать в шёлке листьев.

Причудливо, как кадры из кино,
гуляют тени медленно по стенам,
и разбегаются горчинки нот
в душе как будто вовсе онемелой.

Мой голос пахнет ломкой тишиной…

Мой голос пахнет ломкой тишиной,
в которой каждый звук меняет слово.
Я обхожу приманки птицелова
и говорю с неправильной луной.

А ты всегда спокойствия хотел.
«Здесь нет его, — шепчу по телефону, —
здесь ходят по причалам лепреконы
и отцветают лилии в воде.

Здесь белые медведи по снегам,
по синим льдам скользят — не слышно даже…
Их тянет море — льдиночки-барашки
и острые, как бритвы, берега.

А я в руке сжимаю кремнезём —
до стишовита, до стеклянных капель.
А помнишь, ты однажды жёстко запил
и говорил, что все мы крест несём?

И путал адреса и берега,
и вычислял какой-то сложный игрек.
Стихи — истошный молчаливый выкрик —
поглотят одинокие года».

Ветра признали дудку из стекла,
подсовывая гривы с колтунами,
и, до краёв наполненные снами,
безумные обрушили снега…

Я до сих пор не знаю, как жива…

Воронье

Каркнула нервно седая ворона.
Месяц родился, надулся фонарь.
Ветку качнула печаль одинокая.
Стукнуло время. Зевнула коронно
дверь, пропуская несносный январь.

Ты у окна. Посчитав чернохвостов,
синей вороне легко подмигнув,
вынула шпилечку то ли из неба,
то ли из сердца. И вроде бы просто,
а вырвалось: «Уф…»

Небо расшитое… Заворожённо
падало, белым крестя синеву.
Было и мне бы совсем одиноко,
но…
Каркнула нервно подружка-ворона,
вытоптав хокку на свежем снегу.

На рыбьем

На рыбьем — реки текут все к дому.
Туда, где помнятся в скалах норы.
Туда, где пахнет водица мятой,
где чайки редки, а утки святы.
Их кормят люди душистым хлебом.
За это Бог дал воды и неба.

На рыбьем «солнце и небо» — космос.
Там птичье-ангельский вечный логос.
Крылами машут, на строчки режут.
И тает воздух, чем выше — реже.
О чём поют — не понять ни слова,
но Бог их любит, как рыб, особо!

На рыбьем: «Время пошло иначе…»
Пришёл рыбак по делам рыбачьим,
поставил стульчик под древней ивой
и закурил самосад лениво.
Достал блокнот, написал: Ab ovo.
По-человечьи — всё слово в слово…

Уплыли рыбы, река камышит,
а этот ходит и что-то пишет…

Дорожное происшествие

Мы ехали на отдых на машине,
прилично разогнались, споря с ветром.
Поэтому казалось, что летели.
И всё вокруг летело вдоль дороги:
деревья, деревеньки, дураки,
коровы, козы, конь, бурундуки…

Откуда ты взялась, моя ворона?
Зачем летела низко, одиноко?
Кровавое пятно на лобовом
среди десятков мотыльковых пятен.
О чём ты думала, когда последний карк
в твоей груди невольно затихал?..
И ты, ещё живая, наблюдала
за шумом проносившихся минут,
за небом недостаточно высоким,
за теми, кто несёт тебя с дороги
подальше в травяную гущину.

Мы ехали в полнейшей тишине.
Уже не торопились на дороге.
Нас обгоняли бобики и боги.
Деревья, деревеньки, дураки…
Пятно росло и ширилось в груди.

Александр Кормухов

Весенний снегопад

● ● ●

Возвращаюсь в город — за мною идёт гроза,
С севера охватывает и с юга.
Широко распахивает огненные глаза.
Интересно, поймём ли мы с ней друг друга?

Из тучи будто высовывается рука,
Гроза говорит величественно и громко.
Но я не знаю этого языка,
Давящего на мои барабанные перепонки.

Гроза хороша, но я не хочу под дождь,
Непрерывно движение ускоряю.
Ускоряется и она — наверное, не уйдёшь,
…Но город объятия раскрывает.

Гроза, устав, сворачивает на юг.
Стремительно ввинчивается во тьму,
Оставив в тайне, враг она или друг.
Кто знает, почему?

На АЗС под Коркино

Кажется, это облачная стена,
А это поросший кустарником борт разреза!
Там ни души, аномальная тишина,
Так что впору слух об неё порезать!

А здесь оживлённая АЗС
Распахивает двустворчатые двери.
Здесь даже вайфай «Газпромнефти» есть,
Которому можно свой день доверить.

Я здесь, но мысленно — там, вдали,
Не прочь заглянуть за границы мира,
Увидеть белые корабли,
Увидеть звёздных путей пунктиры.

Хотя, говорят, там просто провал
С кислотной жижей на самом дне,
Лишь глянул — наверняка пропал,
Обречён на безумном гореть огне!

А ещё говорят, там живёт сам чёрт.
…Вечереет. Луна здесь всегда — красна.
И смутно темнеет разреза борт,
Который как облачная стена.

● ● ●

В Тактыбае не работает ТЕЛЕ2,
Не работает Интернет с дежурными чудесами.
Тактыбай — деревня, видимая едва,
Окружённая густыми берёзовыми лесами.

Здесь приблизительно пятьдесят человек,
Есть деревни, посёлки в разы безнадёжней…
Не двадцать первый, но и не девятнадцатый век —
Начало двадцатого на биочасах местного
подорожника.

А ещё здесь останавливаются поезда.
Пока ещё останавливаются. Пока что.
Станционный домик, капающая вода,
Древняя разрушающаяся шахта.

На отходящий поезд смотрит дворовый кот.
В небе парит равнодушный коршун-хватала.
Здесь Тактыбай, и жизнь не бежит вперёд,
А по-кошачьи стелется, словно она устала…

● ● ●

Странное затишье на заправке…
Ни души, лишь я плюс оператор.
В вышине, темны и тугоплавки,
Тучи уплывают в Улан-Батор.

Почему-то кажется — к монголам,
Именно к монголам, без сомненья:
Эмоциональный мегаголод
Странные рождает ощущенья!

Выглянул из туч осколок неба,
Выглянул — и спрятался обратно.
Проглочу кусок ржаного хлеба
И запью просроченным томатным.

Кажется, оказывает милость
Время — вечный слон в посудной лавке.
Время невзначай остановилось…
Странное затишье на заправке.

• • •

А вдалеке спешит на запад электричка,
Наверное, в Миасс, а может, в Златоуст.
Охранник на посту суровый по привычке,
Но в глубине души — мечтательная грусть:

Ему бы хорошо сейчас сидеть в вагоне,
И станции считать, и слушать стук колёс.
И думать то, что он ни в жизни не утонет
В дежурной суете, коль выпрямится в рост.

И, в общем-то, оно, наверное, реально:
Наступит новый день, и сменщик подойдёт.
Какая б ни была, но суета локальна,
Не сможет помешать свершить переворот!

Вот только — никакого нет секрета! —
Охранник двинет утром, как пить дать,
Не на вокзал — приобретать билет, а
Домой, домой, чтобы ложиться спать…

• • •

Зелёная листва — и… снег!
Причуды ветреного мая.
Циклона карского разбег —
Безумная метель февралит!

Такого не было давно —
Чтоб в мае… снега… по колено…
Как будто крутится кино,
Отснятое в другой Вселенной!

За что нам эта «благодать» —
Всё яростней удары шторма! —
Как водится, не можем знать,
Гадаем на кошачьем корме.

…Как надоели хлябь и грязь!
Циклон, уйди! Имей же совесть!
Но отвечает он, смеясь:
— Мне душу греет ваша горесть…

• • •

Весенний снегопад — иной:
Внезапный, резкий, суматошный.
Как будто разыгрались кошки
И изодрали на перо
Подушку-тучу…

Вот прекратился разом он:
Сияют голубые дали.
Как будто кошки подустали,
Сморил хвостатых сладкий сон,
Спят вместе — кучей…

Вновь валит снег — перо летит,
Всё гуще, гуще, нос щекочет.
Как будто кошки ставить точку
Не думают в конце строки…

• • •

Жене Бильченко

Это не человек — извергающийся вулкан!
Вулкан сеет смерть.
Вулкан сеет жизнь.
Пламенный клокочущий ураган
Пронзает стратосферную высь!

Кракатау и Ньямлагира в одном лице,
Между вспышками пауз почти что нет!
Выжечь всё, что удастся, — такая цель!
Почве дать плодородность на много лет,

Потому что на пеплах цветут цветы,
Зреют нивы и строятся города —
Абсолютно новые, из мечты,
И живая из пеплов течёт вода.

Пусть человеку этому повезёт.
Быть вулканом — это же высший риск!
А пока что пусть хоть на час заснёт,
Да материализуется моя мысль…

• • •

Пир метели мне на день рожденья,
Снежный устрашающий балет.
Но пью чай с малиновым вареньем
И веду очередной сюжет.

Вопреки убийственной погоде,
Тот сюжет всецело о любви.
Десять лет Волшебник несвободен,
Десять лет огонь любви горит!

Кто она? В ней магии ни грамма,
Чёлка и огромные очки.
Дальняя родня из Суринама,
Мастер ФИДЕ (скажем так, почти).

Может перепутать соль и сахар,
Заварить не чай, а «китикэт».
А ещё не знает чувства страха,
Даже грому говорит: «Привет!»

Без неё Волшебник зол и мрачен,
Так, наверно, выглядит сам чёрт!
Она рядом — смотрит он иначе,
Улыбается, творит, живёт!

Она рядом. Это — аксиома.
…В снежных вихрях тонет белый свет…
Пусть я на работе, а не дома,
Меня греет сказочный сюжет.

Андрей Крюков

Отражение

Авгур

...Что светило всемогущее
Слева путь свернуло свой направо, предвещает то
Ясно государству Римскому величие.
Акций, из трагедии «Брут»

То, что справа летит, поражает сиятельный глаз,
То, что слева подкатит, в тенистом подбровии вязнет,
То ли птица, то ль белка, то ль чей-то намёк, перифраз,
Пара фирменных фраз, лишь достало бы богобоязни…
Между Тулой и Тверью горит грозовое пятно,
Рыбы-звери издревле обходят его стороною.
Я стою над обрывом, в руке моей веретено,
Нити рока стянув, выплетаю панно кружевное…
Я — авгур, мне неведомы робость, сомненья и страх,
Не прельщают меня похвалы и награды пустые,
Над палаткой моей, высоко в Воробьёвых горах,
Только звёзды дождят и кометы шумят холостые…
Для властителей местных мои предсказания — дым,
Позабыты проклятья, на головы павшие римлян,
Новый Рим возвели и кольцом окружили стальным,
И опять он горит, камнепадом растерзан и вздыблен…
Как и сколько ни слал я предвестья худого конца,
Те, что ясно мне виделись в молниях, с юга летящих,
И в полётах Волчиц, напоивших в Оке жеребца, —
Не услышан, взираю на город, в руинах лежащий…
Там, где лава клокочет фонтанами бурной реки,
Пальцы стрел стенобитных раскинул пылающий жёрнов,
Факел пляшущих искр — арабеск освящённой строки —
Он над городом вашим царит, неизменно прожорлив…
Лики вражьи темны, лишь сверкают жестоко глаза,
Не прельстила их роскошь — при свете представшая гнилью…
Всё в огонь, до корней! К очищенью зовут небеса,
Ханский конюх увяз, до колена покрывшийся пылью…
Чёрный прах разнося, угрожают разгулом ветра,
Словно мстя за бессилье и фальшь образов безымянных,
И сквозь тени и мрак, будто блеск Арамеи костра,
Догорает кармин в этих вольных очах басурманных.

Отражение

Небо плачет, а сердцу отрадно —
Смыт грозою последний обман:
Над ажурной стеной виноградной
Свесил клочья озёрный туман,
Вдоль дорожек упрямой протокой
Уплывают цветочные сны,
Друг на друга глядят с поволокой
Две открытые ветру сосны…
Почему мне так радостны эти
Хороводы рябин над ручьём?
Кувыркаются листья, как дети
За тугим непослушным мячом.
Так под вечер среди разговора
Вдруг захочется дверь распахнуть
И с промокшего вдрызг косогора
За мятежной листвой упорхнуть.
Так зачем же мне эти оковы?
Я из воздуха весь, из зари,
Только маюсь в толпе бестолково,
С неуместным мерцаньем внутри.

Елена Басалаева

Дикари

Третий месяц Максим в одиночку бился с двумя детьми — дочерью и сыном. Жена Рита ещё в октябре уехала в Читу сопровождать предвыборную кампанию. Весной она перешла из мелкой юрфирмы в крупное юридическое агентство, и её вклад в семейный бюджет ощутимо увеличился. Поначалу она работала как обычно — с девяти до шести, но спустя пару месяцев ей предложили длительную командировку. То есть как предложили — поставили перед фактом: надо ехать. На исходе зимы в Чите ожидались выборы, и задолго до этого замечательного события надо было готовить документы для желающих выдвинуться в кандидаты, собирать подписи и организовывать партийные мероприятия. Максим не переставал удивляться тому, что рассказывала жена по телефону: маеты с этими выборами было столько, что по растратам и хлопотам впору сравнивать с пожаром. То проводили обучающую сессию, то судебный процесс по защите своих кандидатов, то составляли рейтинги и какие-то карты влияний. К ноябрю эти читинские кандидаты стали Максиму уже почти родными. Мастерство жены он уважал, но всё же не мог отделаться от неприятного, сокрытого на самой душевной глубине ощущения, что весь этот вал предвыборной работы на самом деле бесполезный и делаемый уж точно не для людей. Не для таких, во всяком случае, людей, как он, Максим Игоревич Вяткин, инженер по ремонту электроники, или его друг Никита, препод на гуманитарном факультете.

Помогать с детьми, конечно, вызвалась тёща, но Максим сразу прикинул, что плата за эту помощь будет дорогой — нет-нет да и обольют походя грязью: мол, зарабатывает мало, да квартира который год стоит без ремонта, — и решил отказать родственнице от дома, заявив, что справится сам. По субботам, правда, лично снаряжал детей на автобус — проведать бабушку, живущую за четыре остановки от них.

На работу Максим уходил к десяти, возвращался в восемь вечера. Утром успевал приготовить детям и себе завтрак, закрывал дверь за сыном Лёхой и иной раз досыпал ещё полчасика. Вечером притаскивал домой наггетсы, пельмени, сосиски, для разнообразия меню — йогурты и фрукты, чтобы днём детишкам было что поесть. Благо руки у обоих росли из правильного места: не только Лёха в его пятнадцать, но и третьеклассница Настя могла сообразить что-нибудь съестное на сковородке. С уборкой выручал пылесос, бельё развешивал длинноногий и длиннорукий Лёха, а глажку в двадцать первом веке Максим считал ненужной роскошью. Оставалась главная проблема — школа.

Пока Рита была дома, уроки делались не то чтобы сами собой, но как-то незаметно. А тут… В первый же вечер, когда проводили мать на вокзал, Настя пришлёпала с вопросом:

— Папа, как делать русский?

— гдз открой, — буркнул ей из угла брат.

— Чего? — переспросил Максим.

— Сайт с домашкой готовой… С ответами.

— Там неправильно бывает! — капризно возразила Настя. — Папа лучше знает!

С математикой у главы семейства было вроде бы всё в порядке, а русский, чтение и всякие окружающие миры иной раз обескураживали его изощрённостью заданий. Крошка дочь приходила к отцу с вопросами почти каждый день, и Максим, превозмогая тягу ко сну и расслабляющим видосам, снова и снова делал вместе с ней упражнения. Хотя, скорее, делал за неё: объяснять он не умел и просто писал что надо в черновик, говоря: «Смотри». И, конечно, надеялся, что Настя смотрит и понимает. Главное — не придёт в школу неготовая.

По поводу Лёхи Максим не особенно парился: первую четверть парень закончил приемлемо, потом и дальше делал какие-то задания, на вопрос: «Как в школе?» — отвечал: «Нормально». И вдруг в середине декабря сын угрюмо сообщил, что послезавтра состоится родительское собрание. По заунывному тону Максим догадался: Лёхе есть что скрывать.

— Думаешь, я не пойду?! — напуская на себя строгий вид, отец взял со стола первую попавшуюся тетрадь и потряс ею перед носом отпрыска. — Пойду и узнаю про все твои дела!

Сын ничего не ответил. Максиму действительно не хотелось идти ни на какое собрание, отпрашиваться с работы; но, собрав волю в кулак, он всё же решил сходить: девятый класс, выпускной, экзамены…

На собрание пришло ровно пятнадцать человек: два хмурых папаши, одна бабушка с сердобольным взглядом, остальные — мамки разного возраста и выражения лица. Черноволосая классная, учительница русского и литературы, которую Максим последний раз видел, кажется, три года назад, начала со скучного: стала зачитывать вслух устав, где говорилось о том, как нужно одеваться на уроки, включая физкультуру, и как себя вести. Максиму всё это казалось понятным, ненужным, и, оглядывая таких же скучающих родителей, он прокручивал в голове песню Билли Бонса про пятнадцать человек и сундук мертвеца. «Остров сокровищ» он обожал с детства, в Лёхином возрасте зачитывался Купером и Стругацкими, пробовал подсунуть эти книги сыну с дочкой — бесполезно, откладывали, полистав несколько страниц.

Считая, что достаточно разогрела публику, классная вынула «козырь из рукава»: стопочку аккуратных листков, на которых были записаны оценки каждого ученика по всем предметам. Максим получил листик за Лёху, повертел его в руках, отметил яркость печати и только потом увидел, что по русскому у Лёхи стоят три двойки и в два раза больше троек, а по литературе — наоборот: шесть двоек и три тройки. Максим оторопел, с его языка готов был сорваться не вопрос даже, а просто какой-то вскрик типа: «Чего?!» — только, скорее, в нецензурном варианте. Но он промолчал: не хотелось позориться перед другими родителями.

Закончив раздавать листочки, классная заняла место у доски и грустно возвестила:

— Видите?.. Видите, уважаемые родители? Успеваемость оставляет желать лучшего. Проблемы с математикой и русским языком — у большинства. Биология — совершенно не учится. Домашняя работа по ней — не делается. Но главная беда у нас, конечно, с литературой. Я имею в виду не всех. Сами всё видите по оценкам. Но большинство… Ситуация тяжёлая.

— Что же вы нам раньше не говорили?! — возмутилась одна из мамаш.

Черноволосая литераторша сохраняла невозмутимость:

— Я говорила. Я говорила всегда и всегда говорю, из года в год, с две тысячи десятого, что пришло поколение, которое не читает. Не умеет. И не хочет. Это цифровые аборигены, которые родились в виртуальном мире, и он для них свой. Они привыкли только щёлкать по экрану: одна картинка, другая, третья… А читать не могут даже задание из учебника. Не говоря о художественной литературе. Британские учёные тестировали современных подростков, узнавали, насколько те способны понимать сложные тексты, формулировать и высказывать свои мысли. И выяснили…

Классная, бабочкой порхая у доски, принялась рассказывать про исследование, которое, разумеется, показало, что никакие тексты нынешние школьники не понимают, заверила одну активно возражающую маму, что английские подростки ничем глобально не отличаются от русских, и продолжала живописать скудость знаний детей-аборигенов. При этом у нестарой ещё учительницы был такой вдохновенный вид, что Максиму казалось: несмотря на эти жалобы, она испытывает некий священный ужас и восторг перед нашествием цифровых варваров. А может быть, этот восторг и ужас были вызваны гордостью за свою роль последнего охранителя культуры от толпы готовых предать всё поруганию и забвению дикарей.

Когда родители, кивая и прицокивая языком, стали расходиться, Максим всё-таки подошёл к Лёхиной классной лично:

— Здравствуйте ещё раз… Вы извините его. Сами работаем, дочь к тому же, ипотека… Вы подскажите: что делать-то надо?

Классная посмотрела на него, кажется, с теплом и, вытащив из ящика ежедневник, прочитала:

— Тест по Радищеву — «два». Самостоятельная работа по Державину — «два». Стихотворение Пушкина наизусть… ну, поставила «три». «Евгения Онегина» не читал вообще! Не знает, кто такой Ленский. Соответственно, за знание текста — «два», и сочинение — тоже. Нет сочинения! А эта оценка умножается вдвое. Она у нас идёт как итоговая. Понимаете, выходит двойка за четверть по литературе!

— Понимаю, — Максим мял в руках пальто. — Надо срочно читать и писать сочинение.

— Да, да! — с тем же мрачным вдохновением подтвердила литераторша. — Совершенно незнаком с текстом. Не напишет — аттестации не будет. Списанное меня категорически не устроит, пропущу через антиплагиат. Надеюсь на вашу помощь.

Максим возвращался домой, заряженный стыдом и злостью. Даже в магазин заходить не стал — нечего им разносолы покупать, пусть хлеб едят с картошкой, двоечники бессовестные. К Настьке на собрание он не ходил — не успел бы, но посмотрел вчера оценки в дневнике и увидел там тройки по русскому, окружающему и математике.

— Папа, привет, — сын вытянулся вдоль дверного косяка, будто молодое дерево у забора.

— От старых штиблет, — по-стариковски проворчал Максим. — Почему по литературе «неуд»?! Почему «Евгения Онегина» не читал? Господи, я бы в твои годы со стыда сгорел — «два» по литературе получить. Ладно — по химии там ещё, по физике, хотя и то…

— Так что плохо-то: что не читал или что позорно «два» получить? — тряхнул белокурой чёлкой Лёха.

Максим швырнул шапку в угол.

— Он ещё хамит! Как абориген австралийский, ничего не знает, в телефон свой втыкает только. Всё плохо! И не читать, и не знать, и «два»… А ты чай ставь! Троечница тоже малолетняя… — прикрикнул он на осторожно выглянувшую в коридор Настьку.

Пошвыркав чайку с угодливо нарезанными детьми бутербродами, Максим не то чтобы подобрел, а покорился усталой расслабленности. Сильно ругаться он не умел, а к ремню не притрагивался вовсе. Только один раз отходил Лёху полотенцем за воровство, ещё в садике,— очень тогда разозлился. С тех пор такое не повторялось. Максимовы родители, правда, несколько раз намекали, что за кое-какие дела можно и «повоспитывать», но он достаточно хорошо помнил свои слёзы после подобного «воспитания» в собственном детстве и всегда искал другие меры.

— Никаких денег тебе больше давать не буду, и телефон тоже новый не получишь! — нестрашно прикрикнул он на Лёху.— Книжку открывай, сиди, читай «Онегина»!

— Ладно,— вздохнул сын.

Через полчаса Максим строгим тоном осведомился:

— Как дела? Завтра тебе сочинение надо писать, до конца недели сдать.

Лёха вытянул руки с книжкой:

— Да я не могу понять вообще!

— Что ты понять не можешь? Читай, и всё.

— Так я не понимаю!

— Ты что мне дураком прикидываешься?! — разозлился отец.— Читай вслух!

Лёха обиженно свёл брови:

— Ну, вот… «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог…» Уже непонятно. Как это — честных правил?

Отец вдруг вспомнил, что они с ребятами из класса когда-то переделали эту строчку в «Мой дядя самых честных грабил», но промолчал. Лёха продолжал:

— Дальше: «Какое низкое коварство». Что такое «коварство»?

— Хитрость, блин. Подлость. Что ещё непонятно?

— При чём тут дядя, непонятно. Дядя умирает, что ли?

Отец вздохнул:

— Не думал я, что ты у нас такой одарённый. Умирает дядя. А к нему племянник едет ухаживать. Но хочет, чтобы старик помер поскорей.

— А-а. Ну, дальше опять: «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных». Тут вообще все слова незнакомые.

Максим ощутил холодок по спине, догадываясь, что для Лёхи в этой знаменитой книжке, похоже, и правда непонятна добрая половина слов.

— Ну, Зевес — это я понял, это Зевс, греческий бог,— вдруг порадовал отпрыск.

— Замечательно,— мрачно заметил отец.— Самое главное одолели. Давай книжку сюда.

Пробежав глазами по когда-то знакомым пушкинским строчкам, он коротко пересказал Лёхе, что Евгений Онегин был молодым мажором, ездил по театрам и ресторанам, увивался за дамами, получил богатое наследство от дяди.

— Понятно? — спросил он, зевая и уже собираясь идти выпить кофе.

— Как бы да,— взмахнул руками-ветками сын.— Только непонятно, зачем это мне.

Отец оторопело уставился на сына:

— В смысле — зачем?! «Два» не получить! И люлей от меня.

Лёха кивнул.

— И от матери,— на всякий случай добавил Максим.

• • •

На завтрашний вечер он пригласил в гости друга Никиту. Никита преподавал историю и обществознание, отчасти знал законы и мог проконсультировать старого приятеля по одному важному делу: как поменять ипотечную квартиру на другую, тоже в кредит. Естественно, меньшую на бóльшую, нынешнюю «двушку» на хотя бы старую, но «трёшку». В своё время они с Ритой не стали брать ипотеку сразу на трёхкомнатную квартиру, не потянули бы; да и сейчас Максим совсем не был уверен, что плата за новое жильё будет им под силу. Но попробовать всё-таки хотелось. Кроме того, Никита, как гуманитарий, наверняка мог что-нибудь подсказать Лёхе по поводу сочинения.

— Коньяк будешь? — предложил Максим, открывая холодильник.

— Если только для запаха, в чай,— отказался друг.— Я же за рулём.

— Жаль. Помнишь, как с парнями в Ергаки ходили? Неделя погружения в природу.

— Алкотуризм, ага,— Никита ухмыльнулся приятному воспоминанию, но тут же перешёл к делу.— Ну, так что за консультацию-то ты с меня хочешь?

— Да про квартиру… — смущённо начал Максим.— У нас же эта в ипотеке, ещё целых шесть лет платить, а дети-то растут…

— Больше хотите взять? — догадался Никита.

— Ну да. Дети-то растут,— снова повторил хозяин квартиры слова Риты, которые она в последнее время часто повторяла.— А у них комната на двоих

одна. Я узнал, что вроде как можно, но там условия какие-то… Подумал: вдруг ты знаешь?

Никита с видом знатока покрутил в руках кружку:

— Ну, какие там условия?.. Они должны убедиться, что ты платить можешь больше, вот, в общем, и всё. Заявку подать на новый жилищный заём. Ну и, конечно, найти покупателя на вашу нынешнюю квартиру, куплю-продажу оформить. Потом уже новый кредит подписать, на новую хату документы…

— Угу,— машинально кивнул отец семейства.— Погоди, это я, что ли, сам должен покупателя искать на эту квартиру?

— А кто, Пушкин? — прыснул приятель смешком.— Конечно, сам.

Максим тоже усмехнулся, но в душе ему было невесело: он всерьёз рассчитывал, что искать покупателя будет банк, и больше не хотел продолжать разговор о квартире:

— Кстати, о Пушкине. Лёха-то у меня по литературе совсем засыпался. По сочинению двояк получил за «Евгения Онегина».

— Не написал, что ли?

— Ну,— подтвердил Максим, испытывая неловкость за сына.— И не чешется вообще. Всё фиолетово ему. Я бы в его годы со стыда сгорел двойку по «литре» иметь. Ладно по физике…

— Они щас такие,— громко прихлебнул чай Никита.— Не стесняются ни фига. Моя Лерка, смотрю, афоризмы себе на стену «вконтакте» выставила. Там пословицы наши все переделанные. «В тихом омуте тихо», потом это… «Любишь кататься — мы не осуждаем», «У кого что болит — давайте обсудим». Ну и главное, знаешь, что?

— Что? — взаправду поинтересовался Максим.

— «Выноси сор из избы, а то вся изба засрётся»!

— Это твоя Лерка написала? Талантливая…

— Да ну! Нашёл талант. «Битву экстрасенсов» только смотрит. Да я не переживаю. Повзрослеют потом. Голова у неё должна быть хорошая. Как и у твоих. В кого им глупыми-то быть? Рита у тебя тоже умная.

— Да… Уехала вот на заработки. Слушай, ты Лёхе-то моему поможешь? «Онегина» разобрать?

— Само собой.

Максим отворил дверь в комнату детей. Настя полулёжа, закинув ногу на ногу, листала что-то в телефоне. Лёха, было заметно, только что нажал на кнопку паузы видео в ноутбуке.

— Здрасьте,— вяло поздоровался он с другом отца.

Настя ничего не сказала, только переменила позу на более уважительную: села на диван, свесив ноги.

— Здорово, молодёжь! — бодро приветствовал чужих детей Никита.— Что смотришь, Алексей? Надеюсь, не «Битву экстрасенсов»?

— Нет, не «Битву»,— отозвался Лёха с обидой в голосе.— «Жизнь в России». Блог такой.

— Во, гляди, всякую дичь смотрит! — рассердился Максим.— Когда ему надо уроки делать.

— Все уроки не переделаешь,— огрызнулся Лёха.— А тут интересно.

— Чем интересно, подскажи? — Никита продемонстрировал любопытство — Максим не понял, искреннее или нет.

— Всю правду говорят. Каждый про себя. Про свою жизнь. Про разные города.

— М-м-м… Города, говоришь? Города лучше, конечно, своими глазами увидеть. У каждого из них собственная физиономия. Ну, Алексей, давай немножко позанимаемся, накидаем с тобой план сочинения, так сказать, рыбу. Настя нам не помешает, думаю…

— Я на кухню уйду,— тут же заявила Настя, и опять Максиму показалось, что с какой-то обидой.

Он и сам в первые секунды собирался было уйти, даже повернулся к двери, но любопытство взяло верх. Да и усталость — на кухне ждала посуда в раковине, надо было что-то придумывать к ужину, и ему слишком сильно хотелось хоть на полчаса продлить заслуженное воскресное ничегонеделание.

— Вот смотри, «Евгений Онегин» входит в золотую коллекцию русской литературы, это знаменитейший текст Пушкина, который создавался семь лет,— по-писаному заговорил Никита.— И в нём отразились представления о жизни первой трети девятнадцатого века, о самых разных её аспектах. Недаром этот роман в стихах получил название «энциклопедия русской жизни». Это вообще замечательный роман, игровой, в нём Пушкин смотрит на вещи и с той, и с другой стороны, и как бы всегда над схваткой, высмеивает, пародирует… Постмодернистский, по факту, такой роман. Пушкин — великий игрок, он играет в характеры, в персонажи Ленского, Онегина, Татьяны. Тип Ленского, который на Западе существовал действительно, на русской почве стал несерьёзным, пародией. Вообще, Пушкин нигде в своём романе особенно не серьёзен. Поэтому «Евгений Онегин» местами написан небрежно, местами там…

— Если он относился несерьёзно, то почему я должен по-другому? — перебил Лёха.

Никита откинулся на спинку стула.

— Бр-р… Ну как тебе сказать-то?! Литература — это же вообще условность, игра. Короче,— Никита хлопнул ладонью по книжке.— Давай список тем, по которым писать.

Лёха стал искать на столе, залез в тумбочку.

— Не могу что-то найти,— признался он.— Я у одноклассников уточню.

— Во, блин! У него «два», а он даже не знает, что делать! Всё фиолетово ему! — опять рассердился Максим. — Как в десятый класс будешь поступать с такими оценками?! Там же рейтинг, не возьмут!

— А я и не буду поступать, — спокойно отозвался Лёха.

— Как не будешь?! В ПТУ, что ли, пойдёшь?! — взвился Максим. — Мы для этого с матерью пашем, надрываемся?

— Спокойно, батя, — Никита посмотрел на друга, многозначительно кивнув и прикрыв веки. — Щас мы всё сделаем, щас разберёмся. Ты правда лучше иди.

Максим удалился в кухню; пока размораживался фарш, вымыл посуду, налепил кривоватые колобки и поставил их жариться. Присел на табуретку — от долгого стояния заболела спина. Настя сидела рядом, опять тыкала в экран телефона.

— Что читаешь там? — спросил Максим.

— Я не читаю, я маме пишу, — сказала дочь. — Она передаёт привет. Говорит, что надеется вернуться к нам на Новый год.

— В смысле надеется?! — подскочил от удивления отец. — А что, может не вернуться?..

Настя пожала плечиками. Максим решил вечером, когда уйдёт гость и закончатся дела, позвонить Рите, поговорить обстоятельно.

● ● ●

Никита просидел с Лёхой ещё около часа, и всё это время Максим метался из угла в угол: два раза проверил почту через телефон, по запаху вспомнил о жарящихся котлетах и едва успел их, уже подгорающие, перевернуть, вскипятил чайник, включил стиралку и сразу выключил: та стала верещать из-за неплотно прилегающего люка.

— Рассказывай стихотворение, которое по литературе задали, — наконец приказал он дочке.

Настя послушно пробормотала о какой-то спящей беспробудно степи, и от этих слов, произнесённых вслух звенящим детским голосом, Максиму почему-то стало ещё грустнее. Свет за окном сгустился до полупрозрачной синевы, и его потянуло в сон.

Никита вошёл в кухню, походя отхлебнул остывшего чаю из своей кружки:

— Всё нормально будет, папаша. Напишет. Сдаст. И в десятый поступит, куда он денется?

— Твои слова да Богу в уши, — произнёс Максим, хотя всерьёз не верил в божественную помощь. — Скоро Новый год, Ритка вернётся. Не расстроить хоть её.

Попрощавшись с другом, он вспомнил, что собирался позвонить жене. Но, открыв холодильник, увидел, что, кроме свежепережаренных котлет, там остались только пара яиц да холодная гречка. Отправить бы Лёху в магазин, но нет, пусть уж ковыряется с уроками.

На поход по продуктовым ушёл почти час. Вернувшись домой, Максим вспомнил про неисправную дверцу стиралки, открутил её, снял с петель истёршиеся катушки. Но внезапно оставил эту возню, кинул подушку на диван. Заснул, правда, не сразу: в голове роились мысли об ипотеке, о том, где найти новую квартиру побольше и во сколько она обойдётся. Если брать в этом районе, то, конечно, дорого… Не потянуть. А если на отшибе, в каком-нибудь «Мариинском» или Солонцах, то Рита навряд ли согласится туда переехать. Придётся постараться, купить «трёшку» тут, поблизости, хотя и в старом доме — в новостройке уж точно не вытянуть.

Максим уронил голову на подушку и нырнул в сон.

● ● ●

Проснулся он от боли в шее. Поворочал головой, вытянул руки вперёд — отчасти прошло. Глянул на часы: пятнадцать минут десятого, поздний вечер.

— Настя! — позвал он. — Есть хочешь? Кофе попьём. Лёху зови.

— А его нет, — звонким беззаботным голосом ответила дочь.

— Как нет?! — всполошился Максим.

— Он недавно ушёл, сказал, дела у него…

— Какие дела?! Какие дела? Время десять, завтра в школу!

— Ему девочка вроде какая-то позвонила, — припомнила Настя.

— А-а, — сказал Максим с понимающим видом, хотя беспокойства только прибавилось.

Он сделал кофе себе и Насте — ей развёл молоком наполовину, стал набирать Лёхин номер.

«Абонент недоступен», — красивым женским голосом ответили в трубке.

Максим метнулся к окну, вгляделся в черноту декабря. Прислонив лоб к самому стеклу, увидел яркие всполохи фонарей, потусторонне блистающий снег. Ни одного человека.

— Где вот он? — спросил незадачливый отец у кого-то.

Он пытался успокоить себя, думая, что каждому было когда-то пятнадцать с половиной лет, что все бегали по вечерам на свидание к девочкам. Но собственный опыт напомнил другое. В девяносто третьем году, когда ему самому шёл шестнадцатый, они враждовали с соседним районом, с улицей напротив. Стоило кому-нибудь из пацанов пройти не по своей территории, как начинались расспросы: куда идёшь, зачем? Тот, кто не мог толково ответить, награждался парой пинков. Максима по-настоящему побили только однажды: он пошёл провожать девочку на ту самую, враждебную, улицу и по возвращении в свой район получил хороших тумаков просто за попадание на чужую

территорию. Дома он ничего не сказал. Жаловаться родителям было не принято: родители работали. А дети учились, чтобы поступить в институт, стать юристами, экономистами или, на худой конец, бухгалтерами после колледжа. Некоторые, особенно умные и наглые, становились полукриминальными бизнесменами. Максим знал таких троих из своей школы и когда-то втайне завидовал им. У тех парней была лёгкая жизнь. При всей опасности — всё равно лёгкая. Богатая. А у него не сложилось ни с бизнесом, ни с институтом.

Он ещё раз набрал сына. Ответа по-прежнему не было, а стрелка на кухонном циферблате неумолимо ползла к десяти. Детское, казалось бы, время. Но кто знает, где сейчас Лёха, что с ним?!

— Настя, я пойду Алексея искать,— объявил Максим дочери.— Надеюсь, скоро вернусь. А ты дома сиди. Дома сиди, поняла?! Телефон наготове держи. Поняла?

— Да поняла я, пап!

Максим наглухо застегнул меховую куртку, натянул на голову капюшон и ещё в подъезде почувствовал, что на улице ветер. Неприятный, порывистый, забирающийся под одежду.

Двор сиял от фонарей, от лунно-зеленоватого, казавшегося иноприродным снега. Какой-то человек гулял с собакой. Максим вышел из двора на улицу — мимо него летели машины, пронеслась разухабистая нерусская музыка, промчался с цирковой ловкостью странный тип на моноколесе.

Максим остановился под чёрным оснеженным тополем и вдруг понял, что почти ничего не знает о сыне. Ну, не читал «Онегина», получил двойки по русскому, биологии… В прошлом году вроде учился лучше. Вроде. Максим точно не знал. Детьми в основном занималась Рита, да и то насколько хватало сил, а он работал и приносил деньги. Ну, организовывал по выходным пикники на природе. И ему казалось, что всё хорошо; дети, пока не повисли на нём в режиме нон-стоп, были приятными, относительно послушными. А ведь он давно хотел поехать с Лёхой куда-нибудь вдвоём — и всё откладывал.

Максим снова достал из кармана телефон, зашёл в родительский чат девятого класса, хотел спросить, не знает ли кто, где Алексей, и остановился. Знали бы — сказали бы давно, сами позвонили, а так только сплетни вызывать, пересуды: ребёнка потерял! Или уж написать, чёрт с ним?.. Максиму показалось, что на улице стало ещё холоднее, и внутри что-то сжалось от ледяной тоски. Вспомнился широкий, зияющий тёмной пастью подземный переход на Шинников, в котором они с ребятами тогда же, в безбашенной юности, оборудовали что-то вроде комнаты: поставили диван, стол, на стол — магнитофон, и в случае наглого «наезда» чужаков рьяно обороняли имущество. Господи, чего только не было! Устраивали «базары» — драки стенка на стенку, толпой ходили на дискотеки в ДК имени Первого мая — не столько потанцевать и закадрить девочек, сколько опять же выяснять отношения с пацанами из других районов. Нерусские парни задирались, им отвечали тем же. На входе стояла милиция, сдерживая молодую ярость спорящих до крика металлистов и панков. А родители не знали ничего. Или знали, но считали в порядке вещей. Но разве так было нужно?..

Сейчас дискотек вроде бы нет, гуляют давным-давно свободно, где хотят. Но у Лёхи наверняка тоже есть какие-то враги. Однозначно есть, ведь на то и пятнадцать. Может, подрались из-за девчонки, из-за денег? Должен кому-нибудь? Или самое страшное — наркотики?

Только нащупав мыслью последнее слово, Максим почти бегом устремился дальше по улице, заранее решив, что пробежит её всю, а если толку не будет, тогда станет звонить всюду, куда можно. Пусть говорят что хотят. Не до того уже теперь. Сейчас всё как-то не на виду, скрыто. Но кто знает — пропали нарики совсем или их просто не вывозят на виду у всего подъезда, как раньше?..

В конце улицы Максим некстати припомнил, как однажды, по дороге в школу, наткнулся на труп. Самый настоящий. Пнул его ногой, перевернул — лицо синее.

Он завернул во двор, где светился тёплыми лампами супермаркет с уютной надписью «У дома». И вдруг увидел справа от входа компанию из трёх подростков, в одном узнал своего сына и завопил:

— Лёха!! Везде, ё-моё, тебя ищу! Ты где был?!

— Здесь,— ответил тот.

— Где — здесь?! А это кто?

Лёхины спутники — одноклассник сына Тимур Загидулин и незнакомая девчонка — расступились, и у самой стены проявилась четвёртая фигура — тёмная, приземистая, в чёрных валенках советского фасона, мужской замусоленной ушанке и, по контрасту, свежем и светлом пуховике.

— Здрасьте,— произнесло создание пропитым надтреснутым голосом, по которому Максим опознал в нём женщину.

Ему почудилось, что бомжиха шатнулась чуть вперёд, и он отвернулся с инстинктивной брезгливостью.

— Папа, это…— начал Лёха.

— Домой пошли,— оборвал Максим.

— Пап, это Людмила.

Отец оторопело уставился на отпрыска, матюгнулся:

— Что?.. Какая Людмила?! Домой давай!

Бомжиха отклеилась от стены, проскрипела:

— Мужчина, пожалуйста, покушать дайте.

Полоса сливочного света озарила её лицо, и Максим едва не вскрикнул: бездомная была ему знакома! Сколько ей было в девяносто третьем,

четвёртом году?.. Нисколько, как и сейчас. Она давно потеряла возраст. Когда-то она часто собирала бутылки в огромном, как лес, парке возле «Сибтяжмаша», бродила по улицам. Её видели у теплосетей возле Мичуринского моста и старались прогнать оттуда: на теплотрассах пацаны сушили газеты, смоченные в селитре, и мастерили из них «бомбы». Однажды осенью Максим с корешами — было им не то пятнадцать, не то шестнадцать лет — встретили её с мотком медного кабеля и тут же, не сговариваясь, накинулись, чтобы отобрать медь. Бомжиха неожиданно стала сопротивляться, отбиваться, и Максим с другом начали бить её, пинать, а она визжала, охала и до последнего цеплялась за этот злосчастный кабель. Уж очень дорого для тех времён стоила медь. Мимо, кажется, проходили какие-то люди, но удары ног в палёных «абибасовских» кроссовках продолжались до тех пор, пока бомжиха, лежащая на асфальте в позе эмбриона, не затихла.

Сейчас Максиму упрямо казалась, что та, которую они тогда убивали, ожила. Она восстала из грязи, из тени, из прошлого — и просила еды. И её, как защитники, окружали *новые* дети.

— Я хлеба куплю, — буркнул Максим, сделав шаг к магазину.

— Нет, пап, ей надо кофе, — возразил Лёха.

— Тёплое что-нибудь надо, — вмешалась девочка.

Максим только сейчас разглядел её. Девочка была явно нерусской: плоское лицо, раскосые глаза — не то киргизка, не то тувинка. Мимоходом в мыслях пронеслось: и это первая любовь сына? Или просто знакомая, раз рядом оказался Тимур? Для чего, чёрт возьми, они вообще собрались?!

— Вы что тут вообще делаете?

— Папа, извини, мы с Айдыжааной пришли к Тимуру стрим посмотреть, а у меня телефон разрядился. А потом мы вышли к «Магниту» и смотрим — Людмила стоит, мёрзнет. И мы вот пошли к Айдыжаане, она куртку свою старую отдала. Ну, чтоб не холодно было.

Сын говорил уверенно и просто, словно ничего странного в их поступке не было.

— Вы прямо как эти… Как тимуровцы, — усмехнулся Максим, кивнув в сторону Лёхиного одноклассника. — Как в СССР.

— Жалко, что СССР распался, — сказал Тимур. — Вроде умные такие все были, а развалили.

— А Людмила нам сказала, что она из Таджикистана когда-то приехала, — заявил сын.

Бездомная затрясла головой:

— Да, да… В девяносто первом ещё. Как русских начали выдавливать, так я сюда. И резали, и жгли… Тут у меня тётка жила, я думала, к ней поеду. А она умерла и квартиры не оставила. И всё — некуда мне было идти. То там, то здесь… Полы мыла, бутылки собирала, на складах всяких работала. Чего только не видела, Господи!

— Вы сейчас где-то живёте? — неожиданно для себя спросил Максим.

— А? Жить есть где, жить есть. В бараке живу, за Калинина, — успокоила Людмила.

— Мы вам сейчас кофе купим, — сказала девочка, выгребая из кармана мелочь.

— Не надо, — Максим сжал её руку. — Я сам возьму.

В магазине он подошёл к автомату с горячими напитками, дважды нажал на кнопку «Капучино», послушал тихое шуршание пены. Подумав с минуту, купил ещё три чая — сыну и его друзьям. Всё происходящее казалось ему не совсем реальным, будто он смотрел кино о себе самом и дивился тому, как его изображают.

Замёрзшие не меньше Людмилы ребята с благодарностью приняли от него чай. Людмила жадно вцепилась в стаканчик с кофе, пожелала всем спокойной ночи и незаметно растворилась в зимней тьме.

— Я Айдыжаану до подъезда провожу, — сказал Тимур.

Максим посмотрел им вслед, всё ещё не понимая, чья девушка эта, как её… Жанна, сына или его одноклассника — или вообще ничья. Это ещё предстояло узнать, как и многое другое о Лёхиной жизни. Но до самого дома они не произнесли ни слова, на плечи им падал безмолвный снег, и только у крыльца отец решил спросить у сына:

— Сочинение-то написал?

— На черновике. Переписать осталось.

— Хорошо! — искренне обрадовался Максим. — Литература — это ведь важно тоже… Она про людей же. Про то, что все люди — они, это… Их уважать надо.

— Где это написано? — спросил Лёха.

— В смысле — где? — не сразу понял Максим. — А, в книге в какой?

Ему первым делом пришла на ум «Хижина дяди Тома», но через пару секунду вспомнил другой вариант:

— «Преступление и наказание», например. Я сам, если честно, плохо помню, но мама точно читала.

Сын нажал кнопку лифта, долго удерживал её пальцем.

— Вроде слышал такое. В аниме, что ли…

— Вот и почитай.

Лёха качнул головой:

— Я послушаю лучше… Буду ходить и в наушниках слушать. Ты мне ссылочку кинь.

Наталья Веселова

Норковый тулупчик

Его благородие жалует мне шубу со своего плеча: его на то барская воля…
<…>
Господи Владыко!.. Заячий тулуп почти новёшенький!
А. С. Пушкин. Капитанская дочка

Что теперь станет с Марсиком? Эта мысль как впилась с утра в её мозг, будто тонкая колючка в пятку, так и цепляла — при каждом невольном вздроге сознания. Только усыпить. Другого выхода Нинон не видела — да и не было его, как ни изворачивайся… Вот так прямо взять и усыпить здорового пятилетнего немецкого овчара с дремучей золотой бездной в чуть прищуренных, всегда на хозяйку жадно устремлённых глазах. Сделает это, конечно, зять. И на минуту не задумается, а она не посмеет возразить. Она теперь вообще никогда ничего не посмеет: вспять время не повернёшь… Это когда-то, десять лет назад, было её гнездо, которое она маниакально украшала, словно ласточка, принося туда в клюве по травинке: то коврик в ванную, то полочку под локоток у кресла — чтоб и чашка, и книжка… Даже вспоминать странно… Восемь лет назад Нинон оставила квартиру дочке с её семьёй и теперь только гостевала там иногда — очень редко и недолго. В бывшем своём доме, незаметно ставшем необратимо чужим, а иногда почти скатывавшемся во враждебность.

Марсика — шерстистого, всегда готового на рык и непривычного к паркету — туда привезти с собой невозможно: в маленькой брежневке, где в меньшей, десятиметровой комнате теперь спальня Людочки с мужем, а в большей — аж четырнадцать метров! — размещены внуки-близнецы Петя и Паша со своим двухъярусным спальным местом, неразлучной, как и они, парой секретеров с компьютерами, несколькими спортивными снарядами и одним на двоих неожиданно ласковым и безответным, похожим на белую акулу бультерьером по кличке Беляш… Куда уж там Марсику, самой-то куда-нибудь примоститься! Ну, положим, Людочка маму если не любит, то хоть пожалеет иногда и, когда муж её, горе-художник, ночует в мастерской, будет класть мать рядом с собой на супружеский раскладной диван, на свою половину, а сама переберётся на мужнину… Ночует супруг вне дома часто и охотно, потому что жену давно разлюбил, а дети ему и вовсе мешают: так, появится, прикрикнет для порядку, чтоб показать, кто хозяин в доме, доведёт мелочными придирками и неявными, но гнусными оскорблениями действительно подурневшую за последние годы Люду до крика и слёз, после чего обзовёт истеричкой, на которой «знал бы — не женился», благородно вознегодует и вновь исчезнет на полнедели. Девочка её знает, что в мастерскую муж регулярно приводит женщин — для вдохновения, даже если наскоро ляпает трафаретную халтуру, вроде эмблемы спонсора на форменные майки и куртки детской спортивной команды… Но она давно махнула рукой на мужа — и на себя. Других в сорок — и пятьдесят, кстати! — называют на улице «девушка», а Людочка… Нинон так больно теперь видеть эту — ещё чуть-чуть — и да, можно будет сказать «опустившуюся» — старообразную тётку с жалким трёпаным пучочком давно не крашенных волос, в вечных унылых шерстяных кофтах и прямых юбках неопределённой длины, вроде бы и новых, в магазине купленных, а всё равно будто раскопанных в бабушкином сундуке. «Покрасилась бы, может, дочка, стрижку какую сделала…» — робко советовала, приезжая раз в месяц, Нинон. «Ой, мам, сил нет…» — вяло отмахивалась Люда и заправляла за ухо посёкшуюся прядку… Но с мужем она никогда не разведётся — будет тащить его до смерти, нелюбимого и нелюбящего, зато требовательного и полного амбиций… Люда сейчас «оператор» частного копи-центра. Проще говоря, она двенадцать часов в сутки сидит в стеклянной коробке, приткнувшейся в недрах торгового-развлекательного центра, и распечатывает клиентам тексты на принтере или делает им дежурные чёрно-белые ксерокопии документов, где лица на фотографиях откровенно страшны, как случайно проявившиеся изображения привидений… Нет, когда-то была благополучно закончена традиционная «Корабелка», что-то инженерское прописано в синих корочках… Но куда уж теперь!

Хоть какая-то работа есть с регулярной зарплатой — и то счастье, так-то вот… В свободное время Люда пытается — деловито, но почти всегда неудачно — искать каких-то недостижимых и почти мифических олигархов, готовых оплатить банкет «для нужных людей» на очередной мужниной выставке в окраинной библиотеке, мечтает выбить ему какие-то фантастические «гранты», подаёт его документы на премии, которых он никогда не получает, потому что средства, гранты и премии распределены ещё задолго до того, как на них кто-то «подал» — и всем это понятно, кроме Люды и её мужа… Но ничего, зато деньги, вырученные за пропечатанные спины спортивных маек, он несёт именно жене — почти до копейки. «Со своими девицами разве что бутылку шампанского разопьёт», — радуется Людочка… И всё длиннее её юбки, всё серее и коричневее кофты… Ладно, когда зять будет приходить с ночёвкой, придётся ложиться на кухонный диванчик. Он, правда, коротковат, ноги свисают, но можно низенькую такую табуреточку… с подушечкой… Не выгонят же на улицу — мать всё-таки родная и бабка! И с детьми поможет, кстати: как они из школы придут — она им борщика горяченького, чтоб сытенькие перед секциями своими спортивными…

Господи, как страшно…

Снова больно цепляет колючка по имени Марсик. Не пустят его в квартиру, не пустят… Тем более что своя собака у них немаленькая, да и Марс никого, кроме Нинон, не признаёт — даже детей. Все другие для него — потенциальные враги, и он их лишь милостиво терпит до гипотетически возможной команды «фас» — и ждёт её даже во сне, чутко поводя острыми бархатными ушами. Окрас у Марса совсем волчий, серо-чёрный, называется «зонарный», кто в посёлке его не знает, не осведомлён о низкой овчарочьей осадке кзади — тот опасливо косится: не волка ли ведёт на поводке эта сумасшедшая тётка? Хм… Тётка… Хорошо, если так, а то ведь, наверное, думают «бабка»… Она сама в лечебницу не поедет, а Марсик зятю в руки не дастся… Придётся вызывать ветеринара-усыпителя на дом — за её деньги, разумеется; она и уйти не сможет, потому что Марс без неё всех в доме перервёт, включая детей и врачей. Значит, никуда не денешься: подарить его некому (хорош подарочек: сожрёт счастливого обладателя и не подавится), придётся не просто как-нибудь душераздирающе проститься, но и присутствовать… Давным-давно она видела, как усыпляли собаку её школьной подружки — та не смогла, умолила пойти с пёсиком в кабинет десятиклассницу-Ниночку… Несколько лет не забывалось то, что пришлось увидеть тогда в лечебнице! Но спаниель подруги был старый, плешивый и неизлечимо больной, весь в устрашающе огромных опухолях; он твёрдо знал, что пришла его собачья пора, кротко смотрел абсолютно человеческими всепонимающими глазами и нервно, прерывисто вздыхал: вы, дескать, поскорей уж, девчонки, устал я… А Марсик… Нет. Она не сможет. Лучше уж в приют отведёт, скажет, нашла на улице… Нет, нет. Пусть хоть режут её, хоть на улицу выкинут! А может, отдать его пограничникам, пусть несёт военную службу? Поступает же так кто-то, она сама читала… А-а-а! Да что ж это делается-то на свете, Господи?! И как же Ты допускаешь такое?! Меня — наплевать, но Марсика-то за что?! Он же тоже тварь Твоя, Боже, мы-то тут, на земле мыкаясь, ко всему привыкли, но его не мучь — серого, злого, преданного, ничего не понимающего!

Чувство беспомощности захлестнуло Нинон, она покачнулась за столом, едва не закрыв лицо руками, но вовремя глянула вперёд, наткнулась взглядом на монументальную фигуру женщины-судьи в складчатой мантии — над квадратным чёрным пятном маячило расплывшееся, сероватое, презрительно-равнодушное лицо в тяжёлых прямоугольных очках. Такая не пощадит. Это тебе не Марсик.

— Вы же знаете, что бедному с богатым не судиться… — шепнул ей в ухо, мягко поддержав за спину, молодой и бойкий адвокат Илья. — Но раз уж решились… Давайте хотя бы проиграем с высоко поднятой головой… Ну… Соберитесь… Может, ещё и ничего, кто знает…

Илья чуть слышно вздохнул. Он-то как раз знал — и предупредил честно, ещё до самого первого заседания: «Эти — занесут, можете не сомневаться, — кивнул в сторону надменной девчонки, представительницы истца. — Не судье — так в нужные организации. А там неудачницы-недоучки сидят, которые айфон только во сне видели, и пенсионерки, чья пенсия равна прожиточному минимуму… Продолжать мне, или сами поймёте, Нина Алексеевна?» Она, конечно, понимала.

— Я протестую! — с протяжным воем подскочил вдруг рядом с ней адвокат. — Протестую против приобщения этого чертежа! Его происхождение…

Грохнул, будто выстрелил, деревянный молоток:

— Протест отклонён. Суд постановил удовлетворить ходатайство истца о приобщении к материалам дела плана дома и участка.

— Ваша честь! — против всяких правил взмолился Илья. — Там цветной тушью нарисовано! В пятидесятых годах прошлого века! Неизвестно кто, что и где рисовал, там и вокруг всё тогда другое было! Непонятно даже, та ли местность вообще, о которой речь-то идёт! А надписи…

— Ваш протест отклонён, вам неясно, представитель ответчика?!! Ещё раз — и вы будете из зала удалены! — судейская мини-кувалда вновь обрушилась на кафедру, и легко было предположить, что если б суровый закон давал судье право молотить не по столу, а по головам участников процессов, то их мозги давно бы уже были размазаны тут по стенам во устрашение всем последующим.

«Где-то я её видела…» — неясно мелькнуло у Нинон в эту ужасную секунду.

Илья потупился и сел.

— Кремень баба, — тише шёпота поделился он с клиенткой. — Точно — скушала…

Нет, она определённо идиотка… При чём тут Марсик?!! Кто думает о собаке, когда под откос летит — жизнь?!!

Истца своего Нинон видела единственный раз, поздней весной. Однажды, жмурясь от удовольствия (эту привычку она за собой знала и считала её обаятельной), будущая ответчица пила на крыльце утренний кофе со сливками, вытянув вдоль тёплых крашеных досок свои длинные, всё ещё стройные ноги и заголив их выше колен, — и вдруг в щели между землёй и глухим железным забором промелькнули и замерли у калитки мужские ярко-белые кроссовки. Тотчас раздался стук, Нинон мгновенно натянула юбку на колени и крикнула:

— Кто там?

Приятный тенор ответил:

— Сосед, на минуточку!

И она впустила во двор невысокого симпатичного мужчину с приветливым взглядом и вежливой улыбкой. Незнакомого, но совершенно неопасного… Ох и «минуточка» же оказалась!

Соседей справа и слева Нинон прекрасно знала в течение вот уже полувека, поэтому ещё до того, как мужчина объяснился, стало очевидно, что он не кто иной, как владелец заброшенного участка, располагавшегося позади, и древнего, уже в землю врастающего дома без окон, без дверей, который давно не виден был среди буйно разросшихся колючих кустов с несъедобными ягодами и зарослей гигантского борщевика, похожего размерами и формой на тропические деревья… Хозяином всей этой роскоши был когда-то сослуживец отца тогда ещё маленькой Ниночки; оба они обзавелись участками и строились одновременно, а детей их связывал особый вид дружбы — летний: это когда ты с приятелем на даче — не разлей вода, а вот случайно встретиться зимой в городе, где-нибудь в театре или на детском празднике, показалось бы странным и неловким… Отпрысков у соседей имелось двое: старшеклассница Марина, открыто презиравшая «мелюзгу», и вихрастый пионер Лёшка, смышлёный кареглазый толстячок с льняными волосами, что запомнилось необычностью, потому что либо глаза сами собой напрашивались васильковые, либо волосы — шоколадные; он и принадлежал к той ватаге ребятишек, с которой бегала подросток Нинка… Махнувшая за шестьдесят Нинон пытливо глянула в лицо своему ровеснику-соседу: нет, не карие глаза — серые, как и положено при светлых с проседью волосах. Не Лёшка… А кто?

— Меня зовут Константин… Можно без отчества… И я племянник… — он назвал имя, ничего Нинон не сказавшее, давно из памяти ускользнувшее. — Бывшего хозяина того участка. Теперь я его унаследовал, поэтому…

Такое простое слово, а в ней — ёкнуло, вырвалось:

— А Лёшка… Марина…

Красиво погрустнев, мужчина кивнул:

— Марина эмигрировала, давно уже, прислала отказ, я покажу вам, если требуется (Нинон помотала головой: ей-то что до этого?), а Лёха… Ну, тут дело обычное: пил как лошадь; пока жена жива была — сдерживала как-то, потом умерла, а он — по наклонной… За год человеческий облик потерял, через два — сгорел во сне до углей вместе с квартирой… И шестидесяти не было мужику. Такие дела.

У Нинон смутно пронеслось: сладкие гороховые стручки в чужом саду, черепаха размером с детскую ладонь, бойко плывущая в открытое море, букетики с ягодами земляники, собираемые на валу вдоль железной дороги, — и всё это как-то связано с тем смешным пузанчиком, от которого, как оказалось, теперь остались только чёрные угли, как от средневекового еретика, казнённого на костре… Она встряхнула головой:

— Да вы проходите в дом — что на жаре-то стоять? Голову напечёт! У меня там и кондиционер есть — муж успел, незадолго до смерти… Теперь вот спасаемся в жару…

Он и от кофе не отказался — приятный человек, — и удивился, как такой вкусный получается, и вежливо хмыкнул на её фирменный ответ:

— Евреи, не жалейте заварки…

За кофе сосед, человек, как сам признался, состоятельный, рассказывал о своих планах участок расчистить («Но вот те чудные бронзовые сосенки — видите? — непременно сохраню»), построить там замечательный двухэтажный особнячок со скромной башенкой («Так дочка хочет, сам бы ни за что: уж больно вкусом какого-нибудь краснопиджачника отдаёт, но как не потрафить любимице, она же у нас единственная»), а меж тех пяти плакучих берёзок («Вам из-за борщевика не видно, но просто как де́вицы-красавицы хоровод водят, честное слово!») поставит миниатюрную беседку… Ещё жена его

мечтает об оранжерее, чтобы по древнерусским летописным рекомендациям самой выращивать и лимоны, и апельсины, и даже ананасы («А вы и не слышали? Как?! Вы не знали, что в Древней Руси всё это было прекрасно освоено?»); кроме того, она очень любит разводить разные экзотические цветы («Такая утончённая женщина, необычная, понимаете?»), и он построит ей для этой надобы другую теплицу, самую современную; она, Нина, ещё удивится, когда увидит те чудеса, которые они здесь сотворят… Да, кстати, насчёт теплицы: очаровательная Нинон («Как это красиво, на французский манер!») знает, конечно, что её отец случайно — а может, и нет, он лично покойного старикана, пусть земля ему пухом, не знал, — захватил целую полосу от его участка, шесть с лишним метров шириной и пятнадцать в длину — сотка всё-таки, не кот начхал, между прочим — именно те сто квадратных метров земли, которые требуются для вышеозначенной постройки…

Нинон всё ещё продолжала улыбаться и кивать, пододвигая гостю тарелочку с нарезанным магазинным кексом, — и нельзя было не улыбаться в его ясные глаза и чарующую, мальчишески-застенчивую улыбку, в его открытость, в ненаглую уверенность в себе, в безопасность его и дружелюбие… Он показывал невесть откуда вдруг явившиеся планы и чертежи, со знанием дела вычерченные на пожелтевшей от времени бумаге («Вот здесь ручей, а это дорога — кстати, не только дом ваш, но и колодец тоже на моей территории оказался»), с чёткими фиолетовыми печатями и петлистыми подписями людей, явно ставивших их когда-то со всей возможной торжественностью… Давно умерших людей, которые уже никогда ничего не подтвердят и не опровергнут.

Она, и провожая соседа, ещё не смахнула улыбку — потому что и он дружески сиял, глядя ей в глаза и говоря вещи, которые ничем, кроме шутки, оказаться по определению не могли:

— Ну что делать, что делать… Перестраиваться! Переносить как-то дом ваш, что ли, не знаю… Проще, конечно, быстро снести его и потом новый отстроить… Подальше там — вон, кустарник тот вырубить, что ли… А колодец в наши дни — это же вообще архаика… Ну как невозможно… Всё возможно в этом мире… Вы же видели документы. И планы свои я вам озвучил — что тут неясного? Потому что сами же понимаете — на чужой земле живёте… Конечно, не виноваты: это старики пятьдесят с лишком лет назад намудрили с документами… Тогда, знаете, вообще проще всё было, не заморачивались люди, а зря… Как, вы и сами межевание не делали? Ну, это вы, душенька, напрасно… Сразу видно, в папочку пошла дочка, ха-ха, без обид… Так вы подумайте на досуге, как разбираться будем, а я заскочу на недельке…

Но через несколько дней у калитки остановилась огромная, как бульдозер, чёрная машина, из которой легко выпрыгнула миниатюрная девушка с грацией косули — и оказалась адвокатом вежливого соседа. Она приехала только уточнить, когда именно планируется снос мешающего планам её клиента строения, и дружески посоветовала, не заходя в обречённый дом:

— Знаете, Нина, э-э… — заглянув в бумажку, — Алексеевна… Я вам просто по-человечески говорю, из сочувствия, так сказать: не доводите вы дело до суда, честное слово, — сколько денег, нервов, здоровья, потратите, а конец всё равно один; документы я изучила — судье, собственно, даже колебаться не из-за чего, настолько там всё ясно… Нет, я понимаю: обидно и всякое такое… Подставил вас отец ваш — что тут скажешь… Трудно его теперь осуждать — время другое было… Но вы и сами о современных документах не позаботились. А начали бы процесс межевания — так и всплыли бы все эти факты…

Тогда Нинон предложила выкупить несчастный спорный кусок земли: посоветовавшись с зятем и дочерью, она уже успела прийти к выводу, что не так уж это и дорого, и вполне по силам им поднатужиться да и наскрести по сусекам стоимость сотки здешней не самой дорогой земли…

— Да ну что вы! — махнула рукой девушка из бульдозера. — Это не обсуждается. Моему клиенту не копейки ваши нужны, а земля, которой, как он считает, у него и так маловато окажется. Поэтому он, может, и остаток вашего участка за бесценок прикупит, если вы новый дом строить не надумаете, — так что вам ещё и прибыль какая-никакая выйдет, не грустите очень уж… В любом случае закон на его стороне, так что…

Так что: «Долой Нинон, Нинон, Нинон, долой Нинон де Ланкло…» Она сама переделала так своё имя из простенькой, как ей девчонкой казалось, Ниночки — когда, лишь прочитав в отрочестве рассказ Эдгара По, ещё не знала, кем была на самом деле та Нинон, о которой пелось[1]:

Долой, Нинон.
Время умирать.

А судью эту она, несомненно, раньше видела. Неподвижное лицо женщины казалось не высеченным из мрамора — а грубо вытесанным из тусклого камня, но нет-нет и проступала в нём будто некая странная прозрачность, и тогда в глубине, как лик прекрасной утопленницы под

1 Нинон де Ланкло (1615–1705) — французская куртизанка, писательница, хозяйка литературного салона; в рассказе Э. По «Очки» упоминается только в куплете игривой песенки, напеваемой одним из персонажей.

грязной водой, обозначались очень знакомые, даже чем-то милые черты… Песочница, соседская девочка, какой-нибудь подаренный или отнятый совочек? Не то, не то… бери выше: обеденный стол в детском садике, ты давишься сухим крупитчатым творогом, а напротив — золотистые кудряшки? Нет, почти всех детсадовских Нинон помнила, да и фотографий много осталось… Что тогда? Что?

— Ответчица, а закон о необходимости межевания вас не касался?! — два стальных буравчика свирепых глаз впились в её лицо, пронзительный голос полоснул по сердцу — и вопрошаемая уже торопливо и угодливо вскакивала со стула, как не выучившая урок школьница, вызванная к доске, как её собственный гневный окрик, случалось, во время óно выдёргивал из-за парты нерадивых учеников.

— Я… Мне… — точно так же, как и они, мемекала Нинон, не поднимая глаз. — Мне просто не казалось, что это так срочно…

Если честно, она и вовсе об этом не задумывалась, привыкнув, что всей скучной документацией сначала ведали родители, а потом муж, — поэтому даже счета с трудом оплачивала, вовсе не вглядываясь в заведомо непонятные цифири, и с восторженным недоумением думала о тех храбрых своих знакомых, которые не только заново перемножали их, но ещё и подавали какие-то протесты и требования итоговые суммы — пересчитать! Нинон же родилась с почти недееспособным левым полушарием, пригодной исключительно к гуманитарным наукам, и всё, что касалось подсчётов и замеров, вызывало в ней настоящий мистический страх. Но и отец, и муж у неё оказались с головой и руками, причём второй, как она довольно нескоро додумалась, был подсознательно выбран ею под стать первому: такой же основательный, сосредоточенный молчун и добытчик, мастер на все руки и твёрдое плечо — несокрушимое, предназначенное служить вечной опорой… Инженер, который настолько любил свою работу, что и дома всё время высматривал объекты, требовавшие основательного доведения не только до ума, но и до совершенства… Оттого и в детстве её, и в юности, и в зрелости дома у них всё идеально работало, повсюду тарахтели и жужжали какие-то дополнительные моторчики, семью не страшило ни летнее отключение горячей воды, ни зимнее, всегда предательское, — отопления. На даче сооружён был собственный водопроводик на связи с колодцем, отведена почти городская канализация, установлен паровой котёл в подвале, под зимние нужды (на Новый год, например, приехать — чем не счастье?) переоборудован второй этаж, да и весь дом, изначально деревянный, со временем оделся добротным желтоватым кирпичом, обзавёлся зелёной железной кровлей… А когда молодая ещё Нинон заикнулась мужу о том, что жаль, дескать, в плохую погоду нельзя пить кофе на балкончике с видом на залив и далёкие кораблики, то балкончик был немедленно превращён в утеплённую лоджию… Он крепко любил свою очаровательно слабую, вечно нуждавшуюся в защите и наставлении жену, этот её немногословный муж, так и не сумевший оплодотворить её, но принявший как родную дочку от раннего, горького и недолгого институтского жениного романа, — любил и старался, сколь возможно, облегчить обеим жизнь. Последним, что он сделал десять лет назад, перед тем как молодым, только полтинник разменявшим, умереть «от сердца», никогда прежде не болевшего, — был тот самый кондиционер, далеко не у всех в те дни на даче имевшийся, сидя под которым спустя десять лет, незваный гость сообщил ей, что дом придётся снести.

Даже теперь, когда суд уже шёл полным ходом, Нинон большей частью оставалась ужасающе спокойной, потому что знала — да и все кругом говорили, — что исход дела предрешён. Несколько жалких бумажек, представленных суду её адвокатом, ровно ничего по существу не решали, а ходатайства о паре очень желательных запросов судья отклонила парой же ударов своего неспокойного молотка. Зато ходатайства противоположной стороны о приобщении, запрашивании и назначении только удовлетворялись — хотя с такой же неистовой злобой. Было совершенно ясно, что судья ненавидит всех фигурантов без исключения, и не только их дéла, но и прочих, больших и малых. Действительно, с высоты судейской кафедры — чем должна была казаться пожилой измотанной женщине вся эта нечистоплотная и подлая возня с квадратными метрами, очернением ни в чём не повинных покойников, мелкими предательствами и грандиозными обманами? Какое ей дело было до протечек на чьи-то тупые головы и горбом нажитый бедный скарб, до невыплаченных грабительских кредитов и незаконных вселений в убогие жилища всех этих маленьких, жадных, обвиняющих друг друга в чудовищных злодеяниях никчёмных человечков? И до чужих, никогда не виденных домов, полных неприятных запахов тлена? Какая ей разница, порушат завтра один из них или нет?!

Нинон и хотела бы переживать, рыдать по ночам, до утра не спать перед заседаниями, но… Но в ней словно что-то запеклось — и это был грозный признак крушения. Так уже происходило — три раза. И всегда несло с собой смерть. Сначала — когда позвонили с работы отца: он, главный инженер цеха, получил тысячевольтный удар тока, но умер не сразу, — она ехала в больницу, твёрдо зная в душе, что в живых его

уже не застанет, и не могла ни молиться, ни плакать… Спустя четыре года она сама звонила в эту больницу — и там буднично сообщили, что недавно прооперированная мама снова переведена в реанимацию; и опять Нинон ехала туда же точно на таком же троллейбусе того же маршрута, снова бесповоротно зная, что это конец, — и сидела бетонно-спокойная. Ну а третий раз — это когда в дверь позвонил мальчишка-сосед по лестнице и через заевшую цепочку взволнованно протараторил, что муж «Нины Алексеевны», помогавший вешать в их квартире люстру, «вдруг упал и не шевелится», — и надо было только сделать три шага по площадке; она помнила, как спокойно сделала их, а сердце меж тем превратилось в сгусток запёкшейся крови… Точно таким же оно ощущалось и теперь, что значило: волноваться не о чем. Волнуются ведь, когда не знают, чем кончится…

Сколько она себя помнила — там всегда было солнечно, на их даче. Даже странно — ведь пасмурных дней в году случалось не меньше, а больше, как и всегда на Балтике! Но даже ненастные дни виделись отсюда, с этого края жизни, полными света, вот в чём дело! Прямо от их дома, через засыпанную хвойными иголками дорожку, открывался пологий спуск к дикому песчаному берегу Финского залива — здесь, за Кронштадтом, его воды остались такими же чистыми и прозрачными, как в прежние времена, когда ещё не построили дамбу, погубившую севернее всё живое в некогда кристальной воде… Детьми они на бегу срывали одежду, сбрасывали сандалики — и с размаху плюхались на мелководье, где меж полосато-розовыми ракушками брызгали в разные стороны перепуганные мальки.

На участке у них давно уж отвели особое, торжественное место для костра, и тёплыми июльскими вечерами все окрестные дети пекли под руководством Нининого папы картошку в раскалённой золе — какое там теперешнее барбекю, тогда и слова такого не знали! — и в свои упорно округляемые шестьдесят Нинон всё ещё была твёрдо уверена, что вкуснее тех чёрных снаружи и рассыпчато-желтоватых внутри картофелин, посыпанных крупной солью и достававшихся каждому строго по одной (больше — это уже превратить праздник в обычный ужин!), нет и не может быть ничего на свете!

А её первый и единственный охотничий трофей! Поздней осенью, уже, наверное, на пороге декабря, папа, неустанный ходок по лесу, знаток языка растений, повадок грибов и лесных примет, взял с собою на дачу в выходные семилетнюю Ниночку, обещая показать ей, как засыпает лес… Но Нина, всегда вообще-то послушная, на сей раз с чего-то решила напроказничать — и в знакомом, казалось, перелеске тишком удрала от родителя, занятого осмотром свежего лосиного следа. Она тихонько потрусила прочь, зажимая ладошкой трепещущий на губах смех и представляя себе, как беспомощно начнёт озираться её большой неуклюжий папа, когда заметит, что дочки рядом нет, — и случайно отбежала на такое расстояние, что папиного тревожного зова («Где ты, проказница? Зачем пугаешь папку?») не слыхала, хотя, по её расчётам, он давно уже должен был оглашать собою весь лес. «Папа… — нерешительно позвала тогда девочка, сдаваясь без боя. — Я здесь!.. Я никуда не делась!..» Она тотчас с облегчением услышала, как отец продирается к ней справа через густой непроницаемый осинник — и стремглав дунула в ту сторону, чтобы не успеть испугаться лесного одиночества. С громким треском они рвались друг другу навстречу, вот уже большая тёмная тень видна сквозь частые ветки. «Папа!!!» — но вместо родного лица недосягаемо высоко над головой Ниночки неожиданно возникла огромная и длинная звериная морда! Коричневая! Шерстяная! Зажмурив глаза и зажав ладонями уши, первоклашка завизжала так, что ей показалось, будто голова её сейчас взорвётся от этого пронзительного вопля, — и, перекрывая его, животное тоже страстно, истерически вострубило — а потом, ломая ветки, давя плашмя падавшие тонкие деревца, бросилось восвояси, оставляя за собой в чащобе широкий пролом… «Нина-а!!! Нина-а!!!» — как только, истратив весь воздух из лёгких, девчонка замолчала, раздался стремительно приближавшийся голос отца… Когда он достиг места недоразумения, ему и объяснять ничего не потребовалось. «Лось, — констатировал папа, быстро оглядевшись. — Они сейчас как раз рога сбрасывать начинают. Занят был сохатый — вот и не сразу тебя заметил… Постой-ка…» — и он уверенно направился по следу удравшего зверя. «Так и есть! — послышался весёлый крик буквально через пару секунд. — Ну-ка, ну-ка…» И когда Нина подбежала к отцу, он уже шёл по тропе обратно, со смехом протягивая ей два огромных, похожих на деревянные крылья лосиных рога: «Сразу оба выломал! Ну ты, дочь, сила! Так зверя шуганула, что он оба рога за раз потерял, когда спасался! На, держи! По праву твои трофеи — можешь гордиться!» Она схватила было один, но сразу уронила — такой тяжёлый оказался! Трофеи домой нёс папа, то и дело начиная смеяться на ходу… Скоро он приделал рога на лакированную дощечку, и они много лет провисели в их городской квартире над входной дверью, а гордый хозяин дома всякий раз сообщал тем гостям, которые случайно не знали: «Это Нина

лося завалила. Личный её трофей — я ни при чём…»

Он умер двадцать один год назад, мама — семнадцать, муж — десять, и только тогда дочка Люда вышла, наконец, замуж. Тридцатилетней, застенчивой, безнадёжной. Зять Нинон не нравился категорически (постоянной работы нет, всё время какие-то ненадёжные халтурки, дома то густо, то пусто — что за мужик?!), и она постоянно ловила себя на мысли: «Всё равно разведутся». Но не развелись, Люда как-то притерпелась — вернее, желая подольше оставаться в уважаемом замужнем положении, безропотно содержала благоверного всякий раз, как он сидел без заказов, — хотя, надо сказать, был он поначалу нетребовательным — просто никаким. Тогда смирилась и Нинон, в свою очередь додумавшись до того, что второй брак дочке её заказан, а этот совсем уж неудачным не назовёшь: все так живут, невелика печаль. Тем более что родились близнецы, требовался отец и кормилец… Сначала Нинон охотно нянчилась с карапузами, но вскоре теснота стала раздражать и мучить всех пятерых, а там и лето всевыручающее пришло, переехали, как обычно, на дачу… Дочь с детьми пробыла до осени, а Нинон, к тому времени уже молодая пенсионерка, всё медлила возвращаться домой: по вечерам с удовольствием топила хворостом свой нарядный, расписными изразцами выложенный камин (на него в своё время крупно потратились строго ради романтики — отопление не он, конечно, обеспечивал, а котёл в подвале), читала что-нибудь спокойное, укрыв ноги мягким пледом, иногда подолгу заглядывалась на огонь, опустив книгу на колени, в полдень бродила меж сосновых стволов, прислушиваясь к высокому гуду ветра в кронах, — и отправилась в город, только испугавшись первого снега. А в Петербурге вновь начались мелкие пакости и подставы со стороны вкусившего без неё воли, мало-помалу распускавшегося зятя, что влекло слёзы детей и горькие слова дочери, а Нинон, видя очевидные нестроения, не могла не вмешиваться… Словом, снег ещё лежал под деревьями в низинах, как выпотрошенная из старого одеяла вата, когда она снова уехала в свой дом на заливе и, пережив дочкин летний приезд с сыновьями, становившимися месяц от месяца всё голосистей и неуправляемей, всерьёз задумалась о возможной зимовке…

Так случилось, что зимовали уже вдвоём. Осенью она случайно разговорилась в любимом «верхнем» (имелся ещё и не такой уважаемый «нижний») магазинчике с вполне приличной дамой-ровесницей, чьё лицо за годы примелькалось: то загорающей на пляже её видела (варикоз и слишком закрытый купальник — мастэктомия?), то на вокзале (провожала толстую тётю с оравой дошколят — богатая бабушка?). Выяснилось, что дама снимает здесь комнату у подруги вот уже лет восемь, а «однушку» в Питере, наоборот, сдаёт, потому что у залива жить — здоровее. (Нет, не замужем, не была и не стремилась: носки по всему дому, да ещё и приставания грязные терпеть — б-рр; грудь — да, оттяпали одну, когда ещё молодая была, тьфу на неё; детей нет — всё равно благодарности не дождёшься; толстуха с выводком — племянница, дура круглая.) А теперь подруга собралась замуж — ну и попросила её, конечно… Испугалась, что отобьёт драгоценного… И вот она судорожно ищет новое жильё, но чтоб с комфортом, не как-нибудь…

Нинон, назначив плату весьма умеренную, пригласила Викторию Петровну пережить с ней зиму — для пробы, так честно и сказала: мол, если стерпимся… И не только стерпелись, чуть к весне не сроднились! Обе учительницы, только Нинон — бывшая «историчка», а Вика оказалась — «француженкой», но, слава Богу, — гуманитарии, хоть поговорить могли по вечерам — о течениях в искусстве и белых пятнах истории… Кроме того, у новоявленной квартирантки оказался жёсткий, почти мужской ум и крепкая рука, так что те мучительные обязанности, что когда-то исправно несли отец и муж Нинон, как-то сами собой постепенно перешли к новой жилице — и вдруг волшебно едва ли не на четверть сократились коммунальные траты, почтительно кивали и споро делали своё дело вызываемые то по тому, то по другому поводу работники — а не болтались развязно и требовательно по дому и участку, заставляя хозяйку униженно им прислуживать, как то бывало в пору её неумелого правления… Даже Марсик, почуяв рядом нешуточную силу, быстро передумал ощериваться! Всё кругом вновь чётко и слаженно заработало, предметы, словно матросы, слушаясь бывалого и спуску не дающего боцмана, вдруг оказались каждый на своём месте, готовые немедленно заступить на вахту… Любо-дорого было взглянуть! Постоялица обосновалась внизу, в двух смежных тёплых комнатах, а Нинон, поколебавшись, всё-таки предпочла жить со своим псом наверху — всё из-за той утеплённой лоджии, где за десятилетия привыкла, встав поздним утром и даже ещё не умывшись, постепенно пробуждаясь и обретая ясность ума, пить крепкий кофе с сахаром и густыми сливками, щуриться на далёкий кусочек горизонта, то бирюзовый, то стальной, то жемчужный, — и с ни разу не изменившим сердечным трепетом ждать, когда важно пройдёт по нему корабль, загадывая, будет ли то белый пассажирский красавец или всего лишь трудовая чёрно-серая баржа… Так,

особо друг другу не докучая, но незаметно спасая от ночных страхов и вневременного одиночества, просуществовали бок о бок девять осеней, зим и вёсен — а на лето Вика неизменно уезжала к родственникам на Кубань, освобождая место Пете с Пашей, а также их матери, уже почти сходившей в своих одноцветных бесформенных одеяниях за ровесницу Нинон... Ну что ж — Вика вернётся, и ждёт её дурной сюрприз: опять придётся искать себе квартиру. Такую идеальную, понятно, найти заказано, но... ничего незаменимого не существует. Бывает только не заменённое вовремя... Ну а дочка с внуками пусть теперь ездит летом на тёплые моря...

Какие там моря, Господи! Нет... Всё-таки совсем спокойной оставаться никак не получалось.

Конечно, чёрная судейская мантия безжалостно превращала эту усталую, некрасиво постаревшую женщину в зловещий монумент. Нинон уже ни минуты не сомневалась, что это надёжно забытый персонаж из прошлого — ах, увидеть бы её без этой странной драпировки, без узких прямоугольных очков... Если бы недавно встречались — она бы поднапряглась и вспомнила, но нет — значит, искать следовало в глубоких подвалах памяти, уже доверху забитых ненужными образами... Ну вот зачем, скажите на милость, ей этот молодой человек, стриженный «под пажа», губастый и длинноносый, который лет тридцать тому назад, не поднимая головы, читал толстую, завёрнутую в газету книгу, сидя в метро напротив неё? А ведь словно сегодня видела! Или тот невидный дядька в рваной тельняшке, протянувший: «Ё-олки зелёные...» — когда Нинон, выходя из «нижнего» магазина позапрошлой весной, споткнулась, и, задев фонарный столб пакетом, разбила банку маринованных огурцов?.. Никогда ведь не всплывут больше в её жизни, никчёмные, пустые фантомы... А судья... Где, где, где они в этой жизни встречались? Понятно, что были тогда моложе, стройнее, морды глаже, а волосы — так и вовсе другой длины и цвета... Вот что-то совсем близко, уже брезжит, как рассвет после долгой мучительной ночи... Соседка по номеру в гостинице? По столику в санатории?.. Близко, горячо! Ну же!!! Нет, не достать... Зовут её Анна Владимировна... Фамилия всё равно какая: женщина сколько угодно раз может её сменить... Анна? Анечка? Не было в её жизни ни одной Ани. Ошибка? Нет. Потому что глубоко внутри — твёрдое, осязаемое знание. Только подцепить его, но... Надо ли цеплять? Ну вспомнит она, что с этой женщиной, тогда какой-нибудь смешливой кудрявой хохотушкой, ехала, допустим, в год московской Олимпиады на юг в одном купе скорого поезда, — и что? Подкараулить у служебного входа, поведать сию страшную тайну и на этом основании попросить решить дело в свою пользу? Мол, по старой памяти... Только представив себе такую сцену, Нинон внутренне скорчилась.

— Судебное заседание объявляется закрытым, — и только мантия мелькнула. Как вороново крыло птицы смерти.

Осталось последнее заседание, на котором будет объявлено решение — глаз не поднимает адвокат Илья. Хороший мальчик: хотя и знает, чем кончится, а бьётся, как маленький смелый зверёк с ядовитым змеем. Прямо Рикки-Тикки-Тави, даже жаль его...

Себя пожалей, дура старая.

И сразу так стало жалко — до слёз, до мгновенной истерики! Ничего не видя и не желая обдумывать, чтоб не перерешить на ходу, Нинон вдруг грузно метнулась вслед розовому пиджачку представительницы истца, уже легко, вприпрыжку одолевшей пол-лестницы.

— Постойте! На пару слов... — и задохнулась: не молоденькая всё же — за газелями длинноногими гоняться.

Та терпеливо ждала, пока прыткая крашеная бабка продышится, лишь раздражённо вздрагивала неспокойная жилка справа на тонкой шейке... Полоснуть бы ножичком.

— Послушайте... Я понимаю, что от вас — ничего не зависит... — сгорая от унижения, не своим, глухим голосом заговорила Нинон. — Но человек же вы... Поэтому просто — скажите ему, чтобы он понял... Ведь эта сотка для него — ровно ничто... Ровно! Потому что теплицу куда угодно можно... Куда угодно... А у меня — вся жизнь... То есть просто хоть топиться иди... Мне ведь некуда — совсем, понимаете? В квартире — маленькой — дочь с семьёй, зять... Ненавидит... Мне хоть на вокзал, хоть в подвал, понимаете? В бомжихи!.. А вашему клиенту — без разницы... Вы только скажите! Может быть, он вспомнит, что мы — люди, что нельзя так — с людьми... Явиться ниоткуда и всю жизнь искалечить! И вообще... Он ведь только ради принципа судится... А мне — умирать? Нет, скажите: умирать, да?

— У меня — работа, — спокойно и даже мягко сказала девушка. — Работа, за которую мне платят деньги. Ра-бо-та, понимаете? Адвокат нужен для того, чтобы суд — выигрывать... Это понятно? А вы хотите, чтобы я уговорила клиента забрать заявление накануне заседания, на котором будет объявлено, что он выиграл дело. Вы понимаете, что именно вы просите меня сделать? И, надеюсь, не обидитесь, если я этого — не сделаю? — она смотрела мимо, видимо, всё-таки наблюдая отдалённые всполохи совести, но больше ничего не сказала.

Да и порыв у Нинон прошёл, внутри как отпустило. Рядом оказался печальный Илья, и ей

подумалось, что он её сейчас отругает за малодушие, за бесполезную и в конечном счёте смешную выходку — но парень по-взрослому пожевал губами и тихо сказал:

— Может, и правильно… Во всяком случае, теперь вы знаете, что сделали абсолютно всё, что могли. И с юридической стороны, и, так сказать, с гуманистической… Ну что ж, получим на руки решение, а там будем дальше думать… В конце концов, обжалование никто не отменял.

— Не будем,— пробормотала Нинон,— думать. Уж больно мысли ужасные…

На последнем заседании после знаменитого: «Встать, суд идёт!» — неизменная секретарша — сонная мышь в вечнозелёном — садиться уже не предлагала. Фигура судьи возникла над кафедрой словно сама собой, чёрные крылья мантии дрогнули, выпустив на свет божий две крупные неженские руки, державшие тощую пачку бумаги. Не поднимая глаз от текста, вершительница судеб, распорядительница жизни и смерти заговорила неожиданно тихим и тусклым голосом, без малейшего предисловия, а также выражения, пауз и запятых:

— Оглашается решение… Именем Российской Федерации… Двадцать третьего июля, две тысячи…

Одна из многих обнаружившихся за последние пару месяцев внутренних Нинон, коренным образом друг от друга отличавшихся, ни за что не хотела напрягать слух, чтобы разобрать едва слышную скороговорку, а другая вдруг остро подумала: «Это не только Марсику и мне конец, но и Людочке — тоже. Ведь дом-то, в сущности, единственное, что было у неё до этой минуты…».

— …в составе председательствующего судьи… при секретаре… рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело номер… по иску… о признании собственности… установил… — как сквозь вату, доносилось тем временем до Нинон основной и главной.

Странные мысли прерывисто мелькали у неё… Кто бы теперь поверил, что Людочка после школы хотела стать дизайнером?.. Отец запретил ей тогда — да и мать поддержала: что за профессия такая? В начале девяностых это вообще дичью какой-то казалось… Они и выступили, как благоразумные родители, единым фронтом: «Сначала получи нормальную специальность, а потом занимайся чем хочешь!» Ещё бы: страна только что распалась на части, казалось, надёжный диплом — единственный шанс остаться на плаву… Кто ж знал? Провидцем надо было быть… И муж этот её — урод, прости Господи… А что, лучше было бы, если б она студенткой, на третьем курсе, за того одногруппника выскочила, как там его?.. Ещё патлы до плеч носил, стихи писал дурацкие и на гитаре бренчал — хором сказали тогда с отцом, даже не сговаривались: «Несерьёзный юноша, не пара тебе. Поддержки от нас не жди». Ослушаться не посмела, потому что всегда тихая, домашняя была… А может, лучше, если б вышла за него?.. Нет, нет — не враг же она родной дочери… С раздолбаем что за жизнь? Но погасла после этого Люда, к двадцати пяти годам уже совсем погасла и дальше жила словно по инерции… Потом, когда дети появились, показалось, что вот он, смысл жизни: сейчас посвятит себя им — и наладится… Но и дети у неё шли будто через силу, как тяжкая обязанность… Срывалась, визгливо орала на них, щедра была на подзатыльники… И мужем особенно заниматься не хотела — тоже из последних сил по его делам носилась, лишь из страха, что иначе совсем не нужна ему станет, да и бросит на раз-два… Вся в болячках не пойми откуда, вечно врачи какие-то, обследования, желчью рвёт, кожа шелушится, ноги опухают… А вот летом на дачу приедет, толстые вязаные кофты свои поснимает, наденет сарафан — ярко-оранжевый с синими-синими колокольчиками… Щёки начинают золотиться, сквозь лёгкий загар проступает что-то похожее на румянец… Плавает с мальчишками — да азартно так, Нинон даже несколько раз слышала, как смеялась… Грибов, бывало, полные корзины притащат: смотри, смотри, красавец, да?! а этот?! Всё. Единственную отдушину ей теперь перекроют… А если совсем без отдушины жить… То это значит и не жить вовсе. У кого отдушины нет — те быстро умирают. Так и они с Людой умрут. Не важно от чего. На самом деле — от неизбывной печали…

Нинон очнулась: усталый голос судьи всё так же монотонно и равнодушно сеял слова:

— …заслушав стороны и допросив свидетелей, проверив письменные доказательства, суд приходит к следующему…

Она, конечно, вспомнит, где встречала эту тётку,— но потом, когда это уже не будет иметь никакого значения — как, впрочем, не имеет и сейчас. И окажется, что они когда-нибудь стояли каждая за своим килограммом колбасы в одной очереди в девяносто первом, когда отоваривали растреклятые карточки, поочерёдно бегая в изгаженный подъезд греться у чуть тёплой батареи… Или вместе выгуливали собак на пустыре — много лет назад у них в семье жил бестолковый розовый пудель… Или… Как же много этих «или», оказывается! Да может, просто дорогу она этой женщине когда-то показала, прошла с ней рядом сколько-то по зимней грязи, весеннему льду или сквозь оглушительную пургу, как вожатый с Гринёвым… При этой мысли Нинон вдруг как кипятком

окатило: не горячо — жжёт! Горит! Вот сейчас! Но не успела.

— …Никаких иных доводов в обоснование своих требований истец суду не предъявил. Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска, — в тот же миг чётко услышала она.

Одновременно адвокат непроизвольным движением резко и больно стиснул ей запястье — и остаток судейского спича потонул для Нинон в попытках высвободить попавшую в железный капкан руку. «Что это?.. Что это?.. Как?.. Как такое может быть?.. Ослышалась… Не поняла чего-то… Сейчас Илья объяснит… Не может же быть… Невозможно же…» — трепыхалось в ней что-то маленькое и щекотное, будто она ненароком проглотила живую бабочку.

Напротив здания суда меж двух внушительных банков нахально втиснулась крошечная кофейня из разряда дорогих и невкусных. Но заведение уверенно процветало за счёт наскоро перекусывающих канцелярских крыс, заедающих поражения проигравших истцов и ответчиков и облегчённо выдыхавших за чашкой кофе победителей. Таких, какими негаданно оказались адвокат Илья и его опешившая клиентка, которую он еле довёл под руку до столика, побаиваясь всерьёз, как бы с этой молодящейся бабулей не приключился на радостях инфаркт.

— Не посмеют! — в сотый раз втолковывал он. — Да и не даст это обжалование ничего! Потому что судья их, можно сказать, поймала на взятке! Ну и баба, а?! Кто бы мог подумать! Такой пофигисткой казалась замотанной… А взяла — и послала запросы. Свободно могла этого не делать, свободно! А вот сделала же! До сих пор не могу понять, что ею двигало…

— Точно нельзя ничего переиграть? — как заведённая, продолжала выпытывать Нинон.

— Да они не рискнут даже попытаться, потому что это же статья — уголовная! — вскричал, исходя юношеской радостью, адвокат.

И вновь он принимался растолковывать подопечной: мол, догадавшись, что часть доказательств истец, решивший для верности подстраховаться, попросту купил, судья отправила в соответствующие учреждения официальные запросы, призванные подтвердить или опровергнуть происхождение документов. Поступили ответы, заставившие призадуматься — а вернее, признать ключевые доказательства «недостоверными», что и позволило решить дело в пользу уже голову на плаху положившего ответчика… Попытаться обжаловать решение? Ну уж нет — не самоубийца же истец, чтобы из-за ничтожной спорной сотки, которую попытался схватить наудачу с лёту, теперь рисковать получить себе на голову уголовное дело! Нинон может жить спокойно и ничего не бояться: её отец не перевернётся в гробу, дом когда-нибудь, как он и мечтал, любовно кладя один кирпичик на другой, перейдёт к родным внукам и правнукам! Ну а Марсик… Тот останется с обожаемой хозяйкой весь свой короткий собачий век — сколько там доброй судьбой ему отпущено… Даже не знает тварь Божья, чего избежала, не радуется, живёт себе и живёт…

— И всё-таки не понимаю, — после паузы пожал плечами Илья. — Другой судья и глазом бы не моргнул: раз приобщил — достоверно. А уж как добывали — не его дело. Странно. На оголтелую правдолюбицу вроде не похожа, а вот поди ж ты… Вы не знаете?

— Это вы деликатно спрашиваете, не дала ли я ей потихоньку взятку? Или, как у вас говорят, не «занесла» ли, да? — тихо сказала Нинон. — Нет. Мне бы и в голову такое не пришло. А и пришло бы — не умею я этого… Да и где денег взять?.. — она бесчувственно отхлебнула остывший кофе.

Нежно звякнул колокольчик у входной двери, и в кафе вдруг появилась зелёная секретарша с круглыми мышиными ушами и мелкими, вперёд торчащими зубками. Она сразу же деловито устремилась к их столику и, вплотную приблизившись, быстро положила на стол перед Нинон вчетверо сложенный лист бумаги.

— Вам просили передать. Сказали, вы поймёте, — глядя в сторону, прошелестела она и тотчас же скорым шагом отправилась восвояси.

Илья и Нинон в замешательстве переглянулись; она всё не решалась развернуть послание.

— Смелей, — шепнул он, косо улыбаясь. — Там не может быть ничего страшного. А вы — прямо как… Как бомбу, как ежа, как бритву… какую-то-там-острую… [2] Читайте, не бойтесь.

Но читать оказалось почти нечего. В центре страницы было неумело нарисовано что-то вроде детской шубки с мохнатым воротником, к рисунку тянулась жирная стрелка с надписью печатными буквами: «Норка». Илья изумлённо пялился на картинку.

— Бред… — пробормотал он. — Тулуп какой-то… Норковый…

Нинон не знала, что можно заплакать — вот так: только что не было ни одной слезы, и вдруг — целый водопад. Прорванная плотина.

Почти сорок один год назад в самом рядовом и оттого страшном ленинградском родильном доме в послеродовой палате их оказалось пятеро.

2 Искажённая цитата из стихотворения В. Маяковского «Стихи о советском паспорте»; в оригинале: «Как бритву обоюдоострую».

Первой поздно ночью привезли на каталке Нинон, обессилевшую и ещё полубезумную от пережитой нечеловеческой боли, и, как бревно с телеги, скатили на продавленную койку, привычно покрыли — сначала тощим одеялком, а потом — беззлобным матерком, необидным, даже ободряющим… Она всё тщетно пыталась вызвать в памяти образ своего новорождённого ребёнка — но там мелькало только что-то неожиданно бордовое и несимпатичное, с толстой жёлтой коркой на огромной неровной голове…

— Девку родила, девку! А ну повтори — чего пялишься, малохольная!

Интересно, у той акушерки вообще не было детей, или она в первую минуту после родов уже в пляс пустилась?

Дверь в палату открывалась в ночи ещё четыре раза, и с железным грохотом, разрывая самый сладкий в жизни, мужчинам неведомый послеродовой сон, вкатывались лязгающие каталки. Сквозь ресницы Нинон наблюдала, как няньки сваливали родильниц на кровати, точно так же уютно поругивая их за беспомощность, но последнюю снимали с осторожностью, в постель укладывали вдвоём, и витало странное слово «кеса́рка»… Уже утром выяснилось, что таково в этом заведении было милое «домашнее» прозвище женщин, перенёсших кесарево сечение. Днём знакомились, обживались; те, кто уже сумел подняться, подносили остальным сырой воды из-под крана, по стеночке добирались до уборной в дальнем конце коридора… Порадовало, что в палате подобрались ровесницы, все студентки-старшекурсницы: Нинон-училка, Наташка-журналистка, Ленка-инженерша, Катька-музыкантша, а «кеса́рку» звали Ануш, и она заканчивала юридический…

— Армянка ты, что ли? — поразилась, помнится, Наташка, изумлённо оглядывая золотистые кудри юристки.

— Да нет, какое… — лёжа, махнула рукой та. — Муж у меня армянин, вот и зовёт на свой манер. Ануш да Ануш — привыкла…

Так все они и стали называть новую знакомую. Жизнь в послеродовой палате тяжёлая — только кажется, что свежеиспечённые мамаши купаются в солнечном счастье и полны радужных мечтаний. Ничего подобного: здесь царит, прежде всего, страх. Любая вменяемая женщина знает, что в тот же миг, когда рождается первенец, в сердце вступает животный страх за него — и остаётся с матерью до конца дней. Этот страх — самое неожиданное, что приходит после родов, когда ждёшь — облегчения… Как он там, в огромной детской палате — один, без мамы? Хорошо ли смотрят за ним, не проспит ли какой беды беспутная или пьяная медсестра? Принесли кормить: почему красное пятнышко на щёчке — заразили уже чем-нибудь? А почему молоко не сосёт, спит — заболел? Кричит-надрывается благим матом, грудь не берёт — умирает?!! Замотан туго, на голове белая тряпка, сам похож на батон в пакете — почему нельзя распеленать и посмотреть ручки-ножки: а вдруг там не все пальчики?! А эта стерва-сестрица как смеет ходить на каблуках, неся по свёртку с ребёнком на каждой руке? Здесь же линолеум скользкий и протёртый: вдруг оступится, упадёт и детей уронит?! Страх, страх, страх… Вот утром заходит в палату педиатр — пять пар пронзительных глаз впиваются ей в лицо: ничего с моим не случилось за ночь?!

Следующая за страхом — боль. Унизительная физическая боль, у каждой своя. Сразу же начинаются проблемы с грудью: у кого-то она твердеет и не даёт молока, в пытку превращается кормление; у кого-то невыносимое жжение, когда малыш берёт грудь, — тоже пытка; почти у всех — наложены довольно грубые швы на самые нежные и сокровенные места: ни перевернуться, ни сесть, в туалете кусаешь губы…

Сон — поверхностный, потому что страх и боль делают своё дело, разговоры — отрывистые, редко кто успевает или хочет выворачивать душу такой же усталой и больной, своим встревоженной соседке…

У Ануш, например, начинались нестерпимо болезненные схватки в животе во время кормления — она вскрикивала, насильно отбирая грудь от своего мальчика, сразу чувствовала себя виноватой, закусывала губы, возвращала её — и, оскалившись, запрокидывала голову, скрежеща зубами и едва сдерживая стоны; слёзы сплошь заливали лицо. Нинон несколько раз в день видела это, потому что Ануш лежала прямо напротив, — ужасно жалко было её! Врача, забегавшего утром, словно ветром на мгновенье занесённого, спрашивали, конечно, всей палатой, но… «После кесарева — в порядке вещей», — вот и весь ответ…

Ануш последняя начала подниматься с койки — ничего удивительного, с заштопанным-то брюхом! — еле ступала, согнувшись, изжелена-бледная… Но, с некоторой завистью замечала Нинон, эта девушка в благополучные свои времена могла считаться красавицей — просто чудом! Волосы её отливали тусклым золотом, вились упругими крупными локонами, черты лица были одновременно тонкими и мягкими, что создавало волшебное впечатление красоты и доброты, редко на одном лице соседствующих, а тут вполне уживавшихся… Глаза с густыми русыми ресницами являли, как и положено у обладательницы золотой гривы, прозрачно-голубой раёк — никакого диссонанса… Неудивительно,

что армянин её замуж взял: именно такая красота цепляет южных мужчин, это уж проверено… Тихая-тихая была Ануш, всё больше лежала, иногда приподнимаясь и более-менее безуспешно взбивая комковатую казённую подушку, особенно не разговаривала — верно, просто измоталась и мучилась очень. Понятное дело, ей не докучали: сами тоже долгих разговоров не вели — так, о мужьях немножко, об институтах… Нинон, например, своего — того, первого не-мужа — кляла на чём свет, обещала, смеясь, когда-нибудь во сне подушкой придушить… Пережидали тяжёлые эти дни кто как умел, а вообще считали часы до выписки…

Накануне того дня, как выписаться четверым, Ануш только ещё сняли швы: понятно, что несчастных «кеса́рок» держали в больничке на пару дней дольше. За ней приехало в палату огромное чёрное кресло на колёсиках, под управлением громкоговорящей неохватной бабы — и увезло на гремучем грузовом лифте в какую-то полумифическую «вторую перевязочную»… Стоял весьма морозный январь, но в палате шёл сухой жар от батарей, слишком часто проветривать — из-за малышей — боялись, поэтому все сидели в одних рубашках, так и отправили её, безропотную, в неизвестность — в рубашке же… Такая худенькая была, что в громоздком кресле смотрелась котёнком, забившимся в угол. Отправили и забыли: привезут, когда нужно будет… Сами лихорадочно тёрли общим розовым обмылком головы над палатной раковиной, наивно охорашивались, готовясь к завтрашней встрече с родными и любимыми… И понадобился Нинон для какой-то цели кусочек бинтика: подвязать что-то припала охота или ещё зачем-нибудь — теперь, сорок лет спустя, разве вспомнишь?.. Она помыкалась по этажу, натыкаясь всюду на запертые двери, и, запахнув халат поплотнее, вышла на лестницу… Правда, то, что по инерции называли они в этом недоброй памяти учреждении халатом, на самом деле являлось странной полуверхней-полудомашней одеждой универсального размера и длины (кому до пят, а кому только-только до коленок); в одеяние, выданное после родов Нинон, свободно поместились бы ещё две такие же, как она, и ниспадало оно до худых её щиколоток. Поясов (как, впрочем, и вилок, и ножей, чтоб друг дружку невзначай не перерезали) родильницам не дозволялось, будто заключённым в тюрьме: считалось, что в припадке послеродового психоза женщины могут повеситься, так что приходилось придерживать полы руками… Тапки полагались кожаные, без задников и не менее сорокового размера, тоже по-своему универсального: у кого нога меньше — заведомо поместится, у кого больше — пятка чуть свесится, не проблема… Нинон тогда носила обувь тридцать пятого номера, и трудно теперь даже представить, насколько неудобно ей было идти тогда вверх по лестнице, в надежде добраться как раз до той запасной перевязочной, куда увезли несчастную Ануш.

Дверь оказалась незапертой, и, деликатно стукнув по ней кулачком, Нинон скользнула внутрь… Да, теперь стоит лишь прикрыть глаза — и легко вызвать в памяти это высокое, настежь распахнутое окно без занавески, в которое веяло ледяным ветром и мело редкими стеклистыми снежинками. Под потолком гудели, как стратегически важный завод, три длинные лампы дневного света, а у стены, на рыжей клеёнчатой кушетке, скрючившись и прижав напряжённые руки к животу, лежала Ануш, всё в той же проштемпелёванной ночной рубахе, давно и навечно серой от бесконечных прожарок в больничной «вошебойке». Спотыкаясь, Нинон бросилась к ней:

— Что с тобой? Где все?

Под «всеми» подразумевались, должно быть, какие ни есть медики.

— Всё нормально… — выдавила Ануш и подняла искажённое болью личико.

Потрясённая Нинон увидела, что оно пепельного цвета; Ануш еле слышно продолжала:

— Швы сняли… Так больно! Я заплакала… Они и сказали… Сказали: полежи немножко, пока проветривается…

— Ладно… Поехали в палату, ляжешь в постель… Кормление скоро! — быстро приняла единственно верное решение Нинон. — Где это дурацкое кресло?

В коридоре его не оказалось, как не оказалось дежурной — и какой-нибудь другой разновидности — сестры. Вернувшись в перевязочную, Нинон первым делом прикрыла окно — ничего себе проветривание! — потом решительно сдёрнула с себя тёмно-серо-коричневый тёплый халат и накинула на Ануш:

— Грудь застудишь, молоко пропадёт! Подымайся! Нельзя тебе здесь долго…

Она подпихнула больную под спину и осторожно приподняла — та была лёгкая, словно детский скелетик. Только прикоснувшись к ней, Нинон почувствовала, что Ануш вся закоченела и держится еле-еле — только на остатках той удивительной силы воли, что непременно даётся каждой матери в нагрузку к первому же ребёнку. Тогда она закутала тощенькое тельце товарки в свой халат поплотнее и повлекла её вон из ледяного помещения, в тёплый коридор… Кое-как, с частыми остановками, они добрались до железного лифта — но у дверей горел неугасимый красный глазок: там, в шахте, что-то долго

грохотало и гулко дёргалось, но вызвать кабину всё никак не получалось:

— Пойдём пешком по лестнице, — как умела, твёрдо сказала Нинон, покрепче прихватывая валкую дрожащую Ануш. — Это не так трудно, как кажется.

На лестнице откуда-то снизу ударил жестокий зимний сквозняк, и Ануш слабо засопротивлялась:

— Ниночка, твой халат… Ты теперь сама в одной рубашке осталась… Ты тоже — застудишь… Молоко…

Одной рукой Нинон стянула ворот рубахи:

— Ничего, потерплю: авось пронесёт. Тебе больше досталось, вообще в одних носках по бетонной лестнице идёшь. Креста на них нет, гадах…

Четверть часа они шли в палату тем путём, который даже в ужасных безразмерных тапках Нинон недавно пробежала меньше чем за минуту… В палате девчонки заохали, всполошились, принялись спасать обеих пострадавших… Наташка стала совать вилку контрабандой раздобытого кипятильника в розетку, намереваясь наскоро сварганить строго запрещённый «вольный» чай, Катька бросилась к дверям «на шухер», Ленка укладывала и утешала вконец обессилевшую Ануш… В эти минуты, когда уже подходило время расставаться навсегда, они как раз и почувствовали ту товарищескую сплочённость, которая, останься они вместе подольше, могла бы сдружить их, раскрыть сердца… Когда волнение немножко поулеглось, Наташка-журналистка взяла злополучный тяжёлый халат Нинон, кое-как брошенный на спинку чьей-то кровати, понесла его через всю палату законной владелице — и вдруг в задумчивости остановилась на пути, прижав к груди эту мерзкую бурую тряпку:

— Слушай, Ануш… А ведь это — почти такой же тулуп, какой, помнишь, спас от петли Петеньку Гринёва… Вот станешь ты какой-нибудь… — она усмехнулась, — крупной шишкой в погонах, а Нинка не выдержит — и придушит наконец своего козла-осеменителя… И приведут её к тебе — в наручниках… А ты возьмёшь — да и отпустишь её на волю, потому что вовремя вспомнишь про этот заячий тулупчик…

Девчонки расхохотались было, но Ануш даже не улыбнулась. Она медленно подняла голубоватые веки, остро глянула из-под них.

— Норковый… — чуть слышно прошептала она. — Норковый твой тулупчик, Нина…

— Опять ничего не понимаю… — озадаченно пробормотал Илья. — Она что, норковую шубу за это хочет, что ли? Странность какая… Да у неё же их наверняка с десяток наберётся, всех цветов и фасонов… — он помолчал, потом решительно вскинул голову: — Странность или не странность — да купите вы, в конце концов, и не плачьте! Она вам, можно сказать, жизнь спасла!

Нинон тщательно вытерла слёзы салфеткой, медленно и осторожно сложила листок с рисунком, раскрыла сумку, аккуратно спрятала его, щёлкнула замком, всё это время сбивая адвоката с толку своей загадочной, внутрь обращённой улыбкой.

— Уже, — наконец ответила она.

И ничего не стала рассказывать.

Марат Валеев

Новогоднее

Чудеса под ёлкой

Сказка не сказка, байка или нет, но дело со мной и моим семейством однажды случилось необычайное. Аккурат под самый прошлый Новый год! Ну а когда же ещё происходить таким событиям, что ни в сказке не сказать, ни пером не описать?

Решил я тогда порадовать домочадцев, жену свою Ольгу да ребятишек Артёма и Катюшу, оба семи и восьми лет, необычным предложением (вот как только в голову такое могло прийти, а?). Говорю им:

— Жёнушка моя ненаглядная и вы, чада мои расчудесные! А давайте-ка этот Новый год в лесу встретим! Погоды вон какие хорошие стоят, ни морозов, ни снегов толком нет. Не зима, а пародия одна на неё. Так что и не замёрзнем мы, и в сугробах не застрянем!

— Ура! Ура! — захлопали в ладоши и наперебой загомонили ребятишки. — А чудеса там будут? Ведь Новый год же, да ещё в лесу!

— Ну, может, и будут, — пожал я плечами.

Сам же думаю: надо бы действительно что-нибудь придумать, порадовать своих наследников. Впрочем, там видно будет. А пока надо собираться.

Ну, как словом, так и делом. Жена на следующий день, то есть тридцать первого декабря, салаты стругает, бутерброды готовит, дети ёлочные игрушки выбирают из своих запасов. Я же с утра поехал ёлочку выбирать на своём джипе марки «Нива». И место хорошее — чтобы и с дороги нас не было видно всяким там проезжающим. Ну и чтобы всё же недалеко от самой дороги, мало ли что.

И, конечно же, ёлку, пусть и не самую высокую, выбрал: а зачем нам дылда, как её украшать? — всего метра два с половиной высотой, но зато самую красивую. Снега, всё же малость напавшего за декабрьские дни, к ней немного подгрёб, натаскал валежника для костра да для мангала, с тем и уехал домой.

И в тот же день, ближе к вечеру, загрузил я припасы, своё весело гомонящее семейство в машинку мою верную, и отправились мы в лес. Благо от нашего городка до него всего километра три.

Ну вот, приехали мы на выбранное мной место, я и ёлку сразу нашёл по своим же следам от «Нивы» — их даже не запорошило! Вокруг тишина, теплынь, разве только с деревьев не капает. Лес сразу заполнился криком, смехом, музыкой из радиоприёмника, стуком топора. На этот шум даже птицы стали слетаться: сороки там, сойки, клесты, прочие пернатые. Сидят на ветвях ближайших деревьев, головками вертят, щебечут — интересуются: что же это тут происходит?

Я повытаскивал из багажника раскладные стол и стулья, жена начала «дастархан» накрывать, дети — ёлку украшать, напевая что-то весёлое при этом. Правда, где повыше надо было подвесить украшения, Ольга или я им на помощь приходили. Между тем уже начало темнеть. Но на нашей поляне светло — я и костерок запалил, и мангал раскочегарил, поплыл по лесу аромат поджариваемого маринованного мяса.

Всё у нас путём! Таким радостным я ещё своё семейство не видел. Пока шашлычок доходил, уселись мы за стол — до боя курантов ещё часа три, не меньше, а мы, наглотавшись свежего воздуха да натрудившись, уже голодные как волки!

Разлил я детям и себе горячего какао в походные стаканчики, Оленьке плеснул чуток чего покрепче.

— Ну, родные мои, — сказал я торжественно. — Давайте, как полагается, проводим уходящий год. И пусть все неприятности останутся в нём! А в Новый год с собой возьмём всё только хорошее!

И чуть сам не прослезился от такого вдохновенного тоста. Выпили мы, сидим, болтаем о том о сём, закусываем салатиками, колбаской, фруктами. Костерок потрескивает, тени наши отбрасывает на ближайшие деревья, взошедшая луна нет-нет да промелькнёт в разрыве облаков. С минуты на минуту шашлык поспеет — угли под шампурами уже едва светятся. Пастораль, одним словом! Или как правильней будет?

И тут доченька моя, Катюша, тихо так говорит:

— Ой, смотрите, зайчик!

И показывает пальцем под ёлку. И точно: незаметно как припрыгал и уселся под нашей пушистой зелёной красавицей белоснежный заяц! В нашу сторону посматривает лукаво глазками своими с отражением в них костра, ушками туда-сюда поводит. И розовым язычком время от времени облизывается.

Мы сидим и почти не дышим, чтобы не спугнуть такого нежданного и милого гостя.

— Он, наверное, кушать хочет,— прошептал Артём.

— Точно,— подхватила Катюша.

Хвать со стола надкусанное ею яблоко — и осторожно подошла к зайцу.

— На, заинька, покушай! — ласково сказала она и, присев на корточки, положила под самую мордочку зверька угощение.

— Спасибо! — вдруг учтиво сказал тонким голосом заяц и захрустел яблоком, придерживая его лапками.

Сказать, что мы очумели,— значит, ничего не сказать. У меня отпала челюсть, Тёмка подавился куском колбасы, Ольга заколотила его по спине ладошкой, не сводя глаз с говорящего зайца. И лишь Катя всё восприняла как должное и стала гладить лопушистика по спине.

— Давай знакомиться, заинька,— сказала она.— Меня Катей зовут. А тебя?

Заяц перестал работать своими неутомимыми зубками, почесал лапкой за ухом и только потом ответил:

— Не знаю. Впрочем, как хотите, так и называйте. Можно, я доем?

И он вновь принялся за яблоко.

— Ну тогда я буду называть тебя Заинькой, ладно?

Заяц утвердительно кивнул головой.

— Этого не может быть! — наконец подала голос моя жёнушка.— Ну скажи же что-нибудь, Паша! Может, ты это как-то подстроил? Ну не могут животные говорить, тем более дикие!

Я не успел собраться с мыслями, как на поляне образовалось новое действующее лицо. Это было огненно-рыжая лиса с белой манишкой на груди и необыкновенно пышным хвостом.

— Ну почему же не могут? — укоризненно молвила она.— Вот мы же с зайцем говорим!

— Ай! Лисичка-сестричка! — радостно завопила Катюша.— Да какая красивая!

Лисичка припала к земле и кокетливо обернулась своим пушистым хвостом.

— Спасибо, девочка,— сказала она и застенчиво потупила свои глазки.— Мне никто и никогда не говорил таких приятных слов.

Катюша тут же полезла к ней обниматься.

— Ущипните меня кто-нибудь,— жалобно попросила моя жена.— Я хочу проснуться.

— Мама, это не сон,— весело сказал Артём.— Не может ведь всем сниться одно и то же. Да, папа?

— Н-наверное,— пробормотал я, лихорадочно соображая: что же это на самом деле происходит?

Конечно, ничего дурного, опасного для семейства, но ведь и ненормально всё это. В сказки я давно перестал верить. А тут нá тебе — у этой маленькой ёлочки разворачивается самое настоящее волшебное действо, неведомо кем и как запущенное, в результате которого к нам начали подтягиваться лесные жители. Да не простые, а говорящие!.. Однако так ведь и косолапый нежданно может заявиться, перепугает ещё всех.

— А вот Михайло Потапыч наш спит,— вдруг к месту пропищал кто-то сверху.— Только вчера наконец улёгся в свою берлогу. А то ж тепло было в лесу, так он весь извёлся, всё ждал, когда ж хоть немного похолодает…

Одна из пушистых ветвей ёлочки дрогнула, посыпался снежок. Это, конечно же, была белка. С кисточками на ушках и пушистым хвостиком, уютно лежащим на спинке. Она очень удобно сидела на хвойной лапке и с любопытством взирала на нас чёрными бусинками глаз, в которых читался вопрос: а что у вас есть для меня? То же самое, полагаю, интересовало и лисичку.

— Пойду-ка я подброшу хворосту в костёр,— сказал я.— А вы угощайте, угощайте наших дорогих гостей.

Затрещали в костре новые сухие ветви, пламя взметнулось выше, ярко освещая идиллическую картинку на лесной поляне: моё семейство сидит на корточках под ёлочкой и наперебой суёт под носы лесных гостей кто кусок жареного мяска с шампура, кто фрукты, кто орешки. А я ещё удачно наткнулся в приёмнике на песенку «В лесу родилась ёлочка». Так они все, хочешь верь, хочешь не верь, взялись за руки, лапки — короче, у кого что было. А тут и я, натянув на себя дедморозовский кафтан и колпак (взял напрокат), подоспел. И начали мы водить хоровод вокруг нашей ёлки!

Со стороны кто бы на нас посмотрел — умора! Кто-то забегает вперёд, а кто-то, наоборот, отстаёт из-за своих коротких лапок, ему наступают на пятки, хоровод начинает путаться в своих ногах, все валятся в снег, визжат, кричат, хохочут. Шуму мы наделали в лесу знатного! И там, в темени, за пределами освещения от костра, меж кустов вдруг засветились красные угольки. Неужели ещё и волки собрались поучаствовать в нашем празднике? Так, глядишь, и мишка в самом деле проснётся. И кто их знает, будут ли они такими доброжелательными, как та милая троица — ой, нет, их уже больше, ещё и пара кабанчиков образовалась! — что так самозабвенно отплясывает сейчас у ёлки? И я решил, что пора сворачивать наш новогодний пикник. Может, как раз к курантам подоспеем?

Только я об этом подумал, как из приёмника в машине раздался торжественный голос нашего президента: «С Новым годом, товарищи!» — и послышался бой курантов.

— Ура! С Новым годом! С новым счастьем! — наперебой закричали мои жена и дети и бросились обниматься со своими новыми пушистыми и лохматыми друзьями из леса.

Я тоже не удержался и закричал:

— Ур-р-ра-а-а!

И как только куранты ударили в последний раз, все наши гости просто молниеносно исчезли в лесу.

— А куда это они? — разочарованно протянула доча.

Расстроенными выглядели и остальные мои домочадцы.

— Так это… Поспешили, наверное, по домам — чтобы со своими родичами Новый год встретить, — как можно убедительнее сказал я, не в силах объяснить ни неожиданное появление лесных визитёров, ни такое же необъяснимое их исчезновение. — Ну что, поедем и мы домой? Вон и костерок наш уже догорает…

Мы свернули свой походный «бивак», забросали снежком дотлевающие головешки в костре и погрузились в машину. А дети при этом то и дело оглядывались, всматривались в гущу тёмного леса и вздыхали. Я уже собрался тронуться с места, как увидел нечто: мелькающий в свете луны меж стволов деревьев белый колобок, что с каждой секундой увеличивался в размере. Это был заяц! Он подлетел к машине, оставляя за собой на снегу характерную строчку следов.

Я открыл дверцу и вышел наружу.

— Это… — задыхаясь, сказал заяц. — Это, меня послали… Приезжайте обязательно… в будущем году… на это же место. Только обязательно! Ладно?

— Ладно-о-о! — грянул хор в машине.

И заяц, мелькнув белой пимпочкой своего смешного хвостика, снова исчез в лесу.

• • •

Что это за чудеса были такие под ёлкой, спрашиваешь ты? Да откуда я знаю? Мы и сами-то до сих пор теряемся в догадках. То ли съели что-то накануне не то и поэтому у нас было такое коллективное видение, то ли в самом деле волшебство какое было, чему больше склонны верить мои дети… В общем, этот Новый год мы снова решили встречать в лесу у той же ёлочки: я ездил, проверял — всё там же, только немного подросла. Там и попробуем разобраться, что к чему…

Услышать друг друга

1.

Дед Мороз, он же Андрюша Тобольцев, студент областного института искусств, будущий актёр — возможно, кино, но, скорее всего, театра того же областного центра, в котором он жил и доучивался, — подъехал на «Ниве» к пятиэтажному дому на улице Робеспьера, значащемуся в его заказе. Тобольцев устал — на сегодня это был уже восьмой и последний его заказ на поздравление с Новым годом очередного благочестивого семейства, а может, и не очень благочестивого. Как вот по предыдущему адресу. Там он попал в такое разнузданное общество трёх или четырёх вскладчину празднующих семей, что его, как он ни упирался, заставили выпить, потом приревновали к одной из симпатичных молодых развесёлых жён, отыскавшей в ватной бороде Деда Мороза губы и взасос поцеловавшей его, за что чуть не отколотили и вытолкали из гудящей квартиры взашей. Хорошо, что хоть дедморозовская услуга была сделана по предоплате.

Андрей хотел было уже сойти с дистанции и уехать домой, настолько его разозлила бесцеремонность гуляк из предыдущей заявки. Но потом всё же остыл и подумал, что нехорошо будет не выполнить работу до конца — ведь люди её уже оплатили, да и необдуманно — заказчики могут насовать таких отзывов о нём в интернете, что мама не горюй. А он рассчитывал и дальше продолжать «дедморозить», пока не окончит учёбу и не получит работу. Да и позже эта подработка всегда может пригодиться. Моля Бога, чтобы его случайно не остановил какой-нибудь гибэдэдэшник, Андрей поехал по следующему адресу.

С трудом припарковав в забитом машинами дворе свою потрёпанную машину — вернее, не свою, а дедову, которую водил на законном основании, по доверенности, Андрей ещё раз посмотрел адрес для верности и, прихватив мешок с подарком, вошёл во второй подъезд дома и стал подниматься на третий этаж, где ему нужна была тридцатая квартира, а в ней — заказчица Марина и её сын Витя. И хотя в подъезде было несколько шумно: сквозь закрытые двери квартир просачивалась музыка, оживлённые голоса и смех жильцов — как-никак народ праздновал! — приближаясь к площадке третьего этажа, он услышал доносящееся оттуда странное мычанье, перемежаемое отчаянным детским голоском, вопящим: «Да хватит вам уже! Папка, иди отсюда, не трогай маму!»

Наконец Дед Мороз добрался до адреса, означенного в его заказе. И увидел, как молодая русоволосая и миловидная женщина обеими руками выталкивает из квартиры мужчину примерно её возраста. Он, в отличие от женщины, был в верхней одежде — куртке и вязаной шапке, явно нетрезв и, пошатываясь и шаркая подошвами сапог, то отступал под натиском хозяйки квартиры за порог прихожей, то вновь пытался прорваться внутрь. При этом оба они не кричали, как это обычно бывает в таких ситуациях, не говорили ничего, а лишь страстно мычали и иногда отчаянно жестикулировали. Под ногами у них путался малыш лет семи, он-то и пытался помочь матери выпроводить непутёвого, похоже, папашу.

«Глухие! — понял Андрей. — Вот так номер! Ладно, будем разбираться». Ему даже стало интересно, так как он довольно неплохо владел языком жестов, называемым дактилологией, и это сейчас, возможно, пригодится. Бабушка Андрея,

Вера Николаевна, была замужем за человеком с таким же физическим недостатком, его дедом Сергеем Григорьевичем. И потому в их доме, хотели они того или нет, постепенно все овладевали этим языком жестов, чтобы полноценно общаться с главой семейства.

Дети Сергея Григорьевича — две старшие дочери и сын — выросли и жили уже давно отдельно, в своих квартирах и своими семьями, а жена его, Марья Петровна, ушла из жизни пару лет назад. Вот и остался дед один в когда-то шумной трёхкомнатной квартирке в панельной хрущёвке. И хотя у него образовались определённые сложности в быту, ни к кому из детей он переезжать не хотел. Как, отчаянно жестикулируя, пояснял сам Сергей Григорьевич, этого пока не хотела его Верочка. Так и говорила деду: живи здесь, дома! Каким образом она доносила мужу свою волю «оттуда», для всех оставалось загадкой.

И чтобы совсем не оставлять Сергея Григорьевича одного, на семейном совете родителей Андрея, в которой его мама была старшей дочерью упрямого деда, было решено поселить у него любимого и пока холостого внука (сестрёнка была ещё совсем юна). И они оба приняли это решение. Для Андрея было совершенно необременительным выполнять роль «смотрящего» за дедом, поскольку тот и готовить умел прекрасно, и квартиру сам содержал в чистоте. На долю внука лишь оставалось изредка сопровождать Сергея Григорьевича в поликлинику, иногда отвечать на звонки родичей, выполняя при этом перед дедом роль сурдопереводчика. Ну и изредка выполнять обязанности личного водителя деда, передавшего ему доверенность на управление своей «Нивы», поскольку сам он к семидесяти трем годам вдруг стал часто путать педали тормоза и газа. А чем это чревато — известно.

2.

Но вернёмся, однако, на площадку того самого третьего этажа, где сейчас происходят весьма серьезные события. Молодой маме с сынишкой удалось-таки выдавить пьяного мужчину из квартиры, и он, озлобленно мыча и отчаянно размахивая руками, побежал вниз. Андрей едва успел отскочить в сторону. Внизу грохнула подъездная дверь, и наступила тишина, если не считать отголосков праздничного шума, слышных из-за закрытых дверей соседних квартир. И только сейчас обитатели тридцатой квартиры увидели, что на их площадке стоит не кто иной, как Дед Мороз.

— Добрый вечер! — кашлянув для солидности, хорошо поставленным голосом сказал Андрей. — А я, похоже, к вам. Вы же из тридцатой квартиры?

— Да, да! — обрадованно закричал мальчишка. — К нам! Заходи, пожалуйста, Дед Мороз!

Молодая женщина растерянно потёрла кончиками тонких пальцев свой высокий белый лоб и вдруг смущённо улыбнулась, видимо, вспомнив про свой заказ. Она молча показала Андрею на открытую дверь, и все вместе они гуськом вошли в квартиру: радостно подпрыгивающий мальчик, сама хозяйка, а за ней Дед Мороз.

В тесной прихожей Андрей попытался было разуться, но женщина отрицательно помотала перед собой ладонью. В гостиной у балконного окна мигала разноцветными огоньками искусственная ёлочка, рядом валялось несколько игрушек и клочья порванных разноцветных ленточек. а с дивана на всё это сыто и почти равнодушно щурился большой рыжий кот. «Видимо, уже не раз ронял, котяра!» — догадался Дед Мороз.

Он всё же вытер свои валенки — самые настоящие светлые чёсанки, у деда взял напрокат, — о коврик и прошёл на середину зала. Поправил бороду, откашлялся и торжественно сказал:

— Здравствуйте, дорогие мои! Долго и трудно шёл я к вам, пробирался заснеженными лесами и полями, чтобы поздравить с наступающим Новым годом!

Андрей посмотрел на хозяйку. Она нравилась ему всё больше: невысокая, стройная, зеленоглазая, со всё ещё нахмуренными натуральными, а не нарисованными, как водится сейчас, бровями и даже похожая на какую-то актрису. Правда, на какую именно, не мог вспомнить. Да разве в этом дело? Главное, нравилась!

Женщина, уловив на себе этот далеко не равнодушный взгляд, как бы досадливо передёрнула плечами и что-то прожестикулировала. Андрей уловил, что это послание было адресовано мальчишке.

Тот кивнул матери и сказал:

— Мама говорит, можно и не выступать. Нам некогда.

Андрей сделал шаг к женщине и, к её изумлению, заработал кистями своих рук. Его послание было таким:

— Извините, что вмешиваюсь, но я умею пользоваться языком жестов. Так что можете обращаться прямо ко мне. Меня, кстати, зовут Андрей.

Женщина с интересом посмотрела на него.

— Я хотела сказать, что нам сейчас не до церемоний, — вежливо просигнализировала она. — Вы же сами видели, что у нас происходит. Так что отдайте сыну подарок и можете быть свободными.

— Конечно, конечно, — заторопился Андрей.

Снял заплечный мешок из красной материи и запустил в него руку. Мальчуган с горящими глазами придвинулся поближе. И тут в прихожей стукнула дверь, раздалось знакомое мычание, и в гостиной снова появился недавно выдворенный мужчина — по всему, хозяйка забыла запереться. Он с ходу бросился к ней, обеими руками схватил за горло, повалил на пол и начал душить. Дед Мороз несколько секунд оцепенело наблюдал за этой

ужасной картиной, потом метнулся к душителю и оторвал его от хрипящей женщины. Несмотря на отчаянное сопротивление, Андрею удалось скрутить злодея и связать ему руки за спиной дедморозовским кушаком. Перепуганный мальчик только сейчас заплакал, бросился к поднявшейся с пола матери и обнял её, с ужасом глядя на поверженного и сучащего ногами мужчину. Мать неподвижно стояла у стены с побагровевшим, но уже начавшим бледнеть лицом и обеими руками держалась за горло.

Тяжело дыша, Дед Мороз захлопал по карманам и вытащил телефон.

— Я не знаю, что у вас тут происходит, но я звоню в полицию,— прерывающимся голосом сказал Андрей.— Он же так убьёт вас!

Женщина напряглась, пытаясь, похоже, по губам прочесть то, что только что объявил Андрей, но вряд ли у неё что-то получилось, поскольку рот Деда Мороза прятался в ватной бороде.

Ей реплику Андрея порхающими пальцами сдублировал мальчик.

— Да, вызывайте,— согласилась женщина.— Но только уже на следующий день его выпустят.

3.

И Марина скупо поведала, что с мужем Олегом они уже два года как в разводе. Ещё во время её беременности Олег начал пить, а пьяным мог поднять руку на жену и попутно зацепить и сына. А ведь они были почти как брат и сестра, когда ещё вместе учились в специнтернате, даже полюбили друг друга. И что осталось от той любви? После развода их общую двухкомнатную квартиру разменяли на две «однушки». Да, на беду Марины, всего в паре кварталов друг от друга. Вот Олег как выпьет, так вспоминает о прежней своей семье и очень рьяно рвётся к ним на воссоединение, так как уверяет, что по-прежнему любит и жену, и сына Витюшу. А как протрезвеет, месяцами может не вспоминать о них.

Связанный по рукам и лежащий на полу Олег лишь недобро сверкал своими тёмными глазами и время от времени горестно взмыкивал.

— Так тогда что, отпускаем его? — спросил Андрей.

После минутной паузы Марина кивнула, Витюша вздохнул и тоже сказал:

— Да!

— Смотри, приятель, я тебя сейчас развяжу, а ты пообещаешь, что больше не будешь их беспокоить и уйдёшь уже навсегда,— на пальцах разъяснил Андрей складывающуюся ситуацию Олегу.— Или мне всё же полицию вызвать?

Тот отрицательно помотал головой. Андрей приподнял с пола и поставил на ноги мужчину, развязал ему руки. Тот встал и, затравленно оглядевшись по сторонам, послал короткий жестовой сигнал всем присутствующим: «Да пошли вы!..» — и направился к выходу.

— Шапку, шапку надень, чудило! — нагнал его Андрей и натянул на голову подобранный с пола головной убор.

Мать с сыном с грустным видом переглянулись, и Ольга прижала Витюшу к себе.

— Э, дорогие мои, вот-вот Новый год, а мы тут всякой ерундой занимаемся,— встрепенулся Дед Мороз, глянув на свои наручные часы.— Витюша, иди ко мне!

Мальчуган оторвался от матери и подошёл к Андрею.

— Я тебя поздравляю с Новым годом, парень, и от души желаю, чтобы у тебя с мамой всё было хорошо, чтобы вы жили спокойно и счастливо,— с чувством произнёс Дед Мороз, поглядывая на хозяйку («Ну до чего же хороша! Что ещё надо было этому придурку Олегу?» — отметил он при этом про себя).

Марина ответила ему поощряющей улыбкой; правда, её чудные зелёные глаза при этом всё ещё оставались грустными.

— И вот тебе твой подарок! — торжественно объявил Дед Мороз и вынул из мешка довольно внушительную яркую картонную коробку с изображением на ней вертолёта.

— Наконец-то! — радостно взвизгнул мальчик, прижимая подарок к груди обеими руками.— Я там мечтал о нём. Спасибо тебе, Дед Мороз!

— Рад что тебе понравилось,— сказал Андрей и с улыбкой поглядел на Марину.

Конечно же, это она заказала сыну такой роскошный подарок и сейчас не сводила с парнишки ласкового взгляда.

— А ты справишься сам с управлением этого замечательного вертолёта? — спросил Андрей у мальчика.

Ему уже пора было уходить, но не хотелось. А хотелось как можно дольше быть рядом с этой так пришедшейся ему по душе молодой, красивой и, по всему, несчастной женщиной. Андрей справедливо полагал, что она достойна более лучшей участи, и мысленно пытался отыскать своё возможное участие в её судьбе. Он понимал, что шансов у него мало. Марина и старше его, и не видел он пока в ней ни малейшего признака симпатии к нему (впрочем, до этого ли ей сейчас?). Да и что он, ещё не доучившийся студент, мог дать ей и её сынишке? И Андрей, понимая, что такими резонными вроде рассуждениями просто загоняет себя в тупик, тут же отогнал от себя эти мысли — пусть уж будет что будет!

— Конечно,— неуверенно ответил Витюша.

— А давай вместе попробуем? — предложил Андрей.— Марина, вы не будете против, если я помогу вашему парню освоить новую технику?

Витюша тут же перевёл предложение Андрея матери. Марина внимательно посмотрела на странного Деда Мороза и кивнула в знак согласия. Андрей снял с себя уже изрядно надоевший ему сегодня яркий кафтан, оставшись в толстовке, отцепил ватную бороду и превратился в обычного темноволосого кареглазого парня довольно приятной наружности, что, как он с удовольствием отметил про себя, заметила и Марина, вскинувшая на него заинтересованный взгляд и тут же отведшая в сторону опушённые густыми ресницами глаза.

4.

Между тем Андрей с Витюшей устроились на паласе у дивана и стали увлечённо разбираться в содержимом подарочной коробки. Марина не удержалась и села на диван рядом с мужчинами, с интересом наблюдая за происходящим. Андрей то и дело нырял в инструкцию, и вскоре лаково блестящий красный вертолёт застрекотал электрическим двигателем, зажужжал пропеллером и взмыл к потолку, чуть не врезавшись в люстру.

— Ур-р-ра! — закричал Витюша. — Полетели! Дай, дай мне, я тоже хочу!

Андрей ещё раз показал, на какие кнопки надо нажимать на пульте, чтобы управлять вертолётом, и передал его мальчику. Витюша всё схватывал на лету и уверенно стал гонять вертолёт по всей их небольшой квартирке.

— Чаю хотите? — неожиданно просигнализировала Марина Андрею.

— О да! — поперхнулся от радости Андрей. — Очень хочу.

Марина пошла на кухню, Андрей последовал за ней. Женщина включила чайник и села за стол, указав Андрею на табурет напротив себя.

— Откуда ты знаешь наш язык жестов? — спросила Марина.

Андрей, путаясь в пальцах, поведал ей историю их семьи. Марина внимательно слушала, если можно так сказать, не сводя глаз с Андрея.

— Девушка у тебя есть? — последовал ещё один вопрос.

Андрей отрицательно помотал головой. Хотя на самом деле у него ещё недавно была девушка, они встречались больше года, но неожиданно она предпочла Андрею другого парня, сына известного в городе коммерсанта, и скоропалительно вышла за него замуж. Но зачем Марине знать эти ненужные подробности?

— Я надеюсь, что отныне моей девушкой будешь ты! — напористо и страстно прожестикулировал он.

Марина засмеялась и потянулась к вскипевшему чайнику. Она наполнила чашки, выставила из настольного шкафчика печенье, конфеты. Андрей не сводил с неё уже почти влюблённых глаз. Все движения Марины были полны изящества и грации, как будто её специально где-то обучали этим манерам.

Закончив накрывать стол, она оглядела его, потом спросила Андрея:

— Выпьешь вина?

— Нет, я за рулём, — ответил он.

Отхлебнув из чашки и схрупав печеньку, похвалил Марину за вкусно заваренный чай. Потом зачем-то спросил, работает ли она. Марина ответила, что работает, кассиром в «Ашане». А Витюша в это время в садике. И ещё она получает небольшую пенсию. Андрей уже пожалел, что спросил об этом: получалось, он как бы выведывал материальное положение, да ещё у кого — женщины, которая ему очень нравится. А положение это, судя по очень скромной обстановке квартиры, было не очень.

Марина же какое-то время молча смотрела на него, потом заработала пальцами.

— Зачем я тебе нужна? — спросила она. — Видишь же, я не такая, как все, и старше тебя. У меня, наконец, сын. И вот ещё что: со мной можно говорить и без рук, я могу и по губам читать, ты же сейчас без бороды. Только говори помедленнее.

— Ой, и правда же! — встрепенулся Андрей. — Я ведь со своим дедом тоже так могу беседовать!

И он, не спеша и по возможности отчётливо выговаривая слова, поведал Марине, что она выглядит очень молодо, даже моложе его, Андрея. И она действительно не такая, как все, а гораздо лучше многих. И воспитывает прекрасного парня (кстати, очень похожего на неё), который очень нравится Андрею и которому он мог бы стать отцом, если уж с родным папашей так вот всё нескладно получилось. И вообще — он влюбился в Марину, можно сказать, с первого взгляда, и все вот эти «зачем» да «почему» для него не имеют ровно никакого значения.

Марина сидела с пылающими щеками, пока Андрей признавался ей в своих чувствах.

Неожиданно на кухню с громким жужжанием влетел вертолёт, за ним вбежал сияющий Витюша. Аппарат сделал круг над столом и врезался в стену чуть выше окна. Послышался лёгкий треск, и вертолёт рухнул на пол.

— Ай! — отчаянно закричал мальчуган. — Катастрофа! Он сломался.

— Не паникуй заранее! — сказал Андрей. — Сейчас поглядим, что там и как. Нажми пока на «стоп» (вертолётчик всё ещё урчал и вертелся волчком на полу).

Андрей поднял аппарат и обнаружил, что у него лишь чуть перекосилась одна лопасть. Он тут же её же выправил, поставил вертолёт на стол и объявил Витюше:

— Всё в порядке, малыш! Можешь продолжать полёт.

Юный пилот заработал кнопками, вертолёт снова застрекотал и уверенно направился в дверной

проём. Андрей показал Витюше большой палец, тот счастливо засмеялся и выбежал за своей летающей игрушкой в комнату.

5.

Марина с задумчивым видом сидела за столом, отрешённо водя по клеёнке пальцем. И она была так мила в этой позе, что Андрею очень захотелось её поцеловать, и он с огромным трудом удержался от этого соблазна: а вдруг Марина примет его за обычного ловеласа и прогонит? Кстати или некстати, но тут у него в боковом кармане толстовки прозвенел телефон. Звонила мама.

— Ты где пропал, Дед Мороз? — взволнованно спросила она. — Не забыл — мы ждём тебя и папу у нас? Давайте подъезжайте.

— Прости, мама, немного задержался, — повинился Андрей. — Я на последнем заказе. Всё, скоро буду. Заеду за дедом — и к вам.

Он сунул телефон в карман, поднял глаза на Марину.

— Я всё прочитала по твоим губам, — сказала она. — Отправляйся домой, не волнуй маму.

— А давайте и вы со мной? — загорелся Андрей. — Встретим Новый год вместе. У меня вот такие родители! А уж дед какой!! Ты с Витюшей им непременно понравишься!

Марина покачала головой и ответила ему на пальцах.

— Не форсируй события, — так перевёл сказанное ему Андрей. — Езжай домой. Можешь поздравить своих родителей и от нас, Дед Мороз! И спасибо тебе за всё.

Витюша, усадивший вертолёт на пол в комнате, внимательно наблюдал за взрослыми.

— Ты разве уже уходишь, дя… дядя Андрей? — разочарованно спросил он.

— Зови меня просто Андрей, — сказал недавний Дед Мороз. — Да, мне надо сейчас домой. Но если твоя мама разрешит, я к вам ещё и завтра приеду. И послезавтра.

— Мама, пусть он к нам приедет, ладно? — попросил Витюша.

Во все глаза смотрел на неё и Андрей.

Марина, помедлив и покрывшись нежным румянцем, молча кивнула.

— Ура-а-а! — закричал мальчик и снова запустил свой вертолёт, заставив его кружиться вокруг люстры.

— Ур-р-ра-а-а!! — издал радостный вопль и Андрей и даже подпрыгнул от избытка чувств.

Марина засмеялась.

Андрей неспешно натянул на себя уже изрядно поднадоевший ему кафтан Деда Мороза. Уходить ему явно не хотелось.

— Ну, с Новым годом вас ещё раз! — с изрядной долей грусти сказал он. — Марина, не проводишь меня?

Марина пошла за ним в прихожую. Витюша, занятый своим аппаратом, уже не обращал на них внимания. И здесь, в прихожей, Андрей всё же не смог сдержаться и притянул к себе женщину, которая сегодня стремительно, иначе и не скажешь, затуманила ему голову и вошла в сердце.

— Я тебя лю…

Андрею не дали договорить сначала тёплая ладошка, а затем прильнувшие буквально на мгновение её горячие губы.

— Иди! — толкнула Марина его к двери.

— Так я приду завтра вечером, в это же время?

— Если не передумаешь, Дед Мороз, — сказала своими тонкими пальцами Марина.

И осторожно закрыла за ним дверь.

— Не передумаю-ю-ю! — ликующе прокричал Андрей и скатился по лестнице вниз…

Татьяна Жукова

Волчонок

В 1903 году в сибирской деревне Кружавихе, что неподалёку от знаменитого каторжного тракта, пропала молодая невестка с кедровского подворья. Семья Кедровых была традиционно по-сибирски большой: все одиннадцать сыновей селились в одном подворье, разделяясь друг от друга невысокими заборами. Невестка Полинка, которую привёл из соседней деревни младший сын Кедровых Василий, ещё тайком поигрывала в тряпичные куклы, ей было всего шестнадцать лет. Красивая тоненькая Полинка, с сахарными белыми зубами, ласково и застенчиво тянувшая «тятя», «мама» при виде крепких ещё свёкра и свекровки, пришлась им к сердцу, как родная дочка, которой Бог им не дал.

Свадьбу сыграли в конце лета, и жизнь новой семьи Василия и Полины Кедровых, потомственных крестьян Обволокского уезда, началась под тоскливый и пронзительный запах осенних дымов с огородов и пастбищ.

Зиму молодые жили в родительском доме Василия, под присмотром свекрови, постепенно научавшей жену любимого младшего сына хозяйским секретам: как попышнее замесить тесто на хлебы, как прикрыть печь заслонкой в тот самый момент, когда остановятся скакать по углям синеватые сполохи угара и чистое тепло начнёт вылетать в трубу.

Полина всё это знала и умела, но свекровушкин опыт хватала на лету: Кедровиха была большуха, то есть хозяйка толковая, цепкая и работящая. Из всех её одиннадцати детей ни один не умер и не болел тяжело в детстве. Кормила она их сытно, одевала чисто, знала целебные травы и умела лечить от пупочной грыжи горячим чугунком.

Звали её помогать и при родах, но Кедровиха отказывалась — боялась, что, как многие повитухи, останется без внуков. Откуда она придумала такую примету, сама себе объяснить бы не смогла: у бабки Манеши, повитухи из соседней Разухабихи, была полна изба толстопятых внуков.

Засел в Кедровихе суеверный бабий страх за свою счастливую долю. Боялась, что завидуют их кедровской справности люди и что придётся ей рано или поздно расплачиваться за то, что миновали её многие беды, выпавшие на долю соседок и даже родных сестёр.

Однажды той первой замужней зимой Полинка, подоив корову и возвращаясь с подойником в дом, постояла почему-то на синих морозных сумерках во дворе, заглядевшись на бледную одутловатую луну, которая как лицо утопленницы из омута светилась с тёмного, глубокого неба. Мороз только прихватил землю, покрытую первым снежным настилом, негромко поскрипывающим под ногами. Звёзды холодно застыли в вышине. Вдруг недалеко в лесу враз, как сговорившись, со всех сторон завыли волки. Полинка испугалась, заторопилась домой и, заскользив ногой, пролила половину подойника.

Дома свекровь, два дня безмолвно мучавшаяся зубами, сорвала свои страдания на невестке, впервые обругав Полинку коровой. Молодая украдкой расплакалась, спрятавшись за своей занавеской. Ей всё показалось таким постылым — и эта большая изба, и чужие, не больно ласковые люди, которых теперь придётся всю жизнь называть тятей и мамой.

Пасха выпала в тот год на конец марта. Прибрав в дому перед Сыропустным воскресеньем, Полинка затосковала по своим: отцу, матери и младшим — брату и сёстрам. Она ходила как в воду опущенная, послушно выполняя наказы свекрови. Василий, чувствуя сердцем свою молодую жену, затосковал вместе с ней, испросив под конец у родителей разрешения отпустить Полинку в отчий дом погостить до Великой субботы.

Полинка сразу засветилась, засобирала гостинцы, припасённые ею для братика, сестричек: леденцы, орешки, платочки, картузик. Для маменьки, которую Полинка очень любила, была давно уже вышита понёва. Для тятеньки — сшита новая рубашка. Полинка собралась быстро и весело, застучав по деревянному полу босыми ногами. Василий довёз жену до развилки дороги в лесу, откуда ещё немного — и виднеются крыши её родной деревни Разухабихи. Всю дорогу, сидя на сене, Полинка принюхивалась к забродившим весенним запахам и гулким звукам мартовского леса. У неё было такое чувство, что она и не жила эту зиму, а была как бы замурованная.

С приступившей тоской перед недельной разлукой с молодой женой, Василий крепко обнял её и поцеловал, засмущавшись сам перед собой. Он бы отвёз её до самого дома, но отец уже ждал лошадь, чтобы поехать за дровами.

Полина соскочила с телеги, чуть не уронив в талый грязный снег узелок с гостинцами, и быстро пошла по мокрой размякшей дороге, согреваемой солнцем. Василий посмотрел ей вслед, подождал немного: оглянется ли? Полинка торопилась: очень уж затосковала по родимым, прожив долгую зиму в чужой семье. Но перед самым поворотом оглянулась, махнула рукой, отчего у Василия смягчилось сердце, начавшее было закипать обидой.

Хватились Полинку на Пасху, когда её родители, поздоровавшись со сватьями на крыльце церкви перед всенощной, спросили про дочь. Искали её всем кедровским родом в таёжном лесу, уже потёкшем талыми ручьями, но не нашли и следов. Только весной из лесной неглубокой речки дети выудили полинялый узелок с подгнившим тряпьём — бывшими гостинцами, собранными Полинкой для родителей. Заявили в уездный участок о пропаже крестьянки Полины Кедровой, года рождения 1887-го, два раза приезжал урядник, зачем-то обыскал избу и хлев стариков Кедровых и уехал без лишних разговоров.

Ходили слухи, что в марте, как раз перед Пасхой, с тракта бежали каторжные, и соседи говорили, что не иначе как они и утащили Полинку и, надругавшись, убили и закопали её где-нибудь в лесу.

У Кедровых эти слухи не повторяли. Но Василий знал про них, сидел в одиночестве, когда выдавалась свободная от работы минутка, и темнел лицом, всё представляя себе, как Полинку хватают за поворотом беглые каторжники, затыкают ей рот, чтоб не вскрикнула, не позвала его, а он в это время разворачивает лошадь с телегой и уезжает.

Мать его Кедровиха, томясь за сына, через два месяца после пропажи невестки ходила посоветоваться со священником. Он сказал, что нужно ещё подождать, прежде чем сватать Василию другую девку.

В октябре, когда уже начались холода, Полина нашлась. Пришла домой в ободранном тулупе и в разбитых онучах — в том же, в чём и ушла от Кедровых в тот мартовский солнечный день. Была она нечеловечески худая, с лицом, притемнённым ветром и солнцем, с незажившими коростами от гнуса на коже, сильно ослабевшая. Постучав в окно родительского дома, молодая женщина упала. Все силы вложила она в этот громкий и резкий стук, прежде чем сползти без сил на землю. Мать её вылетела во двор в одну минуту и, увидев Полинку, запричитала, согревая ладонями бессильные вялые руки и холодные щёки дочери.

Отпаивали Полину парным молоком, настоянном в печи на проросшем овсе, кормили с ложки похлёбкой на медвежьем нутряном жиру, сухую, как у стариков, кожу мазали облепихой и гусиным жиром. Полинкины родители были бедными, про таких говорили, что у них в избе свистит, и сами-то они таких вещей вовек не едали и не видали.

Всё для лечения жены — зерно, освежёванного барана, мёд и облепиху — привёз Василий. Кедровиха была прижимиста, но тут она сама натаскала в телегу сына, когда он собирался к тестю, горшков и узелков, послав напоследок внучку от старшего сына в курятник за свежими яйцами. Видела Кедровиха, что любит её младший свою жену всем сердцем, знала о его бессонных тоскливых ночах без своей ладушки, видела его не выказываемую никому боль и потому только была готова не пощадить всё самое дорогое, только бы выздоровела и укрепла бы её самая младшая невестка.

Полина оказалась беременна, на сносях. Её не мучили расспросами — бывали такие случаи: заплутав в тайге, иногда ходили по буреломам несчастные по три-четыре месяца, повреждаясь в уме или помирая с голоду.

Случай с молодой невесткой Кедровых многим, конечно, показался диким: пропала она почти от самого дома и в такую пору, когда ни ягод, ни грибов, ни орехов в лесу было ещё не собрать. Где жила и что ела? И как продержалась в тайге почти семь месяцев, что и самим таёжным охотникам в одиночку не под силу?

Младшая сестра Полины однажды-таки не утерпела, спросила, как и где она жила в лесу, где её плутало. Сёстры были в избе двое, и старшая уже поднялась с постели, начав ходить без посторонней помощи. Полина стала как бы через силу вспоминать…

Когда Василий скрылся за поворотом, она немного свернула к лесу, хотела обойти большую лужу от подтаявшего снега на дороге. Откуда ни возьмись из лесу выскочили волчица с волком. Заигравшись, затанцевавшись на весенних полянах, празднуя свою свадьбу, звери, забыв осторожность, выскочили чуть ли не к деревне.

Полина видела, как волчица — она была поменьше ростом, — опершись на передние лапы и постояв так, затем вдруг прыгнула на волка. Волк, пытаясь увернуться от острых зубов подруги, побежал, но упал. Волчица больно укусила его за загривок, потом бешено помчалась вдаль, описывая круги. Волк рванул за ней. Звери носились туда и сюда по весеннему лесу. Полина наблюдала эту дикую гонку, замерев на месте и боясь пошевелиться. Вдруг на бегу оба волка потеряли равновесие и, сцепившись, покатились по крутому склону. Неподалёку от Полины они разделились,

вытряхнули лёд из шерсти и, тяжело дыша, встали мордой к морде. Самка поднялась на дыбы, буквально обняла самца передними лапами и начала прилизывать, как бы нацеловывая его, своим длинным языком. Полина не могла отвести глаз от волков, и они вдруг, учуяв человеческий запах, остановили свои игры, и волк вперил в неё свои жёлтые глаза. Он был так близко, что женщина могла увидеть каждую шерстину на его морде.

Полина вскрикнула, прижалась к стволу дерева, а волк вздыбился загривком и пошёл на своего извечного врага — человека, щеря огромные желтоватые клыки. Волчица в это время уходила в лес, и волк не давал Полине посмотреть в ту сторону, прикрывая уход подруги. Молодая женщина, похолодев, не смея даже сморгнуть, смотрела на волка, видела его клыки, клацающие совсем рядом, когда он рывками, припадая к земле, то приближался к ней, неподвижно вжавшейся в ствол, странными танцующими кругами, то отскакивал в сторону, припадая на передние лапы. Сколь долго это продолжалось, она не помнит: может, час, а может — полдня…

Замороченная, застывшая женщина, не смевшая от страха ни позвать на помощь, ни даже пальцем пошевелить, упала, когда в очередной раз волк сузил своё кольцо вокруг её берёзы. Последнее, что запомнила,— серебряную ледовую купель, в которую она медленно повалилась, и прямо в лицо — острый звериный запах, страшное урчание.

Очнулась, замёрзшая, когда солнце уже село. Долго шла, как ей показалось, на деревню, а забрела уже к ночи в лесу на заброшенную охотничью зимовку.

Закрыла дверь на щеколду, так и повалилась на лежанку, не сняв мокрую, заледеневшую одежду. Рано утром, совсем застыв, очнулась и осмотрелась: в зимовке было немного дров, маленькое стёртое огниво, а еды, как это бывает в избушках у охотников, не было нисколь. Женщина собиралась пойти домой, потому что дорога от этого места до своей деревни была ей, кажется, знакома. Но при мысли о том, что придётся идти лесом и встретить там волков, заставила её не выходить из полуобсевшей избушки дня два. Затем голод всётаки выгнал её на улицу, где она быстро, оглядываясь по сторонам, набрала еловых иголок и опять юркнула в зимовку, закрылась. Она варила себе хвойную кашу в талом снеге и всё посматривала в щели, прорубленные в стене, ожидая прихода людей: Полина знала, что её будут искать, и решила дожидаться прихода людей. Никак не могла она перебороть свой дикий страх перед волками и отправиться одной через тайгу. Как прошла весна, пришло лето — она и не помнит: дни бежали за днями, она кружила неподалёку от избушки, собирала ягоды и грибы, варила чай из листьев малины и смородины, как всегда делали во время сенокосов, чтобы пахучим дымом прогнать таёжного гнуса, и ждала людей. Надеялась, охотники придут в зимовку хотя бы к осени. Но никто так и не пришёл.

Когда началась осень и у неё начал расти живот, Полина стала голодать: ребёнок в ней днём и ночью просил есть.

Похолодало, зарядили дожди по нескольку дней, тайга покраснела и разбухла от сырости. Страх перед волками, дошедший до сердца, заставлял Полину тянуть до того дня, когда все сухие грибы и ягоды были съедены ею до крошки. Одним утром она таки вышла из сторожки и, помолившись Божией Матери, пошла с того места искать человеческое жильё.

Когда шла, всё прислушивалась к шуму лесного ветра, в котором ей нет-нет да чудился волчий вой. Отдыхала, опускаясь на мокрый холодный мох, а затем шла дальше.

К вечеру вышла на знакомые места, а к ночи поднялась на пригорок к своей деревне.

Когда пришёл срок родов, Кедровиха уговорила сватьёв отпустить дочь к ним, Кедровым. Рожала Полинка тяжело; как сказала бабка Манеша, сил у неё нету «выкряхтеть» ребёнка. Да и подзастужена была роженица ещё там, в тайге. Когда, спустя двое суток тяжёлых схваток, наконец показался на свет Божий младенец, бабка Манеша чуть не уронила его — ей почудилось в его крике волчье рычанье.

«На голове-то у него не волосы, а серая шёрстка. И тельце всё какое-то мохнатое… Сколь повитушничаю, вовек такого и не видывала»,— рассказывала Манеша бабам у колодца.

По деревням пошли слухи: молодая Кедровиха родила волчонка. Когда Полинка пропала весной в лесу, то украл её огромный волчище, утащил её в своё логово и миловался с ней, как с волчицею. Ела она дикое сырое мясо, что приносил её сударик в пасти с лесной охоты, спала в волчьем логовище, каталась с ним безлунными ночами по лесам голая, и научил он её выть на луну — всё равно как петь по-волчьи.

Все поверили. Даже мужики с любопытством заворочали своими тяжёлыми крестьянскими головами, когда шли мимо кедровского подворья.

Кедровых не очень любили за прижимистость, но уважали за ладность уклада.

Слухи о том, что молодая Кедрова нагуляла волчонка, давали выход этим сложносплетённым чувствам. Вроде не виноваты Кедровы в том, что сноху волк обрюхатил, а если по-другому посмотреть, то так им и нужно. Потому что сами живут как волки — без доброты и мягкости к тем, кто победнее. Сами Кедровы, узнав про слухи, что их внук — волчонок, на людях только посмеивались.

Были они людьми ушлыми и знали, как вести себя на миру. А уж о чём говорили промеж собой, закрывшись за своими высокими заборами, — кто же узнает?

Василий не узнавал жену… не было у неё прежнего сладко-малинового запаха. Высохла она душой и телом, стала неулыбчива и молчалива. Раньше Василий, входя в избу, всегда слышал её шаги, голос, проворный перестук ухвата по чугункам. Теперь Полина затихла и с утра, подвязав платок, тихо работала в доме или в поле. Если её окликали, по лицу её пробегала такая мука, что, дескать, зачем лишний раз её потревожили, задели. Сына она смотрела хорошо, был он всегда накормлен, обшит, обстиран. Но не умела его приласкать, пощекотать, посмешить. И мальчишечка тянулся к отцу.

Когда Пашка подрос и стал выходить играть к другим детям, они его задразнивали до слёз: Волчонок да Волчонок. Не одиножды плакал горькими слезами обиды, когда убегали от него соседские робята с криками: «Волчонок вышел! Ату его!»

Мальчик характером пошёл в Полинкину родню: простоватый и доверчивый. Не мог бы он перебороть свои обиды и страх, что вот-вот опять его задразнят. Так и шёл с этим страхом на лице к детям. А им ведь только этого и нужно: «Волчонок пришёл! Ату его! Ату!» И двоюродные его тоже кричали. Вместе со всеми.

Так и рос одиночкой. Жалела его бабушка по матери. И тётки. А вот ведь тоже как бы брезговали. За что — и сами не знали.

Один раз во время сенокоса Пашка помогал отцу — было ему уже лет шесть. Двоюродные братья — их отцы косили рядом — пошли искупаться на неглубокую лесную речку. Пашка увязался с ними. Там ему и рассказали братья-подростки, что он не человек, а волк. Что мать нагуляла его в весеннем лесу с огромадным волчарой. И что приходит каждую зиму этот волчара к подворью, воет ночами и просит отдать ему сына Пашу. Ночью мальчик проснулся в шалаше, рядом храпел отец, матери на покосах не было. Смотрел на звёздное небо в шалашных просветах, на кривую луну и слышал, как в поле шуршит, размётывает свежие стожки по всему полю его родной тятька — волк, сильнее которого нет на свете.

Через несколько дней, когда ребятишки набросились на Пашу дразнить волчонком, он не заплакал, а зарычал и пошёл на детей, скалясь. Бросился на одного парнишку и укусил его за лицо до крови. Дома его прибил за это отец, но Пашка кричал ему сквозь плач: «А я всё своему тятьке расскажу, он тебя раздерёт на кусочки, вот заплачешь тогда, ирод!»

Василий чуть не задохся от услышанного: «Да что ты мелешь-то, бестолковый?! Я твой отец! Я!»

Пашка, не слушая его, кричал, задыхаясь от плача, растирая рукавом по лицу слёзы и сопли: «Тятька мой — волк! Он меня от вас защитит! Он лучше́е вас!»

На крики прибежала бабка Кедровиха и добавила внуку от души, отстегав его вицею: «Я те дам волка, я те дам защиту от отца родного!»

Когда наступили смутные революционные времена, Пашке было уже шестнадцать лет. Был он деревенским горлопаном, драчуном и сочинителем похабных частушек. Таких называли тогда отпетыми.

Шатаясь по деревне ночами, распевал Пашка свои частушки, от которых плевались старухи, но он умел спеть и красивые песни таким глубоким, мягким голосом, что растревожил бы сердце любой девке, кабы бы ей не знать, что это Пашка Волчонок.

После того, как пришла в Сибирь гражданская братоубийственная война, ушёл Пашка то ли к белым, то ли к красным, и долго о нём ничего не знали даже отец с матерью.

Станислав Минаков

Советы непостороннего. Посильные упреждения

По просьбе пишущей молодёжи

Тривиально необходимое приступающему к стихосложению (и вообще к литературному сочинительству):

1. В русской рубашке

Следует многому учиться. Если ставить задачу стать мастером, нужно много читать и нужна литературная среда. Мастер-наставник и/или хорошая литстудия (в частности, в Белгороде рекомендую только «Пробел») «может, и поможет». Тому, кто готов без пены гнева на губах слушать доброжелательную компетентную критику, а тем более рубиться со своим текстом (заглянем в черновики Пушкина; Гоголь восемь раз (!) своей рукой переписывал поэму «Мёртвые души, гусиным-то пером!).

• • •

Надо научиться не пороть горячку, а откладывать на время свеженаписанный текст, давать ему возможность остыть и отстояться, не кидать сразу «фтопку» Сети. Потом будет видно — что и как править. Весьма лаконичный писатель Лёв Толстой утверждал: лучшая правка — это сокращение. Аминь.

Александр Блок считал, что для лирического стихотворения наилучший объём — двенадцать строк (три катрена). Это близко к гармонии такой старой-престарой, как сонет: помните, сколько в нём строк?

Попробуем, хотя бы в качестве этюда, написать сонет. И ещё разик. А как строится венок сонетов?

Не стоит начинать с больших форм. С ними сейчас вообще сложно. Другой пульс у эпохи. У Александра Кушнера есть стихи о сне, в котором за большим столом сидят наши замечательные поэты: «Только Лермонтов: „Чур, — говорит, — без поэм! Без поэм и вступления в Леф!“»

«Кончаю! Страшно перечесть… Стыдом и страхом замираю!» — изрёк классик устами своей любимой героини ещё в начале девятнадцатого века. А один популярный советский стихотворец выдохнул (цитирую по памяти): «А я лежал и содрогался — я перечитывал себя».

Да-да: утром перечитываем то, что написано вечером или ночью. Это очень трезвая мысль: нередко написанное подвергается изрядной правке либо улетает в корзину.

Нам в помощь недавняя реплика поэта Ирины Карениной (Минск):

«Всегда уважала принцип Софии Парнок:
Гони стихи ночные прочь,
Не надо недоносков духа,
Ведь их воспринимает ночь,
А ночь — плохая повитуха.

Ещё худшая повитуха — спешка, которая в эпоху интернета и сбора лайков уничтожает само понятие поэзии. Чтобы не спешить, надо отложить написанное — на сутки, неделю, месяц, год, чтобы взглянуть на плоды трудов своих непредвзято, отойдя от горячки (и, скорее всего, обрезать, перекроить, переписать, вышвырнуть лишнее без жалости), нужен очень большой профессионализм и очень большое, запредельное по нынешним меркам смирение. К сожалению, этого-то чаще всего и нет. Вернее, всё происходит совершенно от обратного. Старый добрый литинститутский семинар от девяноста девяти процентов нынешней писанины, щедро выплёскиваемой авторами в интернет, камня на камне бы не оставил — совершенно оправданно и только на пользу и пишущим, и читателю. Но… увы. Лайки, возгласы, аплодисменты, похвалы и прочее курение фимиама, на которое так щедра невзыскательная публика (а взыскательной сейчас почитай что и нет), — это всё, конечно, куда интереснее и вкуснее для самолюбия, чем долго и тихо вкалывать, не собирая восторженной толпы вокруг своего стола».

Но Интернет может нам и помочь — в смысле коммуникации и информации.

Кстати, пользуетесь ли вы сайтом «Грамота.ру»?

Случаи автономного взрастания крайне редки, если вообще возможны. Ну и, в конце концов, сторонний взгляд адекватного коллеги, редактора каждому из нас только на пользу.

Помним, сколь нервически мы воспринимали критику в молодости, на творческих семинарах,

однако в итоге это всё оказалось полезным по разным причинам, в том числе отрицания. Между прочим, Майя Плисецкая не раз подчёркивала, что научилась извлекать конструктивное из самой недоброжелательной критики.

Ещё из тривиального: чтение правильных книг развивает язык и образность. А Николай Заболоцкий зачем-то ж твердил нам в лоб: «Любите живопись, поэты!» Прочтите его умопомрачительное стихотворение «Можжевеловый куст» — это одна из вершинных вершин русской лирики.

Не забываем также о богатейших источниках — церковно-славянском языке, фольклоре и песенно-романсовой классике, песнях старо-солдатских, городских, посадских, и сонме песен советского периода. Это не означает, что нужно куда ни попадя это всё вставлять в свои опусы и «лепить горбатого к стенке». Но это хорошо бы слушать и слышать. Значение имеет не только то, чему мы наследуем, но и то, что оставляем «за скобками» своих писаний.

Сленг, арго, феню, мат — если применять, то в дозах гомеопатических, не в ущерб общей задаче, «не в суд и осуждение». Но это требует композиторской виртуозности и внятной художественной целесообразности. Из известных мне авторов по-моцартовски органично с такой лексикой справлялись Пушкин и Бродский, Маяковский. У Есенина удач с этой стороны не припомню. Надо сказать, что обсценную лексику наши любимые классики использовали крайне редко, случаи единичны. Высоцкому удавалось, в ироничных сочинениях. Из наших современников приведу два примера, с разных полюсов: стихотворения уроженца Ленинграда американца Льва Лосева (1937–2009) «Рота Эрота» («Нас умолял полковник наш, бурбон…») и Виктора Коврижных (1952–2022) из кемеровского села Старобачаты «Письмо из деревни» («Здравствуй, Митрич! Как жив, как здоров?..»).

Стараемся не упираться в стыках.

Строка «Притёрт ремень к вспотевшему плечу» труднопроизносима: «ртремень» непрост, но тут, допу́стим, слышен звук соприкосновения ремня с плечом, выговорить же «ньквспотевшему» — невозможно. А не надо произносить, надо глазами читать, — возразил мне автор строки. Я предложил хотя бы поставить тире, для создания паузы: «Притёрт ремень — к вспотевшему плечу». Но следовало бы переделать строчку.

Вопрос к аудитории: почему автор строки «у храмов древних на виду» прибегнул к инверсии, а не сказал просто — «у древних храмов на виду»?

То же справедливо для стыков гласных: «воспоминание о аудитории».

Фалехов гендекасиллаб, понимаете ли! Кто помнит, где мы про него последний раз слышали? Кто вспомнил, тому дальше по тексту будет бонус.

Коль взялись за консервативное стихосложение, проверяем метр, размер стихотворения. Возможны, конечно, любые отклонения от нормы, но только убедительные, если не сказать — неопровержимые. Пример:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Третья строка как бы выпадает из размера, следовало бы писать «положи» или «положить», а не «положили». Но дело в том, что это — мучительный финал многострофного произведения, читай — нелёгкой грешной судьбы, «веселия мути». Это 1923 год, и через два года автор, тридцатилетний, трагически уйдёт из жизни. Гениальная вовеки — длинная, словно не кончающаяся строка «по-ло-жи-ли-ме-ня-врус-ской-ру-баш-ке» звучит как трудное расставание, просьба отдалить разлуку с жизнью, о том же наш современник скажет: «дай раздышаться напоследок».

Желательно не ставить в ударную позицию, прежде всего в начале строки, местоимения «се́бя», «те́бя», «мо́я», «тво́я»! (Уморило уже; повсюду нахожу, в том числе и у «се́бя», в сво́их былых писаниях.

Смещение ударений легче проходит в песнях, а в фолке бывает порой весьма обаятельно и нередко гениально. «Вы́соко, высо́ко, высоко́…» Или как в песне белгородского села Подсере́днее, сохранившейся со времён монголо-татарских набегов, поющейся и сегодня: «Татаре шли, ковы́лу жгли… людей дялили́…» Там же:

Он-ы гнал яе́ ды го́лаю, ды бо́саю.
Ён-ы гнал яе́ по поко́сишшу, по пожаришшу…
<…>
А по батюшке
ты — татарин сын,
а по матушке — уну́чек мой.
Ты спи-усни, мо́е дитятко.
Ты спи-усни, мо́е милае…

Казалось бы, характерен пример из знаменитого стихотворения 1967 года:

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на моё тело, длинное, как жердь.

«Мо́ё» тут стоит в ударной позиции, а не следовало бы. Тем не менее этот «псалом отчаяния» — Бориса Чичибабина, выдающегося харьковца,— является шедевром русской лирики, по праву включаемым в самые взыскательные антологии.

• • •

Технические условия во всяком мастерстве необходимы, но недостаточны. Разумеется, дело ещё и в уровне дарования — в качестве восприятия и усвоения (мира, искусства, критики), а также способности воплощения. Но тут уж — кому что Бог даёт.

В противном случае мы остаёмся на уровне «домашнего музицирования» и «стихов в альбом» даме или другу. В этом ничего плохого нет, но я говорю о профессиональной задаче, о планке, которую поставила перед нами великая русская поэзия (словесность).

Да, наши классики ещё могли себе позволить, но нынче уже вроде и некрасиво, дурной тон стихосложения — рифмовать «твои — мои», «я — тебя»; режет слух лишний звук в конце — «котла — орлах»; нежелательно рифмовать так в одном падеже — «на природу — на свободу»; однокоренные слова вроде «приход — расход»; и глаголы — «молол — плоть», «ушли — пришли»…

Но вот:

Один и тот же сон мне повторяться стал:
мне снится, будто я от поезда отстал.
Один, в пути, зимой, на станцию ушёл,
а скорый поезд мой пошёл, пошёл, пошёл.
И я хочу бежать за ним — и не могу,
и чувствую сквозь сон, что всё-таки бегу.

Такое обилие глаголов, тем более поставленных в рискованнейшие рифмующиеся позиции, в русской поэзии двадцатого века сыщешь только у Юрия Левитанского, всё поэтическое письмо которого озарено таким светом любви, мастерства и, если угодно, исполнением поручения павших соратников, что автор, ничтоже сумняшеся, рифмует невозможное: «стал — отстал», «ушёл — пошёл», «могу — бегу», как в его поющемся «Сне об уходящем поезде».

Здесь этот приём у него ещё более абсолютизирован:

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.
И с той землёй, и с той зимой
уже меня не разлучить,
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.

Потрясающе. Четыре нерифмующиеся строки чередуются строками, которые заканчиваются глаголами: «не исключить — не излечить — не разлучить — не различить». Но это никого не вводит в соблазн протеста. Напротив, возникает своего рода кумулятивный эффект, или эффект накачки, как в лазере. И рифма «в январе — в янтаре» в этом сочинении — диковинна. Полезно посмотреть, как обходился с глагольной рифмой (а также с размером и интонацией) Слуцкий, ещё один харьковский Борис.

О чём это говорит? А о том, что когда дышит Дух Святый и за строками автора стоит поручение, тогда «кончается искусство, и дышат почва и судьба». («Кто это, Сигизмунд? Правильно, Сигизмунд, это Евтушенко».) Тогда — благодаря творческому дерзновению, воле, мелическому дару и резонатору, улавливающему биение эпохи,— позволительно многое. И, с риском если и не обезглавиться, то получить «обратку», гений созидателя взламывает табу.

Если нам по написании то и дело хочется на свой счёт воскликнуть: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — то посмотрите на полку, где стоят книги русских поэтов, чтоб охолонуть, прийти в себя. Помним: русская поэзия столь велика, что в ней даже взводами командуют генералы!

Полезно для нашего трезвения и сочинение Давида Самойлова:

В этот час гений садится писать стихи.
В этот час сто талантов садятся писать стихи.
В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.
В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.
В этот час миллион одиноких девиц садятся писать
стихи.
В этот час десять миллионов влюблённых юнцов
садятся писать стихи.
В результате этого грандиозного мероприятия
Рождается одно стихотворение.
Или гений, зачеркнув написанное,
Отправляется в гости.

Смирим гордыню и отправляя свои опусы в публичное пространство. Будем готовы к «непонятному демократизму» (термин Юрия Милославского, рекомендую его стихи, прозу, публицистику), одна из форм которого описана, как на скрижалях, Даниилом Хармсом:

ПИСАТЕЛЬ: Я писатель!
ЧИТАТЕЛЬ: А по-моему, ты г… о!
(Писатель стоит несколько минут,
потрясённый этой новой идеей,
и падает замертво. Его выносят.)

• • •

Чичибабин говорил нам: «Пусть лучше графоманские стишки пишут, чем пьют и жён бьют».

Но его же строка: «Во имя Красоты и больше ни во чьё». Помним, что Красота — одна из Господних эманаций.

Иоганн Себастьян Бах был более взыскующ, маэстро дал духовно-нравственный императив: произведение должно служить спасению души либо славить Господа, и если это не берётся во внимание, получается или просто шум, или диавольское теньканье.

Себастьяныч был отцом двадцати детей — десяти в первом браке и десяти во втором, несколько сыновей стали весьма известными композиторами, тоже Бахами, — любил, как все немцы, сосиски с капустой и пиво, но широко исполнять его опусы стали лишь лет через сто после кончины. Слушайте ХТК (Хорошо темперированный клавир) Баха, желательно в исполнении Святослава Рихтера или Гленна Гульда, но лучше и полезней всего, для любого сочинителя, — слушать обоих.

2. «Как много в этом звуке»

В поэзии немаловажна не только мысль, но и звук. Орфическая традиция побуждает к пониманию, что читаемое произведение заходит в нас, прежде всего, своим мелосом, интонацией — даже если мы читаем глазами, а не слушаем. Я бы сказал, что речь следует вести о «звукосмысле» (я об этом осмелился написать великому Г. В. Свиридову).

Проверяем себя на слух, читаем сочиняемое — голосом, пусть и шёпотом. Дабы избегнуть неблагозвучий вроде «как акация», «как ангел», «как и все», «сяду к окну», а пуще того: «дождь идёт, асфальт штрихуя», — или: «И батюшка светло и строго/Держал крестом над нами свод…» Примеры взяты из реальных сочинений некоторых современных лавроносцев.

О внутреннем звуке текста. Краесогласие, или, как говорила одна харьковская подружка Есенина, «рыфмочка» (поэт её так и звал), важно, конечно, но не менее интересен звуковой гул, катящийся по строке или по строфе и далее. Но важна мера, золотое сечение, как всегда в искусстве или инженерии.

Почему чесотка Бальмонта «чуждый чарам чёрный чёлн./чуждый чистым чарам счастья» — звуковая пошлость, а пушкинские непостижимые «широкошу́мные дубровы» — апофеоз красоты?

На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Шёпот ветреных дубовых крон оживает в двух близкорасположенных «шы»: «ШЫрокоШумнЫе». На первое, короткое ШЫ откликается ШЫ растянутое — так на порыв ветра отзывается кронами дубрава. Если отвечать на вопрос, в чём же поэтическая новизна Пушкина, в качестве поспешного примера могу привести оба эпитета из процитированного двустишья. Казалось бы, естественней было сказать: «пустынные берега», однако поэт осуществляет перенос признака на волны, добиваясь расширения смыслов. Можно было бы ожидать сочетания «берег моря», однако у Пушкина (и нигде больше?) восхищённо читаем: «берег волн».

Ещё пример высшего пилотажа работы со звуком — из сочинения 1982 года Давида Самойлова «Когда мы были на войне» (почему-то лукаво названного «Песенка гусара»), ставшего народной песней:

Я только верной пули жду,
Я только верной пули жду,
Что утолит мою печаль
И пресечёт мою вражду.

«И пресечёт мою вражду». Тут и глагол резкий, литературный, нефольклорный, хлёсткий, как удар плетью, как выстрел. И, конечно, последнее в длинном восьмистрофном тексте слово — «вражду». Рифма — как удар пули в грудную клетку, на входе в неё и на выходе: «жду — вражду» (ду-ду).

Ещё в 1946 году в Бутырке Чичибабиным были написаны знаменитые «Красные помидоры»:

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастёт провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Непостижимый эпический гул катится по этим строкам: «выгоревом-путивле-выгорела-трава…»

Однажды, дело было на переломе эпох, в году, может, и 1987–88-м, я, с тем самым «непонятным демократизмом», сказал мастеру: «Борис Алексеевич, нет ли у вас ощущения, что в строке „Тяжело достаётся Достоевскому Россия“ — звук нарочи́т?» В ответ Чичибабин расцвёл своей знаменитой детской улыбкой: «Я уже так не пишу».

Про текст и «контекст»

В 1993-м, за год до кончины, поэт дал мне потрясшую рекомендацию в Союз писателей. В начале октября того года, когда Ельцин грачёвскими танками и американскими снайперами расстреливал российский Белый дом, где располагался Верховный Совет, Чичибабин кричал в телефонную трубку: «От этого я и подыхаю!» Он уже тогда в телеинтервью утверждал, что украинский национализм перерастёт в нацизм. Пятнадцатого декабря 1994-го Чичибабин умер. А меня в СП приняли в ноябре 1994 года. Через двадцать лет, в последний день июля 2014 года, после персональных и коллективных доносов из Харькова, по свистку из Киева серо-коричневые лица исключат меня из этой самой «Национальной спилки письмэнныкив

Украйины» как «чужеридну начинку». «Любите русскую поэзию, зачтётся вам!» — сказал Чичибабин. Имейте в виду и этот аспект.

Прошла треть века, и я считаю, что оборот «достаётся Достоевскому» — по звукосмыслу весьма удачен, и именно в данной строке.

• • •

Не могу удержаться и не поделиться примером замечательной инструментовки короткого сочинения «Последний вечер на Зайсане», которое я прочёл совсем недавно, но написанного ещё в 1990 году поэтом Юрием Савченко, геологом, ныне живущим в обстреливаемом упырями селе Новая Таволжанка, рядом с обстреливаемым Шебекино. Зайсан — это озеро в Казахстане.

Берег жёлт, а море бирюзово.
Я блесну закину наугад.
На меня в предчувствии улова
Чайки бестолковые кричат.
Не галди, прожорливая стая,
Все мы здесь — улов для Рыбака.
За вершинами Тарбагатая
Над Китаем тают облака.
Тают, как земные обещанья,
Размыкая очертаний вязь.
Ветер, дуновение прощанья,
Загорчил, закатом опалясь.
Всхлипнет в пене чаячья удача,
Плач мартына[1] — будто в горле ком.
А вдали, пустынна и незряча,
Засыпает степь полынным сном.

Перед нами — пейзаж предстояния, скажем так, а можно назвать его философским, вспомнить классические стихи этой традиции, к примеру, лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…». Пейзаж нашего современника написан ма́стерской умной кистью, незаурядным языком, тонко очеловечен. Это первые слои восприятия, так сказать, — природа и человек в контексте природы и присутствия Рыбака, то есть Господа (новое измерение, невещественное). Но как грунтовка подсвечивает изнутри живописное полотно, а пуще сказать, как левкас икону, это стихотворение подсвечено звуком.

Соткано это виртуозно, несколькими мелическими нитями.

Первая строка звучит так: «бер-мор-бир», — а сразу следом в этой же строфе: «блесн-бест».

Тут же от первого побега появляется стрела, ведущая к пятой строке: «жёлт-прожорливая».

Звук «Ч», зарождающийся в первой строфе, — это чаячий крик «чу-ча-ча», эхом подхваченный в третьей строфе: «че-чи», — и озаряющий последнюю строфу: «чаячья удача — плач — зряча», — замирающий, уже в тихой, безударной позиции, ровно перед последней строкой стихотворения — строкой засыпания, в которой все звуки работают как колыбельная: «засыпает-степь-по-сно»…

Не забудем восхититься и звучанием второй строфы, красавицы: «вая стая — Тарбагатая — Китаем тают»… Тут же, внутри катрена, уместившись «как Врубель в Рублёве» (Чичибабин), короткая связка «Рыбака-Тарбагата́», сцепленная омонимически началами, но несовпадающая ударными стопами, что делает строение ещё более прекрасным. Ау, физики, они же лирики, кто помнит слово «эксцентриситет» из курса аналитической геометрии для высшей школы — выходи получать почётный значок «Участник броуновского движения»!

Третья строфа по инерции интонации не хочет отцепляться от второй строфы, началом повторяя эхо «тают», но автор — вслед за Рыбаком — уводит пейзаж в регистр нового, звёздного состояния: «земн-разм-вязь-заг-зак». Этот звук угасает к концу четвёртого, то есть последнего, катрена: «зря-зас»…

А вдали, пустынна и незряча,
Засыпает степь полынным сном.

Замедляющая связка «пустынна — полынным», убаюкивающие одновременные линии «пу-па-тепь-по» и — «стын-сып-степ-плынсном». «Уснуть… и видеть сны» (Гамлет). «Уснуло всё» (Бродский).

Учимся у мастеров слушать и слышать мир и стихи полифонически.

Юрий Савченко прочёл мой комментарий к своему «Зайсану» и сказал: «Задумаешься невольно, надо ли всё это знать… Но если подобным образом конструировать, как Хлебников, то будет или перебор, или нарочитость, или схема. А надо просто видеть картину и провязывать слова, как нити, пропуская их сквозь слуховые фильтры. Хлебников хоть был природен, но „дик“: он слышал только звук. На самом деле, я, конечно, знаю за собой эту штуку, но никогда о ней не задумываюсь, особенно во время письма».

Разумеется, речь не о том, чтобы впасть в нарочитое нанизывание фонем или уподобляться сороконожке, которая задумалась, какой же ногой ступить. У Велимира Хлебникова, сына орнитолога, красиво «тарарахнул зинзивер», однако всё же «самовитое слово» превратилось в муфталингву «о, лебедиво!» или в щекотку: «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно… <…> Смейво, смейво!» — и т. п., а у Кручёныха вообще речь вернулась в заумь, то есть в пещеру, «дыр бул

1 Разновидность чаек.

щыл убеш щур» — тупиковая ветвь, как Скрябин в музыке.

Конструктивисты пошли несколько иным путём и даже преуспели. Почитайте Илью Сельвинского или Семёна Кирсанова. Между прочим, Б. Пастернак на своём творческом вечере в 1932 году сказал: «У нас есть большие поэты. Я серьёзно не понимаю, как я могу выступать, когда есть такие поэты, как Сельвинский».

Вот две строфы из большой поэмы Сельвинского «Улялаевщина» (в варианте 1924 года), которую блистательный критик Лев Аннинский охарактеризовал как «упоённое разоблачение разгульной мужицкой стихии, эпопею вольницы»:

Атаманы в лощине, атаманы на речке
Путников за зебры: «Ты чей, паря, а?»
Брызгала разбойничками Степь, что кузнечиками,
Да поджидала лишь главаря.
Улялаев був такій — выверчено віко,
Дірка в пидбородце тай в ухі серга —
Зроду нэ бачено такого чоловіка,
Як той Улялаев Серга.

В другом варианте поэмы главный герой, анархист-бандит, носит имя Кирьяк («рукы кочагу́рамы, як кавун кулак»), но обратим внимание на фонетическую (лексическую) смелость и ни-на-кого-не-похожесть строк, решительно ополаскивающих нас ярким южнорусским суржиком.

Да, чуть не забыл! «Фалехов гендекасиллаб есть сложный пятистопный метр из четырёх хореев и одного дактиля, занимающего второе место. Этот стих, широко распространённый в античной поэзии, излюбленный размер Катулла, вполне применим на русском языке. Античная метрика требовала в фалеховом гендекасиллабе большой постоянной цесуры после арсиса третьей стопы, что выдержано в приводимых примерах» (из автокомментария В. Брюсова к экспериментальному стихотворению из «Опытов» 1918 года).

Неслабо, да?

Я никогда не был поклонником мертвенного стихотворчества Брюсова, но знакомиться с огромным опытом предшественников, музыкой эпох — желательно. В меру сил. Чтоб не только их усилья и судьбы были не напрасны, но и ваши. Тоже ведь тривиально: век живи… и т. д.

Хорошо бы — научиться не конструировать, а взращивать музыку изнутри. Шостакович говорил: мне бы мелодию найти, а симфонию я в два счёта напишу.

Найдите мелодию.

стр. 103
Авилкин Лев Николаевич
Самара, 1932 г. р.

Родился в Самаре (Россия). Окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище (ЛНВМУ) и штурманский факультет Ленинградского высшего военно-морского училища (ныне военно-морской институт, Морской корпус Петра Великого). Служил на боевых кораблях Балтийского военно-морского флота. Плавал капитаном гражданского морского флота. Работал начальником морского порта и капитаном-наставником судов загранплавания судоходной компании. Преподавал морские дисциплины в высшем учебном заведении. Ветеран боевых действий. Литературной деятельностью стал заниматься с выходом на пенсию. Печатался в нескольких литературных журналах России, Эстонии и США.

стр. 95
Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 159
Басалаева Елена Михайловна
Красноярск, 1987 г. р.

Выпускница Красноярского литературного лицея. В 2009 году с отличием окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Преподаёт русский язык и литературу в Красноярской гимназии № 13. Публикации на сайтах «Добрая лира», «Город детства», в журнале «День и ночь» и др. Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Большой финал» (Мурманская область) и журнала «День и ночь» за 2019 год. Дипломант литературного фестиваля «Золотой Витязь» (2021). Победитель Всероссийского семинара-совещания «Мы выросли в России» в Петрозаводске (2022). Лауреат литературной премии имени В. П. Астафьева в номинации «Проза», обладатель спецприза Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Член Союза писателей России.

стр. 22
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил Пермский госуниверситет имени Горького. В конце 80-х — начале 90-х его стихи публикуются в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989), куда прибыли авторы отечественного подполья, удостоен гран-при и титула «Махатма российских поэтов». В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил рубрики «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы» — в издательстве «Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!» — в Пермском книжном издательстве. Далее — молчание длиною в 17 лет. Как поэт фактически перестаёт печататься, но при этом щедро печатает других — юных авторов, будучи членом жюри Илья-Премии, и не очень юных — в качестве основателя движения «дикороссов» — «поэтов края бытия». Третья книга «Не такой» выходит в 2007 году в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отмечена всероссийской литературной премией имени Павла Бажова. Кроме российской и зарубежной периодики, стихи публикуются во многих антологиях. Среди них — «Самиздат века», «Антология русского верлибра», «Антология русского лиризма. XX век», «Современная литература народов России», «Десять веков русской поэзии» — проект Евгения Евтушенко. В 2013 году увидела свет четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», получившая две престижных награды — премию имени Алексея Решетова и всероссийскую общенациональную премию «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига («Литературная газета»). Стихи переведены на армянский, болгарский и сербский

языки. Составитель антологии трёх веков русской поэзии «Сады и бабочки» (издательство «Алетейя», 2022). В 2024 году в этом же санкт-петербургском издательстве выходит «книга века» — «Трещина на Голгофе» («Диалоги и предсказания»). Член редколлегии журнала «День и ночь». Награждён орденом общественного признания — Достоевского I степени.

стр. 133

Белозёров Андрей Борисович

Бендеры (Молдова), 1966 г. р.

Прозаик. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Проза публиковалась в периодических изданиях «Кодры. Молдова литературная», «Дружба народов», «Роман-газета», «День и ночь», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Времена» (Бостон) и др. Лауреат Международной литературной премии имени Марка Алданова (2016); шорт-лист Международной литературной премии имени Марка Алданова (2018); лауреат Международной литературной премии имени Марка Алданова (2023). Рейтинг «Журнального зала» — самые востребованные новинки в категории «нон-фикшн» (январь 2024). Автор книги прозы о войне 1992 года в Приднестровье «Третья сила» (Chişinău: Litera, 2020). Живёт в Бендерах.

стр. 3

Брежнева Ирина Владимировна

Красноярск

Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края с 3 декабря 2021 года. Доцент кафедры журналистики и литературоведения ИФИЯК СФУ. Юрист.

стр. 179

Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Автор и соавтор более двух десятков сборников юмористических рассказов и фельетонов, художественной прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Новокузнецке, Оренбурге, Южно-Сахалинске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Москве. Автор публикаций в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», в «Литературной газете», газетах «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси» (номинация «Юмор», 2008), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011), «Рождественская звезда» (номинация «Проза», 2011), имени Виталия Бианки (2017).Член Союза российских писателей.

стр. 166

Веселова Наталья

Санкт-Петербург, 1967 г. р.

Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. Автор 16 книг (романы, повести). Публиковалась в журналах «Писатель. XXI век», «Север», «Нижний Новгород», «Южная звезда», сборниках «Макарьевские чтения». Лауреат нескольких творческих премий, участник мастерских для писателей АСПИР.

стр. 186

Жукова (Масс) Татьяна

Париж (Франция)

Родилась в Череповце Вологодской области. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 1987 году. После окончания журфака уехала в Ригу, работала в молодёжной республиканской газете «Советская молодёжь». Работала в печатных СМИ, на радио и телевидении в Латвии, Грузии, США, Западной Европе. Призёр международного конкурса журналистики «Золотое перо» (2008). Автор нескольких книг прозы. Публикации в журнале «День и ночь», на портале «Мегалит».

стр. 6

Карлова Ольга Анатольевна

Красноярск, 1957 г. р.

Родилась в городе Абакане (Красноярский край), в семье писателя А. И. Чмыхало. Выпускница Красноярского государственного педагогического института по специальности «Русский язык и литература» (1978). Кандидат филологических наук (1990), доцент ВАК (1993), доктор философских наук (2002), профессор Сибирского федерального университета (Красноярск). Член Союза журналистов с 1984 года, редактор муниципальной газеты Красноярска «Городские

новости» (2000–2004), заместитель губернатора Красноярского края (2004–2012), ректор Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева (2012–2014), заместитель главы Красноярска (2014–2016). Автор более 100 научных статей, книг и учебных пособий. Один из авторов и постоянный руководитель оригинального формата философского научно-просветительского проекта Красноярского края «Академическое собрание», ежегодно посвящаемого самым значительным общегуманитарным событиям года: доклад с новой научной гипотезой, специально подготовленный фильм-сопровождение, выступления актёров в виде художественно-театральных инсталляций, интервью специальных экспертов проекта, российских и зарубежных.

стр. 156
Кормухов Александр Валерьевич
Челябинск, 1975 г. р.

Участник 5-го, 7-го и 8-го Форумов молодых писателей России в Липках. Публиковался в ряде коллективных сборников, в журнале «Новая реальность», в литературно-художественной газете Северного Кавказа «Горцы» и в других изданиях. Персональная книга стихов «Стажёр февраля» (Челябинск, 2012).

стр. 158
Крюков Андрей Витальевич
Москва, 1961 г. р.

Окончил Московский институт управления имени С. Орджоникидзе и аспирантуру МИСИС. Профессиональный ИТ-консультант, специализация: внедрение систем управления предприятием и оптимизация бизнес-процессов. Кандидат технических наук. Первые публикации стихов состоялись в 90-х годах в журналах «Новая Юность» и «Соло». Лауреат юбилейного литературного конкурса журнала «Москва» (2018). Автор сборника «Открытый слог».

стр. 98
Лушников Андрей Евстафьевич
Вологда, 1964 г. р.

Родился в городе Рубцовске Алтайского края. Окончил факультет журналистики Алтайского государственного университета. Работал рабочим, журналистом, редактором. Печатался в журналах «Новый мир», «Алтай», «Сибирские огни», «Север», «Родная Кубань», «Дон», «Вологодский ЛАД» и др. Автор шести сборников стихов и прозы. Член Союза писателей России.

стр. 32
Малашин Геннадий Викторович
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт, прозаик, публицист, режиссёр, педагог. Руководитель информационно-аналитического и издательского отдела Красноярской епархии РПЦ, профессор кафедры гуманитарных и филологических дисциплин Красноярского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Родился в селе Ермаковском Красноярского края. По окончании в 1977 году Красноярского педагогического института преподавал в школах края. С августа 1981 года в течение 20 лет работал на Красноярской телестудии. В 1993 году с коллегами создал творческое объединение «Русские вечера», до сентября 2000 года еженедельно выходившее в краевой эфир. С 2011 года является секретарём Общественного совета Красноярской митрополии по науке, культуре и образованию, с 2014 года — ответственным секретарём Епархиальной комиссии по канонизации святых и церковно-историческому наследию.

стр. 190
Минаков Станислав Александрович
Харьков (Украина), 1959 г. р.

Поэт, переводчик, эссеист, прозаик, публицист, журналист. Член Национального союза писателей Украины, Союза писателей России, Международного фонда памяти Б. Чичибабина, Всемирной ассоциации писателей International PEN Club (Московский центр). Автор книг «Имярек», «Вервь», «Листобой», «Хожение», «Где живёт ветер». Лауреат Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев — Москва, 2008). Лауреат Всероссийской премии имени братьев Киреевских (Москва — Калуга, 2009). За книгу «Листобой» был удостоен литературной премии имени Б. Слуцкого (1998). Лауреат конкурса-фестиваля «Культурный герой XX века» (Киев, 2002). Лауреат конкурса духовной поэзии в интернете, проводимого Свято-Филаретовским институтом (Москва, 2002). Победитель Всеукраинского конкурса «Русское слово Украины» (Киев, 2003) в номинации «Публицистика». Победитель турнира поэтов «Коктебель-2004» (в рамках Международного Волошинского литературного фестиваля). Лауреат премии «Народное признание» (Харьков, 2005) за книгу стихотворений и переводов «Хожение». Автор-составитель энциклопедии «Храмы России» (Москва, 2008). Был соредактором журнала «Бурсацкий спуск», редактором многих поэтических книг, а также альманаха «ДвуРечье» (Харьков — Санкт-Петербург, 2004). Занимается журналистикой, публикуется на Украине, в России и за рубежом.

стр. 152 Орлова Елена
(Матросова Елена Рудольфовна)
Долгопрудный (Московская область)

Окончила в 2022 году ВЛК Литературного института имени Горького. Печаталась в журналах «Москва», «Нева», «Кольцо „А“», «Звезда», «Костромской собеседник».

стр. 102 Панова Татьяна Сергеевна
Красноярск,1971 г. р.

Окончила Ванаварскую среднюю школу. В 1993 году окончила Красноярский педагогический институт (факультет физкультуры и спорта). Член Союза писателей России, член правления Красноярского регионального отделения СПР. Автор шести поэтических сборников.

стр. 100 Ромашков Юрий Валерьевич
Красноярск, 1988 г. р.

В 2009 году окончил исторический факультет Енисейского педагогического колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил РФ поступил на исторический факультет Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. С 2011 года и по сей день работает научным сотрудником фондов Енисейского краеведческого музея имени А. И. Кытманова. Историко-литературные этюды Юрия Ромашкова, которые периодически печатаются в местных газетах, стали заметным явлением в культурной жизни Енисейска. В 2014 году вышел первый сборник стихов «Стихи из-под шкафа». Лауреат Фонда Астафьева (2019).

стр. 154 Соловьёва Виктория
(Побежимова Виктория Гелиевна)
Красноярск, 1965 г. р.

Стихи впервые появились в литературном альманахе «Нижегородский литератор» (№ 7/2012), позднее — в различных литературных альманахах и коллективных сборниках. Публикации в «45-й параллели» (2019), международном творческом ресурсе «Подлинник» (2016, 2019, 2020), журналах«Московский BAZAR» (2018), «День и ночь» (№ 1/2021). Лауреат конкурса имени И. Д. Рождественского (2019) в номинации «Поэзия». Лауреат международного конкурса «Поэзия ангелов мира» (2020).

стр. 121 Толстиков Николай Александрович
Вологда, 1958 г. р.

Родился в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1999 году (семинар Владимира Орлова) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Священник храма Святителя Николая во Владычной слободе Вологды. Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, сборниках. Автор книг «Пожинатели плодов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». Награждён медалью Василия Шукшина, учреждённой Союзом писателей России. Член Союза писателей России.

стр. 13 Чмыхало Анатолий Иванович
Красноярск, 1924–2013

Родился в селе Вострово Волчихинского района Алтайского края. Воевал на фронте (1942–1943), работал артистом республиканского театра в Алма-Ате (1943–1944), корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» (1946–1947). С 1947 года — писатель. Ответственный секретарь Красноярской писательской организации, главный редактор журнала «Енисей» (1962–1976). Автор романов «Половодье», «Нужно верить», «Три весны», «Дикая кровь», «Отложенный выстрел» и др. Член Союза писателей (с 1963). Почётный гражданин города Красноярска, заслуженный работник культуры РСФСР, почётный профессор КГПУ. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почёта», знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», двадцатью медалями.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Марина Наумова-Саввиных
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Дмитрий Косяков
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Дарья Преснякова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Владислава Васильева
КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:
Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Анастасия Астафьева
Костромская область
Александр Астраханцев
Красноярск
Наталья Ахпашева
Абакан
Юрий Беликов
Пермь
Александр Герасимов
Калининград
Лидия Довыденко
Калининград
Вера Зубарева
Филадельфия
Ирина Ивасьскова
Анапа
Александр Кердан
Екатеринбург
Станислав Колчин
Калуга
Сергей Кузнечихин
Красноярск
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Татьяна Масс
Париж
Евгений Минин
Иерусалим
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Орлов
Москва
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Андрей Тимофеев
Москва
Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использована графика Надежды Макушкиной

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 57; Медиацентр

Наш сайт: krasdin.org

Подписано к печати: 05.11.2024
Дата выхода в свет: 25.11.2024
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340 эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+

Надежда Макушкина

| Было утро какого-то летнего дня. Акрил, цв. карандаши, бумага. 20х30 см, 2023 г.

Надежда Макушкина

| Берег. Монотипия, смешанная техника, бумага. 20х30 см, 2018 г.

Надежда Макушкина

Ангел. Монотипия, смешанная техника, бумага. 20х20 см, 2018 г.

на обложке:

Надежда Макушкина

Река. Монотипия, смешанная техника, бумага. 15х21 см, 2023 г.